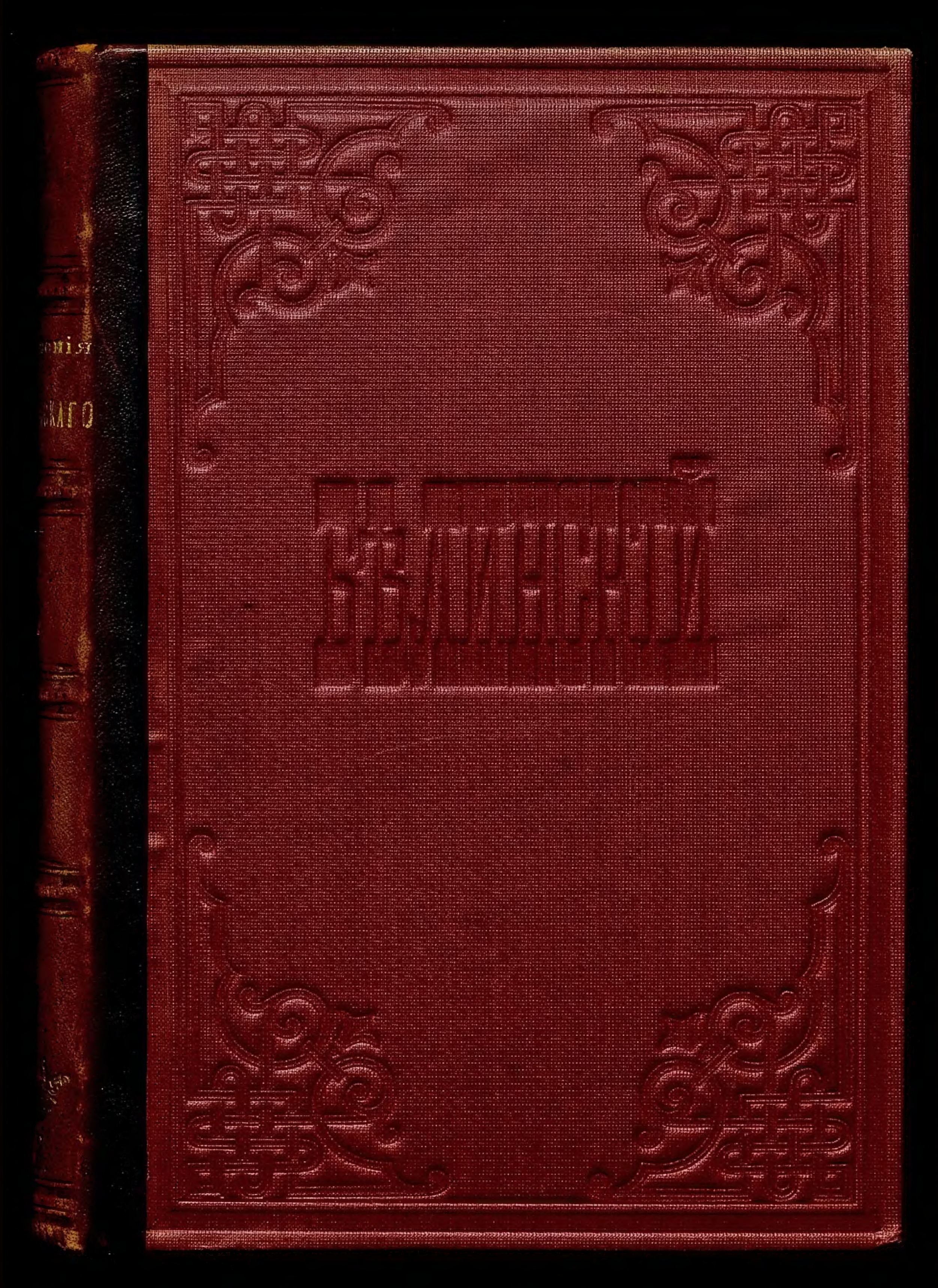
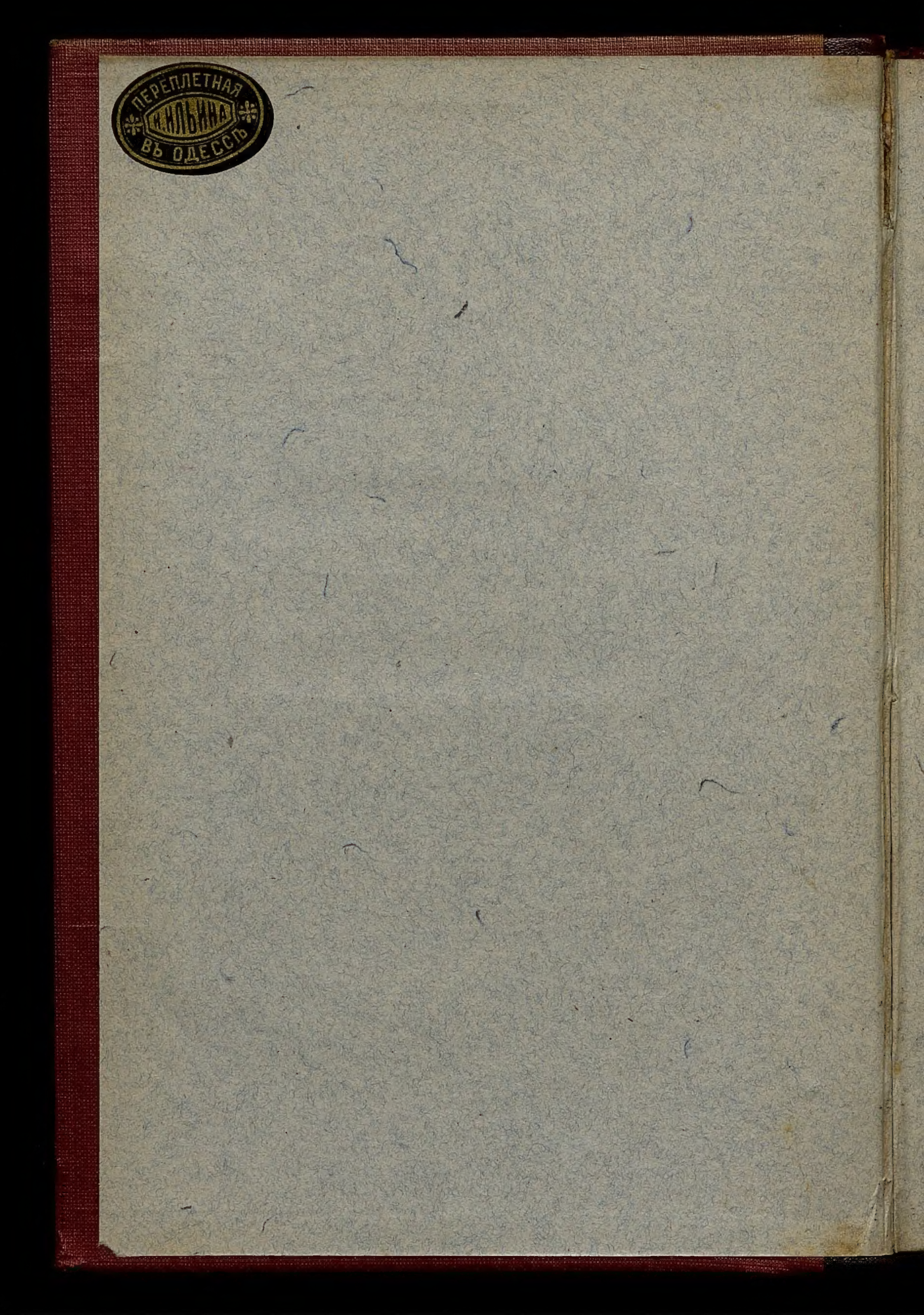

В. БѢЛИНСКІЙ


Сочинені
В, БѢЛИНСКАГ
5
И. И.


ПЕРЕПЛЕТНАЯ
И. ИЛЬИНА
ВЪ ОДЕССѢ

СОЧИНЕНІЯ

В. БѢЛИНСКАГО.

СОЧИНЕНІЯ

В. БѢЛИНСКАГО.

СЪ ПОРГРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Изданіе четвертое.

Цѣна 1 р. 25 к.

МОСКВА.
«Русская» типо-литографія, Тверская, д. Малкіель.
1885.

1841.

—

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

I.

КРИТИКА.

ДРЕВНІЯ РОССІЙСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ, *собр. Киршею Даниловымъ, и вторично изданныя. Москва. 1818.*

ДРЕВНІЯ РУССКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ (,) *служащія въ дополненіе (дополненіемъ!) къ Киршѣ Данилова (у?). Собр. М. Сухановымъ. Спб. 1840.*

СКАЗАНІЯ РУССКАГО НАРОДА, *соб. И Сахаровымъ. Т. I. Кн. 1. 2. 3 4. Изданіе третіе. Спб. 1841.*

РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКИ. *Часть 1. Спб. 1841* [1]).

1.

«Народность» есть альфа и омега эстетики нашего времени, какъ «украшенное подражаніе природѣ» было альфою и омегою эстетики прошлаго вѣка. Высочайшая похвала, какой только можетъ, въ наши дни, удостоиться поэтъ, самый громкій титулъ, какимъ только могутъ теперь почтить его современники или потомки, состоитъ въ словѣ «народный поэтъ». Выраженія: «народная поэма», «народное произведеніе», часто употребляются теперь вмѣсто словъ: превосходное, великое, вѣковое произведеніе». Волшебное слово, таинственный символъ, священный гіероглифъ какой-то глубокознаменательной, неизмѣримо-обширной идеи, — «народность» замѣняла собою и творчество, и вдохновеніе и худо-

[1]) Статья эта, напечатанная по рукописи, мѣстами измѣненной и пополненной самимъ Бѣлинскимъ, должна была войти въ „Критическую исторію Русской литературы", которую, не задолго до смерти, онъ началъ составлять изъ прежнихъ статей своихъ.

жественность, и классицизмъ, и романтизмъ, заключила въ одной себѣ и эстетику, и критику. Короче: «народность» сдѣлалась высшимъ критеріумомъ, пробнымъ камнемъ достоинства всякаго поэтическаго произведенія и прочности всякой поэтической славы. Но всѣ ли, говоря о народности, говорятъ объ одномъ и томъ же предметѣ? не злоупотребляютъ ли это слово? понимаютъ ли его истинное значеніе? увы! съ «народностью» сдѣлалось то же, что нѣкогда произошло съ «романтизмомъ» и со многими другими словами, которыя потому именно и утратили всякое значеніе, что слишкомъ расширились въ значеніи,—которыя сдѣлались непонятны ни для кого потому именно, что казались всѣмъ понятными! Чтобъ уяснить значеніе слова «народность», мы должны изъяснить процессъ историческаго развитія идеи, заключающейся въ этомъ словѣ, должны показать, когда начали думать о «народности», что̀ разумѣли подъ нею прежде, и что̀ должно разумѣть подъ нею въ наше время.

Было время, когда всѣ литературы только изъ того и бились, чтобъ не быть народными, но быть подражательными. Подражательность въ литературѣ рождена Римлянами. Народъ практическій, народъ меча и закона, Римляне были обдѣлены отъ природы эстетическимъ чувствомъ. Республика по справедливости должна гордиться своимъ энергическимъ и благороднымъ краснорѣчіемъ, которое родилось, выросло и расцвѣло на республиканской почвѣ, вмѣстѣ съ гражданственностію, и которое съ монархіею переродилось въ риторику; но республика не имѣла поэзіи, какъ искусства; вся ея поэзія заключалась въ гражданской доблести, въ великихъ дѣлахъ и подвигахъ свободнаго и могучаго народа. О поэзіи, какъ искусствѣ, Римляне узнали отъ Грековъ, которые, умерши въ настоящемъ, жили своимъ великимъ прошедшимъ, въ настоящемъ безславіи, утѣшались прошедшею славою, и, за неимѣніемъ всякаго другаго дѣла, изучали въ школахъ памятники поэзіи цвѣтущаго времени своей исторіи, которое

навсегда прошло для нихъ. Завоевавъ трупъ нѣкогда столь прекрасной Эллады, варваръ-Римлянинъ впервые, такъ сказать, столкнулся съ геніемъ ея давняго искусства и обошелся съ нимъ истинно по-варварски: извѣстно, что консулъ Муммій, сжегши и разграбивъ великолѣпный Коринѳъ, отправляя въ Римъ статуи и картины, сдѣлалъ съ перевозчикомъ условіе, по которому тотъ, въ случаѣ утраты статуи, или картины, обязывался представить въ замѣнъ такую же, а попорченную исправить на свой счетъ. Однакожь, несмотря на ненависть Марка Катона къ греческой философіи и учености, вкусъ къ ней началъ быстро распространяться въ Римѣ. Знаменитые люди Рима той эпохи воспитываются греческими выходцами; изученіе греческой литературы дѣлается необходимостію для образованнаго Римлянина. Но Римская поэзія началась не прежде, какъ когда Августъ затворилъ храмъ Януса, и мертвымъ, обманчивымъ покоемъ замѣнилъ кровавыя волненія республики. Отпущенный холопъ Горацій назвалъ себя подражателемъ Пиндара, и, посвятивъ свою сговорчивую музу хваленію своего добраго барина, благодѣтеля, отца и заступника,—Мецената, ввелъ въ моду поэзію прихожихъ, которая такъ восхищала Французовъ до временъ возстановленія. Виргилій потщился явить въ своемъ лицѣ римскаго Гомера—и, чахоточный отецъ немного тощей «Энеиды», съ большимъ успѣхомъ перепародировалъ божественную «Иліаду», или—какъ говорили эстетики прошлаго вѣка—весьма удачно подражалъ Гезіоду и Теокриту. Болѣе его поэтическій Овидій передавалъ въ своихъ стихахъ поэтическія преданія эллинской миѳологіи. Впрочемъ, рабство Римлянъ въ поэзіи не было результатомъ только политическаго униженія: національный духъ Римлянъ всегда былъ чуждъ поэзіи, и истинная латинская литература заключается въ памятникахъ краснорѣчія и историческихъ сочиненіяхъ, между которыми достаточно указать только на записки Юлія Цезаря и лѣтопись Тацита, чтобъ увидѣть великое значеніе

латинской литературы. Но тѣмъ неменѣе, подражательная латинская поэзія стала на ряду съ греческою въ глазахъ новѣйшей Европы. Послѣдній представитель французской критики, Лагарпъ, отдавая «Иліадѣ» преимущество предъ «Энеидою», — преимущество въ силѣ, — «Энеиду» ставитъ несравненно выше «Иліады» со стороны изящества. Вѣроятно, первою причиною этого было, что новѣйшая Европа съ латинскою поэзіею познакомилась прежде, чѣмъ съ греческою. Изъ латинскаго языка образовались почти всѣ ново-европейскіе языки, кромѣ нѣмецкаго, и латинскій языкъ былъ богослужебнымъ языкомъ новѣйшей Европы, которая на немъ приняла книги священнаго писанія. Схоластическое направленіе европейской учености среднихъ вѣковъ также много способствовало преобладанію духа латинской поэзіи. Французы, гордые новымъ просвѣщеніемъ, основаннымъ на изученіи древности, отверглись отъ преданій среднихъ вѣковъ и всѣхъ романтическихъ элементовъ, столь родственныхъ ихъ національному духу, какъ и вообще духу всей новѣйшей Европы, возмечтали создать себѣ литературу, основанную на подражаніи греческой, которой они нисколько не понимали (потому что не понимали никакой истинной поэзіи, и латинской, которая болѣе соотвѣтствовала ихъ практическому, соціальному духу. «Ars poetica» Горація родила «l'Art poétique» Буало, которое и сдѣлалось съ того времени кодексомъ, алькораномъ ихъ эстетики. Но, думая подражать Грекамъ въ трагедіи, Французы и тутъ, на зло себѣ, оставались Французами: ихъ трагедія столько же походила на драматическія поэмы Софокла и Эврипида, сколько придворные Лудовика XIV походили на Агамемноновъ и Клитемнестръ героической Греціи. Чтобъ сдѣлать подражаніе какъ можно ближе къ подлиннику, они не только навязали греческимъ и римскимъ героинямъ любезность и любезничанье, сантиментальность и надутость своихъ маркизовъ и маркизъ, но даже и одѣли ихъ въ огромные парики, ши-

тые кафтаны и робы съ фижмами, а на лица налѣпили множество мушекъ. Въ подражаніи латинской поэзіи, Французамъ удалось лучше: если сантиментальныя эклоги ихъ идилликовъ—г-жи Дезульеръ, Флоріана и другихъ ужъ черезъ чуръ были пошлы даже въ сравненіи съ эклогами Виргилія,—зато «l'Art poétique» и сатиры Буало едва ли были ниже «Ars poetica» и сатиръ Горація, а Вольтерова «Генріада» рѣшительно ничѣмъ не уступаетъ Виргиліевой «Энеидѣ». Кромѣ многихъ другихъ причинъ, переходъ Французовъ къ подражанію древнимъ былъ очень понятенъ еще и какъ противодѣйствіе сантиментально-аллегорическому направленію ихъ литературы, которымъ ознаменовалась эпоха, раздѣлявшая средніе вѣка отъ новѣйшей исторіи. Не удивительно, какъ вліянію французскаго вкуса покорились Нѣмцы, которые совсѣмъ не имѣли литературы, когда у Французовъ уже была литература; но удивительно, какъ покорились вліянію французскаго вкуса Англичане, которые имѣли Шекспира, когда еще у Французовъ не было даже и Корнеля, а были только Ронсары, Скюдери и подобные имъ. Конечно, причиною этого должно полагать общежительное вліяніе Франціи на Европу, которое и теперь продолжается, какъ и всегда будетъ продолжаться: въ дѣлѣ живой, общественной литературы, Французы всегда были и всегда будутъ впереди всѣхъ. Даже въ рабской подражательности непонятнымъ образцамъ древнихъ литературъ, Французы оставались вѣрны себѣ, были національны въ духѣ, будучи подражателями въ словахъ и внѣшнихъ формахъ; но Англичане, въ лицѣ Драйдена и Попе, отказались сами отъ себя, и ихъ подражательная литература была пустоцвѣтомъ въ полномъ смыслѣ этого слова... Вдругъ все измѣнилось. Возсталъ отъ апатическаго усыпленія національный геній Нѣмцевъ. Энергическій Лессингъ — этотъ литературный Лютеръ — мощно возсталъ противъ французскаго направленія и побѣдоносно низвергъ его. Самобытные геніи Гёте и Шиллера взошли на небосклонѣ юной герман-

ской литературы блестящими солнцами, которыхъ живительные лучи оплодотворили почву національнаго генія. Романтическая школа Шлегелей явилась крестовымъ походомъ на классическій исламизмъ,—и одинъ изъ этихъ примѣчательныхъ поборниковъ романтизма сражался съ классицизмомъ въ самой столицѣ его—Парижѣ. Національный геній Англіи также воспрянулъ снова, и, въ лицѣ Байрона, явился у ней новый титанъ поэзіи; Вальтеръ-Скоттъ создалъ совершенно новую поэзію,—поэзію прозы жизни, поэзію дѣйствительной жизни. Сама Франція отказалась отъ своихъ вѣковыхъ предубѣжденій, измѣнила своей національной гордости и отреклась отъ боговъ своего Парнасса, которые доставили ей владычество надъ всею Европою. И все это было сдѣлано ею во имя «романтизма»! Представители ея новаго направленія назвались «романтиками» и для дикаго мрака среднихъ вѣковъ навсегда разстались съ свѣтлымъ небомъ Эллады и Авзоніи. Что̀ же такое былъ этотъ романтизмъ? Въ какомъ отношеніи находился онъ къ классицизму? Какимъ образомъ одна крайность такъ быстро, безъ всякой постепенности, безъ всякаго посредствующаго перехода, могла замѣниться другою, враждебною и противоположною ей крайностію?... Но точно ли эти крайности такъ враждебны другъ другу, что между ними нѣтъ ничего общаго, нѣтъ никакой возможности примиренія?... Или, не кстати ли здѣсь вспомнить очень умную французскую поговорку: les extrêmes se touchent?... Въ самомъ дѣлѣ, не охладѣли ли мы теперь и къ самому романтизму, какъ еще недавно и такъ внезапно охладѣли къ классицизму?—Что̀ ни говорите, но слово «романтизмъ» ужь рѣдко встрѣчается теперь въ нашихъ критикахъ и эстетикахъ; оно уже потеряло для насъ свое прежнее значеніе, ужь не служитъ отвѣтомъ на всѣ вопросы... Скажемъ болѣе «романтизмъ» давно уже уволенъ въ чистую, давно на покоѣ, хоть и избитый, измученный, израненный—не столько своими врагами, сколько поборниками... Это преинтересная

исторія, которую надо изслѣдовать критически... Помнимъ мы, что «романтизмъ» въ своемъ началѣ шелъ объ руку съ «народностію, часто былъ принимаемъ за одно съ нею; но— увы!—его ужь нѣтъ, этого прекраснаго молодаго человѣка, столь энергическаго и пламеннаго, хотя немного и съ растрепанными чувствами; его ужь нѣтъ,—а «народность» все еще скитается какимъ-то блѣднымъ призракомъ, словно заколдованная тѣнь, и, кажется, еще долго ей страдать и мучиться, долго играть роль невидимки, какого-то таинственнаго незнакомца, о которомъ всѣ говорятъ, на котораго всѣ ссылаются, но котораго едва ли кто видѣлъ, едва ли кто знаетъ... Взглянемъ же прямо въ лице этому существу, чтобъ познакомиться съ нимъ настоящимъ образомъ, узнать всѣ его примѣты, уловить настоящую его физіономію, и тѣмъ положить конецъ его «никогнито».

Во всякомъ понятіи заключаются двѣ стороны, повидимому, враждебныя между собою, но на самомъ дѣлѣ единосущныя; стороны эти, повидимому, никогда не могутъ сойтись между собою, но тѣмъ не менѣе непремѣнно должны примириться, слиться другъ съ другомъ и образовать новое, уже полное, органическое понятіе. Это примиреніе совершается не вдругъ, но чрезъ постепенное развитіе; оно бываетъ плодомъ раздѣленія, раздвоенія, борьбы; оно совершается по законамъ необходимости, въ жизненномъ, органическомъ процессѣ. Этимъ понятіе, или философская мысль, идея, отличается, отъ простаго представленія. Представленіе есть нѣчто внѣшнее, готовое, неподвижное, безъ начала, безъ конца, безъ развитія. Понятіе (мысль или идея) есть нѣчто живое, заключающее въ себѣ силу органическаго развитія изъ самого себя, способное совершить полный кругъ развитія въ самомъ себѣ, слѣдовательно выходящее изъ самого себя и заключающееся самимъ же собою. Представленіе можетъ быть сравнено со всякимъ неорганическимъ предметомъ въ природѣ: понятіе можетъ быть сравнено съ зерномъ, которое заключаетъ въ себѣ жи-

вительную силу, развивающуюся въ стволъ, вѣтви, листья и цвѣты растенія, и которое, совершивъ полный кругъ своего развитія, снова дѣлается зерномъ. Живое, истинное понятіе есть только то, которое носитъ въ самомъ себѣ зародышъ борьбы и распаденія, въ которомъ заключается возможность раздѣленія на самаго себя, и потомъ примиренія съ самимъ собою; всякое другое есть или понятіе мертвое и ложное, или простое эмпирическое представленіе. Процессъ развитія живаго понятія—слѣдующій: умъ нашъ сперва принимаетъ только одну сторону понятія; другую, противоположную ей, отвергаетъ, какъ ложь. Принявъ за истину одну сторону понятія, умъ доводитъ ее до крайности, которая впадаетъ въ нелѣпость и тѣмъ самымъ отрицаетъ себя; это первый актъ процесса развитія идеи. Увидѣвъ ложь въ доведенной до крайности сторонѣ понятія, умъ отрицаетъ эту сторону, и бросается непремѣнно въ противоположную ей сторону, которую также доводитъ до крайности, а слѣдовательно, и до необходимости отрицанія: это второй актъ процесса развитія идеи. И вотъ понятіе распалось на двѣ противоположныя и враждебныя стороны, которыя нельзя помирить никакимъ посредствующимъ, третьимъ понятіемъ—иначе примиреніе будетъ натянутое и внѣшнее. Между тѣмъ, несмотря на свою враждебную противоположность, обѣ стороны раздѣлившагося понятія не могутъ равнодушно разстаться, или положиться на посредничество чуждаго имъ понятія; онѣ борются между собою; умъ уже не признаетъ рѣшительно-ложною или рѣшительно-истинною ни одного изъ нихъ, и онъ переходитъ то къ той, то къ этой, какъ вдругъ начинаетъ замѣчать, что въ каждой изъ нихъ есть своя доля истины и своя доля лжи, и что, для искомой имъ истины, обѣ стороны, такъ сказать, нуждаются другъ въ другѣ, обѣ проникаютъ и ограничиваютъ себя взаимно: это третій актъ процесса развитія понятія. Наконецъ, умъ ясно видитъ, что обѣ противоположныя крайности не чужды одна другой, но даже родствен-

ны, что онѣ—только двѣ стороны одного и того же цѣльнаго понятія, что онѣ ложны только въ своей отвлеченной односторонности, но что искомая имъ истина заключается въ ихъ примиреніи, въ которомъ онѣ сливаются другъ съ другомъ и образуютъ новое цѣлое понятіе: это послѣдній актъ процесса развитія понятія. Послѣ этого акта, понятіе такъ сказать, находитъ самого себя, но уже развившимся, совершившимъ свой жизненный процессъ, сознавшимъ себя: это зерно, которое, прошедши всѣ фазы растенія, снова стало зерномъ. Скажутъ: въ этомъ нѣтъ еще большой важности, что зерно снова стало зерномъ. Такъ; но, для вѣрности сравненія, намъ должно условиться, что здѣсь дѣло идетъ о зернѣ незнакомомъ; то ли же оно будетъ въ нашихъ глазахъ, когда мы снова увидимъ его, уже зная, какое растеніе изъ него выходитъ и какой цвѣтъ даетъ оно?..

Смотря съ этой точки, вы увидите, что французскій псевдоклассицизмъ и отчаянный романтизмъ юной словесности Франціи—суть двѣ стороны одного и того же понятія, и что въ примиреніи этихъ обѣихъ сторонъ заключается истинная идея искусства нашего времени,—увидите, что какъ классицизмъ, такъ и юный романтизмъ французской литературы, сами по себѣ, въ своей односторонности, суть ложь, хотя и въ каждомъ изъ нихъ есть своя сторона истины. Равнымъ образомъ, ясно будетъ, что и понятіе о «народности» само по себѣ есть также ложь, что оно есть только одна сторона другаго высшаго понятія, противоположная сторона котораго есть «общность въ смыслѣ человѣчества». Да, мы увидимъ, что націоналисты въ литературѣ имѣютъ значеніе только какъ противники поборниковъ безразличной всеобщности, которая, думая быть доступною всему человѣчеству, нѣма и мертва для человѣчества. Все сказанное нами очень легко пояснить въ приложеніи къ исторіи классицизма и романтизма.

Основаніе псевдо-классической французской теоріи заклю-

чалось въ понятіи, что искусство есть подражаніе природѣ, но что природа должна являться въ искусствѣ украшенною и облагороженною. Вслѣдствіе такого взгляда, изъ искусства были изгнаны естественность и свобода, а слѣдовательно истина и жизнь, которыя уступили мѣсто чудовищной искусственности, принужденности, лжи и мертвенности. Форма перестала быть явленіемъ духа, но сдѣлалась, такъ сказать, футляромъ отвлеченныхъ представленій, ошибочно принимавшихся за идеи. Солдаты заговорили однимъ языкомъ съ полководцами, земледѣльцы и поденьщики — съ царями, слуги — съ господами; пастушки одѣлись въ фижмы и испестрили свои лица мушками, книксены, минуэтная выступка, театральныя позы и надутая декламація сдѣлались вывѣскою и необходимымъ условіемъ «украшенной и облагороженной природы». Чтобъ не слишкомъ рѣзко противорѣчить себѣ, поэты и теоретики новаго классицизма исключили изъ поэзіи простолюдиновъ и мѣщанъ, и дали въ ней мѣсто только царямъ, ихъ придворнымъ и героямъ благороднаго происхожденія. Такъ какъ современная жизнь не давала матеріяловъ для поэзіи, то всѣ бросились на Грековъ и Римлянъ, одѣтыхъ въ кафтаны и робы съ фижмами маркизовъ и маркизъ. Не было оригинальности, не было «народности»; дѣйствительныя лица были замѣнены отвлеченными призраками, не принадлежавшими ни къ какой странѣ, ни къ какому вѣку. Даже комедія, на долю которой оставили современность, даже и комедія не представляла дѣйствительныхъ лицъ а выдумывала призраки, олицетворяя ими сентенціи мелкой ходячей морали о добродѣтеляхъ и порокахъ. Но вдругъ все измѣнилось, когда самостоятельный геній германской націи разбилъ оковы псевдоклассицизма, и низложилъ во прахъ, съ алтарей храма искусства, миньятюрныя восковыя статуйки Корнелей, Расиновъ, Мольеровъ, Буало, Вольтеровъ, Дюсисовъ, и Кребильйоновъ съ братіею. Благодаря Нѣмцамъ, вся Европа узнала Шекспира, котораго Вольтеръ заклеймилъ прозвищемъ «пьянаго дикаря». Мало того, Нѣмцы доказали, что древніе были

оклеветаны, что Аристотель и во снѣ не думалъ утверждать нелѣпости, во имя его распространенныя Французами; что поэзія Грековъ запечатлѣна духомъ Греціи, что она—полное выраженіе ея народности, зеркало ея дѣйствительности. Вслѣдствіе этого, народность была провозглашена необходимымъ условіемъ всякой поэзіи. Вмѣсто Грековъ, образцомъ сдѣлался Шекспиръ, какъ поэтъ новаго, нашего, христіанскаго міра. На искусство стали смотрѣть не какъ на подражаніе природѣ, но какъ на воспроизведеніе дѣйствительности, какъ на творчество новой, высшей дѣйствительности. Въ самой Франціи не замедлила возгорѣться отчаянная война между классиками и романтиками. Дружина молодыхъ и рьяныхъ талантовъ основала тамъ свою романтическую школу, которая, какъ реакція псевдо-классицизму, такъ же ложно поняла романтизмъ, какъ прежняя школа ложно понимала древнюю классическую поэзію. Въ новомъ французскомъ романтизмѣ, дѣйствительность не только сбросила съ себя парики, кафтаны, фижмы и мушки, но и всякое одѣяніе, явилась нагою и цинически естественною. Если классицизмъ Французовъ походилъ на младенца въ англійской болѣзни, или на восковую статую съ стеклянными глазами, то романтизмъ ихъ сталъ походить на буйную вакханку съ безстыднымъ упоеніемъ въ горящемъ взорѣ, съ растрепанными волосами, изступленными и дикими движеніями, или на австралійскаго дикаря, пирующаго на костяхъ съѣденныхъ имъ враговъ. Конечно, преимущество на той сторонѣ, гдѣ есть жизнь, и въ буйной вакханкѣ, или въ опьянѣломъ отъ вражеской крови дикарѣ, болѣе поэзіи, нежели въ восковой статуѣ; но тѣмъ не менѣе, французскій романтизмъ можетъ имѣть значенія больше какъ реакція ложному классицизму, нежели какъ истинная поэзія. Мало того: даже идеальный и возвышенный романтизмъ Шлегелей важенъ больше, какъ реакція псевдо-классицизму, нежели какъ истинная поэзія, и вотъ причина, почему братья Шлегели пережили—сперва съ такимъ успѣхомъ и такъ энергически проповѣдываемый ими романтизмъ.

Въ самомъ дѣлѣ, кому теперь прійдетъ охота, забывъ цѣлую исторію человѣчества и всю современность, искать поэзіи только въ католическихъ и рыцарскихъ преданіяхъ среднихъ вѣковъ?... И потому, какъ быстро бросились на эти средніе вѣка, такъ скоро и догадались, что Востокъ, Греція, Римъ, протестантизмъ и вообще новѣйшая исторія и современность имѣютъ столько же правъ на вниманіе поэзіи, сколько и средніе вѣка, и что Шекспиръ, на котораго Шлегели, по странному противорѣчію съ самими собою, думали опираться, былъ не столько романтикомъ, сколько поэтомъ новѣйшаго времени, поэтомъ полной дѣйствительности, а не одного какого-нибудь изъ ея моментовъ. А между тѣмъ, заслуга Шлегелей все-таки велика еслибъ они не впали въ свою односторонность,—болѣе жалкая и болѣе ложная односторонность французскаго классицизма не была бы низпровергнута.

Борьба классицизма и романтизма, ознаменовавшая движеніе европейскихъ литературъ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка, отразилась и въ русской литературѣ. Такъ какъ мы думаемъ, что изложенныя нами идеи будутъ для читателей понятнѣе и яснѣе въ примѣненіи къ отечественной литературѣ, то и обратимся къ ней, оставивъ Европу, о которой мы уже сказали сколько нужно для связи и послѣдовательности нашей статьи.

Всѣмъ извѣстно, что, исключая Крылова, до Жуковскаго и Батюшкова наша поэзія была неудачнымъ подражепіемъ французской. Говоримъ—неудачнымъ, ибо, заимствовавъ всѣ недостатки своего образца, она незаимствовала у него ни гладкаго и звучнаго стиха, ни образованнаго языка, ни внѣшняго изящества. Жуковскій познакомилъ насъ съ нѣмецкою литературою; но какъ въ его время не было еще на Руси журналовъ въ смыслѣ проводниковъ новыхъ идей въ обществѣ, — то его нововведеніе осталось безъ результатовъ, исключая развѣ одно обстоятельство, именно, что наши піиты, по прежнему не переставая гремѣть торжественными одами

и варварскими виршами, закалывать Атридовъ и Брутовъ, затянули еще нескладными голосами кладбищенскія баллады. Что до Батюшкова,—господствовавшій тогда духъ подражательности обезсилилъ его самобытное и прекрасное дарованіе, развившееся не на національной почвѣ. Съ двадцатыхъ годовъ, т. е. съ появленія Пушкина, и у насъ была объявлена война классицизму. Хотя Пушкинъ и былъ провозглашенъ главою и хорегомъ нашихъ романтиковъ, но какъ истинный геній, подобно Байрону, Вальтеръ-Скотту, Гёте и Шиллеру, онъ пошелъ своею дорогою, по которой не угоняться было за нимъ нашимъ романтикамъ; они брали у него, для своихъ произведеній, русскія имена, ножи, кинжалы, ядъ, внѣшнюю гладкость и легкость стиха, но даже и не дотрогивались до его поэзіи и идей. И потому-то, кромѣ Грибоѣдова, дарованія самобытнаго и оригинальнаго, все остальное не можетъ быть упомянуто при его имени, какъ предметъ, неимѣющій съ нимъ ничего общаго. Критики того времени безусловно восторгались произведеніями Пушкина, до той самой поры, какъ геній его возмужалъ: не подозрѣвая того, что онъ имъ сталъ ужь слишкомъ не по-плечу, они, по свойственному человѣческой слабости самолюбію, заключили, что онъ палъ. Вотъ ясное доказательство, что или Пушкинъ не былъ главою нашихъ романтиковъ, или что наши романтики не имѣли съ нимъ ничего общаго. Кажется, то и другое одинаково справедливо. Тѣмъ неменѣе ясно, что Пушкинъ произвелъ литературную реформу и увлекъ за собою толпу, хотя она и нисколько не понимала его. Въ тридцатыхъ годахъ, число прозаиковъ стало превышать число стихотворцевъ. Всѣ ударились въ прозу и сдѣлались романистами и нувеллистами. Впрочемъ, начало этого прозаическаго движенія восходитъ гораздо ранѣе тридцатыхъ годовъ. Новая повѣсть явилась вмѣстѣ съ блестящимъ Марлинскимъ, и тотчасъ объявила претензіи на «романтизмъ» и «народность». Но пока весь ея романтизмъ состоялъ въ

2*

замѣненіи пошлой сантиментальности риторическихъ повѣстей классическаго періода нашей литературы какою-то размашистою повѣстью въ языкѣ и чувствахъ, а вся ея народность состояла въ томъ, что она начала брать содержаніе изъ русской исторической и современной жизни. Но романтическая кипучесть чувствъ была не болѣе истинна, какъ и водяная чувствительность «Бѣдной Лизы» и «Марьиной Рощи»: та и другая были равно натянуты и неестественны, а народность состояла въ однихъ именахъ. Въ послѣднемъ отношеніи, новая русская повѣсть столько же выражала содержаніе русской жизни, сколько французская трагедія выражала содержаніе греческой и римской жизни. Это точь въ точь забытая теперь драма г. Хомякова «Ермакъ», имена въ ней не только русскія, но даже историческія русскія, а духъ и складъ рѣчи принадлежатъ идеальнымъ буршамъ нѣмецкихъ университетовъ; русскаго же духа въ ней слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Правда, новая русская повѣсть иногда удачно передразнивала русскую рѣчь, не скупясь на пословицы и поговорки, а иногда на лѣтописныя выраженія, взятыя изъ исторіи Карамзина; но эта рѣчь; нисколько не выражала русскаго духа, а только, подобно мѣди звѣнящей и кимвалу бряцающему, поражала одинъ слухъ, — точь въ точь, какъ въ другой драмѣ г. Хомякова «Димитрій Самозванецъ». Тѣмъ не менѣе, новая повѣсть заслужила уваженіе по похвальному, хотя и недостаточному стремленію къ народности. Она не довела поэзіи нашей до настоящей русской повѣсти, но приготовила толпу къ уразумѣнію ея. Еще Марлинскій далеко не кончилъ своего поприща, какъ явился на сцену литературы романъ съ претензіями на народность, правоописательность, нравственность и на многое, чего и тѣни въ немъ не было; но нижніе слои толпы, увидѣвъ, что дѣйствующія лица романа называются Иванами и Петрами и титулуются по отечеству, охотно повѣрили русскому происхожденію романа и раскупили его. Вслѣдъ затѣмъ не замедлилъ явиться и исто-

рическій русскій романъ той же фабрики и той же пробы,— и участь его была та же: сначала приняли его по имени, а послѣ поступили какъ съ пройдохою и самозванцемъ.

Здѣсь мы должны воротиться нѣсколько назадъ. Повѣсть и романъ, о которыхъ мы доселѣ говорили, силились быть народными, не унижаясь до простонародности. Вмѣстѣ съ Марлинскимъ, явились и повѣсти г. Полеваго. Онѣ въ свое время были замѣчены публикою, но не имѣли такого блестящаго успѣха, какъ повѣсти Марлинскаго, хотя были и не хуже ихъ: не отличаясь фантазіей, онѣ отличались умомъ и не были чужды чувства; языкъ ихъ былъ простой, не натянутый, обработка литературная. Но въ то же время писалъ повѣсти и г. Погодинъ. Онъ хотѣлъ проложить себѣ свою дорогу и, во что бы то ни стало, сдѣлать повѣсть русскою до нельзя,—и надо отдать ему полную справедливость—онъ успѣлъ сдѣлать для повѣсти гораздо больше, чѣмъ А. Е. Измайловъ для басни: народность его повѣстей еще ужаснѣе, чѣмъ народность басень г. Измайлова. Отселѣ начинается въ нашей литературѣ новое стремленіе къ той народности, отцомъ которой былъ почтеный «отставной квартальный, совѣтникъ титулярный» Измайлова. «Юрій Милославскій» противъ своей воли утвердилъ это жалкое направленіе: разманенные чрезвычайнымъ успѣхомъ этого романа, бездарные писаки думали, что все дѣло тутъ въ лычной обуви, сермяжной одеждѣ, бородахъ и плоскихъ поговоркахъ дѣйствующихъ лицъ; они не замѣтили ни занимательности, ни теплоты разсказа г. Загоскина, ни самой умѣренности его въ изображеніи простодушной народности. Какъ бы то ни было, но съ «Юрія Милославскаго» начинается какъ бы новая эпоха нашей литературы: съ одной стороны являются истинно-народныя и поэтическія повѣсти Гоголя; самъ Пушкинъ, незадолго передъ тѣмъ напечатавшій превосходную главу изъ предполагавшагося имъ романа («Арапъ Петра Великаго») начинаетъ обращаться къ прозѣ, и пишетъ въ послѣдствіи «Пиковую Даму», «Капитанскую Дочку» и «Ду-

бровскаго». Вскорѣ же послѣ «Юрія Милославскаго», является поэтическій романъ Лажечникова «Новикъ», за нимъ — другіе романы Лажечникова.—«Кощей Безсмертный» и «Святославичъ» г. Вельтмана—созданія, странныя въ цѣломъ, но блещущія яркими проблесками національной поэзіи въ подробностяхъ, относятся къ этому періоду русской литературы. Съ другой стороны, ложно-понимаемая народность разлилась огромнымъ болотомъ; тщаніемъ и усердіемъ пишущей братіи низшаго разряда. Мужики съ бабами, кучера и купцы брадатые, не только получили право гражданства въ повѣстяхъ и романахъ этихъ господъ, но и сдѣлались ихъ единственными, привиллегированными героями. Удачное подражаніе языку черни, слогу площадей и харчевень сдѣлалось признакомъ народности, а народность стала тожественнымъ понятіемъ съ великимъ талантомъ, поэзіею и «романтизмомъ». Это направленіе явилось господствующимъ особенно въ Москвѣ. «Разгулье Купеческихъ Сынковъ въ Марьиной рощѣ» получило тамъ идеальное достоинство народной эпопеи. Ваньки и Степки съ разбитыми рылами и синяками подъ соколиными очами стали вывозиться на показъ даже въ Лондонъ и Мадритъ, чтобъ тамъ «тосковать по родинѣ», т. е. по соленымъ огурцамъ и сивухѣ.

Но теперь уже начинаютъ чувствовать цѣну такой народности; теперь уже называютъ ее простонародностью и площадностію. Между тѣмъ, даже и такое народное направленіе было необходимо и принесло великую пользу. Выше всего сказали мы, что всякое живое понятіе открывается людямъ сперва въ своихъ крайностяхъ, которыя истинны, какъ содержаніе понятія, но ложны, какъ его односторонности. Французскій псевдо-классицизмъ былъ ложенъ какъ абсолютная идея искусства, но и въ немъ была своя сторона истины. Искусство, дѣйствительно, не есть и не должно быть природою, какъ она есть, но природою облагороженною, идеализированною. Только дѣло въ томъ, что элементы идеали-

зированія природы должны заключаться не въ условныхъ и относительныхъ понятіяхъ о приличіи въ какую-нибудь эпоху общественныхъ отношеній, но въ вѣчной и неизмѣнной субстанціи идеи. Французскій классицизмъ принялъ за идеалъ поэтической дѣйствительности не духъ человѣчества, развивающійся въ исторіи, а этикетъ двора французскаго и нравы свѣтскаго французскаго общества отъ временъ Лудовика XIV; украшеніе природы онъ понялъ не какъ представленіе дѣйствительности сообразно не съ самою дѣйствительностію, а съ требованіями идеи цѣлаго произведенія, но въ китайскомъ значеніи этого слова извѣстно, какъ Китайцы уродуютъ ноги своихъ женщинъ, желая ихъ сдѣлать прекрасными, т. е. маленькими. Въ этомъ и состояла ошибка французскаго классицизма. Съ другой стороны, псевдо-романтизмъ такъ же точно грѣшилъ противъ истины, требуя въ искусствѣ—природы, какъ она есть, и забывая, что иная естественность отвратительнѣе всякой искусственности. Искусство не имѣетъ права искажать природу; оно можетъ и должно быть естественно въ своихъ изображеніяхъ; но во первыхъ, эта естественность не должна возмущать въ насъ эстетическаго чувства; во вторыхъ, она не должна быть въ искусствѣ главнымъ, не должна быть въ немъ сама себѣ цѣлью. Въ искусствѣ, только идея сама себѣ цѣль, а идея просвѣтляетъ и облагораживаетъ самыя возмущающія душу явленія дѣйствительности; проникая ихъ собою, она идеализируетъ ихъ. Шекспиръ, въ драмахъ своихъ «Генрихъ IV» и «Генрихъ V», вывелъ на сцену распутство, вывелъ пьянаго Фальстафа съ ватагою негодяевъ, вывелъ Квикли и Доль Тиршитъ—эти отребія женскаго пола, для которыхъ настоящаго названія нельзя пріискать въ литературномъ языкѣ, но вывелъ ихъ совсѣмъ не для того, чтобъ усладить ими вкусъ черни, или похвастаться предъ публикою своимъ умѣньемъ естественно изображать низкія явленія дѣйствительности; а для того, что ему нужно было представить, какъ въ великой натурѣ

человѣка величіе проглядываетъ сквозь самый развратъ, какъ умѣетъ онъ отрѣшаться отъ грязи порока и выходитъ изъ нея чистымъ, когда прійдетъ часъ его,—между тѣмъ, какъ натуры слабыя и мелкія навсегда остаются въ этой грязи, если разъ попали въ нее. Тутъ есть идея, и идея великая; тутъ заключается важный урокъ для сухихъ моралистовъ, которые судятъ по внѣшности о нравственности человѣка и часто негодяя, ведущаго себя благопристойно, принимаютъ за нравственнаго человѣка, а человѣка съ искрою Божіею въ душѣ, но который, будучи увлекаемъ кипячею юностію и страстями, на время поскользнется въ грязи жизни, клеймятъ названіемъ «безнравственнаго». Съ этой точки зрѣнія, Фальстафъ съ ватагою, мистриссъ Квикли и миссъ Доль получаютъ уже другое, высшее, идеальное значеніе: онѣ занимаютъ мѣсто въ драмѣ Шекспира такъ же, какъ и въ самой дѣйствительности,—не сами для себя; поэтъ вызвалъ ихъ ради безпощадной истины, дѣлая, такъ сказать, невольную уступку дѣйствительности, но не для того, чтобъ онъ, не понимая ихъ гадости, самъ любовался ими, или хотѣлъ плѣнить ими другихъ. Онъ изобразилъ ихъ вѣрно, чертами типическими; ихъ языкъ грубъ, даже неприличенъ; но эта грубость и неприличіе имѣютъ свои границы, и поэтъ, много показавши, даетъ намъ догадываться еще о большемъ. Онъ не украсилъ, не смягчилъ, не облагородилъ ихъ языка, чтобъ не сдѣлать его неестественнымъ; но онъ сдержалъ его, не позволилъ ему говорить всего, чтобъ не сдѣлать его слишкомъ естественнымъ, и поэтому отвратительнымъ. Сверхъ того, онъ смягчаетъ эти сцены комизмомъ, который, такъ сказать, прикрываетъ грубую наготу естественности. Шекспиръ выводитъ въ своихъ трагедіяхъ и царей, и придворныхъ, и героевъ, и мужиковъ, и мошенниковъ вмѣстѣ, потому что это смѣшеніе существуетъ въ самой дѣйствительности; но онъ всякому указываетъ приличное мѣсто, и ужь конечно, муза его беретъ болѣе обильную дань поэзіи съ

людей высшихъ слоевъ общества. Намъ скажутъ: въ геніяльномъ мужикѣ больше поэзіи, чѣмъ въ слабоумномъ вельможѣ? Правда; но правда и то, что еслибъ этотъ геніяльный мужикъ получилъ образованіе вельможи онъ былъ бы еще геніяльнѣе. Тѣмъ-то человѣкъ и отличается отъ животнаго, что полученные отъ природы дары онъ возвышаетъ образованіемъ и знаніемъ, и что, безъ этой обработки, они похожи у него на дорогіе матеріалы въ сыромъ состояніи, — на золото въ видѣ руды.

Итакъ, очевидно, что органическая, живая полнота искусства состоитъ въ примиреніи двухъ крайностей — искусственности и естественности. Каждая изъ этихъ крайностей сама-по себѣ есть ложь; но, взаимно проникаясь одна другою, онѣ образуютъ собою истину. Искусственность, какъ односторонность и крайность, произвела мертвый псевдоклассицизмъ; естественность, какъ односторонность и крайность, произвела литературу площадей, кабаковъ, тюремъ, боенъ, домовъ разврата.

Но та и другая были необходимы въ процессѣ историческаго развитія понятія объ искусствѣ: сперва была выразумлена одна сторона понятія, потомъ другая; но эта другая, при всей своей видимой противоположности съ первою, вышла явно изъ нея же: ибо когда представленіе, дошедъ до крайности, впадаетъ въ нелѣпость, то утомленный и оскорбленный умъ быстро переходитъ къ совершенно противоположному представленію. Результатомъ этого перехода опять бываетъ утомленіе и оскорбленіе, потому что и вторая односторонность должна дойдти до крайности, и впавши въ нелѣпость, тѣмъ самымъ отрицать себя. Тогда умъ обращается къ первой односторонности, безпрестанно отыскиваетъ ея истинную сторону, которую и примиряетъ съ истинною стороною второй односторонности, и чрезъ этотъ процессъ достигаетъ до сознанія полной и дѣйствительной истины понятія. Въ этомъ примиреніи ясно видно сродство крайностей. Такъ было и съ

искусствомъ: отвергши псевдо-классицизмъ, мы отвергли и псевдо-романтизмъ, и въ созданіяхъ геніальныхъ поэтовъ, на авторитетъ которыхъ думаютъ опираться мелкіе таланты, видимъ истинное искусство, заключающее и примиряющее въ своей органической полнотѣ всѣ свои противоположности.

Обыкновенно, народность смѣшиваютъ съ естественностію, тогда какъ это два совершенно особенныя представленія: хотя истинно народное не можетъ не быть естественнымъ, но истинно естественное можетъ быть нисколько не народнымъ. Сверхъ того, нѣкоторые изъ нашихъ писателей, замѣтивъ, что европейское образованіе сглаживаетъ угловатости народности и смѣшивая форму съ идеею, обратились преимущественно къ низшимъ классамъ народа. Истинный художникъ народенъ и національнъ безъ усилія; онъ чувствуетъ національность прежде всего въ самомъ себѣ и потому невольно налагаетъ ея печать на свои произведенія. Хотя Татьяна Пушкина и читаетъ французскія книжки и одѣвается по картинкамъ европейскихъ модъ, но она—лице въ высшей степени русское,—и тогда, какъ мы ее увидимъ «уѣздною барышнею», и въ то время, какъ она является княгинею и свѣтскою дамою. Но для изображенія такихъ благородныхъ личностей нужна геніальность, или великій талантъ; маленькимъ дарованіямъ, а особенно посредственности, сподручнѣе мужики, бабы, лакеи: стóитъ только заставить ихъ говорить ихъ языкомъ—и народность готова. За то, мужики и бабы геніальныхъ поэтовъ бываютъ благороднѣе господъ и вельможъ маленькихъ дарованій и посредственности: няня Татьяны Пушкина, при своей простотѣ и ограниченности, какъ изображеніе, дышетъ художественною граціею и достолюбезностію: мы смѣемся надъ нею, но любимъ и уважаемъ ее; ея простодушная, безсознательная любовь къ Татьянѣ приводитъ насъ въ умиленіе,—и вмѣстѣ съ Татьяною, мы вздыхаемъ надъ могилою ея бѣдной няни.

Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія; но жизнь только тамъ, гдѣ

идея,—и уловить играніе жизни, значитъ уловить невидимый и благоуханный эѳиръ идеи. Для искусства нѣтъ болѣе благороднаго и высокаго предмета, какъ человѣкъ,—и чтобъ имѣть право быть изображену искусствомъ, человѣку нужно быть человѣкомъ, а не чиновникомъ 14-го класса, или дворяниномъ. И у мужика есть душа, сердце, есть желанія и страсти, есть любовь и ненависть, словомъ—есть жизнь. Но чтобъ изобразить жизнь мужиковъ, надо уловить, какъ мы уже сказали, идею этой жизни,—и тогда въ ней не будетъ ничего грубаго, пошлаго, плоскаго, глупаго. Вотъ отчего «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, посвященные изображенію простаго быта Малороссіи, дышатъ такою полнотою художественности, очаровываютъ такою неотразимою прелестію, такою дивною поэзіею. Но, повторяемъ, для этого нуженъ геній и геній, талантъ и талантъ. Скажутъ: геній и талантъ еще нужнѣе въ изображеніи жизни высшихъ слоевъ общества. Нѣтъ: если для изображенія художественнаго, то нуженъ такой же талантъ, какъ и вездѣ; но не всякій талантъ есть художникъ, а литература состоитъ не изъ однихъ художественныхъ созданій,—и белльлетристика—этотъ насущный хлѣбъ большинства общества, это практическое, житейское искусство толпы—также требуетъ талантовъ и даже большихъ талантовъ. Вотъ этимъ-то талантамъ всего опаснѣе спускаться въ низшіе слои общества, откуда, вмѣсто народности, они могутъ вынести только грубую простонародность; и имъ-то всего лучше браться за изображеніе среднихъ и даже высшихъ слоевъ общества, гдѣ жизнь разнообразнѣе, обширнѣе, отношенія человѣчнѣе, утонченнѣе, многосложнѣе, игривѣе, глубже. Въ белльлетристикѣ, внѣшняя цѣль можетъ имѣть и большую пользу и важное значеніе, тогда какъ въ искусствѣ одна цѣль—само искусство. Теперь, если белльлетрическій писатель, выводя на сцену чудаковъ, невѣждъ, подлецовъ, даже самую чернь, имѣетъ въ виду дѣйствовать на образованіе общества, пускать въ оборотъ человѣческія понятія, новыя мысли,—я низко

кланяюсь ему, если онъ дѣлаетъ это съ талантомъ: его мѣсто высоко, его призваніе священно, его имя честно и славно. Но когда онъ рисуетъ грязь общества, подонки народа, не для чего инаго, какъ для того, чтобъ самому насладиться и плѣнить меня этимъ зрѣлищемъ,—то чѣмъ естественнѣе, чѣмъ правдоподобнѣе будутъ его изображенія, тѣмъ они для меня отвратительнѣе и безсмысленнѣе. Не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть *человѣкъ*, а не баринъ, и тѣмъ болѣе не *мужикъ*. Если Шекспиръ давалъ мѣсто въ своихъ драмахъ всѣмъ людямъ безъ разбора, — онъ это дѣлалъ потому что видѣлъ въ нихъ людей, а отнюдь не по пристрастію къ черни. Предпочитать мужиковъ потому только, что они мужики, что они грубы, неопрятны, невѣжественны, предпочитать ихъ образованнымъ классамъ общества—странное и смѣшное заблужденіе! И самъ геній въ изображеніи жизни чернаго народа всегда найдетъ меньше элементовъ поэзіи, чѣмъ въ образованныхъ классахъ общества: белльлетрическій же талантъ не найдетъ въ жизни черни никакой поэзіи. Впрочемъ, мы далеки оттого, чтобъ отнимать право у талантливаго литератора касаться жизни простаго народа; но мы требуемъ только, чтобъ онъ это дѣлалъ не по любви къ мужицкому жаргону, не по склонности къ лохмотьямъ и грязи, но для какой-нибудь цѣли, въ которой была бы видна человѣческая мысль. Объяснимъ это примѣромъ. Г. Погодинъ написалъ нѣкогда повѣсть «Черная немочь», которая въ свое время обращала на себя вниманіе публики, подобно многимъ, теперь забытымъ произведеніямъ. Въ этой повѣсти дѣйствуютъ купцы, попадьи, батраки и подобный тому людъ; языкъ ея блещетъ всѣми красотами, свойственными языку подобнаго общества; но повѣсть все-таки заслуживаетъ похвалу по своему намѣренію. Главный герой ея молодой человѣкъ сынъ купца, томимый святою жаждою знанія. Окруженный дѣйствительностію, отъ которой страждетъ обоняніе, зрѣніе и человѣ-

ческое достоинство, и которая авторомъ скопирована во всей ея наготѣ и естественности,—онъ погибаетъ жертвою этой грязной дѣйствительности. Правда, герой изображенъ не совсѣмъ естественно, довольно слабо, безъ теплоты и увлекательности; но мы говоримъ не о талантѣ (а такимъ предметомъ не погнушался бы генiй), но о добромъ намѣренiи сочинителя. По этому доброму намѣренiю, повѣсть можетъ быть сочтена за заслугу со стороны г. Погодина русской литературѣ. То же можно сказать и о его маленькой повѣсти «Нищiй». Но когда г. Погодинъ сталъ разсказывать, какъ купеческая дочь задушила подъ периною парня; какъ баба, подчуя дьячка сивухой, сказала ему: «кушай на здоровье»; а тотъ отвѣчалъ ей любезностью «маслецо коровье»; или пересказывать похожденiе на ярмаркѣ разудалой бабы-чиновницы и пересказывать ея языкомъ; а потомъ героиню повѣсти, порядочную женщину, изъ любви къ мужу заставлять жить въ подвалѣ, въ сонмищѣ пьяницъ, воровъ и мошенниковъ; или изображать психологическiя явленiя мужиковъ, которые рѣжутъ другихъ и давятся сами:—признаемся, это верхъ романтизма, верхъ народности, которые хуже всякаго классицизма. Мы уважаемъ «Юрiя Милославскаго» г. Загоскина; но, признаемся, рѣшительно не понимали въ его другихъ романахъ прелести ярмарочныхъ сценъ и языка героевъ этихъ сценъ. Мы отдаемъ полную справедливость юмористическому таланту, съ какимъ написанъ «Панъ Халявскiй» г. Основьяненка; еще выше цѣнимъ прекрасную цѣль, съ какою написана эта забавная сатира на доброе старое время, но не можемъ восхищаться многими изъ произведенiй г. Основьяненка за то только, что въ нихъ мужики говорятъ чистымъ мужицкимъ языкомъ, и никакъ не выходятъ изъ ограниченной сферы своихъ понятiй. Напротивъ, намъ прiятнѣе было бы въ подобныхъ произведенiяхъ встрѣчать такихъ мужиковъ, которые, благодаря своей натурѣ, или случайнымъ обстоятельствамъ, нѣсколько возвышаются надъ ограниченною сферою мужицкой жизни...

Но слава Богу, теперь начинаютъ понимать цѣну такой народности, и начинаютъ понимать ее потому именно, что теперь эта народность находится въ своей апогеѣ, дошла до послѣдней степени нелѣпости. Есть люди, которые приглашаютъ васъ учиться у черни не только литературѣ, но и нравамъ, и обычаямъ, и даже тому, что́ составляетъ внутреннюю жизнь и свободное убѣжденіе каждаго порядочнаго человѣка. Деревенскіе старосты и богомольныя старухи представляются у нихъ образцами нравственности, созерцательныхъ откровеній и даже образованности и просвѣщенія. Такъ-то справедливо, что ложь гораздо опаснѣе и страшнѣе, когда существуетъ невидимкою и призракомъ; чтобъ уничтожить ее, должно не мѣшать ей дойдти до своей послѣдней крайности, впасть въ нелѣпость, сдѣлаться смѣшною, вполнѣ проявиться, принять образъ и лице, словомъ—созрѣть; тогда она прорвется и сама собою уничтожится. Когда преслѣдуешь зло, надо видѣть его передъ собою, чтобъ можно было показать его другимъ. Вотъ почему тѣ, которые хлопочутъ въ его пользу, сражаютъ его скорѣе другихъ, ему противоборствующихъ. Это единственная и притомъ очень важная заслуга со стороны людей, которые всю жизнь свою бьются изъ разныхъ, полезныхъ ихъ благосостоянію, лжей.

Истина только въ началѣ встрѣчаетъ сильное сопротивленіе, но чѣмъ больше выясняется, чѣмъ больше становится фактомъ, тѣмъ большее число пріобрѣтаетъ себѣ друзей и поборниковъ. Ложь идетъ обратнымъ ходомъ: сильная, пока не вполнѣ проявится, она уничтожается сама собою, подобно призраку, исчезающему отъ лучей свѣта.

«Народность»—великое дѣло и въ политической жизни и въ литературѣ; только, подобно всякому истинному понятію, она сама по себѣ — односторонность, и является истинною только въ примиреніи съ противоположною ей стороною. Противоположная сторона «народности» есть «общее» въ смыслѣ «обще-человѣческаго». Какъ ни одинъ человѣкъ не дол-

женъ существовать отдѣльно отъ общества, такъ ни одинъ народъ не долженъ существовать внѣ человѣчества. Человѣкъ, существующій внѣ народной стихіи,—призракъ; народъ, несознающій себя живымъ членомъ въ семействѣ человѣчества, — не нація, но племя, подобное Калмыкамъ и Черкесамъ, или живой трупъ, подобно Китайцамъ, Японцамъ, Персіянамъ и Туркамъ. Безъ народнаго характера, безъ національной физіономіи, государство—не живое органическое тѣло, а механическій препаратъ. Но съ другой стороны, и національнаго духа еще недостаточно для того, чтобъ народъ могъ считать себя чѣмъ-нибудь существеннымъ и дѣйствительнымъ въ общности мірозданія. Въ томъ и другомъ случаѣ, народъ есть односторонность и крайность, а слѣдовательно и призракъ. Чтобъ народъ былъ дѣйствительно историческимъ явленіемъ, его народность необходимо должна быть только формою, проявленіемъ идеи человѣчества, а не самою идеею. Все особое и единичное, всякая индивидуальность дѣйствительно существуетъ только общимъ, которое есть его содержаніе, и котораго она только выраженіе и форма. Индивидуальность — призракъ безъ общаго; общее, въ свою очередь, призракъ безъ особнаго, индивидуальнаго проявленія. И потому, люди, которые требуютъ въ литературѣ одной «народности», требуютъ какого-то призрачнаго и пустаго «ничего»; съ другой стороны, люди, которые требуютъ въ литературѣ совершеннаго отсутствія народности, думая тѣмъ сдѣлать литературу всѣмъ равно доступною и общею, т. е. человѣческою, также требуютъ какого-то призрачнаго и пустаго «ничего». Первые хлопочутъ о формѣ безъ содержанія; вторые—о содержаніи безъ формы. Тѣ и другіе не понимаютъ, что ни форма безъ содержанія, ни содержаніе безъ формы существовать не могутъ, а если существуютъ, то въ первомъ случаѣ, какъ пустой сосудъ страннаго и нелѣпаго вида, а во второмъ, какъ миражи, которые всѣмъ видимы, но которые въ то же время почитаются несуще-

ствующими предметами. Очевидно, что только та литература истинно народна, которая, въ то же время, есть литература обще-человѣческая; и только та литература—истинно-человѣческая, которая въ то же время и народна. Одно безъ другаго существовать не должно и не можетъ. Намъ скажутъ въ опроверженіе, что нѣтъ племени на землѣ, которое бы, при всей своей ничтожности, не имѣло у себя поэзіи; а какъ всякая поэзія есть дѣйствительно существующій фактъ, то, слѣдовательно, можно имѣть народную поэзію и непринадлежа къ семейству человѣческаго рода. Возраженіе, только кажущееся основательнымъ! Нѣтъ на землѣ племени, которое не принадлежало бы къ семейству человѣческаго рода; но дѣло въ томъ, что одно племя меньше, а другое больше принадлежитъ человѣчеству, и что, въ этомъ отношеніи, всѣ племена и народы представляютъ собою цѣпь, которой звѣнья съ обоихъ концовъ постепенно увеличиваются къ центру. Египтяне такъ же историческій народъ, какъ и Евреи; но важность ихъ для человѣчества далеко неодинакова; первые внесли особый элементъ въ многосложную жизнь Греціи, и только этимъ упрочили свое существованіе въ исторіи; результатомъ же существованія Евреевъ была божественная книга, покорившая теперь подъ свою спасительную власть лучшую часть человѣчества и готовая скоро покорить весь міръ. Потому, нѣтъ нужды говорить, который изъ этихъ двухъ народовъ болѣе принадлежитъ человѣчеству. Гдѣ только человѣкъ владѣетъ словомъ, любитъ и ненавидитъ, блаженствуетъ и страдаетъ, тамъ уже и является человѣчество, тамъ уже есть и жизнь и поэзія; но большая разница въ объемѣ слова, любви, ненависти, блаженства и страданія между дикимъ Отаитяниномъ и образованнымъ Европейцемъ, между Финномъ, Калмыкомъ, Тунгузомъ—и Французомъ, Нѣмцемъ, Англичаниномъ. Такая же разница и между литературами. Есть люди, которые посвящаютъ цѣлую жизнь изученію греческой литературы: но едва ли человѣкъ съ умомъ и душою посвятитъ всю жизнь свою на изученіе чухонской литературы!..

Важность и достоинство народовъ опредѣляется ихъ историческимъ значеніемъ. Народъ, не имѣющій исторіи,—ничто, хотя бы занималъ собою половину земнаго шара и считалъ свое народонаселеніе сотнями милліоновъ. Такъ нынѣшніе Персіяне хотя и составляютъ значительное государство въ Азіи, но не имѣютъ исторіи, потому что перемѣны династій и властителей еще не составляютъ исторіи. Есть народы, которые имѣютъ внутреннее историческое значеніе, какъ выражающіе своею жизнію идею: таковы въ Европѣ народы галльско-римско-тевтонскаго образованія. Есть народы, которые имѣютъ только внѣшнее историческое значеніе, какъ дѣйствовавшіе на другихъ силою тяготѣнія и существовавшіе не для себя: таковы Монголы, Турки, такова теперь Австрія. Не нужно говорить, что важность первыхъ субстанціальная, а вторыхъ—относительная. Есть народы, которые имѣли мгновенное историческое значеніе, и съ окончаніемъ его погибли: таковы древніе Ассиріяне, Мидійцы, Персы, Финикіяне, Карѳагеняне и проч. Есть народы, которые имѣвъ мгновенное или продолжительное историческое значеніе, пережили его какъ бы навсегда. таковы теперешніе Евреи, Китайцы, Японцы, Индусы, Аравитяне. Есть, наконецъ, народы, которые имѣли или имѣютъ историческое значеніе не сами собою, а только тѣмъ, что приняли отъ чуждаго имъ племени субстанціяльное начало жизни, особенно религію: таковъ теперь весь мухаммеданскій Востокъ, покоренный аравійскимъ исламизмомъ. Всѣ эти различія очень важны, потому что ими опредѣляется степень достоинста каждаго народа, а слѣдственно и его поэзія и литература. И у Персіянъ есть поэзія; но ея основа—мухаммеданско-пантеистическое міросозерцаніе, занятое отъ Арабовъ; слѣдовательно, ея отнюдь не должно равнять съ арабскою поэзіею.

Поэзія каждаго народа есть непосредственное выраженіе его сознанія; отъ этого, поэзія тѣсно слита съ жизнію народа. Вотъ причина, почему поэзія должна быть народною, и почему поэзія одного народа непохожа на поэзію всѣхъ другихъ нарс-

довъ. Для всякаго народа есть двѣ великія эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или младенчества, и эпоха сознательнаго существованія. Въ первую эпоху жизни, національная особность каждаго народа выражается рѣзче, и тогда его поэзія бываетъ по преимуществу народною. Въ этомъ смыслѣ, народная поэзія отличается рѣзкою особностію, и потому болѣе доступна уразумѣнію всей массы своего народа, и болѣе недоступна для другихъ народовъ. Русская пѣсня сильно дѣйствуетъ на русскую душу, но нѣма для иностранца, и непереводима ни на какой другой языкъ.—Во вторую эпоху существованія народа, поэзія его дѣлается менѣе доступною для массы народа и болѣе доступною для всѣхъ другихъ народовъ. Русскій мужикъ не пойметъ Пушкина, но за то Пушкинская поэзія доступна всякому образованному иностранцу и удобе-переводима на всѣ языки. Если народъ ничтоженъ въ историческомъ значеніи, его естественная (народная) поэзія всегда выше его художественной поэзіи, потому что послѣдняя болѣе требуетъ обще-человѣческихъ элементовъ, и если не находитъ ихъ въ жизни своего народа, то дѣлается подражательною. Такъ, народная чешская поэзія и богата и сильна, а художественная не представляетъ ничего великаго. Естественная (или собственно-народная) поэзія болѣе зависитъ отъ субстанціи народа, чѣмъ отъ его историческаго значенія. Вотъ почему Римляне—всемірно-историческая и великая нація—не имѣли народной поэзіи. Что касается до греческой поэзіи—она составляетъ собою какъ-бы исключеніе изъ общаго правила: она никогда не была собственно-народною, но всегда, будучи народною въ то же время была и обще-человѣческою, всемірно-историческою. Причина этого безконечное міросозерцаніе, лежавшее въ субстанціи эллинскаго племени; въ самыхъ древнѣйшихъ миѳахъ Эллиновъ заключаются абсолютныя идеи, художественно выраженныя, и въ этомъ отношеніи ихъ древнѣйшіе поэты, до Гезіода и Гомера существовавшіе, равно какъ и сами Гезіодъ и Гомеръ отличаются отъ позднѣйшихъ—Софок-

ла и Еврипида больше степенью историческаго развитія искусства, чѣмъ художественнаго достоинства. Художественная поэзія всегда выше естественной, или собственно народной. Послѣдняя — только младенческій лепетъ народа, міръ темныхъ предощущеній, смутныхъ предчувствій; часто она не находитъ слова для выраженія мысли и прибѣгаетъ къ условнымъ формамъ—къ аллегоріямъ и символамъ; художественная поэзія, есть, напротивъ, опредѣленное слово мужественнаго сознанія, форма, равновѣсная заключающейся въ ней мысли, міръ положительной дѣйствительности; она всегда выражается образами опредѣленными и точными, прозрачными и ясными, равносильными идеѣ. Мы помнимъ, какъ въ разгарѣ романтическаго броженія, многіе утверждали у насъ, что народная пѣсня выше всякаго художественнаго произведенія и что будто-бы какой-нибудь Пушкинъ за честь себѣ ставилъ поддѣлаться подъ простой и наивный складъ народной пѣсни: смѣшное заблужденіе, впрочемъ, понятное въ эпоху односторонняго увлеченія! Нѣтъ, одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ! И если художникъ поэтъ настраиваетъ свою разнообразную, гармоническую лиру на монотонный ладъ народной мелодіи—онъ дѣлаетъ этимъ честь народной поэзіи и обнаруживаетъ могущество Протея, способнаго являться во всѣхъ формахъ. Его народная пѣснь выше всѣхъ собственно народныхъ пѣсней, вмѣстѣ взятыхъ; произведеніе, которое выходитъ изъ творческаго духа, обладающаго своимъ предметомъ, всегда выше того, которое выходитъ изъ духа, покореннаго своимъ предметомъ. И совсѣмъ тѣмъ въ народной или естественной поэзіи есть нѣчто такое, чего не можетъ замѣнить намъ художественная поэзія. Никто не будетъ спорить, что реквіемъ Моцарта, или соната Бетховена неизмѣримо выше всякой народной музыки,—это доказывается даже и тѣмъ, что первыя никогда не наскучатъ, но всегда являются болѣе новыми, а вторая хороша во время и

изрѣдка; но тѣмъ не менѣе неоспоримо, что власть народной музыки безконечна надъ чувствомъ. Не диво, что русскій мужичокъ и плачетъ и пляшетъ отъ своей музыки, но то диво, что и образованный Русскій, музыкантъ въ душѣ, поклонникъ Моцарта и Бетховена, не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянія однообразнаго, заунывнаго и удалаго напѣва народной пѣсни... Возрастъ мужества выше младенчества—нѣтъ спора; но отчего же звуки нашего дѣтства, его воспоминанія, даже и въ старости потрясаютъ всѣ струны нашего сердца радостію и грустію, и вокругъ поникшей головы нашей вызываютъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства?.... Отъ того, что младенчество есть необходимый и разумный періодъ нашего существованія, который бываетъ только разъ въ жизни и больше не возвращается... Это время нашего единства съ природою, въ которомъ такъ много простодушной и невинной любви; время нашего непосредственнаго сознанія, въ которомъ все было ясно, безъ тяжкихъ думъ и тревожныхъ вопросовъ, какъ будто бы сильфы и феи дружелюбно нашептывали сердцу священныя откровенія, и небесная манна сама падала на землю, неорошенную потомъ труда и заботъ... Славное то время было, читатель мой, когда солнышко улыбалось вамъ съ чистаго неба, когда цвѣточекъ наклоненіемъ стебелька ласково привѣтствовалъ васъ, мотылекъ манилъ васъ бѣгать по лугу, кузнечикъ пѣлъ вамъ свою однообразную пѣсенку, и быстрый ручей, по выраженію геніяльнаго сумасброда Гофмана, разсказывалъ вамъ чудныя сказочки!... Вы и природа были тогда—одно, и все въ природѣ было для васъ дружескимъ откровеніемъ священной тайны любви и блаженства!... Выше же, бокалъ мой, за васъ, счастливыя лѣта моего младенчества! говорите вы. Я теперь умнѣе, чѣмъ былъ тогда; я не промѣняю разума на самое блаженство, но мнѣ все-таки жаль васъ, радужные дни моего счастливаго дѣтства!...

Да, мысль выше непосредственнаго чувства, пора мужества

выше поры младенчества; но все же и въ непосредственномъ чувствѣ, и въ порѣ дѣтства, есть нѣчто такое, чего нѣтъ ни въ разумномъ сознаніи, ни въ гордой возмужалости, что́ бываетъ только разъ въ жизни, и больше не возвращается... Такъ и для народа: онъ все тотъ же и въ эпоху разумнаго сознанія, какъ и въ эпоху непосредственнаго чувства; но его непосредственное чувство было почвою, изъ которой возникъ и развился цвѣтъ и плодъ его разумнаго сознанія. Все послѣдующее есть результатъ предыдущаго: разумная мысль часто есть только сознанное преданіе темной старины, а знаніе часто есть только уясненное предчувствіе; а страна миѳовъ и таинственныхъ предреченій есть страна, полная очарованія и чудесъ... Жизнь распадается на множество сторонъ и вновь совокупляется въ единое и цѣлое; единое выше множества, цѣлое выше частей, но и во всякой отдѣльности есть нѣчто свое, незамѣнимое цѣлымъ. Въ художественной поэзіи заключаются всѣ элементы народной, и сверхъ того есть еще нѣчто такое, чего нѣтъ въ народной поэзіи: однакожь, тѣмъ не менѣе народная поэзія имѣетъ для насъ свою цѣну такъ, какъ она есть,—въ ея чистомъ, безпримѣсномъ элементѣ, въ ея простой, безыскусственной и часто грубой формѣ.

Многое еще можно сказать объ общихъ чертахъ народной поэзіи, но это удобнѣе сдѣлать въ примѣненіи къ русскимъ пѣснямъ и сказкамъ, что́ мы и исполнимъ въ слѣдующей статьѣ, а эту просимъ считать только общимъ взглядомъ на значеніе всякой народной поэзіи.

2.

Въ первой статьѣ мы сказали, что какъ естественное противополагается въ поэзіи искуственному, такъ народное противополагается общему, и наоборотъ, какъ народное, такъ и общее суть понятія родственныя, заключающіяся въ

самой сущности творчества. Теперь намъ должно объяснить значеніе общаго (міроваго, абсолютнаго) и особнаго (частнаго, исключительнаго). Что̀ такое «общее»?—сущность всего сущаго, единство всякаго разнообразія, душа вселенной, начало и конецъ всего, что̀ было, есть и будетъ, словомъ—«идея». Почему же, спросятъ насъ, это новое и притомъ такое странное, произвольное названіе для предмета стараго и давно уже получившаго себѣ имя? — Почему же «общее», а не просто «идея»?...—Въ этомъ новомъ словѣ,—отвѣчаемъ мы,—одинъ изъ существеннѣйшихъ признаковъ, которымъ вполнѣ опредѣляется предметъ, берется за самый предметъ, чтобъ тѣмъ яснѣе было значеніе предмета. Слово «идея» требуетъ опредѣленія философическаго, немногимъ интереснаго и доступнаго; слово «общее» (Allgemeinheit) можетъ быть объяснено для всѣхъ болѣе или менѣе ясно и удовлетворительно. Чтобъ вѣрнѣе достичь нашей цѣли, будемъ подтверждать наши умозрѣнія примѣрами и подобіями. Все общее есть источникъ и причина существованія всего особнаго и частнаго. Общее необходимо, и потому вѣчно; особное случайно, и потому преходяще. Вы видите передъ собою животное, напримѣръ, льва. Его рожденіе, продолжительность или краткость жизни, его смерть—все это совершенно случайно, ибо этотъ левъ могъ и быть и не быть, и издохнуть едва родясь, и дожить до старости. Природа и міръ такъ же равнодушны къ его существованію, какъ и къ его несуществованію. Но левъ, какъ цѣлый, отдѣльный родъ животныхъ, составляющій собою звено въ цѣпи мірозданія, не какой-нибудь, не этотъ левъ, а левъ вообще есть уже не случайное и не частное, а необходимое и, слѣдственно, общее явленіе. Ежедневно истребляется множество животныхъ, но роды ихъ неистребимы: равнодушныя къ участи особныхъ явленій, природа попечительно хранитъ роды и виды. Особныя явленія для нея — случайности; роды и виды—идеи, слѣдственно, общее. Итакъ, вотъ уже мы и

нашли въ безпредѣльномъ многоразличіи природы то, что въ ней должно называться **общимъ**. Если сообразить, что родъ, какъ идея, совокупляетъ въ себѣ безчисленные признаки, равно общіе множеству предметовъ выражающихъ его, — то слово «общее» уже никому не можетъ казаться произвольнымъ, или страннымъ. Роды и виды въ органическихъ явленіяхъ природы, отъ минераловъ [1]), чрезъ растенія и животныхъ, доходя до человѣка, суть не иное что, какъ необходимые моменты ея развитія, тѣ ступени, на которыхъ она, такъ сказать, отдыхала и успокоилась въ своемъ творческомъ стремленіи къ сознанію себя чрезъ индивидуализированіе. Все сущее, каждый предметъ въ природѣ есть не что иное, какъ воплотившаяся, **обособившаяся** идея абсолютнаго бытія. Будучи источникомъ всего видимаго, конечнаго и преходящаго, словомъ, будучи **матерью** всякаго чувственнаго бытія, абсолютная идея, оставаясь въ своемъ элементѣ чистаго, недоступнаго чувствамъ бытія, подобна нулю, который, самъ по себѣ не будучи ничѣмъ, тѣмъ не менѣе принимается математиками за абсолютное начало всякой величины и всѣхъ величинъ. Только тотъ въ состояніи уразумѣть таинственное значеніе этого нуля, чей взоръ столько глубокъ, что можетъ провидѣть сущность вещей, мимо самыхъ вещей, чей умъ такъ могучъ, что въ силахъ совлечь съ міра его покровы, и не затрепетать отъ ужаса, увидѣвшись съ духомъ лицомъ къ лицу. Здѣсь мы приводимъ, для ясности, образное и поэтически созерцательное выраженіе этой мысли, принадлежащее великому поэту Германіи — Гёте. Фаустъ, давъ обѣщаніе императору вызвать передъ него Париса и Елену, прибѣгаетъ къ помощи Мефистофеля, который неохотно указываетъ ему единственное средство для

---

1) Здѣсь слово „органическій“ берется въ обширномъ смыслѣ, какъ противоположность всему „техническому“, не самою природою, а умомъ человѣка производимому.

выполненія этого обѣщанія. «Въ неприступной пустотѣ», говоритъ онъ: «царствуютъ богини; тамъ нѣтъ пространства, еще менѣе времени: то м а т е р и». Матери? восклицаетъ въ изумленіи Фаустъ:—матери! матери—повторяетъ онъ,—это такъ странно звучитъ...—«Богини», продолжаетъ Мефистофель: «невѣдомыя вамъ, смертнымъ, и неохотно именуемыя нами. Готовъ ли ты? Тебя не остановятъ ни замки, ни запоры; тебя обойметъ пустота, имѣешь ли ты понятіе о совершенной пустотѣ?» Фаустъ увѣряетъ его въ своей готовности. «Еслибъ тебѣ надо было плыть», продолжаетъ снова Мефистофель: «по безграничному океану; еслибъ тебѣ надобно было созерцать эту безграничность, ты увидѣлъ бы тамъ по крайней мѣрѣ стремленіе волны за волною, ты увидѣлъ бы тамъ нѣчто; ты увидѣлъ бы на зелени усмирившагося моря плескающихся дельфиновъ, передъ тобою ходили бы облака, солнце, мѣсяцъ, звѣзды; но въ пустой, вѣчно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственнаго шага; ногѣ твоей не на что будетъ опираться. Фаусъ непоколебимъ:—«въ твоемъ ничто», говоритъ онъ—«я надѣюсь найдти все».

In deinem Nichts hoff ich All zu finden

Мефистофель послѣ этого даетъ Фаусту ключъ. «Ступай за этимъ ключемъ», говоритъ онъ ему: «онъ доведетъ тебя до м а т е р е й». Слово «матери» снова заставляетъ Фауста содрогнуться. — М а т е р е й! — восклицаетъ онъ: какъ ударъ поражаетъ меня это слово! Что́ это за слово такое, что я не могу его слышать?... «Неужели ты такъ ограниченъ», отвѣчаетъ ему Мефистофель: «что новое слово смущаетъ тебя?» Мефистофель потомъ даетъ ему наставленія, какъ онъ долженъ поступать въ своемъ, дивномъ путешествіи,—и Фаустъ, ощутивъ, новыя силы отъ прикосновенія къ волшебному ключу, топнувъ ногой, погружается въ бездонную глубь. „Любопытно“, говоритъ Мефистофель, остав-

шись одинъ: „возвратится ли онъ назадъ“ Фаустъ возвратился, и возвратился съ успѣхомъ. Онъ вынесъ съ собою изъ бездонной пустоты треножникъ, тотъ треножникъ, который былъ необходимъ для того, чтобъ вызвать въ міръ дѣйствительный красоту въ лицѣ Париса и Елены.

Этотъ поэтическій миѳъ Гёте, или лучше сказать, эта поэтическая апоѳеоза самаго отвлеченнаго понятія, очень ясно говоритъ уму своею образностію. Подобно Фаусту, всякій, въ комъ воля способна возвышаться до самоотреченія, отважившись ринуться въ безграничную пустоту—таинственное мѣстопребываніе царственныхъ матерей всего сущаго,—вынесетъ оттуда съ собою волшебный треножникъ всяческаго знанія и всяческой жизни. Изъ пустоты возвратится онъ въ высшую дѣйствительность, въ «ничто» найдетъ все: ибо что же и все какъ не «ничто», ставшее дѣйствительностью, какъ не безтѣлесныя «матери», воплотившіяся въ міры?... Общее, т. е. идея, чтобъ перейдти изъ сферы идеальной возможности въ положительную дѣйствительность, должно было перейдти чрезъ моментъ отрицанія своей общности и стать особнымъ, индивидуальнымъ и личнымъ. И это общее, обособившись въ планетѣ и предметахъ ископаемаго и растительнаго царства природы, начало индивидуализироваться въ предметахъ царства животнаго. Мы уже выше сказали, что какъ обособленіе, такъ и индивидуализированіе общаго въ природѣ совершалось въ правильной постепенности восхожденія отъ низшаго рода и вида къ высшему роду и виду. Цѣль этого творческаго движенія была—сознаніе, возможное только для личности, для субъекта, до которыхъ общее достигло, ставъ человѣкомъ. Но какъ природа была, такъ сказать, безсильна вдругъ достичь своей цѣли, ставъ человѣкомъ, то стремленія ея къ средству сознанія—личности, началось съ низшихъ моментовъ; сперва съ обособленія (планеты, минералы, растенія), потомъ индивидуализированія (животныя); переходя отъ низшаго къ высшему, природа

ознаменовала свое творческое стремленіе стройнымъ рядомъ существъ, постепенно приближающихся къ человѣку. Явно, что орангутангъ былъ послѣднею неудачною попыткою ея сознать себя, послѣ которой ей уже было возможно достичь послѣдняго, высшаго абсолютнаго типа существъ—личности, субъекта, человѣка, и что, достигши цѣли своего стремленія, она вдругъ, какъ бы лишилась своей творческой силы и дѣятельности, какъ уже болѣе не имѣющей цѣли и потому ненужной.

Человѣкомъ оканчивается царство природы и имъ же начинается царство духа. Мы видѣли, что въ природѣ общее (идея) является въ родахъ и видахъ веществъ и существъ: теперь посмотримъ, какъ она является въ человѣкѣ.

Что̀ такое обще-человѣческое? Разумѣется, то, что̀ составляетъ общій интересъ всѣхъ и каждаго, то, что̀ всѣхъ волнуетъ, во всякомъ находитъ отзывъ, служитъ невидимымъ рычагомъ дѣятельности всѣхъ и каждаго. «Стало-быть—деньги!»—воскликнетъ иной читатель: «чему же другому и быть»! Не споримъ съ тѣми, кто уже такъ глубокъ въ этомъ убѣжденіи, что его нельзя переспорить; но для многихъ другихъ, еще не слишкомъ крѣпкихъ въ подобномъ вѣрованіи, и для немногихъ, совершенно чуждыхъ ему, скажемъ нѣсколько словъ объ «общемъ» людей. Такъ какъ общее людей есть то, что̀ связываетъ людей между собою, то не споримъ, что и взаимныя нужды и отношенія суть общее. Но это еще не то общее, о которомъ говоримъ мы: есть между людьми другое высшее, благороднѣйшее, достойнѣйшее ихъ общее: это—л ю б о в ь. Но любовь есть только чувство, и потому что-то инстинктуальное, невольное и безсознательное. Любовь, какъ чувство, свойственна и животнымъ, въ половыхъ и семейныхъ отношеніяхъ. Любовь человѣка должна быть выше, а для этого она должна быть сознательною, должна имѣть разумное содержаніе. Вы читатель, имѣете друга; онъ погибаетъ,—и вы спасаете его съ опасностію собственной жизни, или съ

пожертвованіемъ собственнаго благосостоянія. Это высокій и прекрасный подвигъ, но это еще не любовь, а только дѣйствіе любви: любви должно искать въ причинахъ вашей любви къ другу, въ томъ, что̀ связываетъ васъ съ нимъ дружбою. Мы нисколько не отвергаемъ дѣйствительности факта, что и величайшіе злодѣи иногда погибаютъ другъ за друга; но причина этого — привычка считать жизнь ни за что, и еще болѣе—взаимная нужда другъ въ другѣ, т. е. сперва безсознательность ожесточенія, а потомъ эгоизмъ: слѣдственно, тутъ о любви нечего и говорить. Связываютъ людей еще и общія страсти, пристрастія, привычки, какъ-то: вино, карты, сплетни и проч.; но въ подобнаго рода связяхъ не бываетъ примѣровъ самоотверженія. Итакъ, ваша любовь къ другу, доказанная самопожертвованіемъ должна же на чемъ-нибудь основываться, вы за что же нибудь должны любить вашего друга, а онъ васъ, словомъ, между вами должно же быть что-нибудь общее?... Такъ,—и ужь конечно это то, что составляетъ человѣческое достоинство, что̀ дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, что называется благомъ, истиною, красотою, долгомъ, обязанностію, знаніемъ и т. п. А благо, истина, красота, долгъ, честь, слава, доблесть, знаніе, все это — идеи, слѣдственно, все это «общее». И потому, любя нашего друга, вы любите въ немъ не что-нибудь частное, случайное, ему одному принадлежащее (какъ, напримѣръ, цвѣтъ волосъ, голосъ, лице); но тотъ Прометеевъ огонь, то божественное начало, которое есть общее наслѣдіе человѣческой натуры, словомъ—идею. Вы скажете, что, несмотря на то, вы все-таки любите и лице, и голосъ, и поступь, и манеры, и всю непосредственность вашего друга: оно такъ и должно быть, ибо въ томъ-то и состоитъ взаимное отношеніе общаго къ особному и особнаго къ общему, что они въ человѣкѣ не приклеиваются другъ къ другу внѣшнимъ образомъ, такъ, что можно было бы сказать, что въ немъ общее и что особное, но взаимно проникаютъ другъ друга, нераз-

рывно, органически сливаются другъ съ другомъ. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, но вѣдь нельзя же сказать; вотъ въ немъ тѣло, а вотъ душа; доселѣ анатомія и физіологія еще не нашли (и никогда не найдутъ) мѣста въ тѣлѣ, гдѣ живетъ душа, и какъ тѣло безъ души, такъ и душа безъ тѣла есть отвлеченное понятіе, а не дѣйствительное явленіе, не человѣкъ. Чѣмъ болѣе проникнутъ человѣкъ общимъ тѣмъ разительнѣе достоинство и прелесть его личности, тѣмъ онъ особнѣе, такъ сказать, и мы, думая любить его за черты лица или голосъ, любимъ его за душу, а думая любить за душу, любимъ за лице, рѣчь и манеры. Опредѣлительно на этотъ счетъ можно сказать только то, что особное получаетъ свое достоинство только отъ общаго, и что любить можно только идею. Намъ возразятъ, что есть люди, одаренные сильною способностію любить и которые часто устремляютъ свою любовь на предметы, не совсѣмъ достойные ея, или видя въ нихъ мнимыя достоинства, или просто по привычкѣ, или вслѣдствіе особенной обстановки обстоятельствъ. Это ничего не доказываетъ, кромѣ безсознательности. Позорно въ человѣкѣ отсутствіе всякаго чувства; но любовь всегда есть признакъ человѣческаго достоинства, на какой бы ступени ни стояла она; высшая же, дѣйствительная любовь есть любовь сознательная, разумная.

Каждый человѣкъ — самъ себѣ цѣль; назначеніе каждаго человѣка—развить въ себѣ все человѣческое, общее, и насладиться имъ. Всѣ люди имѣютъ равное право на дары духа,—разумѣется, въ той мѣрѣ, въ какой каждый изъ нихъ, по своей натурѣ, можетъ вмѣстить въ себѣ. Но есть особый родъ людей, которые по преимуществу могутъ назваться любимцами неба: это—великіе историческіе дѣйствователи. Исторія, нѣкоторымъ образомъ, представляетъ собою явленіе, параллельное природѣ: какъ въ природѣ общее является въ родахъ и видахъ, такъ въ исторіи это общее является въ избранникахъ судебъ Божіихъ. Они выражаютъ своею личностію

все, что составляетъ сущность народа или человѣчества въ ихъ эпоху; они страдаютъ и блаженствуютъ за миліоны; они—олицетворенная идея, «личное общее» своего времени. И потому ихъ личности не суть что-нибудь преходящее, но вѣчное, никогда не умирающее. Онѣ представляютъ собою «общее», и потому до нихъ всѣмъ и каждому дѣло, всякая живая душа откликнется на ихъ имя, все интересуется ихъ участью, даже малѣйшими подробностями ихъ частной жизни. Заговорите съ послѣднимъ безграмотнымъ и полудикимъ русскимъ мужичкомъ въ глуши отдаленной провинціи, заговорите съ нимъ о Петрѣ Великомъ, о Наполеонѣ,—и онъ будетъ васъ слушать, будетъ съ участіемъ васъ распрашивать: «Что-жь ему Гекуба?» спрашиваете вы вопросомъ Гамлета... Общее, общее!—отвѣчаю я вамъ. Въ чемъ бы ни проявилось оно—въ исполинской ли мысли Петра преобразовать народъ; въ исполинской ли мысли Наполеона дать законы всему міру; въ исполинской ли художественной дѣятельности Шекспира; въ ужасающемъ ли патріотическомъ фанатизмѣ Брута, палача горячо любимыхъ дѣтей своихъ; въ религіозномъ ли рвеніи Іоанна Гусса, и какъ бы ни кончилось оно—полною ли побѣдою и полнымъ оправданіемъ при жизни, островомъ ли св. Елены, полнотою ли славы при жизни, сдѣлавшейся въ тягость, костромъ ли:—оно общее, всѣмъ равно принадлежащее, и потому каждый и знаетъ о немъ, какъ о своихъ собственныхъ нуждахъ, хотя бы и вѣка отдѣляли его отъ него...

Итакъ, предметъ искусства есть о б щ е е, въ значеніи котораго мы условились съ читателями. Но въ искусствѣ, какъ и въ природѣ и въ исторіи, общее, чтобъ не оставаться отвлеченною идеею, должно обособляться въ отдѣльныя органическія явленія. Посему, всякое художественное произведеніе есть отдѣльное, особное, но проникнутое общимъ содержаніемъ — идеею. Въ художественномъ произведеніи, идея съ формою должна быть органически слита, какъ душа

съ тѣломъ, такъ что уничтожить форму значитъ уничтожить идею, и наоборотъ. Сущность искусства — уравновѣшеніе общаго съ особнымъ, идеи съ формою. Въ искусствѣ, форма прежде всего, потому что все въ ней; она не должна быть внѣшнимъ средствомъ для выраженія идеи, но самою идеею въ чувственномъ проявленіи. И посему, какъ трудно опредѣлить значеніе того или другаго человѣка, почти такъ же трудно и опредѣлить идею художественнаго произведенія. Единосущность идеи съ формою такъ велика въ искусствѣ, что ни ложная идея не можетъ осуществиться въ прекрасной формѣ, ни прекрасная форма быть выраженіемъ ложной идеи. Если въ произведеніи искусства форма преобладаетъ надъ идеею,—это значитъ, что идея не довольно опредѣленна и ясна для созерцанія творящаго, и тогда форма не можетъ быть вполнѣ прекрасна, и произведеніе можетъ быть даже уродливо, какъ неудачный порывъ къ творческому сознанію. Таковы грубо-изваянные, или грубо-вырѣзанные идолы языческихъ племенъ, стоящихъ на низшей степени развитія. Причина ихъ безобразія не младенческое состояніе технической стороны искусства у племени, а бѣдность и, слѣдственно, неопредѣленность идеи, которая не можетъ подняться выше туманнаго предчувствія истины. Вообще, недозрѣвшая мысль если и высказывается иногда удачно въ искусствѣ, то въ подробностяхъ, а не въ цѣломъ. Этимъ объясняется чудовищность символическихъ храмовъ и идоловъ Индіи, равно какъ и чудовищная огромность «Магабгараты» и «Рамайяны», въ которыхъ цѣлое поглощается длинными эпизодами, а высокія красоты поэзіи мѣняются съ дикими образами и случайностями. Египетскія статуи ужь ближе къ истинному искусству; онѣ отличаются даже изяществомъ внѣшней отдѣлки; но ихъ лица бѣдны выраженіемъ, позы принужденны и связаны. Въ греческой статуѣ жизнь и свобода сочетались съ красотою и граціею; это истинные боги, сошедшіе на землю. Вообще, въ греческомъ искусствѣ идея уравновѣсилась съ фор-

мою, и потому искусство Грековъ есть болѣе искусство, чѣмъ даже искусство новѣйшаго времени. Если въ искусствѣ преобладаетъ идея надъ формою, тогда искусство теряетъ свое чистое, первоначальное значеніе и, по степени преобладанія, соприкасается съ другими абсолютными сферами сознанія, дѣлаясь для нихъ какъ бы средствомъ и чрезъ то пріобрѣтая не менѣ важное, но уже новое значеніе.

Идея народности въ искусствѣ вытекаетъ прямо изъ процесса обособленія общаго. Самое человѣчество, хотя и нѣтъ ничего выше его изъ существующаго вовнѣ, есть уже нѣчто особное,—тѣмъ болѣе народъ. Если художникъ изображаетъ въ своемъ произведеніи людей, то, во первыхъ, каждый изъ нихъ долженъ быть человѣкомъ, а не призракомъ, долженъ имѣть физіономію, характеръ, нравъ, свои привычки, словомъ всѣ индивидуальные признаки, какими каждая личность отличается въ дѣйствительности отъ всякой другой личности. Потомъ, каждый изъ нихъ долженъ принадлежать къ извѣстной націи и къ извѣстной эпохѣ, потому что человѣкъ, внѣ національности, есть не дѣйствительное существо, а отвлеченное понятіе. Изъ этого ясно видно, что національность въ художественномъ произведеніи есть не заслуга, а только необходимая принадлежность творчества, являющаяся безъ всякаго усилія со стороны поэта. И потому, чѣмъ выше произведеніе въ художественномъ отношеніи, тѣмъ оно и національнѣе, и хвалить великаго художника за національность его творенія—все равно, что хвалить великаго астронома за то, что при вычисленіяхъ своихъ онъ не ошибается въ таблицѣ умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, что за заслуга со стороны Русскаго, что его дѣти отличаются русскою физіономіею? Конечно, чтобъ быть національнымъ поэтомъ, нужно сперва быть великимъ человѣкомъ, представителемъ духа своей націи; но изъ этого-то и слѣдуетъ, что великій талантъ дѣлаетъ поэта національнымъ, а не національность дѣлаетъ его великимъ поэтомъ: послѣднее есть только не-

обходимое слѣдствіе перваго. При извѣстіи о вновь родившемся человѣкѣ, никто не спрашиваетъ, есть ли у него глаза и руки, сколько ногъ, и нѣтъ ли роговъ и хвоста: если онъ человѣкъ такъ ужь само собою разумѣется, что у него есть и глаза и руки, ногъ всего двѣ, а не четыре, а роговъ и хвоста нѣтъ. Такъ и въ искусствѣ: если произведеніе художественно, то само собою оно и національно; въ противномъ же случаѣ, оно не можетъ быть и художественнымъ произведеніемъ, а будетъ аллегоріею, символомъ, или просто надутымъ и холоднымъ призракомъ, гдѣ общее не обособилось органически, а только прикрылось лоскутьями натянутаго вымысла, который не вывелъ вовнѣ, а только закрылъ его смыслъ. Это относится не къ однимъ тѣмъ произведеніямъ, которыхъ содержаніе берется изъ дѣйствительной жизни, какъ въ романѣ, повѣсти, драмѣ, комедіи, но и къ лирическимъ поэмамъ. «Фаустъ» Гёте — міровое, обще-человѣческое произведеніе; но тѣмъ не менѣе, читая его, вы видите, что оно могло родиться только въ фантазіи Нѣмца, и Байроновъ «Манфредъ», явно навѣянный «Фаустомъ», уже нисколько не вѣетъ германскимъ духомъ. Хотя Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, выводилъ и не однихъ Англичанъ, но Французовъ, и Нѣмцевъ, и Итальянцевъ, и даже древнихъ Римлянъ и Грековъ; но, читая его, вы понимаете, что только въ Англіи могъ явиться такой драматургъ: кому эта мысль показалась бы странною, тѣхъ просимъ прочесть въ «Отечественныхъ Запискахъ» (томъ XV, 1841, книжка 4, Науки), статью Филарета Шаля «Марія Стюартъ»: этотъ историческій отрывокъ представляетъ всѣ элементы драмы, кроющіеся въ англійской исторіи. Какъ ни разнообразенъ, какъ ни мірообъемлющъ Гете въ своихъ созданіяхъ, но каждое изъ нихъ вѣетъ нѣмецкимъ и, сверхъ того, еще «Гетевскимъ» духомъ. Хотя въ большой части лирическихъ піесъ Пушкина, и даже въ нѣкоторыхъ эпическихъ его произведеніяхъ, какъ въ Донъ - Хуанѣ», и содержаніе, и форма, повиди-

мому, чисто европейскія; но и въ нихъ Пушкинъ является истиннымъ національнымъ русскимъ поэтомъ, уже по одному тому, что ихъ никогда нельзя смѣшать ни съ Байроновскими, ни съ Гётевскими, ни съ Шиллеровскими созданіями, и нельзя иначе назвать, какъ «Пушкинскими». Повторяемъ это необходимо, это лежитъ въ сущности творчества: изъ какого бы міра ни бралъ поэтъ содержаніе для своихъ созданій, къ какой бы націи ни принадлежали его герои, самъ онъ всегда остается представителемъ духа своей націи, смотритъ на предметы *ея* глазами и кладетъ на нихъ *ея* печать. И чѣмъ геніяльнѣе поэтъ, тѣмъ общѣе его созданія, а чѣмъ они общѣе, тѣмъ національнѣе и оригинальнѣе. Чѣмъ отличается геній отъ таланта?—тѣмъ, что будучи оригинальнымъ, онъ въ то же время и общѣе таланта. Гофманъ великій талантъ, но онъ далеко низшее явленіе въ сравненіи съ Гёте и Шиллеромъ: онъ выразилъ только одну сторону германскаго духа, тогда какъ тѣ, каждый по своему, изчерпали всю глубину его, выразили всѣ стороны его. И потому, оригинальность Гофмана для многихъ кажется странностію, и многіе люди съ эстетическимъ чувствомъ, понимая Шиллера и Гете, не понимаютъ Гофмана. Причина этому не оригинальность Гофмана, а ея источникъ, не довольно общій, чтобъ могъ возвысить ее до абсолютнаго; оригинальность все-таки остается необходимымъ условіемъ не только генія, но даже самаго значительнаго таланта: только сфера бездарности отличается безличною общностью, для которой не существуетъ ни пространства, ни времени, ни націи, ни колорита, ни тона,—которая во всѣхъ странахъ и во всѣ времена, отъ начала міра до нашихъ дней, выражается однимъ языкомъ и одними и тѣми же словами.

Но условія обособленія общаго въ произведеніяхъ искусства не оканчиваются только національностію и оригинальностію: безъ типизма нѣтъ ни той, ни другой. Типъ (первообразъ) въ искусствѣ — то же, что родъ и видъ въ

природѣ, что герой въ исторіи. Въ типѣ заключается торжество органическаго слiянія двухъ крайностей — общаго и особнаго. Типическое лице есть представитель цѣлаго рода лицъ, нарицательное имя многихъ предметовъ, выражаемое однакоже собственнымъ именемъ. Такъ, напримѣръ, Отелло собственное имя, принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиромъ; но видя человѣка въ припадкѣ ревности, мы называемъ его Отелло, хотя бы этотъ человѣкъ назывался Иваномъ, или Петромъ, и былъ Русскій, или Нѣмецъ, а не Мавръ. Въ этомъ же смыслѣ, всѣ герои поэмъ, драмъ, и повѣстей Пушкина, «Горя отъ Ума» Грибоѣдова, повѣстей Гоголя — типы. Боже мой, если посмотрѣть, на сколькихъ людей приходится такъ ловко, какъ-будто по нихъ шито, достославное имя одного Ивана Александровича Хлестакова!... Это не эклектическое собраніе рѣзкихъ чертъ одной и той же идеи, а общая идея, обособившаяся въ художественно-созданномъ лицѣ, это лице и вмѣстѣ — идея; а какъ одна и та же идея является въ дѣйствительности въ безконечномъ разнообразіи, то въ лицѣ, вполнѣ выразившемъ ее собою, видится множество лицъ.

Но и здѣсь еще не конецъ условіямъ обособленія общаго въ искусствѣ. Художественное произведеніе должно быть цѣлымъ, единымъ, особнымъ и замкнутымъ въ себѣ міромъ. Въ немъ общая идея, пріявъ плоть и образъ, такъ сказать, приковывается къ пространству и времени, и притомъ къ извѣстному пространству и къ извѣстному времени. Оно овеществляется, явившись въ формѣ; но, дѣлаясь матеріею, оно не перестаетъ быть духомъ: принадлежа ничтожному клочку земли, на которомъ разыгралась драма, оно гражданинъ всего міра; принадлежа къ ничтожному мгновенію, въ которое совершилось событіе, оно достояніе вѣчности. И потому, художественное произведеніе и конечно и безконечно вмѣстѣ: конечно—потому что состоитъ въ кускѣ мрамора, въ лоскуткѣ полотна, въ книгѣ, можетъ быть взято руками, перене-

сено, истреблено, а главное потому, что выражаетъ одинъ извѣстный случай, небольшое число людей, или мгновенное ощущеніе; оно безконечно, потому что выраженный имъ случай заключаетъ въ себѣ возможность безчисленнаго множества подобныхъ случаевъ; изображенные имъ люди заключаютъ въ себѣ множество людей, которые были, есть и всегда могутъ быть, а мгновенное ощущеніе одного поэта есть достояніе, собственность милліоновъ людей,—словомъ, потому что въ его конечной формѣ выразилось безконечное, общее, непреходящее—идея, духъ. Кто не умѣетъ въ своемъ разумѣніи примирить этихъ двухъ противоположныхъ понятій—конечнаго и безконечнаго, тотъ правъ въ отношеніи къ себѣ, хотя и виноватъ передъ истиною, думая, что «Иліада» для насъ — мертвая буква, ибо-де «мы не Греки и не Римляне».

Истинное и полное сліяніе общаго съ особнымъ возможно только чрезъ уравновѣшеніе идеи съ формою, слѣдственно только въ художественной поэзіи. Мысль младенчествующаго народа всегда болѣе или менѣе темна, неопредѣленна, а потому и не можетъ найдти себѣ равновѣснаго выраженія въ формѣ. Мысль младенчествующаго народа есть не разумное сознаніе, возросшее до опредѣленности въ выраженіи, а только темное предощущеніе истины, которое, силясь выразиться, не говоритъ, а лепечетъ, дополняя условными знаками неуловимый для самой себя смыслъ своей рѣчи. Однимъ уже этимъ достаточно опредѣляется отношеніе естественной или народной поэзіи къ художественной поэзіи. Первая есть несвязный дѣтскій лепетъ; вторая—опредѣленное слово мужа. Первая намекаетъ, вторая полагаетъ и утверждаетъ. Художественная поэзія идетъ прямо къ своей цѣли, и таинственное, неизглаголанное выражаетъ въ опредѣленномъ словѣ; естественная поэзія прибѣгаетъ къ иносказанію, къ миѳу, которыхъ смыслъ можетъ провидѣть только посвященный, тогда какъ толпа видитъ одну басню и слѣпо вѣритъ

ей, какъ непреложному историческому факту. Но художественная поэзія находится въ тѣсномъ сродствѣ съ естественною, ибо такъ сказать выростаетъ на ея почвѣ. Оттого она такъ любитъ пользоваться миѳическими преданіями народа и, отдѣляя отъ нихъ все случайное, возсоздавать ихъ въ новой лѣпотѣ. Однакожь, эта живая, родственная связь, это отношеніе матери къ дочери, между естественною и художественною поэзіею возможно только при одномъ условіи, sine qua non: естественная поэзія только тогда можетъ развиться изъ самой себя въ художественную, когда она полна элементовъ «общаго». Для доказательства этого стоитъ только указать на греческій и тевтонско германскій міръ. Прометей похитилъ съ неба огонь, возжегъ теплотою и свѣтомъ дотолѣ мертвыя тѣла людей; Зевсъ, увидѣвъ въ этомъ возстаніе противъ боговъ, въ наказаніе приковалъ Прометея къ скалѣ Кавказскихъ горъ и приставилъ къ нему коршуна, который безпрестанно терзаетъ внутренности Прометея, безпрестанно заростающія. Зевсъ ожидаетъ отъ преступника покорности; но жертва горделиво сноситъ свои страданія и презрѣніемъ отвѣчаетъ палачу своему. Вотъ миѳъ, котораго однако достаточно, чтобы служить источникомъ и почвою, для развитія величайшей художественной поэзіи, а у Грековъ было множество такихъ миѳовъ, находившихся въ живой, органической связи между собою, и переданныхъ имъ, какъ откровеніе абсолютныхъ истинъ, самою ихъ природою. И потому удивительно ли, что подобный миѳъ могъ дать содержаніе для величайшей трагедіи одному изъ величайшихъ національныхъ геніевъ—Эсхилу? Удивительно-ли, что тотъ же самый миѳъ могъ дать содержаніе генію новѣйшаго времени—Гете, для одного изъ колоссальнѣйшихъ его произведеній—«Прометей»? Поговоримъ о первомъ, чтобъ проникнуть въ мысль миѳа и въ его баснѣ провидѣть о б щ е е с о д е р ж а н і е.

Кратосъ (сила, могущество, власть, авторитетъ), Біа (сила) и Гефестъ (богъ огня) приводятъ Прометея (про-

видца) къ скалѣ Кавказскихъ горъ, чтобы приковать его къ ней по повелѣнію Зевса. Кратосъ велитъ Гефесту немедленно приступить къ дѣлу: «Прометей», говоритъ онъ: «похитилъ огонь, лучшее твое достояніе и орудіе всѣхъ искусствъ, и сообщилъ его смертнымъ; за это преступленіе онъ долженъ испытать величайшія муки — да научится покориться волѣ Зевса». Гефестъ повинуется, но изъявляетъ Прометею свое сожалѣніе, какъ равному себѣ богу, и притомъ караемому за доброе дѣло. «Смѣлый сынъ Ѳемиды (правосудія, справедливости), я противъ тебя и противъ себя долженъ приковать тебя къ этому утесу неразрушимыми цѣпями; вотъ что пріобрѣлъ ты за свою филантропію (любовь къ людямъ)! Напрасно будешь ты жаловаться и стенать: сердце Зевса непреклонно, ибо новый повелитель всегда жестокъ бываетъ» [1]). Кратосъ упрекаетъ Гефеста за его состраданіе къ Прометею, какъ за слабость, и Гефестъ, не переставая изъявлять Прометею своего соболѣзнованія, приковываетъ къ утесу обѣ его руки, приковываетъ ноги и вбиваетъ въ грудь желѣзный гвоздь. Кратосъ саркастически издѣвается надъ страдальцемъ: «Хвались теперь, съ обычною твоею гордостію», говоритъ онъ: «хвались похищеніемъ божественныхъ сокровищъ, которыя ты передалъ своимъ эфемерамъ! Кто изъ нихъ облегчитъ твои мученія? Ошибаются называющіе тебя Прометеемъ (провидцемъ); тебѣ неприлично это имя: тебѣ бы самому нуженъ былъ Прометей для предохраненія тебя отъ этого бѣдственнаго положенія». Кратосъ, Біа и Гефестъ уходятъ; Прометей, хранившій дотолѣ молчаніе, призываетъ въ свидѣтели сдѣланнаго ему насилія эѳиръ, вѣтры, источники рѣкъ, волны морскія и землю—матерь всего существующаго. «Но», говоритъ онъ: «къ чему это? Я предвижу все, что должно случиться—не мнѣ страшиться непредвидѣнныхъ бѣдствій: зная непобѣдимую силу необходимости, предадимся

[1]) Намекъ на похищеніе Зевсомъ Кронова престола.

опредѣленію судьбы!» Является хоръ морскихъ нимфъ, дщерей Океана, жалобно взывающій во изъявленіе своего сострадапія къ Прометею. Хоръ говоритъ ему, что удары Гефестова молота отдались даже въ бездпахъ моря, и что возмущенныя этимъ нимфы поспѣшили сюда на колесницѣ, полунагія и босыя. Утѣшая Прометея, онѣ обвиняютъ Кронида въ несправедливости и жестокосердіи. Тогда Прометей говоритъ имъ, что Зевсъ долженъ будетъ прибѣгнуть къ нему же, чтобъ узнать о новомъ врагѣ, долженствующемъ низвергнуть его съ престола; но что тщетно будетъ умолять его и грозить ему, ибо онъ рѣшился хранить тайну. Далѣе, Прометей разсказываетъ нимфамъ свою исторію, начиная ее съ борьбы между Кроиомъ и Зевсомъ, который побѣдилъ Крона, слѣдуя совѣтамъ Прометея. «И вотъ какъ вознаградилъ онъ меня! Но никому не довѣрять, даже друзьямъ своимъ—обыкновенная болѣзнь тирановъ!» Далѣе разсказываетъ, что Зевсъ, одолѣвъ Крона, началъ раздавать богамъ милости и дары, чтобъ утвердить свое владычество, а несчастныхъ смертныхъ рѣшился совершенно истребить: но что онъ, Прометей, одинъ воспротивился тому, сообщилъ людямъ огонь, могущій споспѣшествовать къ открытію многихъ искусствъ, просвѣтилъ и укрѣпилъ души ихъ, изцѣлилъ ихъ отъ боязни смерти, и возродилъ въ нихъ утѣшительную надежду... Наконецъ, Прометей убѣждаетъ нимфъ сойдти съ ихъ окрыленной колесницы, чтобъ удобнѣе разслушать повѣсть о его несчастіяхъ, и нимфы, оставляютъ «безоблачный эѳиръ, служащій птицамъ путемъ къ горячей вершинѣ скалы». Вдругъ появляется Океанъ на «птицѣ съ быстрыми крыльями», утѣшаетъ Прометея, совѣтуетъ ему не раздражать Зевса обидными выраженіями и обѣщаетъ выпросить ему у Кронида освобожденіе. Прометей отвѣчаетъ ему, что это будетъ безполезно для страдальца и опасно для ходатая, благодаритъ его за участіе и отказывается отъ помощи. По удаленіи Океана, Прометей говоритъ нимфамъ: «Если молчу я, то не думайте, что отъ гордости или оскорбленія; но я

въ мысляхъ пожираю сердце мое, видя себя столь несправедливо утѣсненнымъ». Потомъ онъ исчисляетъ свои благодѣянія людямъ и предрекаетъ, что владычество Зевса должно имѣть конецъ, что ему, Прометею, извѣстно какъ время, когда это совершится, такъ и имя того, кто низвергнетъ Кронида. На мольбу нимфъ открыть имъ эту тайну, Прометей возражаетъ: «Напрасно будете вы упрашивать: я долженъ и буду хранить эту ужасную тайну». Зевсъ посылаетъ Гермеса къ Прометею, чтобъ исторгнуть у него роковую тайну. Прометей говоритъ, что онъ знаетъ ее, но не скажетъ,—и въ горделивомъ презрѣніи къ низкому слугѣ, веселится мыслію о неизбѣжномъ паденіи его властелина. Гермесъ грозитъ ему молніями и громами тучегонителя; но Прометей непоколебимъ: въ сознаніи правоты своей, онъ презираетъ Зевеса и власть его. Молнія расшибаетъ скалу—и Прометей изчезаетъ вмѣстѣ съ нею...

Мы взяли бы на себя слишкомъ смѣлый и тяжелый трудъ, еслибъ захотѣли объяснить удовлетворительно смыслъ великаго миѳа о «Прометеѣ», и потому довольно будетъ намекнуть на него.

Прометей и Зевсъ—это божество, раздѣлившееся на самого себя, это сознаніе, распавшееся на двѣ стороны, которыя, по закону діалектическаго развитія, враждебно стали одна къ другой. Зевсъ—это непосредственная полнота сознанія; Прометей—это сила разсуждающая, духъ, непризнающій никакихъ авторитетовъ, кромѣ разума и справедливости. Зевсъ возсталъ на отца своего, Крона, съ громами и молніями; Прометей возсталъ на Зевса съ мыслію и словомъ. Прометей въ правѣ былъ сказать своему могучему противнику: «ты сердишься, Юпитеръ: слѣдовательно, ты не правъ»! И потому Зевсъ могъ его уничтожить, но не устрашить и не преклонить. Горделивая твердость, полное сознаніе своего достоинства и своей правоты, самоотверженіе Прометея было оправданіемъ его пророчества о концѣ власти Зевса: Зевсъ

не правъ, и потому долженъ будетъ уступить свое владычество другой, болѣе справедливой власти. Что́ же значитъ коршунъ, терзавшій безпрестанно сроставшіяся внутренности похитителя небеснаго огня?—На это у Эсхила лучшій отвѣтъ даетъ самъ Прометей: «Я въ мысляхъ пожираю сердце мое»! Это грустная дума, какъ червь, грызущая сердце и подтачивающая корни жизни; это муки распаденія. Зевсъ не правъ, но онъ еще существуетъ, и власть его еще сильна—онъ еще мститъ своему противнику; зачѣмъ же онъ силенъ, если онъ не правъ? Затѣмъ, что Прометею суждено только начать великое дѣло, а не кончить его; онъ только очистительная жертва общаго дѣла, а не торжествующій побѣдитель; онъ далъ движеніе сознанію, которое безъ него коснѣло бы въ недѣятельности, но онъ еще не видѣлъ результата сознанія; онъ началъ борьбу, но не ему суждена полная побѣда. Что́ же такое огонь, похищенный Прометеемъ съ неба и сообщенный имъ людямъ?—Это мысль, сознаніе, пробудившее людей отъ мертваго сна животной непосредственности. Прометей далъ знать людямъ, что въ истинѣ и знаніи они—боги, что громы и молніи еще не доказательства правоты, а только доказательства неправой власти. Пробуждено сознаніе въ людяхъ,—и паденіе Зевса уже неизбѣжно; рано или поздно, но алтари его сокрушатся, и колѣни смертныхъ преклонятся предъ Богомъ правды и истины, любви и милости... Глубокознаменательный миѳъ, необъятный, какъ вселенная, вѣчный, какъ разумъ!...

«Прометей» Гете, въ нѣкоторомъ смыслѣ, есть поэтическій коментарій на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснѣе, опредѣленнѣе, развитая подробнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль, получившая новую силу и новое значеніе въ слѣдствіе всемірно-историческаго развитія. Борьба идеи съ авторитетомъ не кончилась съ Прометеемъ: она не разъ возобновлялась, и даже едва ли еще рѣшена и теперь. Достовѣрно можно сказать только, что

вопросъ теперь вполнѣ уяснился, и Прометеи нашего времени заранѣе торжествуютъ побѣду и уже не боятся хищнаго коршуна. Отъ этого «Прометей» Гете имѣетъ для насъ значеніе самобытнаго созданія, и по преимуществу есть поэма нашего времени. Мы слишкомъ отдалились бы отъ своего предмета, еслибъ стали излагать содержаніе великой поэмы Гете; но слѣдующій отрывокъ можетъ намекнуть на ея основную мысль. Прометей начисто отказываетъ Меркурію въ повиновеніи богамъ; Меркурій напоминаетъ ему, что они заботились о немъ, когда онъ былъ дитятею; Прометей ему отвѣчаетъ:

За это тѣшились они
Моимъ повиновеньемъ
И мной ребенкомъ управляли
По вѣтру прихотей своихъ.

Меркурій.

Они тебѣ защитой были.

Прометей.

А отъ чего?—отъ бѣдствій,
Передъ которыми дрожали сами?
Они предохранили развѣ сердце
Отъ змѣй, меня снѣдавшихъ втайнѣ?
Они ли оковали силой грудь
На страхъ Титанамъ?
Не время-ль мужемъ сдѣлало меня,
Всесильное, единственное время.
Нашъ общій властелинъ?

Меркурій.

Несчастный! ты богамъ безсмертнымъ
Дерзаешь это говорить?

Прометей.

Богамъ?—А я не богъ?...
Всесильные! безсмертные!
Ну, что́ вы?
Вы можете ли все пространство
И небо и земли
Въ десницѣ заключить моей?
Властны ли вы

Меня отъ самого себя отторгнуть?
Вы можете ли увеличить,
Распространить меня на цѣлый міръ?

Меркурій.

Судьба!

Прометей.

Ея могущество
Ты, стало, признаешь?
Я также.
Иди, я не служу рабамъ!

Не даромъ боги греческіе признавали надъ собою неотразимую власть судьбы: судьба—это была та темная граница, за которую не переступало созданіе древнихъ; христіянство перешагнуло чрезъ эту границу, и послѣдній, великій представитель язычества Юліанъ тщетно силился поддержать всею силою своего генія сокрушающіеся алтари боговъ: они пали сами собою...

«Иліада» — народное произведеніе; но посмотрите, какъ общи элементы этого дивнаго созданія древности! Оставляя въ сторонѣ его основную мысль, оставляя въ сторонѣ всѣхъ другихъ героевъ, взглянемъ только на Ахилла. Рьяный и могучій герой, онъ тяжко оскорбленъ Агамемнономъ; онъ могъ бы вызвать его на бой, какъ равный равнаго, какъ царь царя; онъ побѣдилъ бы его, какъ герой и полубогъ, а если бы и палъ самъ, по крайней-мѣрѣ не пережилъ бы позора обиды. И что же? Онъ удаляется въ шатеръ, играетъ на лирѣ и льетъ тихія слезы... Что ему побѣда и отмщеніе? ему нужна справедливость; его сердце страждетъ не отъ безсилія, а отъ несправедливости; ему нужна не побѣда, а справедливость со стороны обидчика... Видите ли вы здѣсь «человѣка» въ эпоху звѣрскаго героизма?.. Убитъ другъ его юности, братъ его сердца,—онъ, могучій, бросается на землю, покрываетъ пепломъ свою прекрасную голову, бьетъ себя въ перси, горько рыдаетъ, не зная сна и пищи. Но наступила минута—и онъ возстаетъ, страшный, могучій, и

горе тебѣ, Гекторъ, убійца Патрокла! Двѣнадцать полоненныхъ юношей принесено въ жертву горестной тѣни Патрокла: связанные, пали они отъ копья Пелида... Звѣрство!— скажете вы; но тогда было время звѣрства, и тѣмъ утѣшительнѣе видѣть проблески человѣчности въ самыхъ звѣряхъ. Мщеніе не утоляетъ тоски Ахилла; много принесено кровавыхъ жертвъ Патроклу; самъ убійца его, Гекторъ, палъ отъ руки Ахилла, а Ахиллъ по прежнему не смыкаетъ глазъ, стеня и рыдая... Только разъ сомкнулись на минуту очи героя—и ему явилась блѣдная, молящая тѣнь безвременно погибшаго друга—

Призракъ величіемъ съ нимъ и очами прекрасными сходный;
Та жь и одежда, и голосъ тотъ самый, сердцу знакомый!

Безщадно губя Троянъ, Ахиллъ встрѣчается съ однимъ изъ Пріамовыхъ сыновей: обнимая колѣни губителя, молитъ его несчастная жертва о пощадѣ и жизни, обѣщая за себя богатый выкупъ;

.........но услышалъ не жалостный голосъ:
„Что̀ мнѣ вѣщаешь о выкупахъ, что̀ говоришь ты, безумный?
„Такъ, доколѣ Патроклъ наслаждался сіяніемъ солнца,
„Миловать Трои сыновъ мнѣ иногда было пріятно,
„Многихъ изъ васъ полонилъ, и за многихъ выкупъ я принялъ.
„Нынѣ, пощады вамъ нѣтъ никому, кого только демонъ
„Въ руки мои приведетъ подъ стѣнами Пріамовой Трои!
„Всѣмъ вамъ Троянамъ смерть, и особенно дѣтямъ Пріама!
Такъ, мой любезный, умри! И о чемъ ты столько рыдаешь?
„Умеръ Патроклъ, несравненно тебя превосходнѣйшій смертный!
„Видишь, каковъ я и самъ: и красивъ и величественъ видомъ:
„Сынъ отца знаменитаго; матерь имѣю богиню!
„Но и мнѣ на землѣ отъ могучей судьбы не избѣгнуть;
„Смерть прійдетъ и ко мнѣ поутру, ввечеру, или въ полдень,
„Быстро, лишь врагъ и мою на сраженіяхъ душу исторгнетъ,
„Или копьемъ поразивъ, иль крылатой стрѣлою изъ лука.
(Пѣснь XXI).

Кто не увидитъ въ этомъ героя и полубога? А героическое и божественное только во общемъ, въ идеѣ. По «Иліада».

какъ и всѣ произведенія Греціи, нейдетъ въ примѣръ народной поэзіи, полной элементовъ «общаго»: въ греческой поэзіи совершился процессъ гармоническаго уравновѣшенія идеи съ формою, и потому греческая поэзія, будучи народною, въ то же время и художественна въ высшей степени и не въ примѣръ другимъ. Если мы ссылались на нее, то для того чтобъ яснѣе, живымъ фактомъ, объяснить читателямъ, что́ мы разумѣемъ подъ «элементами общаго» въ искусствѣ. Теперь мы можемъ обратиться къ поэзіи чисто-народной, совершенно естественной, но въ то же время и полной «элементами общаго»—къ поэзіи народовъ тевтонскаго племени, представителей новѣйшаго европеизма. Здѣсь мы будемъ кратки, ибо послѣ предшествовавшихъ объясненій намъ достаточно самыхъ легкихъ указаній. Итакъ, прежде всего просимъ читателей вспомнить разборъ нашъ Тегнерова «Фритіофа», переведеннаго по-русски г. Гротомъ [1]). Дѣйствіе этой поэмы происходитъ во времена варварства; но сколько человѣческаго, великаго, возвышеннаго совершается въ это время варварства! Какія дивныя сѣмена мысли кроются въ дѣлахъ, чувствахъ и воззрѣніи на жизнь этихъ полудикихъ Скандинавовъ! Это міръ рыцарства въ зародышѣ, это міръ великихъ подвиговъ, благороднаго самоотверженія, обожанія чести, славы и красоты, міръ доблести, любви, вѣрности обѣтамъ, неизмѣняемости клятвъ, міръ возвышенныхъ страстей, стремленіе къ безконечному, общественной нравственности! Чтобъ не зайти далеко въ отступленіе, укажемъ только на отвѣтъ Фритіофа пѣстуну его, представлявшему ему несбыточность его надеждъ, высокость сана обожаемой имъ женщины.

Нѣтъ, женамъ мужество любезно.
И сила стоитъ красоты!

Итакъ, для этихъ дикихъ сыновъ Сѣвера уже было рѣшено, что красота—великое явленіе духа, что ей всѣ жертвы,

---

1) См. ниже въ библіографіи 1841 г.

все обожаніе, что ей и сладчайшія надежды пылкой юности, и умиленный восторгъ сѣдой старости... Да, для этихъ разбойническихъ ордъ, грабившихъ Европу, вопросъ о достоинствѣ красоты былъ уже рѣшенъ... Кто же зародилъ въ нихъ этотъ вопросъ? кто рѣшилъ его имъ?—Никто; по крайней мѣрѣ, не они: все это было непосредственнымъ проявленіемъ національной субстанціи ихъ духа... Итакъ, красотѣ отданы всѣ ея права: варваръ Норманъ настаиваетъ только на томъ что и мужество стóитъ красоты. Слѣдовательно, по его понятію, женщина была не хозяйка, а представительница красоты на землѣ, вдохновительница на высокіе подвиги и награда за нихъ; мущина не хозяинъ, а представитель силы и могущества, подвигоположникъ; тотъ и другая вмѣстѣ—дубъ, осѣняющій широколиственными вѣтвями прекрасную розу... Какое вѣрное понятіе объ отношеніяхъ пóловъ! въ немъ видна мысль.

Теперь скажемъ, или лучше, перескажемъ одну нѣмецкую богатырскую сказку;—оно же и кстати, потому что сейчасъ намъ должно будетъ говорить о русскихъ сказкахъ.—Въ миѳическія времена Германіи, гораздо задолго до Тацита, оставившаго намъ извѣстія о древне-германскомъ бытѣ, жилъ богатырь, огромный, преогромный, до того, что высочайшіе сосны и дубы, которые вырывалъ онъ съ корнемъ могучею рукою, едва годились ему на посохи. У этого богатыря былъ другъ, тоже великій богатырь; и еще была у него—какъ бы сказать? — понашему, по-русски — любовница или полюбовница; а по-нѣмецки Geliebte—возлюбленная. (Кстати: наши русскія слова «любовникъ и любовница» ужасно опошлились, такъ что дерутъ уши, а «возлюбленный» и «возлюбленная» немного отзываются «высокимъ слогомъ»)... И вотъ Geliebte или возлюбленная богатыря влюбилась въ его друга, да и давай преслѣдовать его своею любовью; но, вѣрный дружбѣ, честный богатырь съ богатырскою рѣшимостію отвергнулъ ея любовь. Оскорбленная отказомъ, она замѣняетъ любовь

мщепіемъ и клеветами; докуками, ласками, доводитъ своего мужа до того, что онъ убиваетъ своего друга соннаго... Но это было съ его стороны не злодѣйствомъ, а минутою слабости; поддавшись обаянію любимой женщины, онъ вдругъ просыпается въ сознаніи своего ужаснаго преступленія. «Поди отъ меня прочь»! говоритъ онъ обольстительницѣ; «ты не нужна мнѣ больше; изъ любви къ тебѣ я сдѣлалъ злодѣйство—убилъ моего друга, моего брата; послѣ этого, я не могу ни любить тебя больше, ни жить»! И на могильномъ холмѣ своего друга онъ принесъ себя въ жертву его оскорбленной тѣни.

Жалѣемъ, что на этотъ разъ, не имѣя подъ рукою источника, мы не могли передать этой трагической легенды ея собственными простодушными и энергическими словами, но изъ нашего полушуточнаго разсказа читатели поймутъ въ чемъ дѣло,—и въ грубой сказкѣ увидятъ основанія человѣчности, элементы «общаго»... Послѣ этого понятно, какъ могла у Нѣмцевъ явиться такая великая, такая самобытная художественная литература: для нея была готова родная почва, богатая дивными сѣменами... Теперь мы можемъ обратиться къ русской народной поэзіи на основаніи сборниковъ, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ этой статьи.

3.

Поэзія всякаго народа находится въ тѣсномъ соотношеніи съ его исторіею; въ поэзіи и въ исторіи равнымъ образомъ заключается таинственная психея народа, и потому его исторія можетъ объясняться поэзіею, а поэзія исторіею. Мы разумѣемъ здѣсь внутреннюю исторію народа, которою объясняются внѣшнія и случайныя событія въ его жизни. Но какъ есть народы, существовавшіе только внѣшнимъ образомъ, то ихъ поэзія можетъ служить не объясненіемъ ихъ исто-

ріи, а только объясненіемъ ничтожества ихъ исторіи. Источникъ внутренней исторіи народа заключается въ его «міросозерцаніи», или его непосредственномъ взглядѣ на міръ и тайну бытія. Міросозерцаніе народа выказывается прежде всего въ его религіозныхъ миѳахъ. На этой точкѣ, обыкновенно, поэзія слита съ религіею, и жрецъ есть или поэтъ, или истолкователь миѳическихъ поэмъ. Естественно, эти поэмы самыя древнѣйшія. Въ вѣкъ героизма, поэзія начинаетъ отдѣляться отъ религіи и составляетъ особую, болѣе независимую область народнаго сознанія. За героическимъ періодомъ жизни народа слѣдуетъ періодъ гражданской и семейной жизни. На этой точкѣ поэзія дѣлается вполнѣ самостоятельною областію народнаго сознанія, переходитъ въ дѣйствительную жизнь, начинаетъ совпадать съ прозою жизни, изъ поэмы становится романомъ, изъ гимна пѣснію; тогда же возникаетъ и драма, какъ трагедія и комедія. Въ послѣднемъ періодѣ, поэзія изъ естественной или народной дѣлается художественною. Если же народъ, переживъ миѳическій и героическій періодъ своей жизни, не пробуждается къ сознанію и переходитъ не въ гражданственность, основанную на разумномъ развитіи, а въ общественность, основанную на преданіи, и остается въ естественной безсознательности семейнаго быта и патріархальныхъ отношеній,—тогда у него не можетъ быть художественной поэзіи, не можетъ быть ни романа, ни драмы. Эпопею его составляютъ сказка и историческая пѣсня, которой характеръ, по большей части, опять таки сказочный. Сравненіе казацкихъ малороссійскихъ пѣсенъ съ русскими историческими пѣснями лучше всего подтверждаетъ нашу мысль: характеръ первыхъ—поэтически-историческій; характеръ вторыхъ, какъ мы увидимъ далѣе, чисто-сказочный, и притомъ больше прозаическій, чѣмъ поэтическій. Лирическая поэзія всякаго, хоть бы и гражданскаго, но еще не сознавшаго себя общества, состоитъ только въ пѣсни—простодушномъ изліяніи горя или радости сердца, въ

тѣсномъ и ограниченномъ кругу общественныхъ и семейныхъ отношеній. Это или жалоба женщины, разлученной съ милымъ сердца и насильно выданной за немилаго и постылаго, тоска по родинѣ, заключающейся въ родномъ домѣ и родномъ селѣ, ропотъ на чужбину, на варварское обращеніе мужа и свекрови. Если герой пѣсни мущина, тогда—воспоминаніе о милой, ненависть къ женѣ, или ропотъ на горькую долю молодецкую, или звуки дикаго, отчаяннаго веселія—насильственный мгновенный выходъ изъ рвущей душу тяжелой тоски. Таково, по большей части, содержаніе всѣхъ русскихъ народныхъ пѣсенъ. Это содержаніе почти всегда одно и то же; разнообразія и оттѣнковъ чувства нѣтъ, а мысль вся заключается въ монотонномъ и простодушномъ чувствѣ. Такая поэзія лучше самой исторіи свидѣтельствуетъ о внутреннемъ бытѣ народа, можетъ служить мѣркою его гражданственности, повѣркою его человѣчности, зеркаломъ его духа. Такая поэзія нѣма и безполезна для людей чуждой націи, и понятна только для того народа, въ которомъ родилась она,—подобно безсвязному лепету младенца, понятному и разумному только для любящей его матери.

Въ миѳической и героической поэзіи народа заключается субстанція его духа, по которой, какъ по данному факту, можно судить о томъ, чѣмъ будетъ народъ, что и какъ можетъ изъ него развиться въ послѣдствіи. Здѣсь слова «что и какъ» показываютъ историческую судьбу народа: такъ напримѣръ, мы увидимъ ниже, что изъ памятниковъ русской народной поэзіи можно доказать великій и могучій духъ народа... Вся наша народная поэзія есть живое свидѣтельство безконечной силы духа, которому надлежало однакожь быть возбужденному извнѣ. Отсюда понятно, почему величайшій представитель русскаго духа—Петръ Великій, совершенно отрывая свой народъ отъ его прошедшаго, стремясь сдѣлать изъ него совсѣмъ другой народъ, все-таки провидѣлъ въ немъ великую націю и не вотще пророчествовалъ

о ея великомъ назначеніи въ будущемъ. Отсюда же понятно, почему величайшій и по преимуществу національный русскій поэтъ—Пушкинъ, воспиталъ свою музу не на материнскомъ лонѣ народной поэзіи, а на европейской почвѣ; былъ приготовленъ не «Словомъ о Пълку Игоревомъ», не сказочными поэмами Кирши Данилова, не простонародными пѣснями, а Ломоносовымъ, Державинымъ, Фонъ-Визинымъ, Богдановичемъ, Крыловымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ—писателями и поэтами подражательными и нисколько не національными, за исключеніемъ одного Крылова, котораго басни, будучи національными, все-таки не суть вполнѣ самобытное явленіе, ибо ихъ образцы найдены Крыловымъ не въ народной поэзіи, а у Француза Лафонтена. Такова естественная поэзія всѣхъ славянскихъ племенъ; богатая чувствомъ и выраженіемъ, она бѣдна содержаніемъ, чужда элементовъ общаго, и потому не могла сама собою развиться въ художественную поэзію. Если Русскіе, и можетъ-быть, еще Чехи, могутъ гордиться нѣсколькими великими или примѣчательными поэтическими именами, — они первоначально обязаны этимъ соприкосновенности своей исторіи къ исторіи Европы и усвоеннымъ у Европы элементамъ жизни. Прочія славянскія племена—Болгары, Сербы, Далматы, Иллирійцы и другія, остались при одной народной поэзіи, которая безсильна возвыситься на степень художественной. Что же касается до Малороссіянъ, то смѣшно и думать, чтобъ изъ ихъ, впрочемъ прекрасной, народной поэзіи могло теперь что-нибудь развиться: изъ нея не только ничего не можетъ развиться, но и сама она остановилась еще со временъ Петра Великаго; двинуть ее возможно тогда только, когда лучшая, благороднѣйшая часть малороссійскаго населенія оставитъ французскую кадриль и снова примется плясать тропака и гопака, фракъ и сюртукъ перемѣнитъ на жупанъ и свитку, выбрѣетъ голову, отпуститъ оселедецъ, — словомъ, изъ состоянія цивилизаціи,

образованности и человѣчности (пріобрѣтеніемъ которыхъ Малороссія обязана соединенію съ Россіею) снова обратится къ прежнему варварству и невѣжеству. Литературнымъ языкомъ Малороссіянъ долженъ быть языкъ ихъ образованнаго общества — языкъ русскій. Если въ Малороссіи и можетъ явиться великій поэтъ, то не иначе, какъ подъ условіемъ, чтобъ онъ былъ русскимъ поэтомъ, сыномъ Россіи, горячо принимающимъ къ сердцу ея интересы, страдающимъ ея страданіемъ, радующимся ея радостію. Племя можетъ имѣть только народныя пѣсни, но не можетъ имѣть поэтовъ, а тѣмъ менѣе великихъ поэтовъ: великіе поэты являются только у великихъ націй, а что за нація безъ великаго и самобытнаго политическаго значенія? Живое доказательство этой истины въ Гоголѣ: въ его поэзіи много чисто-малороссійскихъ элементовъ, какихъ нѣтъ и быть не можетъ въ русской; но кто же назоветъ его малороссійскимъ поэтомъ? Равнымъ образомъ, не прихоть и не случайность заставили его писать по-русски, не по-малороссійски, но глубоко-разумная внутренняя причина, — чему лучшимъ доказательствомъ можетъ служить то, что на малороссійскій языкъ нельзя перевести даже «Тараса Бульбу», не только «Невскаго Проспекта». Правда, содержаніе «Тараса Бульбы» взято изъ сферы народной жизни, но въ немъ авторъ не былъ поглощенъ своимъ предметомъ: онъ былъ выше его, владычествовалъ надъ нимъ, видѣлъ его не въ себѣ, а передъ собою, и потому во многихъ мѣстахъ его разсказа замѣтенъ его личный взглядъ, его субъективное воззрѣніе;—эти-то мѣста и нельзя передать на малороссійское нарѣчіе, не опростонародивъ, такъ-сказать омужичивъ ихъ,—не говоримъ уже о томъ, что вся повѣсть, исключая разговоровъ дѣйствующихъ лицъ, написана литературнымъ языкомъ, какимъ никогда не можетъ быть языкъ малороссійскій, сдѣлавшійся теперь провинціяльнымъ и простонароднымъ нарѣчіемъ.

Мы сказали, что племя, или даже народъ еще не пробу-

дившійся изъ естественнаго состоянія къ самосознанію, можетъ имѣть только народныя поэмы и пѣсни, но не можетъ имѣть поэтовъ, а тѣмъ болѣе—великихъ поэтовъ. Истина этого положенія доказывается самыми фактами. Кромѣ Грековъ, которые по причинамъ, изложеннымъ нами во второй статьѣ, не могутъ служить примѣромъ, когда дѣло идетъ о чисто-народной (въ смыслѣ естественной, непосредственной) поэзіи,—кромѣ Грековъ, у всѣхъ народовъ или мало извѣстны, или и совсѣмъ неизвѣстны творцы народныхъ произведеній; но вездѣ самъ народъ является ихъ творцомъ. Разумѣется, всякое отдѣльное народное произведеніе было обязано своимъ началомъ одному лицу, которое, съ горя или съ радости, вдругъ запѣло его; но, во первыхъ, это лице, сочинивъ, или, говоря его собственнымъ языкомъ, сложивъ пѣсню, само не знало, что оно—поэтъ, и смотрѣло на свое дѣло не какъ на дѣло, а скорѣе какъ на бездѣлье отъ нечего дѣлать; во вторыхъ, пѣсня, переходя изъ устъ въ уста, претерпѣвала много измѣненій, то увеличиваясь, то убавляясь, то улучшаясь, то искажаясь, смотря по степени присутствія или отсутствія поэтическаго чувства въ пѣвшихъ ее. Если у народа нѣтъ письменъ,—его поэтическія произведенія по необходимости хранятся въ народной памяти и изустно передаются отъ поколѣнія къ поколѣнію; если у народа есть письмена,—его поэтическія произведенія опять-таки хранятся въ памяти и живутъ въ устахъ его, потому что народъ, невозросшій до самопознанія, почитаетъ униженіемъ для высокаго искусства писанія заниматься «пересыпаньемъ изъ пустаго въ порожнѣе», т. е. поэзію. Такъ, по крайней мѣрѣ, было на Руси, хотя и не такъ было даже у восточныхъ народовъ—Индусовъ, Арабовъ, Персовъ, Китайцевъ и другихъ. Какія бы ни были причины этого явленія, но авторомъ русской народной поэзіи является самъ русскій народъ, а не отдѣльныя его лица,—и скудная сокровищница его произведеній состоитъ большею частію изъ безчисленныхъ варіан-

товъ слишкомъ немногихъ текстовъ. Обратимся къ нимъ и начнемъ съ эпическихъ произведеній.

Эпическія поэмы бываютъ трехъ родовъ: космогоническія и миѳическія, въ которыхъ выражается непосредственное воззрѣніе народа на происхожденіе міра, религіозныя и философическія созерцанія; сказочныя, въ которыхъ видна особенность народной фантазіи, и которыя составляютъ эхо баснословно-героическаго быта младенчествующаго народа, и историческія, въ которыхъ хранятся поэтическія преданія объ исторической жизни народа уже ставшаго государствомъ. Первыхъ, т. е. космогоническихъ и миѳическихъ, у насъ нѣтъ почти совсѣмъ, а еслибъ чтò въ этомъ родѣ и нашлось современемъ, такъ едва ли стоитъ вниманія. Причина очевидна: миѳологія всѣхъ Славянъ вообще, особенно сѣверо-восточныхъ, играла въ ихъ жизни слишкомъ незначительную роль. Одно слово Владиміра могло въ одинъ день и навсегда уничтожить наше язычество. Его подданные какъ-будто чувствовали, что не изъ чего хлопотать и не за чтó стоять,—а всѣ люди ужь такъ созданы, что изъ ничего и не бьются. Хотя г. Сахаровъ въ своей книгѣ «Сказанія Русскаго Народа» и сильно возстаетъ противъ Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова за искаженіе славяно-русской миѳологіи; но его, впрочемъ энергическое, возстаніе доказываетъ только, что совершенно не изъ чего и не за чтò было возставать, Г. Сахаровъ признаетъ истинными славянскими богами только тѣхъ, о которыхъ упоминается въ хроникѣ Нестора, а въ ней упоминается, и то вскользь, мимоходомъ, только о семи богахъ (Перунѣ, Волосѣ, Даждьбогѣ, Стрибогѣ, Семерглѣ, Хрсѣ, и Мокошѣ), почти безъ всякаго объясненія ихъ значенія, аттрибутовъ, обрядовъ богослуженія и пр. Г. Сахаровъ ожидаетъ отъ будущихъ трудовъ нашихъ археологовъ великихъ открытій и поясненій касательно славянской миѳологіи; чтó касается до насъ, мы ровно ничего не ожидаемъ, по самой простой причинѣ: археологія

прекрасная наука, но безъ данныхъ, безъ фактовъ, она рѣшительно ни къ чему не служитъ, потому что какъ ни мудрите, а изъ ничего не добьетесь ничего. Итакъ, этотъ предметъ, въ сторону:—на нѣтъ и суда нѣтъ; а если когда что найдется, такъ мы тогда и поговоримъ.

Древнѣйшій памятникъ русской народной поэзіи въ эпическомъ родѣ есть, безъ сомнѣнія, «Слово о Пълку Игоревѣ». Хоть извѣстно нѣсколько сказокъ, въ которыхъ упоминается о великомъ князѣ Владимірѣ красномъ солнышкѣ, о его знаменитыхъ богатыряхъ—Добрынѣ, Ильѣ Муромцѣ, Алешѣ Поповичѣ и пр., но эти сказки явно сложены въ гораздо позднѣйшее время, послѣ татарскаго владычества: въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго признака язычества, которое, каково бы оно ни было, не могло же не отразиться хоть внѣшнимъ образомъ въ современной ему эпохѣ, когда христіянство еще не успѣло утвердиться въ народѣ. Въ этихъ же сказкахъ незамѣтно ни малѣйшей смѣси языческихъ понятій съ христіянскими. Мало этого: духъ и тонъ этихъ сказокъ явно отзываются новѣйшимъ временемъ, когда Русь была уже переплавлена горниломъ татарскаго ига въ единое государство. Какая-то прозаичность въ выраженіи, простонародность въ чувствахъ и поговоркахъ царствуетъ въ этихъ сказкахъ. Ничего этого нѣтъ и тѣни въ «Словѣ о Пълку Игоревѣ»; это произведеніе явно современное воспѣтому въ немъ событію, и носитъ на себѣ отпечатокъ поэтическаго и человѣчнаго духа Южной Руси, еще незнавшей варварскаго ярма татарщины, чуждой грубости и дикости Сѣверной Руси. Въ «Словѣ» еще замѣтно вліяніе поэзіи языческаго быта; изложеніе его болѣе историческо-поэтическое, чѣмъ сказочное; не отличаясь особенною стройностію въ повѣствованіи, оно отличается благородствомъ тона и языка. Понятно, какъ нѣкоторымъ могла прійдти въ голову мысль, что это произведеніе есть поддѣлка въ родѣ Оссіановыхъ поэмъ: въ немъ боярыни не пьютъ зелена вина, не бьютъ другъ друга; нѣтъ пло-

щадныхъ выраженій, нѣтъ чудовищныхъ образовъ, нѣтъ признаковъ тѣхъ грубо-мѣщанскихъ обычаевъ, которыми преисполненъ сборникъ Кирши Данилова.

«Слово о Пълку Игоревѣ» подало поводъ къ жестокой войнѣ между нашими археологами и любителями древности: одни видятъ въ немъ дивное произведеніе поэзіи, великому поэму благодаря которой намъ нечего завидовать «Иліадѣ» Грековъ; другіе отвергаютъ древность его происхожденія, видятъ въ немъ позднѣйшее и притомъ поддѣльное произведеніе; третьи не видятъ въ «Словѣ» никакого поэтическаго достоинства. Что касается до насъ, мы рѣшительно несогласны ни съ тѣми, ни съ другими. «Слово о Пълку Игоревѣ» также похоже на «Иліаду», какъ Славяне его времени па Грековъ, а Игорь и Всеволодъ на Ахилла и Патрокла. Пѣвца «Слова» такъ же нельзя равнять съ Гомеромъ, какъ пастуха, прекрасно играющаго на рожкѣ, нельзя равнять съ Моцартомъ и Бетховеномъ. Но тѣмъ не менѣе это «Слово»—прекрасный, благоухающій цвѣтокъ славянской народной поэзіи, достойный вниманія, памяти и уваженія. Что же касается до того, точно ли «Слово» принадлежитъ XII или XIII вѣку, и не поддѣльное ли оно: на это сама поэма лучше всего отвѣчаетъ, если только объ ней судить на основаніи самой ея, а не по разнымъ внѣшнимъ соображеніямъ.

Очень жаль, что «Слово о Пълку Игоревѣ» можно читать только отрывками, потому что многія мѣста въ немъ искажены писцами до безсмыслицы, а нѣкоторыя темны потому, что относятся къ такимъ современнымъ обстоятельствамъ, которыя вовсе непонятны для русскихъ XIX вѣка. Да притомъ, кто поручится, что въ единственной найденной рукописи «Слова» не пропущены цѣлыя мѣста? Кому случилось читать въ рукописяхъ ходячія по рукамъ поэмы Пушкина, тотъ не будетъ удивляться искаженію «Слова» какимъ-нибудь безграмотнымъ и невѣжественнымъ писцомъ XIѴ-го или XѴ-го вѣка. Еслибъ по одному изъ подобныхъ списковъ надо

было возстановить черезъ два столѣтія текстъ, напримѣръ, хоть «Кавказскаго Плѣнника», то возстановитель принужденъ былъ бы отказаться отъ такого несовершимаго подвига. А что безсмыслицы и темноты «Слова о Пълку Игоревѣ» принадлежатъ не его автору, а писцу—неопровержимымъ доказательствомъ этому служатъ поэтическія красоты въ подробностяхъ и интересъ цѣлаго повѣствованія поэмы. Но возстановить текста нѣтъ никакой возможности: для этого необходимо имѣть нѣсколько рукописей, которыя можно было бы сличить. Хоть наши любители русской старины не только пытались объяснить и переводить сомнительныя мѣста въ поэмѣ, но и остались въ увѣренности, что успѣли въ этомъ, однакожь, мы тѣмъ не менѣе должны отказаться отъ мысли видѣть въ «Словѣ» полное и цѣлое произведеніе. Какъ бы то ни было, чтобъ сдѣлать заключеніе о поэтическомъ достоинствѣ этой поэмы, изложимъ ея содержаніе.

Авторъ «Слова» начинаетъ обращеніемъ къ слушателямъ, обѣщая имъ пѣсню по «былинамъ своего времени, а не по замышленію Бояню: Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Это указаніе на Бояна очень любопытно: значитъ, былъ человѣкъ, прославившійся пѣснями. Наши литераторы и піиты добраго стараго времени (которое, впрочемъ, очень недавно было еще новымъ) сдѣлали изъ Бояна нарицательное имя въ родѣ минстреля, трувера, трубадура, барда, и обрадовавшись этому, начали прославлять процвѣтаніе богатой русской литературы до XII вѣка. Но изъ «Слова» ясно видно, что Боянъ имя собственное, принадлежавшее одному лицу, вѣроятно жившему во времена язычества, или вскорѣ по его паденіи, которое было вмѣстѣ и паденіемъ поэзіи, съ тѣхъ поръ ставшей на Руси бѣсовскою потѣхою, «пересыпаньемъ изъ пустаго въ порожнее. «Частыя обращенія пѣвца Игорева къ Бояну,—обращенія исполненныя энтузіазма и благородныхъ поэтическихъ образовъ, не до-

пускаютъ никакого сомнѣнія въ существованіи этого Бояна, «соловья стараго времени». Конечно, это не былъ Гомеръ своего рода, какъ думалъ Шишковъ, ни даже что-нибудь похожее на творца «Иліады», но послѣ похвалъ даровитаго автора «Слова», нельзя не сожалѣть искренно о томъ, что время и невѣжество истребили пѣсни Бояна, который «своя вѣщіа прьсты на живыя струны вскладаше—они же сами княземъ славу рокотаху».

«Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря», говоритъ пѣвецъ, и начинаетъ совсѣмъ не съ стараго Владиміра, а прямо съ Игоря «иже истягну умъ крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрые плъки на землю половѣцьскую на землю русскую». Хочу, сказалъ онъ своей дружинѣ, переломить съ вами, Русичи, копье на землѣ половецкой, хочу либо положить свою голову, либо «испить шеломомъ Дону». Не буря занесла соколовъ чрезъ поля широкія—то летятъ стадами галицы (галки) къ Дону великому: тебѣ бы воспѣть это, внукъ Велесовъ, Боянъ вѣщій! Кони ржутъ за Сулою, гремитъ слава въ Кіевѣ; трубы трубятъ въ Новѣгрдѣ, вѣютъ знамена («стоятъ стязи») въ Путивлѣ; Игорь ждетъ милаго брата Всеволода. И молвилъ ему буйтуръ [1]) Всеволодъ: единъ ты братъ у меня, единъ «свѣтъ свѣтлый», о Игорь! оба мы Святославичи! Сѣдлай ты, брате, своихъ борзыхъ коней, а мои давно готовы для тебя и стоятъ осѣдланы у Курска. А Куряне мои въ метаніи стрѣлъ искусны, подъ звукомъ трубъ они повиты, концемъ копья вскормлены, пути имъ вѣдомы, овраги знаемы, луки у нихъ натянуты, кольчаны отворены, сабли изострены; сами скачутъ какъ сѣрые волки въ полѣ, ища себѣ чести, а

---

[1]) *Буйтуръ* составлено изъ слова *дикій* (буй) и *волъ* (туръ); по основательному замѣчанію Шишкова, вѣроятно, изъ „буйтура" въ послѣдствіи произошло слово „богатырь".

князю славы». Тогда Игорь князь вступилъ въ златое стремя и поѣхалъ по чистому полю.

За симъ слѣдуетъ темное и нескладное (вслѣдствіе искаженія текста писцомъ) описаніе грозныхъ предвѣщаній природы. Орлы клектомъ сзываютъ звѣрей на трупы, лисицы лаютъ на багряные щиты воиновъ. Дружина Игорева уже за Шеломенемъ. День меркнетъ, свѣтъ зари потухаетъ, мгла покрываетъ поля, засыпаетъ «щекотъ славій», умолкаетъ говоръ галичій. Очевидно, что весь этотъ отрывокъ, по неволѣ сокращенный нами, по причинѣ искаженія текста, въ первобытномъ подлинникѣ полонъ высокихъ поэтическихъ красотъ. Сколько можно чувствовать, не смотря на искаженіе, есть что-то зловѣщее, фантастическое въ изображеніи грозно настроивавшейся природы, особенно въ этомъ кѣктѣ орловъ, сзывающемъ звѣрей на кровавый пиръ, и въ лаѣ лисицъ на багряные щиты воиновъ.

Поутру Русичи потоптали поганые полки половецкіе, и разсыпавшись словно стрѣлы по полю, помчали красныхъ дѣвицъ половецкихъ, а съ ними злато, и паволоки, и другіе оксамиты; япончицами и кожухами начали мосты мостить по болотамъ и «грязовымъ мѣстамъ» и всякими узорочьями половецкими. Червленный стягъ, бѣлая хоругвь, багряная чолка, серебряное древко храброму Святославичу. Дремлетъ въ полѣ храброе гдѣздо Олегово—далеко залетѣло оно; не родилось оно на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чорный воронъ, поганый Половчанинъ!

На другой день, вельми рано, появляется свѣтъ кровавой зари, идутъ съ моря черныя тучи, хотятъ закрыть четыре солнца, блещутъ своими молніями; быть грому великому, литься дождю стрѣлами съ Дону великаго; поломаться тутъ копьямъ, притупиться тутъ саблямъ о шеломы половецкіе, на рѣкѣ Каялѣ, у Дону великаго. Се вѣтры, внуки Стрибожіи, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрые полки Игоревы; земля звучитъ, рѣки мутно текутъ; мглою поля покрываются; знамена

голосъ даютъ, Половцы идутъ отъ Дона, и отъ моря, и ото всѣхъ сторонъ. Русскіе полки отступили, Яръ туре Всеволодъ! стоишь ты на боро́нѣ, прыщешь на враговъ стрѣлами, булатными мечами гремишь о шеломы ихъ. Куда ни бросишься ты, туре, золотымъ шеломомъ своимъ посвѣчивая, тамъ лежатъ поганыя головы половецкія; и поскепаны калеными саблями оварскіе шеломы, отъ тебя, яръ туръ Всеволодъ! Что̀ ему раны, когда забылъ онъ и почести, и жизнь, и городъ Черниговъ, и золотой престолъ отеческій, и свычаи и обычаи своей милой хоти, прекрасной Глѣбовны! (Здѣсь пѣвецъ дѣлаетъ отступленіе, обращаясь къ смутамъ и междоусобіямъ прежнихъ временъ, и не находя въ нихъ ни одной битвы, которая могла бы сравниться съ битвою Игоря и Всеволода съ Половцами).

Съ утра до вечера, съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы каленыя, звучатъ сабли о шеломы, трещатъ копья булатныя, въ полѣ незнаемомъ, среди земли половецкой. Черная земля подъ копытами костьми была посѣяна, а кровію полита, возрасла на ней бѣда для земли русской. Что́ мнѣ звѣнитъ рано передъ зарею? Игорь полки поворачиваетъ: жаль бо ему милаго брата Всеволода. Билися день, билися другой: на третій день къ полудню пали знамена Игоревы. Тутъ разлучилися братья на берегѣ быстрой Каялы. Не достало тутъ вина кроваваго; тутъ и кончили пиръ храбрые Русичи: сватовъ попоили, да и сами легли за землю русскую. Поникла трава отъ жалости, и дерево къ землѣ преклонилось отъ печали. (Здѣсь опять слѣдуетъ небольшое отступленіе, состоящее въ жалобахъ на междоусобія. Всѣ эти отступленія особенно интересны, какъ свидѣтельство, что поэма современна воспѣтому въ ней событію).

О, далеко залетѣлъ ты, соколъ, гоня птицъ къ морю: а Игорева храбраго полку уже не воскресити! Тогда взревѣли Карна и Жля и ринулись въ русскую землю съ огнемъ и мечемъ. Всплакались жены русскія, приговаривая: уже намъ

своихъ милыхъ ладъ ни мыслію взмыслити, ни думою вздумати, ни очами узрѣти; а золота и сребра не возвратити! Взтоналъ тогда, братіе, Кіевъ тугою, а Черниговъ напастьми; тоска разлилася и печаль жирна потекла по землѣ русской; а князи сами на себя крамолу ковали... Здѣсь снова жалобы на междоусобія; воспоминаніе, какъ сильны были прежде князья русскіе, какъ громили они землю половецкую; какъ страшенъ былъ Половцамъ великій князь кіевскій, Святославъ Грозный, отецъ Игоря и Всеволода).

Нѣмци и Венедици, Греци и Морава поютъ славу Святославлю, каютъ (хаютъ, порицаютъ) князя Игоря, «иже погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣки половецкія, русскаго злата насыпаша». Святославу-родителю приснился дурной сонъ. «Въ Кіевѣ, на горахъ, въ сію ночь одѣвали меня (говоритъ онъ боярамъ) чернымъ покровомъ, на тесовой кровати. Наливали мнѣ синяго вина съ трудомъ смѣшаннаго; высыпали мнѣ на лоно изъ пустыхъ колчановъ нечистыя раковины съ крупнымъ жемчугомъ, и нѣговали меня; а въ моемъ златоверхомъ теремѣ всѣ доски безъ перекладины. («Уже дьскы безъ *кнѣса* въ моемъ теремѣ злотовръсѣмъ»). Всю ночь съ вечера каркали враны». И отвѣчали бояре князю: «Печаль одолѣла умъ нашъ, княже; слѣтѣли бо два сокола съ золотаго престола отеческаго поискати града тьмутораканскаго, либо испити шеломомъ Дону, и тѣмъ соколамъ обрублены крылья саблями нечестивыхъ, и сами они попались въ путы желѣзныя. Темно стало на третій день: два солнца померкли, оба багряные столбы погасли а съ ними и молодые мѣсяцы—Олегъ и Святославъ—тьмою заволоклися. На рѣкѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по русской землѣ разсыпались Половцы, какъ изъ леопардова логовища. Раздаются пѣсни красныхъ дѣвицъ готскихъ на берегу синяго моря; звеня русскимъ золотомъ, воспѣваютъ онѣ время Бусово, лелѣютъ пѣснь Шароканову» (Намекъ на какой-нибудь удачный набѣгъ на землю русскую). Тогда великій Святославъ изронилъ слово злато съ слезами смѣшано, и

молвилъ: «О, сыны мои, Игорь и Всеволодъ! не во-время вы начали добывать мечами землю половецкую, а себѣ славы искать. Нечестно ваше одолѣніе, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши изъ крѣпкаго булата скованы, а въ буести закалены. Того ли ожидалъ я отъ васъ серебряной сѣдинѣ моей? Уже не вижу я власти сильнаго и богатаго брата моего, Ярослава, и его дружины великой! Они и безъ щитовъ, кликомъ однимъ враговъ побѣждали, гремя славою предковъ. Не говорили они: предстоящую славу сами похитимъ, а прошедшею съ другими подѣлимся. А диво ли братіе, старому помолодѣти? Когда соколъ въ мытѣхъ бываетъ, то высоко гонитъ птицъ, и не дастъ гнѣзда своего въ обиду. Но то горе, что мнѣ князья не въ пособіе, время все переиначило. (Непонятно то, что тотчасъ же слѣдуетъ за симъ мѣстомъ, есть ли это продолженіе рѣчи князя Святослава, или тутъ поэтъ начинаетъ говорить отъ себя? Все это мѣсто состоитъ въ жалобахъ на «усобицу», какъ причину настоящихъ бѣдствій, и во воззваніи къ современнымъ князьямъ, которые, по своему разъединенію, уже не въ силахъ подать помощь плѣненному Игорю. Воззваніе начинается съ князя Всеволода):

Великій княже Всеволоде! не помыслишь ли ты прилетѣти издалеча постоять за златой престолъ отеческій? Ты можешь Волгу раскропить веслами, а Донъ шеломами вычерпать. Когда ты былъ здѣсь, чага (?) ходила бы по ногатѣ, а кощей по резани [1]. Ты можешь по-суху стрѣляти живыми шерешрами (Шереширы: вѣроятно названіе какого-нибудь военнаго орудія) — удалыми сыновьями Глѣбовыми. И ты, буй Рюрикъ и Давыдъ, не вы ли плавали въ крови по

---

[1]) Ногата и резань—самыя мелкія монеты того времени. Кощей и Чага—ругательныя названія вражескихъ народовъ, и вся эта фраза, вѣроятно, намекъ на дешевизну плѣнныхъ Половцевъ во времена Всеволода.

шеломы золоченые? Не ваша ли храбрая дружина рыкаетъ подобно воламъ, израненнымъ саблями калеными въ полѣ незнаемомъ? Вступите, государи, въ стремена златыя, за обиду нашего времени, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, Ярославъ, осмосмыслъ галицкій! высоко сидишь ты на своемъ златокованномъ престолѣ, подперъ ты горы угорскія своими полками желѣзными, заградилъ ты путь королю, заперъ ворота къ Дунаю, меча бремена (?) за облаки; творя судъ до Дуная! Гроза твоя по землямъ течетъ, отворяешь ты врата кіевскія, съ отчаго престола стрѣляешь въ салтановъ далекихъ! Стрѣляй, господине, въ Кончака, кощея поганаго, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, буй Романъ и Мстиславъ, храбрая мысльноситъ вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваете на дѣло въ буести, словно соколы ширяяся на вѣтрахъ, стремяся и птицу одолѣть въ буести! У васъ латы («попорзи») желѣзныя подъ шлемами латинскими; отъ нихъ потряслась земля и многія страны ханскія. Литва, Ятваги, Деремела и Половцы повергли передъ вами свои копья («сулици») и главы свои преклонили подъ ваши мечи булатные!... [1]) Заградите въ полѣ путь своими острыми стрѣлами, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! Уже Сула не течетъ струями серебряными ко граду Переяславлю, и Двина болотомъ идетъ къ грознымъ Половчанамъ, подъ кликами поганыхъ. Единъ лишь Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвенѣлъ своими острыми мечами о шеломы литовскіе; помрачилъ славу дѣда своего, да и самъ поблекъ подъ червлеными щитами, на кровавой травѣ, отъ литовскихъ мечей. Не захотѣлъ скончаться на одрѣ, и рекъ самому себѣ: «дружину твою, княже крылья птицъ пріодѣли, а звѣри кровь полизали»! Не было тутъ съ нимъ брата Брячислава, ни брата Всеволода: одинъ

[1]) Пропущено цѣлое мѣсто, котораго никакъ нельзя понять, а слѣдовательно, и перевести.

онъ изронилъ жемчужную душу изъ храбраго тѣла, чрезъ златое ожерелье. Уныли голоса, поникло веселіе. О, Ярославъ и всѣ внуки Всеслава! поникнуть знаменамъ вашимъ, вложить вамъ въ ножны свои мечи поврежденные; отстали вы отъ славы дѣдовской! Вы, своими крамолами, начали наводить нечестивыхъ на землю русскую, на жизнь Всеславову. Когда прежде бывало насиліе отъ земли половецкой?

(Здѣсь слѣдуетъ опять совершенно непонятное мѣсто, которое выписываемъ въ подлинникѣ:„ На седьмомъ вѣцѣ трояни въ́рже Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружіемъ злата стола кіевскаго. Скочи отъ нихъ (*отъ кого?*) лютымъ звѣремъ въ плъночи, изъ Бѣла града, обѣсися сине мглѣ, утръ же воззни стрикусы (?) отвори врата новуграду, расшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ“. По всѣмъ вѣроятіямъ, темнота этого мѣста происходитъ сколько отъ описокъ въ рукописи, сколько и оттого, что тутъ не описывается, а только намекается на обстоятельство слишкомъ современное, а потому всѣмъ извѣстное въ эпоху пѣвца „Слова“. Всеславъ, о которомъ идетъ рѣчь, вѣроятно былъ удалецъ изъ удальцовъ, и все это мѣсто есть поэтическая апоѳеоза, въ духѣ того времени, его подвиговъ, отличавшихся удальствомъ и быстротою. Клюки которыми онъ *подперся о кони* могутъ означать не костыли, необходимые для хромаго, а названіе какаго-нибудь прибора для верховой ѣзды. Что же касается до „седьмаго вѣку трояни“—*трояновъ* вѣкъ и *трояновъ* земля очень часто упоминается въ „Словѣ“ и еще никто не объяснилъ ихъ значенія. Хотя все послѣдующее за выписаннымъ нами въ текстѣ мѣстомъ также непонятно въ историческомъ значеніи, однако понятно, за исключеніемъ одной фразы, по смыслу и исполнено необыкновенной поэзіи):

На Немигѣ снопы стелютъ головами, молотятъ цѣпами булатными, на току жизнь кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Кровавые берега Немиги не травою засѣяны: засѣяны они костьми русскихъ сыновъ. Всеславъ князь людей судилъ, князьямъ города раздавалъ, а самъ по ночамъ волкомъ рыскалъ отъ Кіева до Курска и Тьмутаракани. Ему въ Полоцкѣ рано зазвонили заутреню у святой Софіи; а онъ въ Кіевѣ звонъ

слышалъ. Хотя и вѣщая душа была въ его другѣ (?) тѣлѣ, но и онъ часто отъ бѣдъ страдалъ. Про него-то вѣщій Боянъ сложилъ сей разумный припѣвъ: «ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути»! О, стонать тебѣ земля русская, вспоминая прежнія времена и прежнихъ князей! Того стараго Владиміра нельзя было пригвоздить къ горамъ кіевскимъ... Ярославнинъ голосъ раздается рано поутру:

Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукавъ въ Каялѣ рѣкѣ, отру князю кровавыя раны на жестоцемъ тѣлѣ его!

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на городской стѣнѣ, аркучи;

О вѣтеръ, о вѣтеръ! зачѣмъ, господине, такъ сильно вѣешь? Зачѣмъ на своихъ легкихъ крыльяхъ мчишь ханскія стрѣлы на воиновъ моей лады? Или мало для тебя горъ, чтобы вѣять подъ облаками, лелѣючи корабли на синемъ морѣ? Зачѣмъ, господине, развѣялъ ты мое веселіе по ковыль-травѣ?

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на городской стѣнѣ, аркучи:

О Днѣпръ пресловутый! ты пробилъ каменныя горы сквозь землю половецкую, ты лелѣялъ на себѣ лады Святославовы до стану кобякова: взлелѣй же, господине, мою ладу ко мнѣ, чтобы не слала я къ нему поутрамъ слезъ моихъ на море.

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на городской стѣнѣ, аркучи:

Свѣтлое и пресвѣтлое солнце! всѣмъ и красно и тепло ты: зачѣмъ, господине, простеръ горячій лучъ свой на воиновъ моей лады, въ безводномъ полѣ жаждою луки имъ сопрягъ, печалію имъ колчаны затянулъ?

Прыснуло море въ полуночи: идутъ смерчи мглами: князю Игорю Богъ путь кажетъ изъ земли половецкой на землю

русскую, къ златому престолу отчему. Погасла заря вечерняя: Игорь и спитъ и не спитъ, Игорь мыслію поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Конь готовъ съ полуночи; Овлуръ свиснулъ за рѣкою, чтобъ князь догадался. Уже нѣтъ тамъ князя Игоря. Застонала земля, зашумѣла трава, всколебалися вежи половецкія; а Игорь князь горностаемъ бросился къ тростнику и гоголемъ на воду; вскочилъ на борзаго коня, и соскочилъ съ него б о с ы м ъ (?) волкомъ и побѣжалъ къ лугу Донца, и полетѣлъ соколомъ подъ облаками, избивая гусей и лебедей на завтракъ, обѣдъ и ужинъ. Когда Игорь соколомъ летитъ, тогда Влуръ волкомъ бѣжитъ, отрясая съ себя росу холодную; ибо истомили они своихъ борзыхъ коней. И молвилъ Донецъ: «Княже Игорю, не мало для тебя величія, а Кончаку нелюбія, а русской землѣ веселія!» И молвилъ Игорь: «О Донче! не мало тебѣ величія, что ты лелѣялъ князя на волнахъ, постилалъ ему зелену траву на своихъ с е р е б р я н ы х ъ берегахъ, одѣвалъ его теплыми мглами подъ сѣнію зеленаго дерева, стерегъ меня и гоголемъ на волѣ, и чайками на струяхъ, и чернядями на вѣтрахъ. Не такова, промолвилъ онъ, рѣка Стугна: дурна струя ея, пожираетъ чужіе ручьи и разбиваетъ струги о берегъ, Юношѣ князю Ростиславу затворилъ Днѣпръ берега темные. Плачется мати Ростислава по юношѣ князѣ Ростиславѣ. Упыли цвѣты отъ жалости, и древо стугою къ землѣ преклонило».

По слѣду Игореву ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. Тогда враны не каркали, галицы помолкли, сороки не стрекотали; ползая по сучьямъ, только дятлы тектомъ путь къ рѣкѣ кажутъ, соловьи веселыми пѣснями свѣтъ повѣдаютъ. Молвитъ Гзакъ Кончаку: «Когда соколъ къ гнѣзду летитъ, то соколенка [1]) разстрѣляемъ своими стрѣлами золочеными». Молвитъ Кончакъ къ Гзаку: «Когда соколъ къ гнѣзду летитъ, то опутаемъ

---

[1]) Относится къ сыну Игоря, оставшему въ плѣну.

соколенка красною дѣвицею». И сказалъ Гзакъ Кончаку: «Если опутаемъ его красною дѣвицею, то не будетъ у насъ ни соколенка, ни красной дѣвицы, и почнутъ насъ птицы бить въ полѣ половецкомъ».

Сказалъ Боянъ: тяжко головѣ безъ плечь, худо тѣлу безъ головы, а русской землѣ безъ Игоря. Солнце свѣтится на небеси, а Игорь князь въ русской землѣ. Дѣвицы поютъ на Дунаѣ. Вьются голоса черезъ море до Кіева. Игорь ѣдетъ по Боричеву ко святой Богородицѣ Пирогощей. Страны рады, грады веселы, поютъ пѣснь старымъ князьямъ, а потомъ молодымъ. Пѣта слава Игорю Святославичу, буйтуру Всеволоду, Владиміру Игоревичу. Да здравствуютъ князи и дружина, поборающіе за христіанъ на невѣрныя полчища! Князьямъ слава, дружинѣ аминь!

—

Мы хотѣли было ограничиться только изложеніемъ содержанія «Слово о Пълку Игоревѣ», и, чтобъ нѣкоторымъ образомъ заставить его говорить за себя, хотѣли только мѣстами выписывать самыя характеристическія выраженія и самые оригинальные образы; но противъ нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вмѣсто голаго содержанія, представили читателямъ полный по возможности переводъ. Думаемъ, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это: «Слово о Пълку Игоревѣ» играетъ въ нашей литературѣ роль какого-то невидимки; публика слышитъ о немъ самыя противорѣчащія мнѣнія, которыхъ повѣрить ей нѣтъ возможности. Причина очевидна: не у всякаго станетъ терпѣнія и охоты прочесть искаженный подлинникъ, писанный языкомъ столь устарѣвшимъ, что онъ по своей устарѣлости требуетъ гораздо больше труда, нежели сколько въ состояніи доставить наслажденія, исполненный непонятныхъ словъ и оборотовъ, сомнительныхъ, темныхъ, а часто и безсмысленныхъ мѣстъ. Переводы же не даютъ о немъ вѣрнаго понятія, потому что переводчики хотѣли пе-

реводить его все—отъ слова до слова, не признавая въ немъ непереводимыхъ мѣстъ. Нѣкоторые изъ нихъ просто пересочиняли его, и свои собственныя, весьма неинтересныя издѣлія выдавали за простодушную и поэтическую повѣсть старыхъ временъ. Мы же, во первыхъ, исключили изъ нашего перевода все сомнительное и темное въ текстѣ, замѣнивъ такія мѣста собственными замѣчаніями, необходимыми для связи разорванныхъ частей поэмы; а въ переводѣ старались удержать колоритъ и тонъ подлинника, а для этого или просто выписывали текстъ, подновляя только грамматическія формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристическіе слова и обороты подлинника. И потому нашъ переводъ можетъ дать довольно близкое понятіе о «Словѣ», и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дастъ читателю возможность повѣрить наше мнѣніе объ этомъ примѣчательномъ произведеніи народной поэзіи древней Руси.

Нѣтъ нужды доказывать, что «Слово о Пълку Игоревѣ» отличается неподдѣльными поэтическими красотами, что оно исполнено наивныхъ благородныхъ образовъ: мы для того и включили его въ нашу статью, чтобъ не толковать о томъ, что дважды два—четыре. Читайте и судите сами; если не понравится, намъ нечего дѣлать съ этимъ: кому само дѣло не говоритъ за себя, тѣмъ ужь не помогутъ толкованія. Между читателемъ и критикомъ необходимо должно существовать нѣчто въ родѣ симпатіи, нѣчто въ родѣ заранѣе заключеннаго условія о томъ, что̀ хорошо и что̀ худо; иначе они не будутъ понимать другъ друга. Дѣло критика не доказывать, поэтическое, или непоэтическое такое то произведеніе: подобный вопросъ рѣшается непосредственнымъ чувствомъ читателя, а не доказательствами критики; дѣло критика—показать не поэтическое достоинство, а степень поэтическаго достоинства въ данномъ произведеніи, его идею, полноту, оконченность. На этотъ счетъ, мы не обинуясь скажемъ, что «Слово о Пълку Игоревѣ» отличается непод-

дѣльными красотами выраженія; что, со стороны выраженія, это дикій—полевой цвѣтокъ, благоухающій, свѣжій и яркій. Но въ поэтическихъ произведеніяхъ выраженіе еще не составляетъ всего; все заключается въ идеѣ, и выраженіе по той мѣрѣ возвышаетъ достоинство произведенія, по какой въ ней высказывается идея. Въ «Словѣ о Пълку Игоревѣ» нѣтъ никакой глубокой идеи. Это больше ничего, какъ простое и наивное повѣствованіе о томъ, какъ князь Игорь, съ удалымъ братомъ Всеволодомъ и съ своей дружиною пошелъ на Половцевъ, сперва разбилъ ихъ, а потомъ самъ былъ разбитъ на голову, попался въ плѣнъ, изъ котораго, наконецъ удалось ему ускользнуть. Безпрестанныя обращенія къ междоусобіямъ князей, или намеки на нихъ, также составляютъ содержаніе и сверхъ того, историческій фонъ поэмы. Источникомъ историческаго произведенія поэзіи можетъ быть только исторія народа, и произведеніе въ той только степени можетъ отличаться глубокою идеею, въ какой полна «общимъ содержаніемъ» жизнь народа. Времена междоусобій съ перваго взгляда могутъ показаться самымъ поэтическимъ періодомъ въ русской исторіи; но если глубже и пристальнѣе заглянете въ сущность и значеніе этого времени, то увидите, что въ немъ не было никакихъ элементовъ, которые могли бы дать поэзіи содержаніе; тамъ были только элементы для поэзіи чувства и выраженія, по общему закону—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія. Есть рѣзкое различіе между поэзіею души человѣческой и поэзіею общества человѣческаго, поэзіею историческою: первая существуетъ и удикихъ племенъ; вторая только у народовъ, играющихъ великую роль на аренѣ всемірно историческаго развитія человѣчества. И потому, «Слово о Пълку Игоревѣ» не только нейдетъ ни въ какое сравненіе съ «Иліадою», но даже и съ поэмами среднихъ вѣковъ въ родѣ «Артура и рыцарей круглаго стола». Для поясненія этой мысли сравните жизнь Западной Европы среднихъ временъ съ жизнію Руси въ XII вѣкѣ: какая разница!

Въ феодализмѣ заключалась идея; удѣльная система повидимому была случайностію, порожденіемъ естественныхъ, патріархальныхъ понятій о правѣ наслѣдства. Феодализмъ вышелъ изъ системы завоеванія; цѣлый народъ двигался на завоеваніе другаго народа; покоривъ его, основывался, дѣлался осѣдлымъ на завоеванной землѣ. Такъ какъ у завоевателя личную силу давало не рожденіе, а храбрость и заслуга; то избранный главою войска бралъ себѣ часть завоеванной земли, а все остальное дѣлилъ на участки между своими сподвижниками. Отсюда произошли безчисленныя слѣдствія, безъ сознанія которыхъ не можетъ быть объяснена даже современная намъ исторія Европы. Сподвижники главнаго вождя, получивъ свои участки, естественно, смотрѣли на него не какъ на своего властелина, а какъ на старшаго товарища по оружію, во всемъ прочемъ равнаго имъ, и почитали себя въ правѣ по собственному произволу смотрѣть на него какъ на друга или какъ на врага, и, сообразуясь съ этимъ, становиться къ нему въ пріязненное или непріязненное отношеніе. Простые воины, неполучившіе участковъ, поступали на жалованье къ своимъ патронамъ, а не властелинамъ,—селились на ихъ землѣ и платили имъ за то военною службою: образовался классъ вассаловъ—свободныхъ воиновъ, не рабовъ. Завоеванный же народъ, по праву завоеванія, дѣлался собственностію, рабомъ завоевателя, кромѣ, разумѣется, людей высшаго сословія, которымъ политика завоевателей предоставляла равныя права, на условіи покорности. Изъ этого положенія возникала борьба, результатомъ которой было разумное развитіе. Завоеванный народъ, питая ненависть къ завоевателю, образовывалъ собою самостоятельный элементъ государственной жизни, — и борьба непереставала ни на минуту. Когда же языки обоихъ народовъ, сливались въ одинъ языкъ, а оба народа въ одинъ народъ, тогда элементъ завоевателя образовался въ аристократію; элементъ завоеваннаго—въ низшій классъ общества, и изъ

борьбы возникали, съ одной стороны — натискъ утвержденныхъ временемъ исключительныхъ правъ, съ другой—упругій отпоръ, или оппозиція. Отличительное свойство идеи таково, что она не стоитъ на одномъ мѣстѣ, не является ни на минуту чѣмъ-то особеннымъ, опредѣлившимся, оторваннымъ отъ прошедшаго и будущаго, но безпрестанно движется, изъ стараго рождая новое.

Право аристократіи сперва было не чѣмъ инымъ, какъ правомъ сословія, справедливо гордившимся высокостію своихъ чувствъ, благороднымъ образомъ мыслей, и не безъ основанія почитавшимъ себя въ правѣ съ презрѣніемъ смотрѣть на низкую чернь, какъ на предназначенную отъ природы для низкихъ нуждъ жизни. Возникновеніе городовъ и средняго сословія было первымъ шагомъ къ измѣненію этихъ отношеній. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностію, а естественнымъ результатомъ положенія дѣлъ, и необходимая для сформированія государства въ единое политическое тѣло. Монархизмъ нашелъ себѣ естественнаго союзника въ городахъ, города—въ монархизмѣ, и оба они стали грудью противъ рыцарства, до тѣхъ поръ, пока рыцарство, переродившееся въ аристократію или вельможество, снова не явилось естественнымъ союзникомъ монархизма, и только въ другомъ видѣ, но все прежнимъ врагомъ и средняго сословія и народа.

Мы потерялись бы во множествѣ элементовъ, изъ которыхъ слагается европейская жизнь, которые всѣ вышли изъ одного источника и суть не что иное, какъ единая, безконечно развивающаяся, вѣчно движущаяся изъ самой себя идея. Нѣтъ ни тѣни этого въ древней русской жизни. Удѣльная система была точь въ точь то же самое, что помѣщичья система; отецъ-помѣщикъ, умирая, раздѣляетъ поровну своихъ крестьянъ между своими сыновьями. Въ Россіи не было завоеванія, и потому одинокій элементъ народной жизни, не сшибаясь въ борьбѣ съ другимъ элементомъ, лишенъ былъ возмож-

ности развитія. Что ни говорятъ господа скандинавоманы и сколько трактатовъ ни пишутъ они, но, вопреки всѣмъ ихъ обветшалымъ доказательствамъ, если Русь и призвала иноземныхъ властителей княжити и володѣти,—кто бы ни были эти властители—Турки или поморскіе Славяне (Померанцы), только не Скандинавы. Норманы, хоть бы и были сами призваны мирно и честно, не пришли бы съ малою дружиною, не потеряли бы въ управляемомъ ими племени своей народности, но внесли бы въ его жизнь свою народность, внесли бы феодализмъ, военное право, рыцарскія понятія, и самый русскій языкъ не оставили бы въ его первобытной чистотѣ, но вмѣстѣ съ новыми понятіями ввели бы и множество новыхъ словъ и оборотовъ. Этого не было, даже и слѣдовъ этого не видно, и потому варяжскіе или, пожалуй, русскіе князья просто на просто или припонтійскіе Татары (Козары), или прибалтійскіе Славяне. И потому, изъ немудреной причины и произошли немудреныя слѣдствія. Удѣльная система—самая естественная и простодушная изъ всѣхъ системъ въ мірѣ—принесла только внѣшнюю пользу Россіи, сдѣлавшись причиною ея внѣшняго расширенія и потомъ—сплоченія. Въ междоусобіяхъ князей нѣтъ никакой идеи, потому что ихъ причина—не племенныя различія, не борьба разнородныхъ элементовъ, а просто личныя несогласія. Народъ тутъ не игралъ никакой роли, не принималъ никакого участія. Черниговцы дрались съ Кіевлянами не по племенной ненависти, а по приказанію князей. Въ повѣсти Пушкина «Дубровскій» превосходно выражена удѣльная борьба въ раздорѣ крестьянъ Троекурова и Дубровскаго: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скотъ и поджигать избы.

«Слово о Пълку Игоревѣ» принадлежитъ къ героическому періоду жизни Руси; но какъ героизмъ Руси состоялъ въ удальствѣ и охотѣ подраться, безъ всякихъ другихъ претензій, то «Слово» не можетъ назваться героическою поэмою. Дѣй-

ствіе героической поэмы должно быть сосредоточено на одномъ лицѣ, которое должно осуществлять собою всѣ, или по крайней мѣрѣ, хоть одну изъ субстанціяльныхъ сторонъ духа народа. Игорь же только внѣшнимъ образомъ является героемъ «Слова»: это какой-то образъ безъ лица; въ немъ нѣтъ ничего индивидуальнаго; онъ лишенъ всякаго характера; личности его нисколько не видно; нѣтъ никакихъ данныхъ считать его представителемъ народа. Сверхъ того, онъ заслоняется то удалымъ братомъ своимъ буйтуромъ Всеволодомъ, то отцомъ своимъ, Святославомъ, то, наконецъ, своею храброю дружиной. Участіе его въ поэмѣ больше страдательное, чѣмъ дѣятельное. Онъ объявляетъ дружинѣ, что хочетъ или сложить голову въ землѣ половецкой, или испить шеломомъ Дону великаго; приглашаетъ храбраго брата своего Всеволода, ведетъ свою дружину въ половецкую землю, выигрываетъ битву, потомъ проигрываетъ другую, и, попавшись въ плѣнъ, исчезаетъ изъ поэмы: большая часть ея состоитъ изъ рѣчи Святослава и плача Ярославны. Потомъ уже, въ концѣ поэмы, Игорь снова является на минуту убѣгая изъ плѣну. Вообще, онъ ничѣмъ не возбуждаетъ къ себѣ нашего участія. Хотя Всеволодъ то же обрисовонъ очень слабо и какъ бы вскользъ, однако онъ больше является героемъ въ духѣ своего времени. Его рѣчь къ Игорю дышетъ страстью и вдохновеніемъ боя. Въ битвѣ онъ рисуется на первомъ планѣ и заслоняетъ собою безцвѣтное лице Игоря. Святославъ является не какъ дѣйствующее лице, но голосомъ исторіи, выразителемъ политическаго состоянія Руси: за нимъ явно скрывается самъ поэтъ. Вообще, въ поэмѣ нѣтъ никакого драматизма, никакого движенія; лица поглощены событіемъ, а событіе совершенно ничтожно само по себѣ. Это не борьба двухъ народовъ, но набѣгъ племени на сосѣднее племя. Очевидно, всѣ эти недостатки поэмы заключаются не въ слабости таланта пѣвца, но въ скудости матеріяловъ, какіе могла доставить ему народная жизнь. Здѣсь причина и того, что самъ

народъ является въ поэмѣ совершенно безцвѣтнымъ: безъ вѣрованій, безъ образа мыслей, безъ житейской мудрости, съ однимъ богатствомъ живаго и теплаго чувства. И потому вся поэма—дѣтскій лепетъ, полный поэзіи, но скудный значеніемъ; лепетъ; котораго вся прелесть въ неопредѣленныхъ, мелодическихъ звукахъ, а не въ смыслѣ этихъ звуковъ...

Мы выше сказали, что «Слово о Пълку Игоревѣ» рѣзко отзывается южно-русскимъ происхожденіемъ. Есть въ языкѣ его что-то мягкое, напоминающее нынѣшнее малороссійское нарѣчіе, особенно изобиліе гортанныхъ звуковъ и окончанія на букву ъ въ глаголахъ настоящаго времени третьяго лица множественнаго числа. Но болѣе всего говоритъ за русско-южное происхожденіе «Слова» выражающійся въ немъ бытъ народа. Есть что-то теплое, благородное и человѣческое во взаимныхъ отношеніяхъ дѣйствующихъ лицъ этой поэмы: Игорь ждетъ милаго брата Всеволода, и рѣчь Всеволода къ Игорю дышетъ кроткою и нѣжною родственною любовію безъ изысканности и приторности: «Одинъ братъ ты у меня, одинъ свѣтъ свѣтлый, о Игорь, и оба мы Святославичи!» Игорь отступаетъ съ полками не по боязни сложить свою голову: ему стало жаль своего милаго брата Всеволода. Въ укорахъ престарѣлаго Святослава сыновьямъ слышится не гнѣвъ оскорбленной власти, а ропотъ оскорбленной любви родительской, — и укоръ его кротокъ и нѣженъ; обвиняя дѣтей въ удальствѣ; бывшемъ причиною Игорева плѣна, онъ въ то же время какъ-бы и гордится ихъ удальствомъ; «О сыны мои, Игорь и Всеволодъ! рано вы начали добывать мечами землю половецкую, а себѣ славы искать. Но честно ваше одолѣніе, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши изъ крѣпкаго булата скованы, а въ буести закалены! Сего ли ожидалъ я отъ васъ серебряной сѣдинѣ своей!» Но особенно поразительны въ поэмѣ благородныя отношенія половъ. Женщина является тутъ

не женою и не хозяйкою только, но и любовницею вмѣстѣ. Плачъ Ярославны дышетъ глубокимъ чувствомъ, высказывается въ образахъ сколько простодушныхъ, столько и граціозныхъ, благородныхъ и поэтическихъ. Это не жена, которая, послѣ погибели мужа, осталась горькою сиротою, безъ угла и безъ куска, и которая сокрушается, что ея некому больше кормить и бить: нѣтъ, это нѣжная любовница, которой любящая душа тоскливо порывается къ своему милому, къ своей ладѣ, чтобъ омочить въ Каялѣ-рѣкѣ бобровый рукавъ и отереть имъ кровавыя раны на тѣлѣ возлюбленнаго; которая обращается ко всей природѣ о своемъ миломъ: укоряетъ вѣтеръ, несущій ханскія стрѣлы на дружину милаго, и развѣявшій по ковыль-травѣ ея веселіе; умоляетъ Днѣпръ—взлелѣять до нея ладьи ея милаго, чтобъ она не слала къ нему слезъ на море рано; взываетъ къ солнцу, которое «всѣмъ и тепло и красно»—лишь томитъ зноемъ лучей своихъ воиновъ ея лады... И за то, мущина умѣетъ цѣнить такую женщину: только жажда битвы и славы заставила буйтура Всеволода забыть на время «своея милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычаи и обычаи».. Все это повторяемъ, отзывается южною Русью, гдѣ и теперь еще такъ много человѣчнаго и благороднаго въ семейномъ быту, гдѣ отношенія половъ основаны на любви, и женщина пользуется правами своего пола: все это противоположно сѣверной Руси, гдѣ семейныя отношенія грубы, женщина родъ домашней скотины, а любовь совершенно постороннее дѣло при бракахъ; сравните быть малороссійскихъ мужиковъ съ бытомъ мужиковъ русскихъ, мѣщанъ, купцовъ и отчасти и другихъ сословій, и вы убѣдитесь въ справедливости нашего заключенія о южномъ происхожденіи «Слова о Пълку Игоревомъ»; а наше разсмотрѣніе русскихъ народныхъ сказокъ превратитъ это убѣжденіе въ очевидность. Но кромѣ всего этого, не только въ краскахъ поэзіи и манерѣ изложенія, но и въ духѣ богатырскаго удальства, нельзя не замѣтить, чего-то общаго между «Сло-

вомъ о Пълку Игоревѣ» и казацкими малороссійскими пѣснями.

Какъ фактъ для сравненія, приведемъ здѣсь одну казацкую историческую думу, въ русскомъ прозаическомъ переводѣ г. Максимовича:

Вотъ пошли козаки на четыре поля — что на четыре поля, а на пятое на Подолье. Что однимъ полемъ, то пошелъ *Самко Мушкетъ*; а за паномъ хорунжимъ мало-мало не три тысячи, все храбрые товарищи Запорожцы—на коняхъ гарцуютъ, саблями поблескиваютъ, бьютъ въ бубны, Богу молитвы возсылаютъ, кресты полагаютъ.

А Самко̀ Мушкетъ—онъ на конѣ не гарцуетъ, коня сдерживаетъ, къ себѣ притягиваетъ,—думаетъ, гадаетъ... Да что бъ сто чертей бѣдою пришибли его думу, гаданье! Самко̀ Мушкетъ думаетъ, гадаетъ, говоритъ словами:—

„А что̀, какъ наше козачество, словно въ аду, Ляхи спалятъ? да изъ нашихъ козацкихъ костей пиръ себѣ на похмѣлье сварятъ?...

А что́, какъ наши головы козацкія, молодецкія, по степи полю полягутъ, да еще родною кровью омоются, пощепанными саблями покроются?... Пропадетъ какъ порохъ изъ дула, та козацкая слава, что по всему свѣту дыбомъ стала,—что по всему свѣту степью разлеглась, протянулась,—да по всему свѣту шумомъ лѣсовъ раздалась,—Туречинѣ да Татарщинѣ добрымъ лихомъ знать далась,—да и ляхамъ-ворогамъ на копье отдалась?...

„Закрячетъ воронъ степью летучи,
Заплачетъ кукушка лѣсомъ скачучи,
Закуркуютъ сизые кречеты,
Задумаются сизые орлы—
И все, все по своихъ братьяхъ,
По буйныхъ товарищахъ козакахъ!...

Или ихъ сугробомъ занесло, или въ аду потопило, что невидно чубатыхъ ни по степямъ, ни по лугамъ, ни по татарскимъ землямъ, ни по чернымъ морямъ, ни по ляшскимъ полямъ?...

„Закрячетъ воронъ, загруетъ, зашумитъ, да и полетитъ въ чужую землю... Анъ нѣтъ! кости лежатъ, сабли торчатъ; кости хру̑стятъ, пощепанныя сабли бренчатъ.

„А черная, сивая сорока оскалилась и скачетъ... А головы козацкія—словно Швецъ Семенъ шкуру потерялъ! А чубы—словно чертъ жгуты повилъ, въ крови всѣ зосохли: то-то и славы набрались“!

Не говоря уже о поразительномъ сходствѣ паѳоса древней

поэмы съ этими несравненно позднѣйшими произведеніями одного и того-же племени,—какое сходство въ картинахъ природы и поэтическихъ сравненіяхъ! Тамъ и здѣсь играютъ одинаковую роль вóроны, орлы, кречеты, сороки! Тамъ и здѣсь битва уподобляется то свадьбѣ, то попойкѣ кровавой!

«Слово о Пълку Игоревомъ» нѣсколько разъ было переводимо прозою, и были, кажется, двѣ попытки (гг. Вельтмана и Деларю) перевести его стихами или мѣрною, ритмическою прозою. Но попытки послѣдняго рода должны считаться совершенно излишними: «Слово» можетъ быть прекрасно только въ его первобытномъ и наивномъ видѣ безъ всякихъ другихъ измѣненій и поправокъ, кромѣ подновленія слишкомъ устарѣвшихъ словъ и оборотовъ.

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о «Сказаніи о Нашествіи Батыя на Русскую Землю» и «Сказаніи о Мамаевомъ Побоищѣ»; но мы скажемъ о нихъ очень немного. Оба эти памятника нисколько не относятся къ поэзіи, потому что въ нихъ нѣтъ ни тѣни, ни призрака поэзіи: это скорѣе памятники даже не краснорѣчія, а простодушной риторики того времени, которой вся хитрость состояла въ безпрестанныхъ примѣненіяхъ къ Библіи и выпискѣ изъ нея текстовъ. Гораздо любопытнѣе «Слово Даніила-Заточника». Оно также не относится къ поэзіи, но можетъ служить образцомъ практической философіи и ученаго краснорѣчія XIV века. Даніилъ Заточникъ былъ человѣкъ глубокой учености въ духѣ своего времени; «Слово» его отличается умомъ, ловкостію, а мѣстами и чѣмъ то похожимъ на краснорѣчіе. Главнѣйшее его достоинство состоитъ въ томъ, что оно такъ и дышетъ духомъ своего времени. Писано оно въ заточеніи, къ князю, у котораго нашъ заточникъ надѣялся вымолить себѣ прощеніе и свободу. Не теряя изъ виду главнаго предмета своего посланія, заточникъ безпрестанно пускается въ разныя сужденія. Особенно замѣчательно слѣдующее мѣсто въ «Словѣ» Заточника, гдѣ онъ даетъ князю совѣтъ уважать

умъ больше богатства и говоритъ о самомъ себѣ съ какимъ-то наивнымъ возвышеннымъ сознаніемъ собственнаго достоинства.

„Княже, господине мой! не лиши хлѣба нища мудра, ни вознеси до облакъ богатаго безумца, немысленна: нищъ бо мудръ, яко злато въ калнѣ сосудѣ, а богатъ красенъ несмысленъ, то аки паволочитое зголовье, соломы наткано. Господине мой! не зри внѣшняя моя, но зри внутренняя: азъ бо одѣяніемъ есть скуденъ, на разумъ обиленъ; юнъ возрастъ имѣю, а старъ смысломъ, быхъ мыслію яко орелъ паряй по воздуху. Но постави сосуды скудельничьи подъ потокъ капля языка моего, да накаплютъ ти сладчайши меду словеси устъ моихъ“.

Описывая, далѣе, глупцовъ, заточникъ впадаетъ въ истинный сарказмъ. Замѣтно, что Даніилъ Заточникъ пострадалъ отъ злыхъ навѣтовъ со стороны бояръ и жены князя; по крайней мѣрѣ, ничѣмъ инымъ нельзя объяснить слѣдующей грозной филиппики противъ дурныхъ совѣтниковъ и дурныхъ женъ:

„Княже, мой господине! не море топитъ корабли, но вѣтри; а не огонь творитъ разжженіе желѣзу, но надыманіе мѣшное: тако же и князь не самъ впадаетъ во многія въ вещи худыя, но думцы вводятъ. Съ добрымъ бо думцею князь высока стола додумается, а съ лихимъ думцею думаетъ, и малаго стола лишенъ будетъ. Глаголетъ бо въ мірскихъ притчахъ: не скотъ въ скотѣхъ коза, и не звѣрь во звѣряхъ ежъ, не рыба въ рыбахъ ракъ, не птица во птицахъ нетопырь, а не мужъ въ мужѣхъ, кѣмъ своя жена владѣетъ; не жена въ женахъ, иже отъ своего мужа...; не работа въ работахъ подъ жонками возъ возити. Дивѣе дива, кто поимаетъ жену злообразну, прибытка ради... лѣпѣе волъ ввести въ домъ свой, нежели злая жена поняти: волъ бо не молвитъ, ни зла мыслитъ, а злая жена *біема* бѣсится, а кротима высится, въ богачествѣ гордится, а въ убожествѣ иныхъ осуждаетъ. Что есть жена зла? гостница неусыпаемая, купница бѣсовская. Что есть жена зла? мірскы мятежь, ослѣпленіе уму, начальница всякой злобѣ, во церкви бѣсовская мытница, поборница грѣху, засада спасенію“.

Не выписываемъ до конца этой энергической выходки: это только начало, слабѣйшая часть ея. Вмѣсто ея, выпи-

шемъ окончаніе заточникова посланія: оно до такой степени въ духѣ того времени, что изъ краснорѣчиваго становится поэтическимъ, и потому особенно интересно.

„Сіи словеса азъ Даніилъ писахъ въ заточеніе на Бѣлѣозерѣ, и запечатавъ въ воску, и пустивъ во озеро, и вземъ рыба пожре, и яша бысть рыба рыбаремъ, и принесена бысть ко князю, и нача ее пороти, и узрѣ князь сіе написаніе, и повелѣ Данила свободити отъ горькаго заточенія. — Не отметай безумному прямо безумія его, да не подобенъ ему будеши. Уже бо престану глаголати, да не буду яко мѣхъ утелъ, роняя богатство убогимъ; да не уподоблюся жерновамъ, яко тѣ многія люди насыщаютъ, а сами себѣ не могутъ насытися, да не возненавидѣнъ буду міру со многою бесѣдою. Якоже бо птица учащаетъ пѣсни своя, скоро возненавидѣма бываетъ. Глаголетъ бо въ мірскихъ притчахъ: рѣчь продолжна недобро, продолжена поволока. Господи! дай же князю нашему силу Самсонову, храбрость Александрову, Іосифовъ разумъ, мудрость Саломоню, кротость Давидову, и умножи, Господи, вся человѣки подъ руки его. Лютѣ бѣснующемуся дати ножь, а лукавому власть (?). Паче всего неновижь сторонника перетерплива. Аминь.

Кто этотъ Даніилъ Заточникъ, и когда онъ жилъ—неизвѣстно. Извѣстія о его заточеніи находятся въ нашихъ лѣтописяхъ подъ годомъ 1378. Какъ бы то ни было, г. Сахаровъ заслуживаетъ особенную благодарность за перепечатаніе въ своей книгѣ рукописи Даніила Заточника, столь интересной во многихъ отношеніяхъ. Кто бы ни былъ Даніилъ Заточникъ,—можно заключить не безъ основанія, что это была одна изъ тѣхъ личностей, которыя, на бѣду себѣ, слишкомъ умны, слишкомъ даровиты, слишкомъ много знаютъ, и не умѣя прятать отъ людей своего превосходства, оскорбляютъ самолюбивую посредственность; которыхъ сердце болитъ и снѣдается ревностью по дѣламъ, чуждымъ имъ, которые говорятъ тамъ, гдѣ лучше было бы молчать, и молчатъ тамъ, гдѣ выгодно говорить; словомъ, одна изъ тѣхъ личностей, которыя люди сперва хвалятъ и холятъ, потомъ сживаютъ со свѣту, и, наконецъ, уморивши, снова начинаютъ хвалить...

Теперь намъ слѣдуетъ приступить къ сказочнымъ поэмамъ,

заключающимся въ сборникѣ казака Кирши Данилова. Тамъ ихъ числомъ больше тридцати, кромѣ казачьихъ, а г. Сахаровъ помѣстилъ изъ нихъ въ своей книгѣ, въ отдѣлѣ «Былины русскихъ людей» только одиннадцать. Вообще, г. Сахаровъ обнаруживаетъ къ сборнику Кирши Данилова большую недовѣрчивость и даже что-то въ родѣ непріязни. Это дѣло требуетъ нѣкотораго поясненія. Рукопись сборника Кирши Данилова была найдена г. Демидовымъ, и издана (не вполнѣ) г. Якубовичемъ, въ 1804 году, подъ титуломъ «Древнія Русскія Стихотворенія». Потомъ рукопись перешла во владѣніе графа Н. П. Румянцева, по порученію котораго и издана была г. Калайдовичемъ въ 1816 году, подъ титуломъ: „Древнія Россійскія Стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ, и вторично изданныя, съ присовокупленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва".

Г. Сахаровъ спрашиваетъ: «на чемъ основано, что собирателемъ древнихъ стихотвореній былъ Кирша Даниловъ? На томъ, что имя его поставлено на первомъ листѣ рукописи. Гдѣ этотъ листъ? Калайдовичъ говоритъ, что онъ потерялся. Кто видѣлъ листъ съ подписью? Одинъ только издатель Якубовичъ, который, по словамъ Калайдовича, ручается за справедливость этого извѣстія?»

Коротко и ясно: изъ всего этого г. Сахаровъ хочетъ вывести слѣдствіе, что Кирша Даниловъ отнюдь не былъ собирателемъ древнихъ стихотвореній. Прекрасно; но въ чемъ споръ и есть ли о чемъ тутъ спорить? Кирша Даниловъ—хорошо: не онъ, а другой, г. А. г. Б. г. В—также хорошо: по крайней мѣрѣ въ обоихъ случаяхъ стихотворенія не дѣлаются ни лучше, ни хуже. Впрочемъ, всѣ причины стоятъ за Киршу Данилова, и ни одной противъ него; это ясно какъ день. Во первыхъ, нужно же какое-нибудь общее имя для означенія сборника древнихъ стихотвореній: зачѣмъ же выдумывать новое, когда уже глаза всей читающей публики приглядѣлись въ печати къ имени Кирши Данилова?

Во вторыхъ, что имя его могло стоять на заглавномъ листкѣ—это вѣрнѣе, чѣмъ то, что его не было на немъ, ибо это имя упоминается въ текстѣ пѣсни «А и не жаль мнѣ-ко битаго, грабленаго». Разумѣется, смѣшно было бы почитать Киршу Данилова сочинителемъ древнихъ стихотвореній; но кто же говорилъ, или утверждалъ это? Всѣ эти стихотворенія неоспоримо древнія. Начались они, вѣроятно, во времена татарщины, если не раньше: покрайней мѣрѣ, всѣ богатыри Владиміра красна-солнышка безпрестанно сражаются въ нихъ съ Татарами. Потомъ, каждый вѣкъ и каждый пѣвунъ или сказочникъ измѣнялъ ихъ по своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнѣйшему измѣненію они подверглись, вѣроятно, во времена единодержавія въ Россіи. И потому отдюдь не удивительно, что удалой казакъ Кирша Даниловъ «гуляка праздный», не оставилъ ихъ совершенно въ томъ видѣ, какъ услышалъ отъ другихъ. И онъ имѣлъ на это полное право: онъ былъ поэтъ въ душѣ, что достаточно доказывается его страстію къ поэзіи и терпѣніемъ положить на бумагу 60 большихъ стихотвореній. Нѣкоторые изъ нихъ могутъ принадлежать и самому ему, какъ выше выписанная нами пѣсня: «А и не жаль мнѣко битаго, грабленнаго». На Руси изстари заведено, что умный человѣкъ непремѣнно горькій пьяница: такъ, или почти такъ справедливо замѣтилъ гдѣ-то Гоголь. Въ слѣдующей пѣснѣ, отличающейся глубокимъ и размашистымъ чувствомъ тоски и грустной ироніею, Кирша Даниловъ является истиннымъ поэтомъ русскимъ, какой только возможенъ былъ на Руси до вѣка Екатерины Великой:

А и горе, горе, гореваньице!
А и въ горе жить—не кручину быть,
Нагому ходить—не стыдитися,
А и денегъ нѣту—передъ деньгами,
Появилась гривна—передъ злыми дни.
Не бывать плѣшатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,

Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго,
Не утѣшити дитя безъ матери,
Не скроить атласу безъ мастера.
А и горе, горе, гореваньице!
А и лыкомъ горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я отъ горя въ темны лѣса—
А горе прежде вѣкъ зашелъ;
А я отъ горя въ почестный пиръ—
А горе зашелъ, впереди сидитъ;
А я отъ горя на царевъ кабакъ—
А горе встрѣчаетъ, ужь пиво тащитъ.
Какъ я нагъ-то сталъ, Насмѣялся онъ.

Кирша Даниловъ жилъ въ Сибири, какъ это видно изъ частныхъ выраженій: «а по нашему по-сибирскому, и изъ нѣкоторыхъ поэмъ, посвященныхъ памяти подвиговъ завоевателя Сибири, Ермака. Очень вѣроятно, что въ Сибири Кирша имѣлъ больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, возможности собрать древнія стихотворенія: обыкновенно колонисты съ особенною любовію и особеннымъ стараніемъ хранятъ памятники своей первобытной родины. Вообще, въ Сибири и теперь еще сохранился во всей чистотѣ первобытный духовный типъ старой Руси.

«Древнія Стихотворенія», заключающіяся въ сборникѣ Кирши Данилова, большею частію эпическаго содержанія въ сказочномъ родѣ. Есть большая разница между поэмою, или рапсодомъ и между сказкою. Въ поэмѣ, поэтъ какъ бы уважаетъ свой предметъ, ставитъ его выше и хочетъ въ другихъ возбудить къ нему благоговѣніе: сказочникъ—себѣ на умѣ: цѣль его занять праздное вниманіе, разсѣять скуку, позабавить другихъ. Отсюда происходитъ большая разница въ тонѣ того и другаго рода произведеній: въ первомъ, важность, увлеченіе, иногда возвышающееся до паѳоса, отсутствіе ироніи, а тѣмъ болѣе — пошлыхъ шутокъ; въ основаніи втораго всегда замѣтна задняя мысль, замѣтно, что

разскащикъ самъ не вѣритъ тому, что разсказываетъ, и внутренно смѣется надъ собственнымъ разсказомъ. Это особенно относится къ русскимъ сказкамъ. Кромѣ «Слова о Пълку Игоревѣ», изъ народныхъ произведеній у насъ нѣтъ ни одной поэмы, которая не носила бы на себѣ сказочнаго характера. Русскій человѣкъ любитъ небылицы какъ забаву въ праздныя минуты долгихъ зимнихъ вечеровъ, но не подозрѣваетъ въ нихъ поэзіи. Ему странно и дико было бы узнать, что ученые бары списываютъ и печатаютъ его росказни и побасенки не для шутки и смѣха, а какъ что-то важное. Онъ отдаетъ преимущество пѣснѣ передъ сказкою, говоря, что «пѣсня — быль, а сказка — ложь». У него нѣтъ никакого предчувствія о близкомъ сродствѣ вымысла съ творчествомъ: вымыслъ для него все равно, что ложь, что вздоръ, что чепуха. А между тѣмъ, «Древнія Стихотворенія» не сказки собственно, но, какъ мы сказали, поэмы въ сказочномъ родѣ. Можетъ быть, первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потомъ уже, измѣняясь со временемъ, получили свой сказочный характеръ; можетъ быть также, что вслѣдствіе варварскаго понятія о вымыслѣ, и съ самаго начала явились они поэмами-сказками, въ которыхъ поэтическій элементъ былъ пересиленъ прозою народнаго взгляда на поэзію. Въ книжкѣ г. Сахарова «Русскія Народныя Сказки» есть нѣсколько сказокъ почти одинаковаго содержанія и почти такъ же изложенныхъ, какъ нѣкоторыя «Былины Русскихъ Людей», помѣщенныя имъ въ «Сказаніяхъ Русскаго Народа». Разница въ томъ, что въ сказкахъ есть нѣкоторыя лишнія противъ былинъ подробности, и въ томъ, что первыя напечатаны прозою, а вторыя стихами. И мы думаемъ, что г. Сахаровъ сдѣлалъ это не безъ основанія: хотя и всѣ наши сказки сложены какою-то мѣрною прозою, но этотъ метризмъ, если можно такъ выразиться, составляетъ въ нихъ побочное достоинство и часто нарушается мѣстами, тогда какъ въ поэмахъ, метръ, хотя и сил-

лабическій, и притомъ не всегда правильный, составляетъ ихъ необходимую принадлежность. Сверхъ того, есть нѣкоторая разница въ манерѣ, въ замашкѣ разсказа между сказкою и поэмою: первая объемлетъ собою всю жизнь богатыря, начинается его рожденіемъ, а оканчивается смертію; поэма, напротивъ, схватываетъ одинъ какой-нибудь моментъ изъ жизни богатыря, и силится создать изъ него нѣчто отдѣльное и цѣльное. И потому, одна сказка заключаетъ въ себѣ два, три и болѣе эпическіе рапсода, какъ напримѣръ, о Добрынѣ и объ Ильѣ Муромцѣ. Въ тонѣ сказокъ больше простонароднаго, житейскаго, прозаическаго; въ тонѣ поэмъ больше поэзіи, полету, одушевленія, хотя тѣ и другія разсказываютъ часто объ одномъ и томъ же предметѣ и очень сходно, нерѣдко одними и тѣми же выраженіями. Такъ какъ русскій человѣкъ почиталъ сказку «пересыпаньемъ изъ пустаго въ порожнее», то онъ не только не гонялся за правдоподобіемъ и естественностію, а еще какъ-будто поставлялъ себѣ за непремѣнную обязанность умышленно нарушать и искажать ихъ до безсмыслицы. По его понятію, чѣмъ сказка неправдоподобнѣе и нелѣпѣе, тѣмъ лучше и занимательнѣе. Это перешло и въ поэмы, которыя преисполнены самыми рѣзкими несообразностями. Мы сейчасъ дадимъ это увидѣть самимъ читателямъ нашимъ,—для чего и перескажемъ имъ вкратцѣ содержаніе всѣхъ поэмъ, находящихся въ сборникѣ Кирши Данилова.

Намъ удавалось слышать до крайности странное мнѣніе, будто изъ нашихъ сказочныхъ поэмъ можно составить одну большую цѣлую поэму, подобно тому, какъ будто-бы, изъ рапсодовъ была составлена «Иліада». Теперь уже и о происхожденіи «Иліады» многими оставлено такое мнѣніе, какъ неосновательное; что же до нашихъ рапсодовъ, то мысль склеить ихъ въ одну поэму, есть злая насмѣшка надъ ними. Поэма требуетъ единства мысли, а вслѣдствіе ея—гармоніи въ частяхъ и цѣлости въ общемъ. Изъ содержанія нашихъ рапсо-

довъ, мы увидимъ, что искать въ нихъ общей мысли—все равно, что ловить жемчужныя раковины въ Фонтанкѣ. Они ничѣмъ не связаны между собою; содержаніе всѣхъ ихъ одинаково, обильно словами, скудно дѣломъ, чуждо мысли. Поэзія къ прозѣ содержится въ нихъ какъ ложка меду къ бочкѣ дегтю. Въ нихъ нѣтъ никакой послѣдовательности, даже внѣшней: каждая изъ нихъ сама по себѣ, не вытекаетъ изъ предыдущей, ни заключаетъ въ себѣ начала послѣдующей. Внѣшнее единство «Иліады» основано на гнѣвѣ Ахиллеса противъ Агамемнона за плѣнницу Бризеиду; Ахиллесъ отказывается отъ боя, и, вслѣдствіе этого, Эллины претерпѣваютъ страшныя пораженія отъ Троянъ и погибаетъ Патроклъ; тогда Ахиллъ мирится съ Агамемнономъ, поражаетъ торжествовавшихъ Троянъ, и убійствомъ Гектора выполняетъ свою клятву мщенія за смерть Патрокла. Потому-то въ «Иліадѣ» вторая пѣсня слѣдуетъ за первою, а третья за второю, и такъ далѣе отъ первой до 24-й включительно, не по цифрамъ, въ началѣ ихъ произвольно поставленнымъ собирателемъ, а по внутреннему развитію хода событій. Въ нашихъ же рапсодахъ нѣтъ общаго событія, нѣтъ одного героя. Хоть и наберется поэмъ двадцать, въ которыхъ упоминается имя великаго князя Владиміра красна-солнышка, но онъ является въ нихъ внѣшнимъ только героемъ: самъ не дѣйствуетъ ни въ одной, и вездѣ только пируетъ, да похаживаетъ по гридницѣ свѣтлой, расчесывая кудри черныя. Что́ же касается до связи этихъ поэмъ, то нѣкоторыя изъ нихъ точно должны бы слѣдовать въ книгѣ одна за другою, чего, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ Калайдовичъ напечатавшій ихъ, вѣроятно, въ такомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ находились въ сборникѣ Кирши Данилова. Но это относится къ очень немногимъ, такъ что не болѣе трехъ могутъ составить одно, и это одно всегда имѣетъ своего героя, помимо Владиміра, о которомъ вовсѣхъ равно упоминается. Герои эти—богатыри, составлявшіе дворъ Владиміра. Они со всѣхъ сторонъ стекаются къ

нему на службу. Это очевидно отголосокъ старины, отраженіе давней были, въ которой есть своя доля истины. Владиміръ не является въ этихъ поэмахъ ни лицомъ дѣйствительнымъ, ни характеромъ опредѣленнымъ, а напротивъ какою-то мифическою полутѣнью, какимъ-то сказочнымъ полуобразомъ, болѣе именемъ, нежели человѣкомъ. Такъ-то поэзія всегда вѣрна исторіи: чего не сохранила исторія, того не передастъ и поэзія; а исторія не сохранила намъ образа Владиміра язычника, поэзія же не дерзнула коснуться Владиміра христіянина. Нѣкоторые изъ богатырей Владиміра переданы намъ этою сказочною поэзіею, какъ-то: Алеша Поповичъ съ другомъ своимъ Екимомъ Ивановичемъ, Дунай сынъ Ивановичъ, Чурило Пленковичъ, Иванъ Гостиный сынъ, Добрыня Никитичъ, Потокъ Михайло Ивановичъ, Илья Муромецъ, Михайло Казариновъ, Дюкъ Степановичъ, Иванъ Гординовичъ, Гордей Блудовичъ, жена Ставра Боярина, Касьянъ Михайловичъ; нѣкоторые только упоминаются по имени, какъ-то: Самсонъ Колывановичъ, Суханъ Домантьевичъ, «Свѣтогоръ богатырь и Полканъ другой», семь братовъ Збродовичей и два брата Хапиловы... Но пусть само дѣло говоритъ за себя.

Начнемъ съ Алеши Поповича.

Изъ славнаго Ростова, красна города, вылетывали два ясные сокола, выѣзжали два могучіе богатыря.

Что по имени Алёшинька Поповичъ младъ
А съ молодомъ Екимомъ Ивановичемъ.

Наѣхали они въ чистомъ полѣ на три дороги широкія, а при тѣхъ дорогахъ лежитъ горючь камень съ надписями; Алёша Поповичъ проситъ Екима Ивановича, «какъ въ грамотѣ поученаго человѣка», прочесть тѣ надписи. Одна изъ нихъ означала путь въ Муромъ, другая въ Черниговъ, третья — «ко городу Кіеву; ко ласкову князю Владиміру». Екимъ Ивановичъ спрашиваетъ, куда ѣхать; Алеша Поповичъ рѣ-

шаетъ—къ Кіеву. Не доѣхавши до Сафатъ рѣки (?), остановились на зеленыхъ лугахъ покормить добрыхъ коней. Здѣсь мы остановимся съ ними, чтобы спросить, что̀ это была за рѣка Сафатъ, протекавшая между Ростовымъ и Кіевомъ? Вѣроятно, она зашла туда изъ Палестины... Разбивъ шатры, стреноживъ коней, добры молодцы стали «опочивъ держать».

Прошла та ночь осенняя,
Ото сна пробуждается,
Встаетъ ра̀но ранешенько,
Утреннею зарею умывается,
Бѣлою ширинкою утирается,
На востокъ онъ Алеша Богу молится.

Екимъ Ивановичъ поймалъ коней, напоилъ ихъ въ Сафатъ-рѣкѣ и, по приказанію Алеши, осѣдлалъ ихъ. Лишь только хотѣли они ѣхать «ко городу Кіеву», какъ попадается имъ калика перехожій.

Лапотки на немъ семи шелковъ
Подковырены чистымъ серебромъ,
Личико унизано краснымъ золотомъ,
Шуба соболиная, долгополая,
Шляпа сорочинская, земли греческой.
Въ тридцать пудъ шелепуга подорожная,
Въ пятьдесятъ пудъ палица свинцу чебурацкаго.

Вопросъ: какъ же шелепуга могла быть въ тридцать пудъ, если одного свинцу въ ней было пятьдесятъ пудъ?... Калика говорилъ имъ таково слово:

Гой вы сеи, удалы добры молодцы!
Видѣлъ я Тугарина Змѣевича:
Въ вышину ли онъ, Тугаринъ, трехъ сажень,
Промежь плечей косая сажень,
Промежду глазъ калена стрѣла;
Конь подъ нимъ какъ лютый звѣрь,
Изъ хайлища пламень пышетъ,
Изъ ушей дымъ столбомъ стоитъ.

Алеша Поповичъ «привязался» къ каликѣ, отдаетъ ему свое платье богатырское, а у него проситъ себѣ каличьяго,— и его просьба состоитъ въ повторенiи слово въ слово выписанныхъ нами стиховъ, изображающихъ одѣянiе и оружiе калики. Калика соглашается, и Алеша Поповичъ, кромѣ шелепуги, беретъ еще про запасъ чингалище булатное и идетъ за Сафатъ-рѣку.

Завидѣлъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ,
Заревѣлъ зычнымъ голосомъ,
Продрогнула дубровушка зеленая,
Алеша Поповичъ едва живъ идетъ.
Говорилъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
„Гой еси, калика перехожая.
А гдѣ ты слыхалъ, и гдѣ видалъ
Про млада Алешу Поповича:
А и я бы Алешу копьемъ закололъ,
Копьемъ закололъ и огнемъ спалилъ“.
Говоритъ тутъ Алеша каликою:
„А и ты ой еси, Тугаринъ Змѣевичь младъ!
Поѣзжай поближе ко мнѣ,
Не слышу я, что ты говоришь“.
Подъѣзжалъ къ нему Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
Сверстался Алеша Поповичь младъ,
Противъ Тугарина Змѣевича,
Хлопнулъ его шелепугою по буйной головѣ,
Расшибъ ему буйну голову—
И упалъ Тугаринъ на сыру землю;
Вскочилъ ему Алеша на черну грудь
Втапоры взмолится Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
„Гой еси ты, калика перехожая!
Не ты ли Алеша Поповичъ младъ?
Только ты Алеша Поповичъ младъ,
Семъ побратуемся съ тобою“.
Втапоры Алеша врагу не вѣровалъ,
Отрѣзалъ ему голову прочь,
Платье съ него снималъ цвѣтное
На сто тысячей—и все платье на себя надѣвалъ.

Увидѣвъ Алешу Поповича въ платьѣ Тугарина Змѣевича,

Екимъ Ивановичъ и калика перехожій пустились отъ него бѣжать; когда жь онъ ихъ нагналъ, Екимъ Ивановичъ бросилъ себѣ назадъ палицу въ тридцать пудъ, попалъ Алешѣ въ грудь—и тотъ повалился съ коня за мертво.

Втапоры Екимъ Ивановичъ
Скочилъ съ добра коня, сѣлъ на груди ему:
Хочетъ пороть груди бѣлыя—
И увидѣлъ на немъ золотъ чуденъ крестъ,
Самъ заплакалъ, говорилъ каликѣ перехожему:
„По грѣхамъ надо мною Екимомъ учинилося,
Что убилъ своего братца родимаго".
И стали его оба трясти и качать,
И потомъ подали ему вина заморскаго;
Отъ того онъ здравъ сталъ.

Алеша Поповичъ обмѣнялся съ каликою платьемъ, а Тугариново положилъ себѣ въ чемоданъ. Пріѣхали въ Кіевъ,

Скочили съ добрыхъ коней,
Привязали къ дубовымъ столбамъ,
Пошли во свѣтлы гридни;
Молятся Спасову образу,
И бьютъ челомъ поклоняются
Князю Владиміру и княгинѣ *Апраксьевнѣ*,
И на всѣ четыре стороны;
Говорилъ имъ ласковый Владиміръ князь:
„Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитеся, какъ васъ по имени зовутъ:
А по имени вамъ мочно мѣсто дать,
По изотчеству можно пожаловати".
Говоритъ тутъ Алеша Поповичъ младъ:
„Меня, осударь, зовутъ Алешею Поповичемъ,
Изъ города Ростова, стараго попа соборнаго„.
Втапоры Владиміръ князь обрадовался,
Говорилъ таковы слова:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
По отечеству садися въ большое мѣсто, въ передній уголокъ,
Въ другое мѣсто богатырское,
Въ дубову скамью противъ меня,

Въ третье мѣсто куда самъ захочешь"
Не садился Алеша въ мѣсто большое,
И не садился въ дубову скамью,
Сѣлъ онъ со своими товарищи на полатный брусъ (!!?!).

Вдругъ—о чудо!—на золотой доскѣ двѣнадцать богатырей несутъ Тугарина Змѣевича — того самаго, которому такъ недавно Алеша отрубилъ голову,—несутъ живаго и сажаютъ на большое мѣсто:

Тутъ повары были догадливы:
Понесли явства сахарныя и питья медвяныя.
А питья все заморскія,
Стали тутъ пить, ѣсть, прохлаждатися;
А Тугаринъ Змѣевичъ нечестно хлѣба ѣстъ:
По цѣлой ковригѣ за щеку мечетъ.
Тѣ ковриги монастырскія;
И нечестно Тугаринъ питья пьетъ:
По цѣлой чашѣ охлестываетъ,
Котора чаша въ полтретья ведра.
И говорилъ втапоры Алеша Поповичъ младъ:
„Гой еси ты, ласковый сударь, Владиміръ князь!
Что у тебя за болванъ пришелъ,
Что за дуракъ неотесаной!
Нечестно у князя за столомъ сидитъ,
Ко княгинѣ онъ, собака, руки въ пазуху кладетъ,
Цалуетъ во уста сахарныя,
Тебѣ князю насмѣхается".

Далѣе, Алеша говоритъ, что у его отца была скверная собака, которая подавилась костью, и которую онъ, взявши за хвостъ, подъ гору махнулъ: «отъ меня Тугарину тоже будетъ»,

Тугаринъ почернѣлъ какъ осеняя ночь,
Алеша Поповичъ сталъ какъ свѣтелъ мѣсяцъ.

Начавши рушить лебедь бѣлую, княгиня обрѣзала себѣ рученку лѣвую,

Завернула рукавцомъ, подъ столъ опустила.
Говорила таково слово:
„Гой вы еси, княгини, боярыни!
Либо мнѣ рѣзать лебедь бѣлую,
Либо смотрѣть на милъ животъ
На молода Тугарина Змѣевича".

Тугаринъ схватилъ лебедь бѣлую, да разомъ ее за щеку, да еще ковригу монастырскую. Алеша опять повторяетъ свое воззваніе къ Владиміру тѣми же словами; только, вмѣсто собаки, говоритъ о коровищѣ старой, которая, забившись въ поварню: выпила чанъ браги прѣсныя и оттого лоппула, и которую онъ, Алеша, за хвостъ да подъ гору: «Отъ меня Тугарину то же будетъ». Потемнѣвъ, какъ осенняя ночь, Тугаринъ бросилъ въ Алешу чингалищемъ булатнымъ, но Поповичъ «на то-то вертокъ былъ», и Тугаринъ не попалъ въ него. Екимъ спрашиваетъ Алешу: самъ ли онъ броситъ въ Тугарина, али ему велитъ? Алеша сказалъ, что онъ завтра самъ съ нимъ перевѣдается, подъ великій закладъ—не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, а о своей буйной головѣ. Князья и бояре скочили на рѣзвы ноги, и всѣ за Тугарина поруки держатъ: князья кладутъ по сту рублевъ, бояре по пятидесяти, крестьяне (?) по пяти рублевъ, а случившіеся тутъ гости купеческіе подписываютъ подъ Тугарина три корабля свои съ товарами заморскими, которы стоятъ на быстромъ Днѣпрѣ; а за Алешу подписывалъ владыка черниговскій.

Втапоры Тугаринъ и вонъ ушелъ,
Садился на своего добраго коня,
Поднялся на бумажныхъ крыльяхъ подъ небесью летать.
Скочила княгиня Апраксѣевна на рѣзвы ноги,
Стала пѣнять Алешѣ Поповичу:
„Деревенщина ты засельщина!
Не далъ посидѣть другу милому".
Втапоры Алеша того не слушался,
Звился съ товарищи и вонъ пошелъ.

На берегу Сафатъ-рѣки пустили они коней въ зеленые луга,

разбили шатры и стали «опочивъ держать». Алеша всю ночь не спитъ, со слезами Богу молится, чтобъ послалъ тучу грозную; молитва Алешина дошла до Христа, послалъ онъ «тучу съ градомъ дождя», подмочилъ Тугарину крылья бумажныя, и лежитъ онъ, какъ собака, на сырой землѣ. Екимъ извѣщаетъ Алешу, что видѣлъ Тугарина на сырой землѣ,—Алеша снаряжается, садится на добра коня, беретъ сабельку острую.

И увидѣлъ Тугаринъ Змѣевичъ Алешу Поповича,
Заревѣлъ зычнымъ голосомъ:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
Хошъ ли я тебя огнемъ спалю,
Хошъ ли, Алеша, конемъ стопчу,
Али тебя, Алешу, копьемъ заколю?"
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ.
„Гой ты еси, Тугаринъ Змѣевичъ младъ,
Бился ты со мной о великъ закладъ,
Биться, драться одинъ-на-единъ:
А за табою нонѣ силы смѣты нѣтъ
На меня Алешу Поповича".
Оглянется Тугаринъ назадъ себя,
Втапоры Алеша подскочилъ, ему голову срубилъ—
И пала глава на сыру землю, какъ пивной котелъ.

Проколовъ уши головѣ Тугарина, Алеша привязалъ ее къ сѣдлу, привезъ въ Кіевъ въ княженецкій дворъ и бросилъ середи двора. А. Владиміръ князь повелъ его во свѣтлы гридни, сажалъ за убраны столы—тутъ для Алеши и столъ пошелъ. За столомъ говоритъ ему Владиміръ князь:

„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
Часъ ты мнѣ свѣтъ далъ;
Пожалуй ты живи въ Кіевѣ
Служи мнѣ, князю Владиміру—
До люби тебя пожалую".
Втапоры Алеша Поповичъ младъ князя не ослушался,
Сталъ служить вѣрою и правдою;
А княгиня говоритъ Алешѣ Поповичу:
„Деревенщина ты, засельщина!

Разлучилъ меня съ другомъ милымъ,
Съ молодымъ Змѣемъ Тугаретинымъ".
Отвѣчаетъ Алеша Поповичъ младъ;
„А ты гой еси, матушка княгиня Апраксѣевна!
Чуть не назвалъ я тебя сукою,
Сукою-то, волочайкою".
То старина, то и дѣянье.

И вотъ, читатели, вы уже знакомы съ однимъ изъ богатырей «ласкова князя Владиміра красна-солнышка»; вы уже знаете, за какую службу и съ какими обрядами Алеша былъ принятъ ко двору его. Тутъ не было рыцарскаго посвященія; не ударяли по плечу шпагою, не надѣвали серебряныхъ шпоръ; битва была не за красоту, а противъ красоты, красоты вельми неграціозной и въ словахъ, и въ манерахъ, и въ характерѣ. Не ищите тутъ миѳовъ съ обще-человѣческимъ содержаніемъ, не ищите художественныхъ красотъ поэзіи; но въ этихъ странныхъ и оригинальныхъ оборотахъ все-таки есть поэтическіе элементы, если не поэзія; въ этихъ дикихъ и неопредѣленныхъ образахъ народной фантазіи все-таки есть смыслъ и значеніе, если нѣтъ мысли, — даже, если хотите, есть мысль, только частная, а не общая, народу, а не человѣчеству принадлежащая; и—повторяемъ—не смотря на дубоватую неграціозность образовъ, выраженіе, чуждое мысли, очень и очень нечуждо поэзіи. Что же касается до героя, онъ является съ характеромъ. Поповичъ — это богатырь больше хитрый, чѣмъ храбрый, больше находчивый, чѣмъ сильный. Онъ идетъ на битву съ Тугаринымъ переодѣвшись, подъ чужимъ видомъ; завидя врага; онъ «едва живъ идетъ» (разумѣется, отъ трусости); на возгласъ Тугарина, прикидывается глухимъ,—и когда тотъ подходитъ къ нему ближе, чтобы говорить съ нимъ, а не сражаться—онъ вдругъ хватаетъ его по головѣ шелепугою въ тридцать пудъ; Тугаринъ предлагаетъ ему побрататься, но не на таковскаго напалъ: Алеша не дастся въ обманъ по великодушію ры-

царскому—«втапоры Алеша врагу не вѣровалъ». Готовясь ко второй битвѣ, онъ, въ смиренномъ сознаніи своихъ богатырскихъ силъ, молится о дождѣ, чтобъ подмочило у Змѣя бумажныя крылья,—и когда тотъ полетѣлъ на него, онъ опять прибѣгаетъ къ обману: «ты—говоритъ онъ ему—держалъ закладъ биться со мною одинъ на одинъ, а за тобою сила несмѣтная противъ меня»; Змѣй оглядывается назадъ, и Алеша въ эту минуту рубитъ ему голову. Екимъ Ивановичъ—добрый и честный богатырь: но онъ служитъ Алешѣ и безъ его спросу ничего не дѣлаетъ. Это — меньшой названный братъ его; это добродушная, честная сила, добровольно покорившаяся хитрому уму. Тугаринъ — хвастунъ, нахалъ, невѣжа; онъ при всѣхъ, весьма не по рыцарски, весьма неграціозно любезничаетъ съ Апраксѣевною; онъ у князя какъ у себя дома: ковригами глотаетъ, ушатами запиваетъ, какъ бы для показанія полнаго своего презрѣнія къ обиженному супругу, какъ бы для того, чтобъ при всѣхъ наругаться надъ нимъ. Это идеалъ стариннаго русскаго любовника чужой жены, которому мало наслажденія — нужно еще и ругаться и ломаться надъ несчастнымъ мужемъ?... Мы еще не разъ встрѣтимся съ этимъ лицомъ, состоящимъ, какъ видно на роляхъ любовниковъ въ репертуарѣ народнаго театра жизни; онъ еще явится намъ и подъ другимъ именемъ, но всегда змѣемъ. Въ его безобразномъ и безъ-образномъ лицѣ осуществилось сознаніе о любви, — и если этотъ русскій Донъ-Хуанъ, этотъ Ромео не совсѣмъ благообразенъ,—причина тому—особое созерцаніе чувства любви. Любовь до того была изгнана у насъ изъ тѣснаго круга народнаго созерцанія жизни, что въ самомъ бракѣ являлась какимъ-то чуждымъ элементомъ, враждебнымъ святости союза, освящаемаго религіей; внѣ же брака, она—бѣсовская прелесть, дьявольское наважденіе, нечистое вожделѣніе Змѣя Горынщата, преступная контрабанда жизни. Удивительно ли послѣ этого, что эта любовь является въ

подобныхъ поэмахъ такъ простонародно неэстетическою, такъ цинически чувственною; такъ оскорбительною и возмутительною для чувства; въ такихъ грубыхъ формахъ? Удивительно ли послѣ того, что любовникъ въ этихъ поэмахъ является въ видѣ змѣя, съ характеромъ хвастуна, наглеца и труса, а любовница представляется въ видѣ грубой, наглой и безстыдной бабы, съ манерами и замашками площадной торговки, и даже,—какъ увидимъ это ниже,—въ видѣ колдуньи злой еретницы?.. Самый развратъ—какъ онъ ни преступенъ передъ судомъ морали,—можетъ имѣть свою поэзію и свою грацію, если онъ выходитъ изъ пламеннаго клокотанія необузданной страсти, изъ неукротимаго стремленія къ наслажденію; но въ нашихъ «любовницахъ» не замѣтно ни тѣни поэзіи или граціи. Здѣсь опять та же причина: любовь, по нашему народному созерцанію, не есть чувство, не есть страсть, а какой-то холодный, цинический развратъ. Въ княгинѣ Апраксѣевнѣ олицетворенъ идеалъ любовницы,—идеалъ, котораго полное осуществленіе мы видимъ въ Маринѣ, непріятельницѣ Добрыни Никитича и любовницѣ Змѣя Горынцата. Странно только, какимъ образомъ народная фантазія, выразившая въ Апраксѣевнѣ народный идеалъ, свергнувшей съ себя узы общественной нравственности и приличія женщины, навязала ее въ жены любимцу преданія, солнцу своей древней жизни и поэзіи—князю Владиміру. Нѣтъ сомнѣнія, что Владиміръ м и ѳ и ч е с к і й, Владиміръ, окруженный богатырями, женящійся отъ живой жены, есть Владиміръ язычникъ: народная поэзія, какъ мы сказали, не смѣла коснуться Владиміра и с т о р и ч е с к а г о, и потому не передала намъ ни его похода въ Корсунь, ни отношеній къ Византіи, ни послѣдовавшаго за тѣмъ времени его царствованія, переданнаго исторіею и церковью. Если же въ этихъ поэмахъ нѣтъ ни языческихъ именъ дѣйствующихъ лицъ, ни языческихъ боговъ, а напротивъ часто упоминается о церквахъ, объ образахъ, о вѣнчаніи,—то это анахронизмъ, въ родѣ того,

что Владиміровы богатыри, какъ мы увидимъ ниже, — безпрестанно сражаются съ татарскими ханами, мурзами и улановьями и безпрестанно ѣздятъ въ золотую-орду. Это служитъ новымъ доказательствомъ нашей мысли, что эти поэмы или сложены были во время татарщины, если не послѣ ея, а отъ старины воспользовались только миѳическими, смутными преданіями и именами, или что онѣ были переиначены и передѣланы во время или послѣ татарщины.

Мы еще два раза встрѣтимся съ Алешею Поповичемъ, и увидимъ, что даже являясь вскользь, онъ не измѣняетъ своего характера—Поповича; теперь же перейдемъ къ другому богатырю, женившему князя Владиміра.

—

Въ стольномъ городѣ во Кіевѣ,
Что у ласкова, сударь, князя Владиміра,
А и было пированье, почестный пиръ,
Было столованье, почестный столъ,
Много на пиру было князей и бояръ,
И русскихъ могучихъ богатырей;
А и будетъ день въ половину дня,
Княженецкій столъ во полу столѣ;
Владиміръ князь распотѣшился,
По свѣтлой гриднѣ похаживаетъ,
Черны кудри разчесываетъ;
Говоритъ онъ, сударь, ласковый
Владиміръ князь таково слово:
„Гой еси вы, князи и бояра и могучіе богатыри!
Всѣ вы въ Кіевѣ переженены,
Только я, Владиміръ князь, холостъ хожу,
А и холостъ я хожу, не женатъ гуляю;
А кто мнѣ-ка знаетъ супротивницу,
Супротивницу знаетъ красну дѣвицу:
Какъ бы та дѣвица станомъ статна,
Станомъ бы статна и умомъ свершна,
Ея бѣлое лицо какъ-бы бѣлый снѣгъ,
И ягодицы какъ-бы маковъ цвѣтъ,
А и черныя брови какъ-бы соболи,
А и ясныя очи какъ-бы у сокола“.

Тутъ большой за меньшаго хоронится, а отъ меньшаго отвѣта князю нѣтъ; тогда выступаетъ изъ стола Иванъ Гостиный Сынъ, и кричитъ зычнымъ голосомъ, прося слово молвити, слово единое, безопальное: «Я ли де Иванъ въ Золотой Ордѣ бывалъ у грознаго короля Етмануйла Етмануйловича, и видѣлъ его двухъ дочерей; первая дочь Настасья Королевишна, а другая Афросинья Королевишна; сидитъ Афросинья въ высокомъ терему, за тридесять замками булатными; а и буйные вѣтры не вихнутъ на ее, а красное солнце не печетъ лицо: а то-то, сударь, дѣвушка станомъ статна, станомъ статна и умомъ свершна (слѣдуетъ повтореніе четырехъ послѣднихъ стиховъ изъ рѣчи князя Владиміра); посылай ты, сударь, Дуная свататься». Князь приказалъ налить чашу зелена вина въ полтора ведра, и подносить ее Ивану Гостиному за тѣ слова его хорошія. Призвалъ онъ князь Дуная Ивановича въ спальню къ себѣ и посылалъ его на доброе дѣло, на сватанье, и давалъ ему золотой казны, триста жеребцовъ и могучихъ богатырей; подносилъ онъ ему, Дунаю, чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра; разгорѣлася утроба богатырская, и могучія плечи расходилися, какъ у молода Дуная Ивановича; не беретъ онъ золотой казны, не надо ему триста жеребцовъ и могучихъ богатырей, а проситъ онъ себѣ одного молодца, какъ бы молода Екима Ивановича, который служитъ Алешкѣ Поповичу. А и князь тотчасъ самъ Екима руками привелъ: «Вотъ-де те, Дунаю, будетъ паробочекъ». И пріѣхали добры молодцы! Дунай да Екимъ, въ Золоту Орду, къ тому ли грозному королю Етмануйлу Етмануйловичу. Говоритъ тутъ Дунай таково слово:

„Гой еси, король въ Золотой Ордѣ!
У тебя ли во полатахъ бѣлокаменныхъ
Нѣту Спасова образа,
Некому у тебя помолитися,
А и нé за что тебѣ поклонитеся“.

Говоритъ тутъ король Золотой Орды,
А и самъ онъ король усмѣхается:
„Гой еси, Дунай, сынъ Ивановичъ!
Али ты ко мнѣ пріѣхалъ по старому служить и по прежнему?"

Дунай объявляетъ королю о цѣли своего пріѣзда. А и тутъ королю за бѣду стало, а рветъ на головѣ кудри черныя и бросаетъ о «кирпищетъ» полъ и говоритъ, какъ бы не его, Дуная, прежняя служба, велѣлъ бы посадить его въ погреба глубокіе и уморилъ бы смертью голодною за тѣ его слова за бездѣльныя. Тутъ Дунаю за бѣду стало, разгоралось его сердце богатырское, вынималъ онъ сабельку острую, и говорилъ таковы слова: «какъ-бы де у тебя во дому не бывалъ, хлѣба соли не ѣдалъ, ссѣкъ бы по плечи буйную голову». Тутъ король неладомъ заревѣлъ зычнымъ голосомъ, псы борзы заходили на цѣпяхъ, а и хочетъ Дуная живьемъ стравить тѣми кобелями меделянскими. Дунай закричалъ къ Екиму, а тѣ мурзы, улановья не допустятъ Екима до добра коня, до его палицы тяжкія, мѣдныя, въ три тысячи пудъ; не попала ему палица желѣзная, что попала ему ось-то тележная, а и зачалъ Екимъ помахивати, и побилъ онъ силы семь тысячей, да пятьсотъ кобелей меделянскихъ. Король на все соглашался, и Дунай унималъ своего слугу вѣрнаго, и пошелъ къ высокому терему, гдѣ сидитъ Афросинья—двери у палатъ были желѣзныя, а крюки, пробои по булату злачены. «Хоть ноги изломить, а двери выставить». Всѣ тутъ палаты зашаталися, бросится дѣвица, испужалася, хочетъ Дуная въ уста цѣловать. Проговорилъ Дунай сынъ Ивановичъ: «А и ряженный кусъ, да не суженому ѣсть! Достанешься ты князю Владиміру». И хотятъ они ѣхать; спохватился тутъ король Золотой Орды, отрядилъ триста свои мурзы и улановья на тридцати телегахъ вести за Дунаемъ золото, серебро, жемчугъ скатный и каменья самоцвѣтные. Не доѣхавши до Кіева за сто верстъ, наѣхалъ Дунай на бродучій слѣдъ, велѣлъ Еки-

му везти невѣсту ко Владиміру «честно, хвально и радостно», а самъ поѣхалъ по тому слѣду свѣжему, бродучему. Въ четвертые сутки наѣхалъ онъ на тѣхъ на лугахъ на потѣшныихъ,—куда ѣздилъ ласковый Владиміръ князь всегда за охотою—на бѣлъ шатеръ, а въ томъ шатрѣ опочивъ держитъ красна дѣвица, а и та ли Настасья Королевишна [1]). Молодой Дунай онъ догадливъ былъ: пустилъ онъ изъ лука калену стрѣлу семи четвертей —

Хлеснетъ онъ Дунай по сыру дубу.
А спѣла вѣдь титивка у туга лука,
А дрогнетъ матушка сыра земля
Отъ того удару богатырскаго,—
Угодила стрѣла въ сыръ кряковистый дубъ,
Изломала его въ черенья ножовые.
Бросилася дѣвица изъ бѣла шатра будто угорѣлая.
А и молодой Дунай онъ догадливъ былъ,
Скочилъ онъ, Дунай, съ добра коня,
И гораздъ онъ съ дѣвицею дратися,
Ударилъ онъ дѣвицу по щекѣ,
А пнулъ онъ дѣвицу подъ...—
Женской полъ отъ того пухолъ живетъ,
Сшибъ онъ дѣвицу съ рѣзвыхъ ногъ,
Онъ выдернулъ чингалище булатное,
А и хочетъ взрѣзать груди бѣлыя;—
Втапоры дѣвица взмолилася:
„Гой еси ты, удалой добрый молодецъ!
Не коли ты меня дѣвицу до смерти,
Я у батюшки, сударя, отпрошалася,
Кто меня побьетъ въ чистомъ полѣ
За того мнѣ дѣвицѣ замужъ идти“,

А и туто Дунай тому ея слову обрадовался, думаетъ онъ разумомъ своимъ: «Во семи ордахъ я служилъ семи королямъ, а не могъ себѣ выжить красныя дѣвицы; нонѣ я нашелъ во чистомъ полѣ обрушницу, сопротивницу». Тутъ они обручилися, «вокругъ ракитова куста вѣнчалися». Пріѣхали они во

[1]) Сестра Афросиньи, невѣсты Владиміра. Какъ она туда зашла—не спрашивайте: вѣдь пѣсня—быль, а сказки—ложь.

градъ Кіевъ, а Владиміръ князь отъ злата вѣнца шелъ на свой княженецкій дворъ, и во свѣтлы гридни убиралися, за убраные столы сажалися. А и Дунай приходилъ въ церковь соборную, просить честныя милости у того архіерея соборнаго, обвѣнчать на той красной дѣвицѣ. Рады были тому попы соборные—«въ тѣ годы присяги не вѣдали»—обвѣнчали Дуная Ивановича; вѣнчальнаго далъ Дунай пятьсотъ рублей. Пріѣхавъ ко двору князя Владиміра, Дунай велѣлъ доложить ему, что не въ чемъ идти княгинѣ молодой—платья женскаго только одна и есть епанечка бѣлая. А втапоры Владиміръ князь онъ догадливъ былъ, знаетъ онъ кого послать: послалъ онъ Чурила Пленковича выдавать платьеце женское цвѣтное. (Послѣ этого пошло столованье). А жили они время не малое. На пиру у князя Владиміра, пьяный Дунай расхвастался, что нѣтъ въ Кіевѣ стрѣльца супротивъ его. Тутъ взговоритъ молода княгиня Апраксѣевна (?), что нѣту-де въ Кіевѣ такого стрѣльца, какъ любезной сестрицы ея Настасьи Королевишны. Тутъ Дунаю за бѣду стало, бросилъ съ женою жеребій, кому прежде стрѣлять. Досталось Дунаю на головѣ кольцо держать, отмѣрили версту тысячну, Настасья каленой стрѣлой сшибла съ головы золото кольцо. Втапоры Дунай становилъ на примѣту свою молоду жену, и стала княгиня Апраксѣевна его упрашивати: «то вѣдь шуточка пошучена».

Да говорила же и его молода жена:
„Оставимъ-де стрѣлять до другаго дня,
Есть-де въ утробѣ у меня могучъ богатырь;
Первой де стрѣлкой не дострѣлишь,
А другой-де перестрѣлишь,
А третьею де стрѣлкой въ меня угодишь“.

Князья и бояре и всѣ сильны могучи богатыри стали Дуная уговаривати, а онъ Дунай «озадорился» и стрѣлялъ перву стрѣлу.

И втапоры его молодая жена
Стала ему кланятися и передъ нимъ убиватися:
„Гой еси ты, мой любезный ладушка,
Молодой Дунай сынъ Ивановичъ!
Оставь шутку на три дня,
Хоть не для меня, но для своего сына нерожденнаго.
Завтра рожу тебѣ богатыря,
Что не будетъ ему сопротивника“.

Тому Дунай не повѣровалъ, и третьей стрѣлой въ жену угодилъ; прибѣжавши Дунай къ молодой женѣ, выдергивалъ чингалище булатное, скоро поролъ ей груди бѣлыя:—выскочилъ изъ утробы удалъ молодецъ, онъ самъ говоритъ таково слово:

„Гой еси, сударь, мой батюшка!
Какъ-бы далъ мнѣ сроку на три часа,
А и я бы на свѣтѣ былъ попрыжѣе
И получше въ семь семерицъ тебя“
А и тутъ молодой Дунай, сынъ Ивановичъ, запечалился“
Ткнулъ себя чингалищемъ въ бѣлыя груди,
Сгоряча онъ бросился на быстру рѣку.
Потомъ быстра рѣка Дунай словетъ
Своимъ устьемъ впала въ сине море.

—

Теперь мы знакомы съ тремя богатырями Владиміра. Послѣдній выше первыхъ двухъ — не правда ли? Въ немъ и умъ, и сметливость, и богатырская рьяность, и прямота силы и храбрости, на себя опирающейся. Если Дунай не совсѣмъ вѣжливо и далеко не по-рыцарски обошелся съ Настасьей Королевишной—это не его вина: тутъ выразилось сознаніе цѣлаго народа о любви и объ отношеніяхъ половъ. Сама Настасья не видитъ ничего страннаго, или обиднаго для нея, ни въ томъ, что Дунай билъ ее по щекамъ и угощалъ пинками, ни въ томъ, что онъ чингалищемъ булатнымъ хотѣлъ вспороть ей груди бѣлыя: она съ тѣмъ и отпросилась у батюшки, что кто ее въ полѣ побьетъ, тотъ и за себя замужъ возьметъ. Колоченная посуда два вѣка живетъ — русскій человѣкъ свято вѣритъ глубокой мудрости

этой азіятской пословицы, а потому другихъ бьетъ не кается, и самаго побьютъ — не гонится. Притомъ же, еслибъ Настасья одолѣла Дуная, — она не задумалась бы вспороть ему груди бѣлыя чингалищемъ булатнымъ. Въ Настасьѣ Королевишнѣ осуществленъ идеалъ амазонки по понятію русскаго человѣка. Жена богатыря должна рождать богатырей, а для этого сама должна быть богатыремъ своего пола. Поэтому Настасья и мастерица такая изъ лука стрѣлять, что за версту сшибла кольцо съ головы мужа. Отношенія половъ, по народному сознанію всего лучше выражаются въ смерти Настасьи. Всѣ богатыри хвастливы, особенно въ русскихъ сказкахъ; всѣ богатыри любятъ подпить, особенно русскіе: потому не удивителенъ вызовъ Дуная состязаться съ женою въ стрѣльбѣ. Просьбы другихъ, слезы жены только болѣе подстрекаютъ его богатырскую рьяность и раздражаютъ упорный характеръ. Убивъ жену, онъ спѣшитъ вспороть ей бѣлыя груди: ни слезы, ни вздоха для нея; но при видѣ сына, которому онъ не далъ своею опрометчивостью созрѣть настоящимъ образомъ, въ немъ пробуждается отеческое, а слѣдовательно, и человѣческое чувство. Печаль его переходитъ въ отчаяніе, разрѣшающееся самоубійствомъ. Обстоятельство, по которому приписывается быстрому Дунаю его имя, заключаетъ въ себѣ много поэзіи, и простые, безыскуственные стихи:

Потому быстра рѣка Дунай словетъ—
Своимъ устьемъ впала въ сине море—

дышутъ какимъ-то успокоительнымъ и примирительнымъ чувствомъ: въ нихъ высказывается широкое, хотя и совершенно неопредѣленное созерцаніе.

Какимъ образомъ Настасья Королевишна могла разъѣзжать по полямъ, ища кто бы побилъ ее и женился на ней, въ то время, какъ сестра ея Афросинья сидѣла взаперти, за двѣнадцатью булатными замками; какимъ образомъ Афросинья Ко-

ролевишна превращается, ни съ того ни съ сего, въ княгиню Апраксѣевну, которая Дуная называетъ зятемъ, а Настасью—сестрою—объ этомъ нечего и спрашивать у сказки. И неужели всѣ жены Владиміра превращались въ Апраксѣевну?... Не забудьте притомъ, что въ предшествовавшей поэмѣ, Апраксѣевна уже отличалась съ Тугариномъ Змѣевичемъ; она не могла видѣть Екима прежде замужества Афросиньи, а между тѣмъ, Екимъ видѣлъ ее прежде, чѣмъ увидѣлъ, Афросинью, стало-быть, Владиміръ называлъ себя холостымъ и хотѣлъ жениться отъ живой жены, а Афросинья превратилась въ Апраксѣевну для того, чтобъ избавить Владиміра отъ грѣха двоеженства?...

Вотъ тутъ и извольте составлять одну цѣлую поэму изъ народныхъ рапсодовъ!...

Читатели, конечно, замѣтили въ предшествовавшей поэмѣ, когда Дунай проситъ платья для своей жены, слѣдующіе стихи:

А втапоры Владиміръ князь онъ догадливъ былъ,
Знаетъ онъ кого послать:
Послалъ онъ Чурила Пленковича
Выдавать платьеце женское цвѣтное.

Стало-быть, гдѣ касалось дѣло до чего-нибудь женскаго, Чурила Пленковичъ былъ на своемъ мѣстѣ? Оно такъ и есть, какъ мы сейчасъ увидимъ. Въ лицѣ Чурилы народное сознаніе о любви какъ бы противорѣчило себѣ, какъ бы невольно сдалось на обаяніе соблазнительнѣйшаго изъ грѣховъ. Чурила—волокита, но не въ змѣиномъ родѣ. Это молодецъ хоть куда, и лихой богатырь. Но онъ нисколько не противорѣчитъ нашему взгляду на сознаніе народное о любви. Крайности сходятся; въ фанатической Испаніи бывали примѣры вольнодумства, а въ Римѣ іерархія встрѣтила себѣ оппозицію прежде, чѣмъ въ самой Германіи. Въ этихъ случаяхъ должно брать въ соображеніе перевѣшивающій элементъ, а въ исключительныхъ явленіяхъ видѣть или слу-

чайности, или возможность въ будущемъ вступленія въ свои права и даже перевѣса противоположнаго элемента. И потому, мы смотримъ на тугариныхъ какъ на нѣчто положительное, дѣйствительное и настоящее въ жизни древней Руси; а на Чурилу—какъ на фактъ, свидѣтельствовавшій о возможности въ будущемъ другаго рода любовниковъ, какъ на новый элементъ жизни, только подавленный, но не несуществующій.

Думая, что мы уже довольно познакомили читателей съ манерою и слогомъ поэмъ, разскажемъ о Чурилѣ своими словами и короче.

—

Во время столованія Владиміра, къ нему являются незнаемые люди, человѣкъ за триста избитыхъ, израненныхъ молодцовъ:

Булавами буйныя головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны,
Бьютъ челомъ жалобу творятъ.

Это стрѣльцы княжіе; цѣлый день они рыскали по займищамъ и не встрѣтили ни одного звѣря, а встрѣтили триста молодцовъ, которые звѣрей повыгнали и повыловили, а ихъ перебили и переранили, и оттого «князю добычи нѣтъ», а имъ жалованья нѣтъ, «дѣти, жены осиротѣли, пошли по міру скитаться».

А Владиміръ князь стольный, кіевскій,
Пьетъ онъ, ѣстъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.

Не успѣла эта толпа сойдти со двора—валитъ другая. Это рыболовы: съ ними та же исторія.

А Владиміръ князь стольный, кіевскій,
Пьетъ онъ, ѣстъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.

Не успѣла и эта толпа свалить со двора—валятъ вдругъ двѣ новыя: то сокольники и кречетники. И съ ними то же.

Противъ другихъ, они прибавили въ своемъ челобитьѣ, что ограбившая и прибившая ихъ ватага называется дружиною Чуриловою. Тутъ Владимiръ князь за то слово спохватится: «кто это Чурила есть таковъ?» Выступался тутъ старый бояринъ Бермята Васильевичъ:

„Я-де, осударь про Чурилу давно вѣдаю,
Чурила живетъ не въ Кiевѣ,
А живетъ онъ пониже малаго Кiевца.
Дворъ у него на семи верстахъ,
Около двора желѣзный тынъ,
На всякой тычинкѣ по маковкѣ,
А и есть по жемчуженкѣ,—
Середи двора свѣтлицы стоятъ,
Гридни бѣлодубовыя,
Покрыты сѣдымъ бобромъ,
Потолокъ черныхъ соболей,
Матица-то валженая,
Полъ середа одного серебра,
Крюки да пробои по булату злачены.
Первые у него ворота вальящетыя,
Другiе ворота хрустальныя,
Третьи ворота оловянныя“.

Итакъ, Чурила Пленковичъ — щеголь, франтъ, живетъ какъ сатрапъ восточный. Владимiръ князь ѣдетъ къ нему со дворомъ своимъ, въ числѣ пятисотъ человѣкъ. Встрѣчаетъ ихъ старый Пленъ; для князя и княгини отворяетъ ворота вальящетыя, а князямъ и боярамъ—хрустальныя, а простымъ людямъ — ворота оловянныя. Пошло столованье великое — «веселая бесѣда, на радости день». Увидѣвъ въ окно толпу людей, князь говорилъ таково слово:

„По грѣхамъ надо мною княземъ учинилося,
Князи меня въ домѣ не случилось,
Едетъ ко мнѣ король изъ орды,
Или какой грозенъ посолъ“.

Старый Пленка Сароженинъ только усмѣхается, самъ подчиваетъ, и говоритъ, что то не король и не посолъ ѣдетъ;

а ѣдетъ-де дружина храбрая сына его, молода Чурила Пленковича. Къ вечеру, когда пиръ былъ въ полу-пирѣ, а и столъ былъ въ полу-столѣ, ѣдетъ самъ Чурила Пленковичъ, «а передъ нимъ несутъ подсолнечникъ, чтобъ не запекло солнце бѣла его лица». Бралъ онъ Чурила ключи золотые, ходилъ въ подвалы глубокіе, вынималъ золоту казну: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, другую сорокъ печерскихъ лисицъ, и камку бѣлохрущату, а цѣна камкѣ сто тысячей; приносилъ онъ ко князю Владиміру, клалъ передъ нимъ на дубовый столъ

Втапоры Владиміръ князь стольный кіевскій
Больно со княгинею возрадовалися.
Говорилъ ему таково слово:
„Гой еси ты, Чурила Пленковичъ!
Не подобаетъ тебѣ въ деревнѣ жить
Подобаетъ тебѣ, Чурилѣ, въ Кіевѣ жить, князю служить!

Втапоры Чурила князя Владиміра не ослушался. И вотъ они въ Кіевѣ; посылаетъ князь Чурилу князей и бояръ въ гости звать къ себѣ, «а зватаго приказалъ брать со всякаго по десяти рублевъ». Обходя гостей звать, Чурила зашелъ ко старому бояриму Бермятѣ Васильевичу, ко его молодой женѣ, къ той Катеринѣ прекрасныя,—«и тутъ онъ позамѣшкался». Князь Владиміръ то замѣшканье ему ни во что положилъ. Пошло столованье и пированье. Тогда на другой день рано поутру князи и бояри къ заутрени пошли—въ тотъ день выпадала пороха снѣгу бѣлаго—и нашли они свѣжій слѣдъ, — сами они дивуются: «либо зайка скакалъ, либо бѣлъ горностай».

А иные тутъ усмѣхаются, сами говорятъ:
„Знать это не зайка скакалъ, не бѣлъ горностай,
Это шелъ Чурила Пленковичъ
Къ старому Бермятѣ Васильевичу,
Къ его молодой женѣ Катеринѣ прекрасныя“.

Чурила Пленковичъ выдается изъ всего круга Владиміровыхъ

богатырей: это самая гуманная личность между ними, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ женщинамъ, которымъ онъ, кажется, посвятилъ всю жизнь свою. И потому въ поэмѣ о немъ нѣтъ ни одного грубаго или пошлаго выраженія; напротивъ, его отношенія къ Катеринѣ прекрасной отличаются какою-то рыцарскою граціозностію и означаются болѣе намеками, нежели прямыми словами. Въ первый разъ онъ позамѣшкался у молодой жены стараго Бермяты; во второй разъ тайна его посѣщенія выдается предательскою порошею, и оглашается не его хвастовствомъ, а рѣчами другихъ, и рѣчами, противъ обыкновенія, умѣренными, даже поэтическими, За Чурилу можно поручиться, что онъ не сталъ бы ломаться надъ жертвою своего соблазна, не сталъ бы хвалиться побѣдою во честномъ пиру; тѣмъ болѣе можно поручиться, что онъ не сталъ бы бить женщину по щекамъ, или толкать ее пинками—«женскій-де полъ отъ того пухолъ бываетъ». А между тѣмъ, онъ не нѣженка, не сантиментальный воздыхатель, а сильный могучій богатырь, удалой предводитель дружины храброй. Конечно, онъ смѣшонъ, когда передъ нимъ, вмѣсто китайскаго зонтика, несутъ подсолнечникъ, чтобъ не взгорѣлось отъ солнца его лицо бѣлое; но онъ смѣшонъ граціозно: онъ женскій угодникъ, который дорожитъ своею наружностію, а не нѣженка запечный, не беззубый и безкогтый левъ нашего времени.

—

Просимъ читателей вспомнить, что въ поэмѣ о женитьбѣ князя Владиміра вскользь является лицо Ивана Гостинаго Сына: теперь мы познакомимся съ нимъ, какъ съ героемъ особенной поэмы. Это представитель другаго сословія, всегда столь важнаго въ началѣ гражданскихъ обществъ: хоть онъ не торговецъ, а богатырь, однако онъ явно сынъ купца, силою и храбростію сѣвшій при дворѣ князя Владиміра на богатырское мѣсто.

У князя Владиміра было пированіе—почестный пиръ, а и

и было столованіе—почестный столъ на многи князи, бояра на русскіе могучіе богатыри и гости богатые. Будетъ день въ половину дня, будетъ пиръ во полу-пирѣ: Владиміръ князь распотѣшился, по свѣтлой гридпѣ похаживаетъ, таковыя слова поговариваетъ: «Есть ли-де кто въ Кіевѣ таковъ молодецъ, что похвалился бы на триста жеребцовъ—изъ Кіева бѣжать до Чернигова два девяносто-та мѣрныхъ верстъ, промежъ обѣдней и заутреней?»

Вызвался Иванъ Гостиный Сынъ, и побился о великъ закладъ—не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, о своей буйной головѣ. Князья, бояре и гости корабельщики держутъ закладъ за Владиміра на сто тысячь, а за Ивана никто поруки не держитъ; пригодился тутъ владыка черниговскій, и держитъ за него поруки крѣпкія на сто тысячей. Выпилъ Иванъ чару зелена вина въ полтора ведра, походилъ онъ на конюшню бѣлодубову ко своему доброму коню бурочкѣ, косматочкѣ, троелеточкѣ, падалъ ему во правое копыточко, самъ плачетъ, что рѣка льется. Выслушалъ добрый конь про кручину Ивана, и сказалъ ему не печалиться:

„Сива жеребца того не боюсь,
Кологрива жеребца того не блюдусь.
Въ задоръ войду—у Воронка уйду".

Только велѣлъ онъ своему ласковому хозяину водить себя по три зари, поить сытою медвяною и кормить сорочинскимъ пшеномъ. «А какъ, говоритъ, прійдетъ тотъ часъ урочный, ты не сѣдлай, Иванъ, меня добра коня, только берись за шелковъ поводокъ, вздѣнь на себя шубу соболиную, котора шуба въ три тысячи, пуговки въ пять тысячей; я стану бурка передомъ ходить, копытами за шубу посапывати, и по черному соболю выхватывати, на всѣ стороны побрасывати,—князи, бояры подивуются, и ты будешь живъ—шубу наживешь, а не будешь живъ—будто нашивалъ». И все было по сказанному, какъ по писанному. Зрявкаетъ бурко по туриному, онъ шипъ пустилъ по змѣиному; триста жеребцовъ испужалися, съ

княжецкаго двора разбѣжалися; сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ, кологривъ жеребецъ тотъ и голову сломилъ, полоненъ Воронко въ Золоту Орду бѣжитъ, онъ хвостъ поднявъ, самъ всхрапываетъ, а князя, бояры и все люди купецкія испужалися, окорачь они подвору наползалися; а Владиміръ князь со княгинею печаленъ сталъ; кричитъ въ окошко косящатое, чтобы Иванъ уродье увелъ со двора, «за просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодраны». Втапоры владыко черниговскій на почестномъ пиру у великаго князя велѣлъ захватить три корабля на быстрымъ Днѣпрѣ съ товарами заморскими,—«А князи-де и бояри никуда отъ насъ не уйдутъ».

—

Трудно объяснить значеніе этой поэмы иначе, какъ народнымъ апоѳеозомъ коня — животнаго высоко уважаемаго въ ратномъ дѣлѣ, товарища сподвижника, и друга ратнику. Странна неустойка князя, отказавшагося платить проиграный закладъ; еще страннѣе нецеремонная раздѣлка съ нимъ со стороны черниговскаго владыки. Не менѣе удивительно и то, что этотъ черниговскій владыко всегда держитъ заклады противъ князя и всѣхъ, за того, за кого никто не хочетъ поручиться. Все это должно быть или совсѣмъ безъ значенія, просто сказочная болтовня, или отъ времени потерянъ ключъ къ разрѣшенію этихъ вопросовъ.

—

Теперь пора намъ познакомиться съ знаменитымъ Добрынею Никитичемъ, воспѣтымъ въ трехъ поэмахъ, и упоминаемомъ вскользь и прямо еще въ нѣсколькихъ. Онъ и Илья Муромецъ—знаменитѣйшіе богатыри двора Владиміра.

Жилъ въ Рязани богатый гость Никита, живучи-то Никита состарѣлся, состарѣлся — послѣ нереставился; его вѣку долгаго осталось житье-бытье, богатество: м а т е р а ж е н а Амелѳа Тимоѳевна, да чадо милое Добрынюшка Никитичъ младъ. Присадила его матушка грамотѣ учиться, а грамота Никитѣ въ наукъ пошла. А будетъ ему двѣнадцать лѣтъ, по-

просился онъ у матушки купаться на Сафатъ-рѣку: она вдова многоразумная его Добрыню отпускала, а сама наказывала: «Израй-де рѣка быстрая, а быстрая она, сердитая: не плавай, Добрыня, за перву струю, не плавай ты, Никитичъ, за другую струю». Добрыня не послушался: двѣ-то струи самъ переплылъ, а третья струя подхватила молодца, унесла во пещеры бѣлокаменны. Тутъ откуда не возьмись лютый звѣрь—Змѣй Горынчище, самъ приговариваетъ:

„А стары люди пророчили,
Что быть змѣю убитому
Отъ молода Добрынюшки Никитича,
А нынѣ Добрыня у меня самъ въ рукахъ".

Говоритъ Добрыня: «не честь, хвала молодецкая, на нагое тѣло напущаешься». Хочетъ змѣй Добрыню огнемъ спалить, хоботомъ ушибить; Добрыня нагребъ въ шапку песку желтаго, и тѣмъ пескомъ змѣю глаза запорошилъ, два хобота ушибъ. Попалась тутъ ему дубина, и онъ Добрыня той дубиной змѣя до смерти убилъ. Поплылъ онъ по рѣкѣ и заплылъ въ пещеры бѣлокаменны, въ гнѣздо змѣя, и его малыхъ дѣтушекъ всѣхъ перебилъ, пополамъ перервалъ; нашелъ онъ въ палатахъ у змѣя много злата, серебра, и свою любимую тетушку Марью Дивовну. Владиміръ князь о Добрынѣ больно запечалился — «сидитъ онъ, ничего свѣту не видитъ», а увидѣлъ Добрыню, скочилъ на ноги рѣзвыя, цѣловалъ его въ уста сахарныя. Бросилась его матушка родимая, хватала за бѣлы руки, цѣловала его во уста сахарныя; стали его выспрашивати, а гдѣ былъ, гдѣ ночевалъ? Послали за тетушкою, привели ее къ князю во свѣтлу гридню.

Владиміръ князь свѣтелъ, радошенъ,
Пошла-то у нихъ пиръ, радость великая,
А для ради Добрынюшки Никитича,
Для другой сестрицы родимыя—Марьи Дивовны.

Чтó сказать объ этой поэмѣ? Это какая-то безсвязная болтовня больнаго похмѣльемъ воображенія... Тутъ нѣтъ не

только мысли—даже смысла. У Добрыни нѣтъ ни лица, ни характера; это просто—призракъ. Подобная нелѣпица могла бы имѣть значеніе миѳа, еслибъ отъ ея чудовищныхъ образовъ вѣяло фантастическимъ ужасомъ, но въ русскихъ сказкахъ, какъ и во всей народной русской поэзіи, фантастическаго элемента почти вовсе нѣтъ. И потому, странно слышать, когда человѣкъ, который на міръ смотритъ простыми глазами, не видя въ немъ ничего таинственнаго и необъяснимаго,—странно слышать, когда такой человѣкъ спокойно, безъ увлеченія, безъ экстаза, разсказываетъ несбыточныя вещи. Что за тетушка Марья Дивовна была у Добрыни? какъ попала она къ змѣю Горынчату; что за рѣка Сафатъ, которая черезъ пять строкъ превращается въ Израй-рѣку? какъ Владиміръ, живя въ Кіевѣ, могъ знать двѣнадцатилѣтняго Добрыню, жившаго въ небывалой тогда Рязани, и печалиться, что тотъ ушелъ купаться на Сафатъ-рѣку?...

Но вторая поэма о Добрынѣ—одна изъ интереснѣйшихъ поэмъ. Въ ея дикихъ, неопредѣленныхъ образахъ есть смыслъ и значеніе, если нѣтъ мысли.

—

Въ стольномъ въ городѣ во Кіевѣ, у славнаго, сударь, у князя у Владиміра, три года Добрынюшка стольничалъ три года Никитичъ приворотничалъ; онъ стольничалъ чашничалъ девять лѣтъ, на десятый годъ погулять захотѣлъ по стольному городу по Кіеву. Взявши онъ колчанъ съ калеными стрѣлами, идетъ онъ по широкимъ по улицамъ, по частымъ мелкимъ переулочкамъ; по горницамъ стрѣляетъ воробушковъ, по повалушкамъ стрѣляетъ онъ сизыхъ голубей. Зашелъ въ улицу Игнатьевскую, въ Марининъ переулокъ; видитъ онъ у Марины у Игнатьевны, на ея высокомъ хорошемъ терему, сидятъ тутъ два сизыя голубчика, они цѣлуются, милуются, желты носами обнимаются. Тутъ Добрынѣ за бѣду стало, будто надъ нимъ насмѣхаются: а спѣла вѣдь тетива у туга лука, взвыла да пошла калена стрѣла.

Тутъ надъ Добрынею по грѣхамъ учинилося, нога его поскользнулася, рука удрогнула, не попалъ онъ въ сизыхъ голубей, попалъ въ окошечко косящето, проломилъ онъ оконницу стекольчатую, отшибъ всѣ причалины серебряныя, расшибъ онъ зеркальцо стекольчатое; бѣлодубовыя столы пошаталися, что питья медвяныя, восплеснулися. А втапоры Маринѣ безвременье было—она умывалася, снаряжалася; и бросилася она на свой на широкій дворъ: «А кто это невѣжа на дворъ заходилъ? а кто это невѣжа въ окошко стрѣляетъ?» Брала она Марина слѣды горячіе молодецкіе, клала беремя дровъ бѣло-дубовыхъ въ печку муравленную, разжигала ихъ огнемъ палящатымъ, и сама дровамъ приговариваетъ: «Сколь жарко дрова разгораются а тѣми слѣды молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое, какъ у молода Добрынюшки Никитьевича». А и Божье крѣпко, вражье-то лѣпко! Взяло Добрыню пуще остраго ножа, по его сердцу богатырскому, со полуночи Добрынюшкѣ не уснется. По его-то щастки великія рано зазвонили ко заутрени; пошелъ Добрыня ко заутрени, прошелъ онъ церкву соборную, зайдетъ ко Маринѣ на широкій дворъ, у высокаго терема подслушаетъ; у молодой Марины вечеринка была; сидѣли тутъ душечки красны дѣвицы и молоденьки молодушки, всѣ тутъ жены молодецкія. Къ нимъ бы Добрыня въ теремъ не пошелъ, а стала его Марина въ окошко бранить, ему больно пѣнять, да завидѣлъ онъ Добрыня змѣя Горынчата—тутъ ему за бѣду стало, за великую досаду показалося. Ухватилъ онъ бревно въ обхватъ толщины и вышибъ имъ двери желѣзныя. Учала Марина Добрыню бранить, а змѣища Горынчища чуть его огнемъ не спалилъ, а и чуть молодца хоботомъ не убилъ, а и самъ тутъ змѣй почалъ бранити его, больно пѣняти: «Не хочу я звати Добрынею, не хощу величать Никитичемъ, называю те дѣтиною деревенщиною и засельщиною; почто ты, Добрыня, въ окошко стрѣлялъ?» Вынималъ Добрыня сабельку острую, вздымалъ выше буйной головы своей, грозятся

змѣя изрубить на мелкія части, туловище разбросать по чистому полю. А и тутъ змѣй Горынычъ хвостъ поджавъ, да и вонъ побѣжалъ, взяла страсть, такъ зачалъ . . . , околыши металъ по три пуда . . . ; бѣгучи онъ змѣй у Марины бывать заклинается: «Есть-де у ней не одинъ другъ, есть лучше меня и п о в ѣ ж л и в ѣ е». А Марина высунулась по поясъ въ окно въ одной рубашкѣ б е з ъ п о я с а, змѣя уговариваетъ: «Воротись, милъ надежа; воротись, другъ!» Обѣщаетъ оборотить Добрыню во что онъ змѣй похочетъ — клячею водовозною, или гнѣдымъ туромъ. И оборотила она Добрыню гнѣдымъ туромъ, пустила далече во чисто поле, а гдѣ-то ходятъ девять туровъ, девять братаниковъ, что Добрыня имъ будетъ десятый туръ, всѣмъ атаманъ — золотые рога. И нѣту о Добрынѣ слуху шесть мѣсяцевъ, «а по нашему, по-сибирскому, словетъ полгода».

У великаго князя вечеринка была, а на пиру были вдовы честныя, и мать Добрыни, честна вдова Афимья Александровна (Амелоа Тимоѳеевна?!...), а друга честна вдова, молода Анна Ивановна, крестная матушка Добрынина. Промежду собою разговоры говорятъ—все были рѣчи прохладныя. Не отколь взялась тутъ Марина Игнатьевна, водилася съ дитятами княженецкими, она больно Марина упивалася, голова на плечахъ не держится. Она больно Марина похваляется: нѣтъ-де въ Кіевѣ и хитрѣе и умнѣе ея, обернуладе она гнѣдыми турами девять богатырей, десятаго Добрыню Никитича. Втапоры за то слово взымается честна вдова Аѳимья Александровна; наливала она чару зелена вина, подносила любимой своей кумушкѣ, а сама она за чарою заплакала: «Гой еси ты, любимая кумушка, молода Анна Ивановна! А и выпей чару зелена вина, поминай ты любимаго крестника, а и молода Добрыню Никитича: извела его Марина Игнатьевна, а нынѣ на пиру похваляется». Проговоритъ Анна Ивановна: «я-де сама эти рѣчи слышала, а рѣчи ея похваленыя». А и молода Анна Ивановна выпила

чару зелена вина, а Марину она по щекѣ ударила, сшибла съ рѣзвыхъ ногъ и топчетъ ее по бѣлымъ грудямъ, сама она Марину больно бранитъ: «А и сука ты....., еретница....! Я де тебя хитрѣя и мудренѣя, сижу я на пиру не хвастаю; а и хошь ли я тебя сукой оберну? А станешь ты, сука, по городу ходить, много за собой псовъ водить: а и женское дѣло прелестивое, переходчивое».

Марина обернулася касаткою, полетѣла въ чистое поле, сѣла Добрынѣ на правый рогъ, сама она Добрыню уговариваетъ: «Нагулялся ты, Добрыня, во чистомъ полѣ, тебѣ чистое поле наскучило и зыбучія болота напрокучили: а и хошь ли, Добрыня, женится, возьмешь ли, Никитичь, меня за себя?»—А право возьму, ей-богу возьму, а и дамъ-те, Марина, поученьице, какъ мужья женъ своихъ учатъ.

Обернувшись дѣвицею, Марина обернула Добрыню добрымъ молодцомъ; они въ чистомъ полѣ женилися, кругъ ракитова куста вѣнчалися. Пришедши въ Маринииъ теремъ, Добрыня говоритъ: «А и гой еси ты, моя молодая жена, Марина Игнатьевна! У тебя въ высокихъ хоромахъ теремахъ нѣту Спасова образа: некому у тебя помолитися, не за что стѣнамъ поклонитися; а и чай моя острая сабля заржавѣла. А и сталъ Добрыня свою жену учить, молоду Марину Игнатьевну, еретницу....., безбожницу; онъ первое ученье — ей руку отсѣкъ; самъ приговариваетъ: «эта мнѣ рука ненадобна: трепала она рука змѣя Горынчища!» А второе ученье — ноги ей отсѣкъ: „А и эти-де ноги мнѣ ненадобны: оплеталися со змѣемъ Горынчищемъ». А третье ученье — губы ей обрѣзалъ и съ носомъ прочь: «А эти-де губы ненадобны мнѣ: цѣловали они змѣя Горынчища!» Четвертое ученье—голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь: «А и эта голова ненадобна мнѣ, и этотъ языкъ не надобенъ—зналъ онъ дѣла еретичныя!»

—

Какая холодная и ужасная иронія! Сколько въ ней гру-

баго и нечеловѣческаго! Это не казнь, а постепенное, продолжительное мученіе. Здѣсь нѣтъ мгновеннаго порыва страсти, которая разитъ вдругъ какъ молнія: здѣсь долго скрываемое, медленно разгаравшееся чувство мести, высказывается сосредоточенно, холодно и медленно. Вдругъ сверкающая и мгновенно-убивающая страсть не въ русской натурѣ: много нужно, чтобъ возбудить въ русскомъ человѣкѣ страсть, и глухо, медленно разгарается она въ неприступныхъ и сокровенныхъ глубинахъ сердца; за то и не скоро остываетъ, а выказывается съ какою-то ужасающею ледяностію тяжело и неповоротливо. Отъ нея нѣтъ спасенія— отъ нея нѣтъ пощады. И потому русскій богатырь не тороплив на мщеніе: оно у него не остынетъ отъ сладкаго обѣда, не заснетъ отъ зелёна вина; онъ можетъ и покушать и выспаться, безъ всякаго вліянія на владѣющее имъ чувство. И это чувство проявляется у него грубо и жестоко, какъ у Добрыни Никитича, который казнитъ злую еретницу Марину. Что́ такое эта Марина—не мудрено понять: это родная сестра княгини Апраксѣевны, притомъ старшая сестра, далеко превосходящая ее въ полнотѣ выражаемой ею идеи. Это типъ женщины, живущей внѣ общественныхъ условій, свободно предающейся своимъ страстямъ и склонностямъ. Она въ связи со змѣемъ Горынчатымъ—типомъ русскаго любовника, какъ мы замѣтили выше; но она не должна отличаться излишнею вѣрностію своему любовнику: она только больше другихъ любитъ его. Она умѣетъ и приворожить и отлучить, и оборотить оборотнемъ. Она предается сама всѣмъ неистовствамъ и помогаетъ другимъ: ее теремъ—пріютъ для всѣхъ веселыхъ людей обоего пола. Она горькая пьяница; она еретница и безбожница. О граціозности ея нечего и говорить. Но вотъ о чемъ слѣдуетъ замѣтить: Анна Ивановна, крестная мать Добрыни, еще м у д р е н ѣ я и х и т р ѣ я самой Марины: она и самое Марину можетъ обратить во что захочетъ. Она другъ ч е с т н о й

вдовы—матери Добрыни; она принимаетъ горячее участіе въ правомъ дѣлѣ; она сидитъ на пиру не хвастается: по всему этому, она—представительница добраго начала, какъ Марина злаго; она добрая: благодѣтельная волшебница, какъ Марина злая и вредная. Но она пьетъ зелено вино; ея слова къ Маринѣ дышать площаднымъ цинизмомъ; она бьетъ Марину по щекамъ! валяетъ ее на полъ, топчетъ ногами ея груди бѣлыя, словомъ: она въ граціи ни наволосъ не уступаетъ Маринѣ... Далѣе, изъ другихъ сказокъ, мы увидимъ, что идеалъ женщины по русской фантазіи всегда одинъ и тотъ же: это все та же Марина, только въ разныхъ видахъ...

—

Великій князь на пиру вызываетъ охотника очистить „дороги прямоѣзжія“ до его затя любимаго, до грозна короля Етмануйла Етмануйловича, вырубить Чудь бѣлоглазую, перекрошить Сорочину долгополую, а и тѣхъ Черкесъ пятигорскіихъ, и тѣхъ Калмыковъ съ Татарами, Чукчи всѣ бы и Алюторы (лютеране?). Вызвался только одинъ Добрыня Никитичъ. Просилъ онъ у своей матушки благословенья на шесть лѣтъ, да еще въ запасъ на двѣнадцать. Мать спрашиваетъ его, на кого онъ покидаетъ свою молоду жену, когда еще не прошли и свадебные дни. «Что же мнѣ дѣлать и какъ же быть? изъ чего же насъ богатырей князю и жаловати?» — отвѣчаетъ Добрыня, и наказываетъ своей молодой женѣ, душѣ Настасьѣ Никулишнѣ ждать его двѣнадцать лѣтъ, а тамъ пожалуй хоть и идти замужъ за кого похочетъ, а только бы не ходить за его брата названаго—Алешу Поповича. Добрыня удачно совершилъ свой подвигъ, а между тѣмъ проходитъ шесть лѣтъ, проходитъ и двѣнадцать, и никто на Настасьѣ не сватается; а посваталъ ее великій князь за Алешу Поповича. Когда ту свадьбу ко вѣнцу повезли, ѣдетъ Добрыня въ Кіевъ; старые люди переговариваютъ: «Знать-де полетка соколиная, видать и поѣздка молодецкая—что быть Добрынѣ Никитичу».

Входитъ онъ въ опустѣлый теремъ, некому его встрѣтить— матушка его старёхонька. Поздоровавшись съ нею, онъ спѣшитъ къ великому князю Владиміру отдать отчетъ въ своемъ порученіи. Втапоры за то князь похвалилъ; «Исполатъ тебѣ, добрый молодецъ, что служишь правдою и вѣрою». Говоритъ тутъ Добрыня Никитичъ младъ: «Гой еси, сударь, мой дядюшка, ласково солнце, Владиміръ князь! Не диво Алешѣ Поповичу—диво князю Владиміру: хочетъ у жива мужа жену отнять». Втапоры Настасья засовалася, хочетъ прямо скочить, обезчестить столы; говоритъ Добрыня Никитичъ младъ: «А и ты душа Настасья Никулишна! прямо не скочи, не безчести столы: будетъ пора, кругомъ обойдешь», Взялъ за руку ее и вышелъ изъ за убраныхъ столовъ, извинялся князю Владиміру, да и молодому Алешѣ Поповичу, «Гой еси, мой названный братъ, Алеша Поповичъ младъ! Здравствуй женившись—да не съ кѣмъ спать!

—

Мы еще встрѣтимся съ Добрынею Никитичемъ; но и теперь уже видно, что́ онъ такое. Это честный и добрый богатырь, ненавистникъ лжи, притворства и хитростей, заклятый врагъ змѣю Горынчату, которому стары люди напророчили погибнуть отъ него отъ Добрыни. Хотя Алеша и названный братъ Добрынѣ, но Добрыня всегда держитъ камень за пазухою противъ Алеши и не кладетъ ему пальца въ ротъ: такъ противоположенъ его прямой и честный характеръ лукавому и на всякія пакости способному характеру Поповича. Добрыня по прошествіи двѣнадцати лѣтъ, позволяетъ женѣ своей идти за кого ей угодно, кромѣ одного Алеши. Упрекая князя за жену свою, онъ говоритъ: «Не диво Алешѣ Поповичу—диво князю Владиміру: хочетъ у жива мужа жену отнять». А впрочемъ они—братья названые, и взаимно уважаютъ другъ друга въ качествѣ сильныхъ могучихъ богатырей. Оба эти характера—два разные типа народной фантазіи, представители разныхъ сторонъ народнаго

сознанія. Къ дополненію характера Добрыни, мы должны прибавить, что въ немъ есть какая-то простоватость, и хотя въ одной поэмѣ и говорится что «у Алеши вѣжество не рожденное», а «у Добрыни вѣжество рожденное и ученое»—однако это должно отнести больше къ честности и добротѣ, чѣмъ къ рыцарской ловкости Добрыни. Никитичъ — нечего грѣха таить — простоватъ и мѣшковатъ — гнетъ дугу не паритъ, переломитъ не тужитъ. Цѣлуются голуби—ему за бѣду становится и за великую досаду учиняется. Хочетъ онъ застрѣлить голубей и попадаетъ въ окно къ Маринѣ. Не для чего нибудь, а для шутки, его можно назвать русскимъ Аяксомъ Теламонидомъ.

Илья Муромецъ—отличается отъ всѣхъ другихъ богатырей. Онъ—старъ человѣкъ, на пирахъ не похваляется, онъ тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, и вся остальная часть жизни его посвящена была на очищеніе проѣзжихъ дорогъ отъ разбойниковъ и разныхъ чудищъ. Это русскій Геркулесъ. Въ первый разъ онъ является ко Владиміру во время пира. Поднесли ему Ильѣ чару зелена вина въ полтора ведра, онъ принялъ ее одной рукой и выпилъ единымъ духомъ. Говорилъ ему ласковый Владиміръ князь: «Ты скажись, молодецъ, какъ именемъ зовутъ, а по имени тебѣ можно мѣста дать, по изотчеству пожаловати».—А ты, ласковый стольный Владиміръ князь! а меня зовутъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ; и проѣхалъ я дорогу прямоѣзжую изъ стольнаго города изъ Мурома, изъ того села Корочаева.—Говорятъ тутъ могучіе богатыри: «А ласково солнце, Владиміръ князь! Въ очахъ дѣтина завирается, а и гдѣ ему проѣхать дорогою прямоѣзжею, залегла та дорога тридцать лѣтъ отъ того Соловья разбойника». Илья говоритъ, что онъ привезъ съ собой Соловья-разбойника и проситъ князя выдти на дворъ—посмотрѣть его «удачи богатырскія». Когда всѣ вышли, Илья сталъ Соловья уговаривать: «Ты послушай меня, Соловей-разбойникъ младъ! посвисти, Соловей, по соловьиному; пошипи змѣй, по-змѣино-

му; зарявкай, звѣрь, по-турному—и потѣшь князя Владиміра». Послушался Соловей-разбойникъ—накурилъ онъ бѣды несносныя: князи и бояра и всѣ богатыри могучіе на корачкахъ по двору наползалися, гостинны кони со двора разбѣжалися, а Владиміръ князь едва живъ стоитъ со душой княжной Апраксѣевной: «А и ты гой еси, Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ! Уйми ты Соловья-разбойника, а и эта шутка намъ не надобна».

Калинъ, царь Золотой Орды, осадилъ Кіевъ; а войска съ нимъ было на сто верстъ. Зачѣмъ мать сыра земля не погнется, зачѣмъ не разступится? Отъ пару коннаго мѣсяцъ и солнце померкнули. Садился Калинъ на ременчатъ стулъ, писалъ ярлыки скорописчаты — отъ мудрости слово поставлено, посылалъ ко князю Владиміру Татарина мѣрою трехъ саженъ, голова съ пивной котелъ въ сорокъ ведеръ, промежь плечами косая сажень; посылалъ его сказать князю, что возьметъ его князя въ полонъ, Божьи церкви на дымъ пуститъ. Татаринъ Спасову образу не молится, Владиміру князю не кланяется, и въ Кіевѣ людей ничѣмъ не зоветъ; бросилъ ярлыки на круглый столъ передъ князя Владиміра, а князь запечалился, глядючи въ ярлыки—заплакалъ свѣтъ; по грѣхамъ надъ княземъ учинилося, богатырей въ Кіевѣ не случилося. Втапоры Василій-пьяница взбѣжалъ на башню на стрѣльную, беретъ онъ свой тугой лукъ разрывчаты, калену стрѣлу переную, наводилъ онъ трубками нѣмецкими, стрѣлялъ онъ въ Калина царя, не попалъ во собаку Калина царя, а попалъ въ зятя его Сартака: угодила стрѣла ему въ правый глазъ и ушибла его до смерти. И тутъ Калину за бѣду стало; послалъ онъ другаго Татарина къ князю Владиміру, чтобъ выдалъ того виноватаго. Втапоры, съ той стороны полуденныя, что ясный соколъ въ перелетъ летитъ, какъ бѣлый кречетъ перепархиваетъ, бѣжитъ паленица удалая, старый козакъ Илья Муромецъ. Входитъ онъ во гридню свѣтлую, Спасу со пречистою молится, бьетъ че-

лом князю со книгинею и на всѣ четыре стороны, а самъ Илья усмѣхается: «Гой еси, сударь Владиміръ князь! Что у тебя за болванъ пришолъ, что за дуракъ неотесанный? Князь проситъ Илью пособить ему думушку подумати: сдать ли не сдать ли Кіевъ градъ, безъ бою, безъ драки великія, безъ того кровопролитія напраснаго. Илья не совѣтуетъ ему печаловаться, а велитъ на Спаса надѣяться, да велитъ ему насыпать мису чиста серебра, другую красна золота, а третью скатнаго жемчуга. Взявъ дары, Муромецъ пошелъ съ Татариномъ въ станъ къ царю Калину. А не честно у него Калинъ принялъ золоту казну, самъ прибранивается. И тутъ Ильѣ за бѣду стало: «собака проклятый ты Калинъ царь! отойди съ Татарами отъ Кіева, охота ли вамъ, собаки, живымъ быть». И тутъ Калину за бѣду стало—велѣлъ связать Ильѣ руки бѣлыя чембурами шелковыми; а втапоры Ильѣ за бѣду стало: «Собака проклятый ты Калинъ царь!» и проч. И тутъ Калину за бѣду стало, и плюетъ Ильѣ во ясны очи: «А русскій людъ всегды хвастливъ, опутанъ весь—будто лысый бѣсъ, еще ли стоитъ передо мною, самъ хвастаетъ», Илья пожалъ плечами—чембуры лопнули, схватилъ Илья Татарина за ноги, который ѣздилъ въ Кіевъ градъ, и зачалъ Татариномъ помахивати: куда ли махнетъ—тутъ и улицы лежатъ, куды отвернетъ—съ переулками, а самъ Татарину приговариваетъ: «А и крѣпокъ Татаринъ, не ломится, а и жиловатъ, собака, не изорвется!» [1]). Разбѣжались татарскія полчища, воротился Илья ко Калину царю, схватилъ онъ Калина во бѣлыя руки, самъ онъ Калину приговариваетъ: «Васъ-то царей не бьютъ, не казнятъ, не бьютъ не казнятъ и не вѣшаютъ». Согнетъ его корчагою, воздымалъ выше буйныя головы своей, ударялъ его о горючь камень, расшибъ его въ крохи........ Достальные Татары на побѣгъ бѣгутъ, сами они

---

[1]) Новый примѣръ саркастической ироніи русской.

заклинаются: «Не дай-Богъ намъ бывать ко Кіеву! Не дай-Богъ намъ видать русскихъ людей! Неужь-то въ Кіевѣ всѣ таковы, одинъ человѣкъ всѣхъ Татаръ прибилъ?» Илья Муромецъ пошелъ искать своего товарища того ли Ваську-пьяницу, и скоро нашелъ его въ кружалѣ Петровскіимъ, привелъ ко князю Владиміру. А пьетъ Илья довольно зелена вина съ тѣмъ Васильемъ со пьяницей, и называетъ Илья того пьяницу Василья братомъ названнымъ.

—

Хотя лице Васьки-пьяницы является какъ-бы вскользь, мимоходомъ, однако оно столь же, если еще не болѣе, важно, какъ и лица всѣхъ другихъ героевъ народной фантазіи. Знаете ли вы, читатели, что̀ такое Васька-пьяница? Если вы засмѣетесь надъ этимъ приложеніемъ къ собственному имени, надъ этимъ тривіяльнымъ и безнравственнымъ прозвищемъ пьяницы, если оно покажется вамъ смѣшнымъ, или пошлымъ,—вы не понимаете глубоко-миѳическаго значенія Васьки... Этотъ Васька — любимое дитя народнаго сознанія, народной фантазіи; это не олицетвореніе слабости или порока, въ поученіе и назиданіе другихъ; это, напротивъ, похвальба слабостію, какъ удальствомъ и молодечествомъ, апоѳеоза порока, о которомъ идетъ рѣчь. Общественная нравственность древней Руси исключила пьянство изъ числа пороковъ; сознаніе цѣлаго народа дало характеръ неоспоримой законности этому дикому наслажденію. Русскій человѣкъ пьетъ и съ горя, пьетъ и съ радости; и передъ дѣломъ, чтобы дѣло лучше шло, и послѣ дѣла, чтобы отдыхъ былъ веселѣе; и передъ опасностью, чтобъ море было по колѣно, и послѣ опасности, чтобы запосчивѣе можно было похвастаться ею. Оттого въ старину на Руси почти всѣ богатыри, умники, грамотники, искусники, художники, мастера были отъявленными пьяницами. У русскаго человѣка много пословицъ въ пользу пьянства: «пьяный про-

спится, дуракъ никогда»; пьяному море по колѣно»; «пьянъ да уменъ — два угодья въ немъ», и т. п. Кружало — это турниръ, балъ русскаго человѣка. Великій князь Владиміръ, какъ говоритъ преданіе, отвергъ вѣру Жидовъ и Мугамеданъ, потому что «пити есть веселіе Руси». Въ нашемъ простонародьѣ и теперь всѣ пьютъ — и старики, и юноши, и женщины, и дѣти. У насъ пьянаго на улицѣ не оберутъ, ни прибьютъ, но бережно обойдутъ. Успѣхи цивилизаціи уже уничтожаютъ у насъ этотъ порокъ, замѣняя сивуху чаемъ, — и дай-Богъ, чтобъ онъ скорѣе уничтожился совсѣмъ; но все-таки этотъ порокъ весьма любопытенъ, ибо русскій человѣкъ не всегда является въ немъ съ одной дурной стороны своей. И виноватъ ли русскій мужичекъ въ томъ, что для него не существуетъ ни театра, ни книги, ни вечеринки (ибо вечеринка только тамъ, гдѣ женщина играетъ первую роль и гдѣ все для нея)? Условія общественнаго быта тутъ много значатъ: неопредѣленность общественныхъ отношеній, и сжатая извнѣ внутренняя сила, всегда становятъ и народъ и отдѣльныя лица въ ложное положеніе и пораждаютъ ложныя и вредныя средства къ выходу и утѣшенію, и потому пьянство русскаго человѣка не всегда бываетъ только слабостію или порокомъ, но часто признакомъ глухой силы, которая неправильно рвется наружу. Зелено вино, часто бывая причиною промаховъ и неуспѣховъ русскаго человѣка, иногда бываетъ и истиннымъ его вдохновеніемъ. И потому мудрено ли, что русскіе богатыри единымъ духомъ выпиваютъ чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра?... Удивительно ли, что на Руси пьяницы спасали отечество отъ бѣды и допускались къ столу Владиміра красна солнышка?... Васька-пьяница— это человѣкъ, который знаетъ правило: пей, да дѣло разумѣй; человѣкъ, который съ вечера повалится на полъ замертво, а встанетъ раньше всѣхъ, и службу сослужитъ лучше трезваго. Это—повторяемъ—одинъ изъ главнѣйшихъ

героевъ народной фантазіи: оттого-то и Илья Муромецъ съ нимъ выпилъ довольно зелена́ вина и назвалъ того пьяницу Василья братомъ названнымъ.

—

Разъ поѣхалъ Илья Муромецъ съ своимъ братомъ названнымъ, Добрынею Никитичемъ, и будутъ они у рѣки Череги, у матушки у Сафатъ-рѣки, и сказалъ Илья Добрынѣ, чтобы онъ ѣхалъ за горы высокія, а самъ-де я останусь у Сафатъ-рѣки. И наѣхалъ Добрыня на бѣлъ шатеръ; изъ того шатра выходила баба Горынинка, и у нихъ съ Добрынею учинился бой; драка великая, бросали они палицы тяжкія, стали драться рукопашнымъ боемъ. А Илья наѣхалъ по слѣду бродучему на богатыря Збута Бориса королевича, который въ то время со руки спускалъ ясна сокола-выжлоку; а увидѣвъ Илью, сказалъ выжлоку, чтобъ летѣлъ куда хочетъ: теперь-де мнѣ не до тебя. Збутъ королевичъ угодилъ стрѣлою въ грудь стара козака Илья Муромца, а Илья не бьетъ его палицею тяжкою, не вымаетъ изъ налужка тугой лукъ, изъ колчана калену стрѣлу, не стрѣляетъ онъ Збута Бориса Королевича — его только схватилъ въ бѣлы руки и бросаетъ выше дерева стоячаго. Подхвативъ его на лету, положилъ на сыру землю и сталъ спрашивать о дядинѣ, отчинѣ. «Кабы у тебя на грудяхъ сидѣлъ, я споролъ бы тебѣ старому груди бѣлыя», сказалъ Збутъ. И до того его Илья билъ, пока всю правду сказалъ: Я того короля задонскаго». А втапоры заплакалъ Илья Муромецъ, глядючи на свое дитя милое. Пріѣхавъ домой, Збудъ Борисъ королевичъ разсказалъ свою удачу матушкѣ. А втапоры его матушка разилася о сыру землю, и не можетъ во слезахъ слова молвити: «За чѣмъ ты на Илью напущался, а надо бы тебѣ ему поклонитися о праву руку до сырой земли: онъ по роду тебѣ батюшка, старый козакъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ». Поѣхалъ Илья искать своего брата названнаго, Добрыню Никитича: и дерется онъ съ бабой Горынинкой—

едва душа его въ тѣлѣ полудпуетъ. Говоритъ ему Илья Муромецъ: «Не умѣешь ты Добрыня, съ бабой дратися: а бей ты бабу...... по щекѣ............. а женской полъ оттого пухолъ». А и втапоры она баба покорилася, говоритъ она баба таковы слова: «Не ты меня побилъ, Добрыня Никитичъ младъ: побилъ меня старый казакъ Илья Муромецъ, единымъ словомъ». Добрыня скочилъ ей бѣлы груди пороть чингалищемъ булатнымъ; молится баба Горынинка Ильѣ Муромцу, обѣщаетъ много злата, серебра и повела ихъ, въ погреба глубокіе, они сами богатыри дивуются; оглянулся Илья Муромецъ во тѣ во раздолья широкія—молодой Добрыня Никитичъ младъ втапоры бабѣ голову срубилъ.

Изъ этой сказки видно, что Илья Муромецъ былъ сильнѣе всѣхъ богатырей, и самаго Добрыни, и что хотя онъ съ дамами обращался въ духѣ русскаго рыцарства, однако не чуждъ былъ и любовныхъ похожденій. Добрыня тутъ является въ неизмѣнномъ своемъ характерѣ—заклятаго врага всѣхъ Горынчатовъ и Горынинковъ, мужеска и женска пола; но что за баба Горынинка—Богъ вѣсть! Вообще, это одна изъ самыхъ нескладныхъ и дикихъ сказокъ. Послѣдняя сказка объ Ильѣ Муромцѣ «Станишники» сбивается своимъ содержаніемъ на его приключеніе съ Соловьемъ разбойникомъ. На него напали разбойники, а онъ вмѣсто ихъ выстрѣлилъ въ краковястый дубъ и разбилъ его въ щепы: разбойники со страху попадали, пять часовъ безъ ума лежали, а тамъ будто отъ сна пробуждалися: а Сема встаетъ пересемываетъ, а Спиря встаетъ, то постыриваетъ,—и всѣ они просятъ его взять ихъ въ свое холопство вѣковѣчное. А Илья говоритъ имъ: «А и гой еси вы, братцы, станишники! поѣзжайте отъ меня во чисто поле, скажите вы Чурилѣ, сыну Пленковичу, про стараго козака Илью Муромца».

На пиру у себя Владиміръ князь сказалъ Потоку Михайлу Ивановичу—сослужить службу заочную, съѣздить къ морю

синему, на теплыя, тихи заводи, настрѣлять гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ малыхъ уточекъ къ его столу княженецкому, «до люби-де тебя молодца пожалую». Настрѣлявъ птицъ вдоволь, Потокъ хотѣлъ воротиться въ Кіевъ, какъ вдругъ увидѣлъ бѣлую лебедушку, она черезъ перо была вся золота, а головушка у ней увивана краснымъ золотомъ, и скатнымъ жемчугомъ усажена. Натянулъ онъ свой тугой лукъ—заскрипѣли полосы булатныя и завыли рога у туга лука, а и чуть было спустить калену стрѣлу—провѣщается ему лебедь бѣлая, Авдотьюшка Лиховидьевна: «А ты, Потокъ Михайло Ивановичъ! не стрѣляй ты меня лебедь бѣлую, нѣ въ кое время пригожуся тебѣ!» Обернулась она красной дѣвицей, воткнулъ Потокъ копье въ землю, привязалъ къ нему коня, схватилъ дѣвицу за бѣлыя руки и цѣлуетъ ее въ уста сахарныя. Авдотьюшка Лиховидьевна втапоры больно его уговаривала: «А ты, Потокъ Михайло Ивановичъ! хотя ты на мнѣ и женишься, и кто изъ насъ прежде умретъ, второму за нимъ живому во гробъ идти». Согласившись, онъ поѣхалъ къ Кіеву, а она полетѣла, обернувшись лебедушкой. И дивуется Потокъ, что онъ нигдѣ не мѣшкалъ, ни стоялъ, а она опередила его, и подъ окошечкомъ косящатымъ сидитъ. Пріѣхавъ къ князю, Потокъ разсказалъ свое похожденіе и просилъ его сдѣлать для него пиръ свадебный, веселый. Обвѣнчавши Потока съ Авдотьей, попы взяли съ нихъ присягу, кто прежде кого умретъ, второму живому въ гробъ идти. Черезъ полтора года, Авдотья Лиховидьевна съ вечера она расхворалася, ко полуночи разболѣлася, поутру и преставилася. Вырыли могилу глубиною, шириною по двадцати саженъ, погребали тѣло Авдотьино, и тутъ Потокъ Михайло Ивановичъ съ конемъ и со сбруею ратною опустилися въ тое-жъ могилу глубокую, и заворочали потолкомъ дубовымъ, и засыпали песками желтыми, а надъ могилою поставили деревянный крестъ,—только мѣсто оставили веревкѣ одной, котора была привязана къ колоколу соборному. Въ могилѣ для страху Потокъ зажигалъ

свѣчи воску яраго, и въ полночь собиралися къ нему всѣ гады змѣины, а потомъ пришелъ большой змѣй — онъ жжетъ и палитъ пламенемъ огненнымъ. А Потокъ не робокъ былъ, саблю схватилъ да змѣю голову отрубилъ, и тою головою змѣиною учалъ тѣло Авдотьино мазати. Втапоры она еретница изъ мертвыхъ пробуждается, Потокъ за веревку схватилъ; услышалъ звонъ, пришли и разрыли ихъ, объявили князю Владиміру и тѣмъ попамъ соборнымъ, поновили ихъ святой водой, приказали имъ жить по старому. Когда Потокъ умеръ, его молоду жену съ нимъ вмѣстѣ зарыли живую, и тутъ имъ стала быть память вѣчная.

—

Трудно сказать что нибудь объ этой сказкѣ—такъ чужда она всякой опредѣленности. Всѣ лица и событія ея—миражи: какъ-будто что то видишь, а между тѣмъ ничего не видишь. Почему Авдотья Лиховидьевна—колдунья, не знаемъ, потому что она ни образъ, ни характеръ. Или всѣ женщины, по понятію нашихъ добрыхъ дѣдовъ, были колдуньи? Потокъ—тоже что-то въ родѣ ничего, и вообще вся эта сказка—ничего, изъ котораго ничего и не выжмешь.

—

Какъ издалеча было изъ Галичья, изъ Волынца города изъ Галичія, выѣзжалъ удача добрый молодецъ, молодой Михайло Казарянинъ, ѣхалъ онъ ко князю Владиміру; спрашивалъ его Владиміръ князь, отколь пріѣхалъ и какъ зовутъ, чтобъ по имени ему и мѣсто дать, по изотчеству пожаловали; наливалъ онъ ему чару зелена вина—не велика мѣра въ полтора ведра, и провѣдываетъ могучаго богатыря, чтобъ выпилъ чару зелена вина и турій рогъ меду сладкаго въ полтора третья. Затѣмъ онъ сдѣлалъ ему такое же порученье, какъ и Потоку Михайлу Ивановичу. Когда онъ возвращался съ настрѣленною дичью ко Владиміру, наѣхалъ въ полѣ сыръ кряковистый дубъ, на дубу сидитъ тутъ черный воронъ, съ ноги на ноги переступываетъ, онъ правильно перушко по-

правливаетъ, а и ноги, носъ—что огонь горятъ. За бѣду Казарину показалося, и хочетъ онъ застрѣлить чернаго ворона, а черный воронъ ему провѣщится—проситъ его не трогати, а велитъ ему ѣхати дальше, а тамъ-де ему богатырю добыча есть. И увидѣлъ Казарянинъ въ полѣ три шатра, стоитъ бесѣда—дорогъ рыбій зубъ, на бесѣдѣ сидятъ три Татарина, три собаки наѣздники, передъ ними ходитъ красна дѣвица, русская дѣвица полоняночка, Марфа Петровична, въ слезахъ не можетъ слово молвити, добрѣ жалобно причитаючи: «О злосчастная моя буйна голова! Горе-горькое, моя руса коса! а вечоръ тебя матушка расчесывала, расчесала матушка, заплетала; а сама, дѣвица, знаю, вѣдаю—расплетать будетъ мою русу косу тремъ Татаринамъ наѣздникамъ». Нашъ рыцарь перебилъ Татаръ, но съ дѣвицею полоняночкою поступилъ совсѣмъ не по рыцарски: «Повелъ дѣвицу во бѣлъ шатеръ»;—какъ дѣвица расплачется и скажетъ ему свое имя, что она-де изъ Волынца города, изъ Галичья гостиная дочь. Казарянинъ узнаетъ въ ней родную сестру свою. Взявъ ее съ собою, коней, оружіе и бесѣду Татаръ, пріѣхалъ ко князю Владиміру, который и беретъ себѣ всю его добычу, а ему говоритъ: «Исполать тебѣ добру молодцу, что служишь князю вѣрою и правдою».

—

Изъ за моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, изъ тоя Карелы богатыя, какъ ясный соколъ вонъ вылетывалъ, какъ-бы бѣлый кречетъ вонъ выпархивалъ,—выѣзжалъ удача добрый молодецъ, молодой Дюкъ, сынъ Степановичъ, а и конь подъ нимъ какъ-бы лютый звѣрь, лютый звѣрь конь—и буръ, косматъ, у коня грива на лѣву сторону, до сырой земли; онъ самъ на конѣ какъ ясенъ соколъ, крѣпки доспѣхи на могучихъ плечахъ; немного съ Дюкомъ живота пошло, что куякъ и панцырь чиста серебра—въ три тысячи, а кольчуга на немъ красна золота—цѣна сорокъ тысячей, а и конь подъ нимъ въ пять тысячей. Почему коню цѣна пять тысячей?—

За рѣку онъ броду не спрашиваетъ, котора рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ берегу на берегъ; потому цѣна коню пять тысячей. Еще съ Дюкомъ живота немного пошло: пошелъ тугой лукъ разрывчатой, а цѣна тому луку три тысячи; потому луку цѣна три тысячи: полосы были серебряны, а рога красна золота, а и тетивочка была шелковая, а бѣлаго шелку шимаханскаго; и колчанъ пошелъ съ нимъ каленыхъ стрѣлъ, а въ колчанѣ было за триста стрѣлъ, всякая стрѣла по десяти рублевъ, а еще есть въ колчанѣ три стрѣлы, а и тѣмъ стрѣламъ цѣны не было: колоты оні были изъ трость древа, строганы въ Новѣгородѣ, клеены онѣ клеемъ осетра рыбы, перены онѣ перьицемъ сиза орла, а сиза орла, орла орловича, а того орла, птицы Камскія, — не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала, а тоя-то Камы за синимъ моремъ, — своимъ устьемъ впала въ сине море (т. е. не той Камы, которая есть на землѣ, а той, которой не бывало); а леталъ орелъ надъ синимъ моремъ, а ронялъ онъ перьица во сине море, а бѣжали гости корабельщики, собирали перья на синемъ морѣ, вывозили перья на святую Русь, продавали душамъ краснымъ дѣвицамъ: покупала Дюкова матушка перо во сто рублей, во тысячу. Почему тѣ стрѣлки дороги?—потому онѣ дороги, что въ ушахъ поставлено по тирону, по каменю, по дорогу самоцвѣтному, а и еще у тѣхъ стрѣлокъ подлѣ ушей перевивано аравитскимъ золотомъ. Ѣздитъ Дюкъ подлѣ синя моря, и стрѣляетъ гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ сѣрыхъ малыхъ уточекъ; онъ днемъ стрѣляетъ, въ ночи тѣ стрѣлки собираетъ: какъ днемъ-то тѣхъ стрѣлочекъ не видѣти, а въ ночи тѣ стрѣлки что свѣчи горятъ— свѣчи теплются воска яраго: потому онѣ, стрѣлки, дороги. Когда Дюкъ вошелъ во гридню Владимірову, всѣ гости скочили съ мѣстъ на рѣзвы ноги: смотрятъ на Дюка — сами дивуются. Пошло пированье и столованье. Дюкъ съ тѣми князи и боярами откушалъ калачики крупичаты—онъ верхнюю корочку отламываетъ, а нижнюю корочку прочь откиды-

ваетъ. А во Кіевѣ былъ щастливъ добрѣ какъ-бы молодой Чурила, сынъ Пленковичъ—оговорилъ онъ Дюка Степановича: «Что ты, Дюкъ, чѣмъ чванишься?—верхню корочку отламываешь, а нижнюю прочь откладываешь». Говорилъ Дюкъ Степановичъ: «Ой ты, ой еси, Владиміръ князь! въ томъ ты у меня не прогнѣвайся—печки у тебя биты глиняны, а подики кирпичные, а помелечко мочальное въ лохань обмакиваютъ; а у меня Дюка Степановича, у моей сударыни матушки, печки были муравлены, а подики мѣдные, помелечко шелковое въ сыту медвяную обмакиваютъ; калачикъ съѣшь—больше хочется».

Эта неслыханая роскошь возбудила въ князѣ желаніе быть въ домѣ у Дюка, и, взявъ съ собою Чурилу и дворъ, онъ поѣхалъ. На крестьянскихъ дворахъ, Дюкъ такъ угостилъ Владиміра, что онъ сказалъ ему: «Каково про тебя сказывали, таковъ ты есть». Переписывалъ Владиміръ князь Дюковъ домъ, переписывали его четверо сутокъ, а и бумаги не стало. Втапоры Дюкъ повелъ гостей къ своей сударынѣ матушкѣ—и ужасается Владиміръ князь, что въ теремахъ хорошо изукрашено. Угостила матушка Дюкова дорогихъ гостей, говорилъ ей ласковый Владиміръ князь: «Исполать тебѣ, честна вдова многоразумная съ своимъ сыномъ Дюкомъ Степановымъ! Употчивала меня со всѣми гостьми; со всѣми людьми; хотѣлъ было вашъ и этотъ домъ описывати, да отложилъ всѣ печали на радости». Втапоры честна вдова многоразумная дарила князя своими честными подарками: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ, еще сверхъ того каменьи самоцвѣтными.

—

То старина, то и дѣянье:
Синему морю на утѣшенье,
Быстрымъ рѣкамъ слава до моря;
А добрымъ людямъ на послушанье,
Веселымъ молодцамъ на потѣшенье!

Эта сказка одна изъ примѣчательнѣйшихъ, особенно по этому тону простодушной ироніи, съ какою описывается бѣдность вооруженія и вообще живота, бывшаго съ Дюкомъ, — по этой лукавой скромности, съ какою Дюкъ объясняетъ князю причину, почему онъ ѣстъ у калачиковъ только верхнюю корочку. Эта простодушная иронія есть одинъ изъ основныхъ элементовъ русскаго духа: русскій человѣкъ любитъ похвастаться, но никогда прямо, а всегда обиняком, болѣе же всего съ скромнымъ самоуниженіемъ въ родѣ слѣдующаго: «гдѣ-ста намъ дуракамъ чай пить», «что наше за богатство—всего тысячь сто въ мѣсяцъ получаемъ, да и тѣ съ горемъ пополамъ: не знаемъ-де куда класть и прятать».—Дюкъ богаче князя Владиміра, за то Владиміръ велитъ описывать его имѣніе, и только будучи ужь слишкомъ употчиванъ, «отлагаетъ всѣ печали на радости», а матушка Дюка даритъ князю трое сороковъ мѣховъ и каменьевъ самоцвѣтныхъ:— черта чисто восточная!....

Высота ли высота поднебесная,
Глубота, глубота океанъ-море,
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе!

Изъ-за моря, моря синяго, изъ глухоморья зеленаго, отъ славнаго города Леденца, оттого-де царя вѣдь заморскаго, выбѣгали, выгребали тридцать кораблей, тридцать кораблей—единъ корабль славнаго гостя богатаго, молода Соловья, сына Будиміровича. Хорошо корабли изукрашены—одинъ корабль получше всѣхъ: у того было сокола у корабля вмѣсто очей было вставлено по дорогому каменю, по яхонту, вмѣсто бровей было прибивано по черному соболю якутскому, и якутскому вѣдь сибирскому; вмѣсто уса было воткнуто два остра копья мурзамецкія, и два горностая повѣшены, два горностая, два зимніе; у того было сокола у корабля вмѣсто гривы прибивано двѣ лисицы бур-

пастыя; вмѣсто хвоста повѣшано на томъ было соколѣ корраблѣ два медвѣдя бѣлые заморскіе; носъ, корма по-туриному, бока взведены по-звѣриному. На томъ кораблѣ былъ сдѣланъ муравленъ чердакъ, въ чердакѣ была бесѣда—дорогъ рыбій зубъ, подернута бесѣда рытымъ бархатомъ; на бесѣдѣ-то сидѣлъ Купавъ молодецъ, молодой Соловей, сынъ Будиміровичъ; спрашивалъ онъ гостей корабельщиковъ и цаловальщиковъ любимыхъ, чѣмъ ему князя Владиміра будетъ дарить. (Послѣ мы увидимъ, что они ему присовѣтовали).

Прибѣжали корабли подъ славной Кіевъ-градъ, якори метали въ Днепръ рѣку, сходни бросали на крутъ бережокъ, товарную пошлину платили. Соловей у князя въ гриднѣ и подноситъ ему свои дороги подарочки: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ; княгинѣ поднесъ камку бѣло-хрущатую, недорога камочка—узоръ хитеръ: хитрости Царяграда, мудрости Іерусалима, замыслы Соловья, сына Будиміровича; на златѣ и серебрѣ—не погнѣваться. Князю дары полюбилися, а княгинѣ паппаче того. Говорилъ ласковой Владиміръ князь: «Гой еси ты богатый гость, Соловей сынъ Будиміровичъ! займуй дворы княженецкіе, займуй ты боярскіе, займуй ты дворы и дворянскіе». Соловей ото всего отказывается, а проситъ только загонъ земли, непаханыя и неораныя, у княженецкой племянницы, у молодой Запавы Путятишной, въ ея зеленомъ саду, въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ, построить ему, Соловью, нарядёнъ дворъ. Походилъ Соловей на свой червленъ корабль: «Гой еси вы, мои люди работные! берите вы топорики булатные, подите къ Запавѣ во зеленый садъ, постройте мнѣ снаряденъ дворъ, въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ». Съ вечера, поздннимъ поздно, будто дятлы въ дерево пощолкивали, работала его дружина хорабрая, ко полуночи и дворъ поспѣлъ: три терема златоверховаты, да трои сѣни косящатыя, да трои сѣни рѣшетчатыя. Хорошо въ теремахъ изукрашено: на

небѣ солнце—въ теремѣ солнце; на небѣ мѣсяцъ—въ теремѣ мѣсяцъ; на небѣ звѣзды—въ теремѣ звѣзды: на небѣ заря—въ теремѣ заря, и вся красота поднебесная. Рано просыпалася Запава, посмотрѣла Запава въ окошечко косящатое, въ вишенье, въ орѣшенье,—чудо Запавѣ показалося: «Гой еси, нянюшки и мамушки, красныя сѣнныя дѣвушки! подите-тко посмотрите-тко, что мнѣ за чудо показалося въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ!» Отвѣчають ей мамушки и нянюшки и сѣнныя дѣвушки «счастье твое на дворъ къ тебѣ пришло». Бросилася Запава въ терема; у перваго терема послушала: тутъ въ теремѣ щелчитъ, молчитъ — лежитъ — Соловьева золота казна. Во второмъ теремѣ послушала: по маленьку говорятъ, все молитвы творятъ—молится Соловьева матушка со вдовы честны, многоразумными. У третьяго терема послушала: тутъ въ теремѣ музыка гремитъ. Входила Запава въ сѣни косящатыя, отворяла двери на пяту,—больно Запава испугалася, рѣзвы ноги подломилися, чудо въ теремѣ показалося: на небѣ солнце — въ теремѣ солнце, и проч. Подломились ея поженьки рѣзвыя; втапоры Соловей онъ догадливъ былъ, бросалъ свои звончаты гусли, подхватывалъ дѣвицу за бѣлы руки, клалъ на кровать слоновыхъ костей, да на тѣ ли перины пуховыя. «Чего де ты, Запава, испужалася? мы-де оба на возрастѣ.» — «А и я де дѣвица на выданьѣ, пришла-де сама за тебя свататься». Тутъ они и помолвили, цѣловалися, миловалися, золотыми перстнями обмѣнялися. Провѣдавъ про то Соловьева матушка, свадьбу посрочила: «Съѣзди де за моря синія, и когда де тамъ расторгуешься, тогда де и на Запавѣ женишься». Втапоры же поѣхалъ и Голый Шапъ Давидъ Поповъ, скоро онъ за морями исторгуется, а скорѣе того назадъ въ Кіевъ прибѣжалъ, приходитъ ко князю съ подарками—принесъ сукно смурое, да крашенину печатную. Втапоры его князь о Соловьѣ спрашивалъ; отвѣчалъ ему Голый Шапъ, что видѣлъ Соловья въ Леденцѣ городѣ, у того царя заморскаго; Соловей-де въ прото-

можье попалъ, и за то посаженъ въ тюрьму, а корабли его отобраны на его жь царское величество. Больно Владиміръ закручинился, скоро вздумалъ о свадьбѣ—что отдать Запаву за Голаго Шапо Давида Попова. Тысяцкій—ласковый Владиміръ князь, свашела — княгиня Апраксѣевна, въ поѣзду — князи и бояре, поѣзжали ко церкви Божіей. Втапоры на девяноста корабляхъ прибылъ Соловей во Кіевъ-градъ. Тотчасъ по поступкамъ Соловья опознывали, приводили его ко княженецкому столу. Сперва говорила Запава Путятишна: «Гой, еси, мой сударь, дядюшка, ласковый, сударь, Владиміръ князь! Тотъ-то мой прежній обрученный женихъ, прямо, сударь, скачу—обезчещу столы». Говорилъ ей ласковый Владиміръ князь: «Гой еси, ты Запава Путятишна! а ты прямо не скачи—не безчести столы». Выпускали ее изъ-за дубовыхъ столовъ, пришла она къ Соловью, поздоровалась, взяла его за рученьку бѣлую и сѣла съ нимъ на большо мѣсто, а сама она Запава говорила Голому Шапу таково слово: »Здравствуй, женимши, да не съ кѣмъ спать?» Втапоры Владиміръ князь веселъ былъ, а княгиня пуще того; поднимали пирушку великую.

—

Разъ на пиру, Владиміръ князь сказалъ Ивану Годиновичу: «Гой еси, Иванъ ты Годиновичъ! а зачѣмъ ты, Иванушка, не женишься?»—Радъ бы, осударь, женился, да негдѣ взять: гдѣ охота брать, за меня не даютъ; а гдѣ-то подаютъ, ту я самъ не беру. Князь велѣлъ ему садиться на р е м е н ч а т ъ стулъ писать ярлыки с к о р о п и с ч а т ы о добромъ дѣлѣ, о сватаньѣ, къ Дмитрію, черниговскому гостю богатому. А Владиміръ князь ему руку приложилъ: „А не ты, Иванъ, поѣдешь свататься, сватаюсь я-де Владиміръ князь“. А скоро Иванъ поѣздку чинитъ по городу Чернигову: д в а д е в я н о с т о верстъ переѣхалъ въ два часа. Прочитавъ ярлыкъ Дмитрій гость: «Глупый Иванъ, неразумный Иванъ! гдѣ ты, Иванъ, перво былъ? нынѣ Настасья просватана, душа Дмитревна запоручена въ дальнюю зем-

лю загородскую, за царя Афромея Афромеевича; за царя отдать—ей царицею слыть,—пановя и улановья всѣ поклонятся, а нѣмецкихъ языковъ счету нѣтъ; за тебя, Иванъ, отдать — холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». Тутъ Иванушкѣ за бѣду стало—схватилъ ярлыкъ, да и прямо въ Кіевъ ко Владиміру князю. Тутъ ему князю за бѣду стало, рветъ на главѣ черны кудри свои, бросаетъ о кирпищетъ полъ: «Гой еси, Иванъ Годиновичъ! возьми ты у меня, князя, сто человѣкъ русскихъ могучихъ богатырей, у княгини ты бери другое сто, у себя, Иванъ, третье сто; поѣзжай ты о добромъ дѣлѣ—о сватаньѣ: честью не дастъ, ты и силой бери». Выпала пороша—поѣхалъ Иванъ съ дружиною на три звѣриные слѣда: сто человѣкъ посылалъ за гнѣдымъ туромъ; другое сто—за лютымъ звѣремъ; а третье что—за дикимъ вепремъ; велѣлъ изымать ихъ бережно—безъ тоя раны кровавыя, и привесть ихъ въ Кіевъ градъ; а самъ онъ, Иванъ, поѣхалъ одинъ въ Черниговъ градъ. У Димитрія гостя богатаго сидятъ мурзы, улановья, по нашему сибирскому дружки словутъ, привезли они отъ царя платье цвѣтное на душку Настасью Дмитревну; а самъ онъ царь Афромей отъ Чернигова въ трехъ верстахъ стоитъ и съ нимъ силы три тысячи. Взялъ Иванушка Годиновичъ душку Настасью изъ-за занавѣсу бѣлаго за руку бѣлую, потащилъ онъ Настасью—лишь туфли звенятъ. Взговоритъ ему Дмитрій гость: «гой еси ты, Иванушка Годиновичъ! суженое пересуживаетъ, ряженое переряживаетъ; можно тебѣ взять не гордостью—веселымъ пиркомъ, свадебкою».—Не могъ ты честью мнѣ отдать—нонѣ беру и не кланяюсь. — Посадилъ Настасью съ собой на добра коня, переѣхалъ онъ девяносто верстъ, и поставилъ тутъ свой бѣлъ шатеръ, изволилъ онъ, Иванъ, съ Настасьей опочивъ держать. Пересказали царю мурзы и улановья телячимъ языкомъ вѣсточку нерадостную, а и тутъ царь закричалъ, заревѣлъ зычнымъ голосомъ; Иванъ предложилъ царю боротися—кому Настасья достанется. Согнетъ

онъ царя корчагою, опустилъ на сыру землю—царь лежитъ, свѣту не видитъ. Отошелъ Иванъ за кустикъ..........; а царь пропищалъ: «Думай, Настасья, не продумайся; за царемъ за мною быть — царицею слыть; за Иваномъ быть — холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». А и снова борьба начинается—втапоры Настасья Ивана за ноги изловила—тутъ его двое и осилили. Привязалъ его царь за руки бѣлыя ко сыру дубу, сталъ съ Настасьей поигрывати, аназолу даетъ ему молодому Ивану Годиновичу. По его было талану добра молодца, прибѣжала перва высылка изъ Кіева, они срѣзали чембуры шелковые, его Ивана опрастывали. Говорилъ тутъ Иванушка Годиновичъ; «А гой еси, дружина храбрая! Ихъ-то царей не бьютъ, не казнятъ, не бьютъ, не казнять, не бьютъ и не вѣшаютъ; поведите его ко городу Кіеву, ко великому князю Владиміру». А самъ онъ Иванъ остался во бѣломъ шатрѣ, сталъ жену учить. (Поученье Ивана есть повтореніе того, которое Добрыня дѣлалъ Маринѣ, съ слѣдующею разницею въ концѣ: «и этотъ языкъ мнѣ не надобенъ—говорилъ онъ съ царемъ невѣрнымъ и сдавался на его слова прелестныя»). Пріѣхавъ къ князю, Иванъ благодаритъ его за милость великую, что женилъ его на душкѣ Настасьѣ Дмитревнѣ. Услышавъ отъ Ивана о поученіи, втапоры князь веселъ сталъ, отпускалъ Вахромея царя, своего подданника, въ его землю загорскую: только его увидѣли, что обернется гнѣдымъ туромъ, поскакалъ далече въ чисто поле къ силѣ своей.

—

На пиру у князя Владиміра пригодились тутъ двѣ честныя вдовы—Чесовая жена и Блудова жена—обѣ жены богатыя, богатыя жены дворянскія. Промежду собой сидятъ, за прохладъ говорятъ. Сватала Блудова жена сына своего Гордена за дочь Чесовой жены, Авдотью Чесовичну. Втапоры Авдотья Чесовична (мать) осердилася, била ее по щекѣ, таска-

ла по полу кирпищету, и при всемъ народѣ, при бесѣдѣ, вдову опозорила, и весь народъ тому смѣялися. Скоро пошла вдова Блудова ко своему двору, а идетъ она шатается; выбѣжалъ къ ней за ворота широкія Горденъ сынъ Блудовичъ; поклонился матушкѣ въ праву ногу: «Гой еси, матушка! что ты, сударыня, идешь закручинилася? Али мѣсто тебѣ было не по отчинѣ? али чарой зеленымъ виномъ обносили тебя?» Авдотья Блудовна жалобу приноситъ сыну своему Гордену Блудовичу; молодой Горденъ уклалъ спать свою родимую матушку: втапоры она была пьяная. И пошелъ Горденъ на дворъ къ Чесовой женѣ, сжималъ песку горсть цѣлую, бросилъ онъ по высокому терему, гдѣ сидитъ молода Авдотья Чесовична—полтерема сшибъ, виноградъ подавилъ. Втапоры Авдотья Чесовична бросилась будто бѣшеная изъ высокаго терема, пробѣжала мимо Гордена, ничего не говоря, на княженецкій дворъ своей родимой матушкѣ жаловатися. Втапоры пошелъ туда же и Горденъ—разсматривать вдову Чесову жену. Вдовины ребята съ нимъ раздорили, взяли Гордена пощипывати, надѣючись на свою родимую матушку. Горденъ имъ взмолится: «Не троните меня, молодцы! а меня вамъ убить, не корысть получить!» Они не послушались, онъ ихъ всѣхъ перебилъ, а было ихъ пять человѣкъ. Вдова Чесова посылала еще своихъ четырехъ сыновей убить Гордена, и только одинъ хотѣлъ было ударить его по уху—Горденъ вертокъ былъ: того онъ ударилъ о землю и до смерти ушибъ, а также и остальныхъ троихъ. Взялъ онъ Горденъ Авдотью Чесовичну за руки бѣлыя, да и повелъ ко Божьей церкви вѣнчатися; а поутру столъ собралъ, позвалъ князя со княгинею и молоду свою тещу, Авдотью Чесову жену.

Втапоры было Чесова жена загордилася, нехотя идти къ своему зятю; тутъ Владиміръ князь стольный кіевскій и со княгинею стали ее уговаривати, чтобъ она-то больше не кручинилася, не кручинилася и не гнѣвалася,—и она тутъ

ихъ послушалася, пришла къ зятю на веселый пиръ, стала пити, ясти, прохлаждатися.

—

Былъ пиръ у князя Владиміра. Князи и бояра пьютъ. ѣдятъ, потѣшаются, и великимъ княземъ похваляются; и только изъ нихъ одинъ бояринъ, Ставръ Годиновичъ не пьетъ, не ѣстъ и при всей братьи не хвастаетъ, только наединѣ съ товарищемъ таковы рѣчи сказываетъ, «Что это за крѣпость въ Кіевѣ, у великаго князя Владиміра? У меня-де, Ставра боярина, широкій дворъ не хуже города Кіева, а дворъ у меня на семи верстахъ, а гридни, свѣтлицы бѣлодубовы, покрыты гридни сѣдымъ бобромъ, потолокъ во гридняхъ черныхъ соболей, полъ, середа одного серебра, крюки до пробоя до булату злачены». Слуги вѣрные донесли о томъ князю Владиміру: приказалъ князь сковать Ставра боярина, посадить въ погреба глубокіе, дворъ его запечатати и молоду жену его взять ко двору. Перепала вѣсть нерадошна молодой женѣ Ставровой; скоро она наряжается, и скоро убирается: скидывала съ себя волосы женскіе, надѣвала кудри черные, а на ноги сапоги зеленъ сафьянъ, и и надѣвала платье богатое, богатое платье посольское, и называлась грознымъ посломъ, Василіемъ Ивановичемъ, а и будто изъ дальней орды, золотой земли; отъ грозна короля Етмануйла Етмануйловича—брать съ князя Владиміра дани невыплаты, не много не мало за двѣнадцать лѣтъ, за всякій годъ по три тысячи. А и тутъ больно князь запечалился: кидался, метался, то улицы метутъ, ельникъ ставили, передъ воротами ждутъ посла. Вывела княгиня князя за собой и во тѣ во подвалы, погреба, молвила словечко тихонько: «ни о чемъ ты, осударь, не печалуйся; а не быть тому грозному послу Василью Ивановичу—быть Ставровой молодой женѣ Василисѣ Микулишнѣ; знаю я примѣты по женскому: она по двору идетъ, будто уточка плываетъ, а по горенкѣ идетъ — частенько ступаетъ, а на лавку

садится — колѣнки жметъ; а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжины изъ перстовъ не вышли всѣ (??)». Втапоры князь уподчивалъ посла до-пьяна, хочетъ его провѣдати, вызываетъ его боротися съ семью богатырями, и того посолъ Василій не пятится, вышелъ онъ на дворъ боротися: первому борцу изъ плеча руку выдернетъ, а другому борцу ногу выломитъ, она третьяго хватила поперегъ хребта, ушибла его середи двора. А плюнулъ князь да и прочь пошелъ: «Глупая княгиня, неразумная! у тя волосы долги, умъ коротокъ: называешь ты богатыря женщиною— такого посла у насъ не было еще и видано». А княгиня стоитъ на своемъ; втапоры князь опять посла провѣдаетъ, вызываетъ его изъ туга лука стрѣлять со своими могучими богатырями. Отъ тѣхъ стрѣлочекъ каленыхъ и отъ той стрѣльбы богатырскія, только сырой дубъ шатается, будто отъ погоды сильныя. Посолъ отъ лука отказывался, есть-де у меня лучонко волокитный, съ которымъ я ѣзжу по чисту полю. Кинулися ея добры молодцы, подъ первый рогъ несутъ пять человѣкъ, подъ другой — столько же, а колчанъ каленыхъ стрѣлъ тащитъ тридцать человѣкъ. Вытягивала она лукъ за ухо, хлеснетъ по сыру дубу, изломила его въ черенья ножовые, и Владиміръ князь окорачь наползался, и всѣ тутъ могучіе богатыри встаютъ какъ угорѣлые. Плюнулъ Владиміръ князь, самъ прочь пошелъ, говорилъ себѣ таково слово: «Развѣ самъ Василья посла провѣдаю». Сталъ съ нимъ въ шахматы играть, три заступи заступовали и три заступи посолъ поигралъ, и сталъ требовать дани, выходы, невыплаты. Говоритъ Владиміръ князь: «Изволь меня, посолъ, взять головой съ женой». Посолъ спросилъ князя: «Нѣтъ ли у тебя кому въ гусли поиграть?» Втапоры Владиміръ спохватился, велѣлъ расковать и привести Ставра боярина; втапоры посолъ скочилъ на рѣзвы ноги, посадилъ Ставра противъ себя въ дубову скамью. И началъ тутъ Ставръ поигрывати: съигришъ съигралъ Царя-града танцы навелъ Іеру-

салима, величалъ князя со княгинею, сверхъ того игралъ еврейскій стихъ. Посолъ задремалъ и спать захотѣлъ, отказывался отъ даней, выходовъ и просилъ себѣ только весела молодца, Ставра боярина Годиновича; и поѣхалъ съ нимъ ко Днѣпръ-рѣкѣ, во свой бѣлъ шатеръ, а князь провожалъ его со княгинею. Говорилъ посолъ таково слово «пожалуйде, осударь, Владиміръ князь, посиди до того часу, какъ я высплюся». Раздѣвался посолъ изъ своего платья посольскаго, и убирался въ платье женское, при томъ говорилъ таково слово: «Гой еси, Ставръ, веселъ молодецъ! какъ ты меня не опознываешь? а доселева мы съ тобою въ свайку игрывали, у тебя ли была свайка серебряная, а у меня кольцо позолоченное, и ты меня поигрывалъ,—и и я тебѣ толды, вселды». И втапоры Ставръ бояринъ догадается, скидавалъ платье черное, и надѣвалъ на себя посольское, и съ великимъ княземъ и со княгинею прощалися, отъѣзжали въ свою землю дальнюю.

—

Теперь намъ остается проститься съ ласковымъ Владиміромъ, краснымъ-солнышкомъ и со княгинею Апраксѣевною; въ поэмѣ, которой содержаніе мы готовимся изложить, они являются въ послѣдній разъ.—Владиміръ мелькомъ, Апраксѣевна—героинею, во всемъ апоѳеозѣ своей женственности, граціозности и нравственности.

—

Сорокъ каликъ съ каликою шли на поклоненіе въ Іерусалимъ изъ пустыни Ефимьевы, изъ монастыря Боголюбова, выбрали они себѣ большаго атамана молода Касьяна, сына Михайловича, и положили они заповѣдь великую: кто что украдетъ, или пустится на женскій соблазнъ, да не скажетъ атаману, того закопать по плеча въ сыру землю и во чистомъ полѣ одного оставить. Подъ Кіевомъ они встрѣтились съ Владиміромъ княземъ, а онъ, князь, охотился; завидѣли его калики перехожіе, становилися во единъ кругъ, клюки, посохи

въ землю потыкали, а и сумочки исповѣсили, кричатъ калики зычнымъ голосомъ, дрогнетъ матушка сыра земля, съ деревъ вершины попадали, подъ княземъ конь окорачился, а богатыри съ коней попадали, а Спиря сталъ поспиривати, а Сема сталъ посемывати, они-то ему князю Владиміру поклонилися, прошаютъ у него милостыню великую, а и чѣмъ бы молодцамъ душа спасти. Князь оговариваетъ, что съ нимъ на охотѣ ничего нѣту и посылаетъ ихъ въ Кіевъ градъ, ко душѣ княгинѣ Апраксѣевнѣ; честна роду дочь королевича, напоитъ, накормитъ она молодцовъ, надѣлитъ всѣмъ въ дорогу злата, серебра. Пришли калики, рявкнули, съ теремовъ верхи попадали, а съ горницъ охлопья попадали, въ погребахъ питья всколебалися; становилися во единъ кругъ, прошаютъ милостыню великую у молоды княгини Апраксѣевны. Молода княгиня испужалася, а и больно она передрогнула, звала каликъ во гридня свѣтлыя: молода княгиня Апраксѣевна поджавъ ручки будто Турчаночки, со своими нянюшки и матушки, со красными сѣнными дѣвушки, молодой Касьянъ сынъ Михайловичъ садился на мѣсто большаго; отъ лица его молодецкаго, какъ-бы отъ солнышка отъ краснаго, лучи стоятъ великіе. Послѣ пиру хотятъ они калики во путь идти, а у молодой княгини Апраксѣевны не то на умѣ, не то въ разумѣ: шлетъ она Алешу Поповича атамана ихъ уговаривати, чтобъ не идти имъ сего дня и сего числа; зоветъ онъ Алеша Касьяна Михайловича ко княгинѣ Апраксѣевнѣ на долгіе вечеры посидѣти, забавны рѣчи побаити, а сидѣть бы наединѣ въ спальнѣ съ ней. Замутилось его сердце молодецкое—отказалъ онъ Алешѣ Поповичу. На то княгиня осердится, велѣла Алешѣ прорѣзать у Касьяна суму рыта бархата, запихать бы чарочку серебряну. Когда калики ушли, княгиня посылаетъ Алешу въ погонь за ними; у Алеши вѣжество нерожденное, онъ сталъ съ каликами задорити, обличаетъ ворами, разбойниками; не давалися калики въ обыскъ ему, поворчалъ Алеша и назадъ поѣхалъ.

Втапоры Владиміръ князь пріѣхалъ въ Кіевъ градъ, со Добрынею Никитичемъ. Молода княгиня Апраксѣевна посылала Добрыню Никитича въ погонь за Касьяномъ Михайловичемъ; у Добрыни вѣжество рожденное и ученое — настигъ онъ каликъ въ чистомъ полѣ, вскочилъ съ коня, самъ челомъ бьетъ; «Гой еси, Касьянъ Михайловичъ? не наведи гнѣва на князя Владиміра, прикажи обыскать калики перехожіе, нѣтъ ли промежу васъ глупаго». Нигдѣ-то чарочка не явилася, у молода Касьяна пригодилася. Закопали атамана по плечо во сыру землю, едина оставили во чистомъ полѣ. Калики въ путь пошли, а Добрыня въ Кіевъ съ тою чаркой серебряною. А съ того время часу захворала скорбью недоброю, слегла княгиня въ великое во гноище. Сходили калики въ Іерусалимъ градъ, святой святынѣ помолилися, Господнію гробу приложилися, во Ердапѣ рѣкѣ искупалися, нетлѣнною ризою утиралися. На дорогѣ назадъ увидѣли молода Касьяна; онъ ручкой машетъ, голосомъ кричитъ, подаетъ онъ Касьянъ ручку правую; а они то къ ручкѣ приложилися, съ нимъ поцѣловалися. Молодой Касьянъ выскакивалъ изъ сырой земли, какъ ясенъ соколъ изъ тепла гнѣзда, а всѣ они молодцы дивуются на его лицо молодецкое, а и кудри на немъ молодецкія до самаго пояса: стоялъ Касьянъ въ землѣ шесть мѣсяцевъ. Пришедши въ Кіевъ, ко дворцу, стоятъ они калики по-тихохоньку. Касьянъ посылаетъ легкаго молодчика доложиться князю Владиміру; прикажетъ ли идти намъ пообѣдати; князь послалъ имъ поклониться и звать ихъ. Касьянъ спрашиваетъ князя о княгинѣ; князь едва рѣчи выговорилъ: «мы де ужо недѣлю другу не ходимъ къ ней». Молодой Касьянъ тому не брезгуетъ, пошелъ со княземъ во спальню къ ней, а и князь идетъ, свой носъ зажалъ, молоду Касьяну то ничто ему, никакого духу онъ не вѣруетъ. Втапоры княгиня прощалася, что нанесла рѣчь напрасную. Молодой Касьянъ, сынъ Михайловичъ, а и дунулъ духомъ святымъ своимъ на младу княгиню Апраксѣевну—не

стало у ней того духу-пропасти, оградилъ ее святой рукой. прощаетъ ея плоть женскую, захотѣлось ей—пострадала она, лежала въ сраму полгода. Затѣмъ пошолъ пиръ горой, калики въ путь наряжаются, а Владиміръ князь убивается. Молода княгиня Апраксѣевна вышла изъ кожуха какъ изъ пропасти: тутъ же къ нимъ ко столу пришла, молоду Касьяну поклоняется безъ стыда, безъ сорому, а грѣхъ свой на умѣ держитъ. Калики съ Касьяномъ собралися и въ путь пошли до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевы.

—

Эта поэма носитъ на себѣ характеръ легенды, и замѣчательна по противорѣчію тона первой ея половины съ тономъ послѣдней: тамъ калики—сущіе сорванцы «орутъ, рявкаютъ, прошаютъ милостыню», тутъ они — если неграціозны, мужиковаты, за то кротки и очестливы. Въ Касьянѣ выражена идея человѣка освятившагося страданіемъ отъ неправаго наказанія; въ его великодушномъ поступкѣ съ Апраксѣевною есть что-то умиряющее душу. Только одна Апраксѣевна осталась въ своемъ прежнемъ характерѣ: молоду Касьяну поклоняется безъ стыда, безъ сорому, а грѣхъ свой на умѣ держитъ...

—

По саду, саду, по зеленому, ходила, гуляла молода княжна Марѳа Всеславьевна; она съ камени скочила на лютаго на змѣя; обвивается лютый змѣй около чебота зеленъ сафьянъ, около чулочика шелкова, хоботомъ бьетъ по бѣлу стегну. А втапоры княгиня понос понесла, а поносъ понесла и дитя родила; и на небѣ просвѣтя свѣтелъ мѣсяцъ а въ Кіевѣ родился могучь богатырь, какъ-бы молодой Волхъ Всеславьевичъ: подрожала сыра земля, состряслося славно царство индійское, а и сине море сколебалося для ради рожденья богатырскаго, молода Волха Всеславьевича; рыба пошла въ морскую глубину, птица полетѣла высоко въ небе-

са, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы по чащицамъ, а волки, медвѣди по ельникамъ, соболи и куницы по островамъ...

Это начало поэмы есть крайняя степень высоты, до какой только достигаетъ наша народная поэзія; это апоѳеоза богатырскаго рожденія, полная величія, силы и того размашистаго чувства, которому море по колѣно, и которое есть исключительное достояніе русскаго народа. Мы не будемъ пересказывать всей этой поэмы, потому-что не найдемъ въ ней, какъ и въ прежнихъ, никакого опредѣленнаго идеала народной фантазіи. По прежнему, это—что-то, силящееся стать образомъ, и все остающееся, символомъ, сквозь произвольную и узорочную ткань котораго брезжится, какъ искра во тьмѣ, призракъ мысли, но никакъ не можетъ разгорѣться въ свѣтлое пламя. Волхъ—и богатырь и колдунъ; оборотившись горностаемъ, онъ сбѣгалъ въ царство индійское,—«у тугихъ луковъ тетивки накусывалъ, у каленыхъ стрѣлъ желѣзцы повынималъ, у того ружья, вѣдь у огненнаго кремешья и шомполы повыдергалъ, и все онъ въ землю закопывалъ» [1]). Обернувшись яснымъ соколомъ, полетѣлъ къ своей дружинѣ хорабрыя, повелъ ее въ царство индійское—стѣна стоитъ; Волхъ оборотилъ своихъ молодцовъ-мурашиками, велѣлъ имъ всѣхъ поголовно бить въ царствѣ индійскомъ, и только на сѣмя оставить по выбору семь тысячей душечки красны дѣвицы. Пришедши къ царю индійскому, Салтыку Ставрульевичу, говорилъ ему таково слово: «А и васъ-то царей не бьютъ, не казнятъ»; ухватя его ударилъ о кирпищатъ полъ, расшибъ его въ крохи...., И тутъ Волхъ самъ царемъ насѣлъ, взявши царицу Азвяковну, молоду Елену Александровну, а и то его дружина хорабрая на тѣхъ дѣвицахъ переженилися.

—

Вообще, идеалъ русскаго богатыря — физическая сила, торжествующая надъ всѣми препятствіями—даже надъ здра-

[1]) Явная прибавка самаго собирателя, т. е. Кирши Данилова.

вымъ смысломъ. Коли ужь богатырь—ему все возможно, и противъ него ничто не устоитъ; объ стѣну лбомъ ударится—стѣна валится, а на лбу и шишечки нѣтъ. Героизмъ есть первый моментъ пробуждающагося народнаго сознанія жизни; а дикая животная сила, сила желѣзнаго кулака и чугуннаго черепа—первый моментъ народнаго сознанія героизма. Оттого у всѣхъ народовъ богатыри цѣлыхъ быковъ съѣдаютъ, баранами закусываютъ, а бочками сороковыми запиваютъ. Но народъ, въ жизни котораго развивается общее, идетъ далѣе,—и просвѣтлѣніе животной силы чувствомъ долга, правды и доблести есть второй моментъ его сознанія героизма. Наши народныя пѣснопѣнія остановились на первомъ моментѣ и дальше не пошли. И потому наши богатыри—тѣни, призраки, миражи, а не образы, не характеры, не идеалы опредѣленные. У нихъ нѣтъ никакихъ понятій о доблести и долгѣ, имъ всякая служба хороша, для нихъ всякая удаль—подвигъ: и цѣлое войско побить, и конемъ потоптать, и единымъ духомъ выпить полтора ведра зелена вина и турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра, и настрѣлять къ княженецкому столу гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ малыхъ сѣрыхъ уточекъ, и стольничать и приворотничать... А между тѣмъ, въ этихъ неопредѣленныхъ, дикихъ и безобразныхъ образахъ есть уже начало духовности, которой не доставало только исторической жизни, чтобъ возвыситься до мысли и возрасти до опредѣленныхъ образовъ, до полныхъ и прозрачныхъ идеаловъ: мы разумѣемъ эту отвагу, эту удаль, этотъ широкій разметъ души, которому море по колѣно, для котораго и радость и горе—равно торжество, которое на огнѣ не горитъ, въ водѣ не тонетъ,—этотъ убійственный сарказмъ, эту простодушно язвительную иронію надъ жизнію, надъ собственною и чужою удалью надъ собственною и чужою бѣдою, эту способность не торопясь, не задыхаясь, воспользоваться удачею и такъ же точно поплатиться счастіемъ и жизнью, эту несокрушимую мощь и крѣ-

ность духа, которыя — повторяемъ — есть какъ-бы исключительное достоинство русской натуры... Русская поэзія, какъ и русская жизнь (ибо въ народѣ жизнь и поэзія — одно), до Петра Великаго была только тѣломъ, но тѣломъ полнымъ избытка органической жизни, крѣпкимъ, здоровымъ, могучимъ, великимъ, вполнѣ способнымъ, вполнѣ достойнымъ быть сосудомъ необъятно великой души, но — тѣломъ, лишеннымъ этой души, и только ожидающимъ, ищущимъ ея... Петръ вдунулъ въ него душу живу—и замираетъ духъ при мысли о необъятно-великой судьбѣ, ожидающей народъ Петра...

—

Собирался царь Саулъ Леонидовичъ за сине море, въ дальню орду, въ Половецку землю — брать дани и невыплаты; прощался онъ съ царицей на двѣнадцать лѣтъ, оставлялъ ее черевасту и наказывалъ: буде дочь родится — вспоить, вскормить, замужъ отдать, а любимаго зятя за нимъ послать; а буде сынъ родится — вспоить, вскормить и за нимъ послать. Родился у царицы сынъ Константинушко, ростетъ не по днямъ, по часамъ, а который ребенокъ двадцати годовъ, онъ Константинушко семи годовъ. Присадила его матушка учиться: скоро ему грамота далася и писать научился. Сталъ онъ, Константинушко, по улицамъ похаживати, сталъ съ ребятами шутку шутить, не по-ребячью, а *творки творилъ не по-маленькимъ:* котораго возьметъ за руку, изъ плеча тому руку выломитъ; и котораго задѣнетъ за ногу, по.....ногу оторветъ прочь; и котораго хватитъ поперегъ хребта, тотъ кричитъ, реветъ, окорачъ ползетъ, безъ головы домой пріидетъ. Князи, бояра дивуются, и всѣ купцы богатые: что это у насъ за уродъ ростетъ?... Стала на него царицѣ жалобу творить, а царица стала его журить, бранить, а журить бранить, на умъ учить, смиренно жить.

(Онъ спрашиваетъ у матери, есть ли у него батюшка:

мать разсказываетъ ему все дѣло; много царевичь не спрашиваетъ: вышелъ на крылечко, закричалъ коня осѣдлать— да и былъ таковъ. На пути онъ перебилъ войско татарское—царя Кунгура Самородовича).

И поѣхалъ Константинушко ко городу Угличу; онъ бѣгаетъ, скачетъ по чисту полю, хоботы метаетъ по темнымъ лѣсамъ, спрашиваетъ себѣ сопротивника, сильна могуча богатыря, съ кѣмъ побиться, подраться и поратиться. А углицки мужики были лукавые: городъ Угличъ крѣпко заперли, а сами со стѣны Константинушку обманываютъ: «Гей еси, удалой молодецъ! поѣзжай ты подъ стѣну бѣлокаменну, а и нѣту у насъ царя въ Ордѣ, короля въ Литвѣ, мы тебя поставимъ царемъ въ Орду, королемъ въ Литву». У Константинушки умокъ молодёшенекъ, зеленешенекъ—сдавался на ихъ слова прелестныя: подъѣзжалъ онъ подъ стѣну, а мужики углицки крюки да багры закинули, и его молодца и съ конемъ подымали на стѣну высокую; связали да и засадили въ погреба глубокіе, запирали дверями желѣзными, засыпали хрящомъ пески мелкими. Царь Саулъ воротился въ свое царство Алыберское, узналъ въ чемъ дѣло, поскакалъ въ Угличъ, а тѣ же мужики Угличи извощики, съ нимъ ѣхавши разсказываютъ, какого молодца засадили, и примѣтки его повѣдаютъ. Царь упрекаетъ ихъ, что не спросили ни дядины ни отчины, и посадили въ подвалы глубокіе—а онъ-де у Кунгура не мало силы перебилъ—можно за то вамъ его благодарити и пожаловати. Когда Саулу выдали его сына, онъ спросилъ заплечнаго мастера и приказалъ главныхъ мужиковъ въ Угличѣ казнити и вѣшати. Пріѣхалъ Саулъ съ сыномъ домой—не пива у царя варить, ни вина курить, пиръ пошелъ на радостяхъ.

—

Слѣдующая пѣсня отличается какимъ-то поэтическимъ-унылымъ тономъ. Содержаніе ея состоитъ въ томъ, что добрый молодецъ, переѣхавъ черезъ рѣку Смородину, похаялъ

ее; рѣка провѣщала ему человѣческимъ голосомъ, какъ бы душою красной дѣвицей, что онъ забылъ на томъ берегу два ножа булатные; когда онъ вновь переправлялся, рѣка Смородина потопила его, отвѣчая на его мольбы, что не она топитъ его, молодца безвременнаго, а топитъ-де тебя похвальба твоя, пагуба. Вотъ начало этой наивной и грустной пѣсни:

„Когда было молодцу пора, время великое, честь, хвала молодецкая: Господь Богъ миловалъ, государь царь жаловалъ, отець, мать молодца у себя во любви держалъ, а и родъ, племя на молодца не могутъ насмотрѣтися; сосѣди, ближніе почитаютъ и жалуютъ; друзья и товарищи на совѣтъ съѣзжаются, совѣту совѣтовать, крѣпку думушку думати они про службу царскую и службу воинскую. Скатилась ягодка съ сахарнаго деревца, отломилась вѣточка отъ кудрявыя отъ яблони, отстаетъ добрый молодецъ отъ отца, сынъ отъ матери; а нынѣ ужь молодцу безвременье великое: Господь Богъ прогнѣвался, государь-царь гнѣвъ возложилъ, отецъ, и мать молодца у себя не въ любви держатъ, а и родъ, племя молодца не могутъ и видѣти, сусѣди, ближніе не чтутъ, не жалуютъ, а друзья, товарищи на совѣтъ не съѣзжаются совѣту совѣтовать, крѣпку думушку думати про службу царскую и про службу воинскую; а нынѣ ужь молодцу кручина великая и печаль не малая. Съ кручины-де молодецъ, со печали великія, пошелъ добрый молодецъ онъ на свой на канюшенной дворъ, бралъ доброй молодецъ онъ добра коня стоялаго,... поѣхалъ доброй молодецъ на чужу, дальну сторону“.

Какъ гармонируетъ грустное окончаніе этой поэмы съ ея грустнымъ началомъ!

И вотъ мы кончили весь циклъ собственно богатырскихъ сказокъ, чуждыхъ всякаго историческаго значенія. Теперь намъ слѣдуетъ приступить къ лучшему, благоуханнѣйшему цвѣту народныхъ поэмъ—поэмъ Великаго Новагорода, этого источника русской народности, откуда вышелъ весь бытъ русской жизни. Новогородскихъ поэмъ немного — всего четыре; но эти четыре стоятъ всѣхъ, какъ по преимущественно-поэтическому достоинству, такъ и по существенно-

сти своего содержанія. Онѣ — ключъ къ объясненію всей народной русской поэзіи, равно какъ и къ объясненію характера быта русскаго.

4.

Циклъ новогородскихъ поэмъ очень не обширенъ: ихъ всего четыре. Двѣ изъ нихъ посвящены одному герою, другіе двѣ — другому герою; слѣдовательно, четыре поэмы воспѣваютъ только двухъ героевъ. Бѣдность поразительная! Но, вникнувъ въ ихъ духъ и содержаніе, мы увидимъ, что передъ ними бѣдна вся остальная сказочная поэзія; увидимъ міръ новый и особый, служившій источникомъ формъ и самого духа русской жизни, а слѣдовательно, и русской поэзіи. Новгородъ былъ прототипомъ русской цивилизаціи и вообще формъ общественной и семейной жизни древней Руси. Все это яснѣе можно видѣть изъ новогородскихъ поэмъ; почему и приступаемъ немедленно къ изложенію ихъ содержанія, которое должно снабдить насъ данными для сужденій и выводовъ.

—

Въ славномъ великомъ Новѣградѣ, а и жилъ Буслай до девяноста лѣтъ; съ Новымъ городомъ жилъ, не перечился; со мужики новогородскими поперекъ словечка не говаривалъ. Живучи Буслай состарѣлся, состарѣлся и переставился; послѣ его вѣку долгаго оставалось его житье-бытье и все имѣніе дворянское; оставалося чадо милое — молодой сынъ Василій Буслаевичъ. Будетъ Васинька семи годовъ, отдавала матушка родимая учить его въ во грамотѣ, а грамота ему въ наукъ пошла; присадила перомъ его писать, письмо Василью въ наукъ пошло; отдавала пѣтью учить церковному, пѣнье Василью въ наукъ пошло. А и нѣтъ у насъ такого пѣвца въ славномъ Новѣгородѣ, супротивъ Василья Буслаева. Повадился вѣдь Васька Буслаевичъ со пьяницы, со безумницы, съ веселыми удалыми добры молодцы, до

пьяна ужъ сталъ напиватися, а и ходя въ городѣ уродуетъ: котораго возьметъ онъ за руку, изъ плеча тому руку выдернетъ; котораго задѣнетъ за ногу, то изъ... ногу выломитъ; котораго хватитъ поперекъ хребта, тотъ кричитъ, реветъ, окарачь ползетъ. Пошла-то жалоба великая: а и мужики новогородскіе, посадскіе, богатые, приносили жалобу великую матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳеевнѣ на того на Василья Буслаева. А и мать-то стала его журить, бранить, журить, бранить, его на умъ учить,—журьба Васькѣ не взлюбилася; пошелъ онъ Васька въ высокъ теремъ, садился на ременчатъ стулъ, писалъ ярлыки скорописчаты—отъ мудрости слово поставлено: «кто хощетъ пить и ѣсть изъ готоваго, валися къ Васькѣ на широкій дворъ—пей и ѣшь готовое и носи платье разноцвѣтное». А втапоры поставилъ Васька чанъ середи двора, наливалъ чанъ полонъ зелена вина, опущалъ онъ чару въ полтора ведра. Въ славномъ было во Новѣградѣ, грамотны люди шли, прочитали тѣ ярлыки скорописчаты, пошли къ Васькѣ на широкій дворъ, къ тому чану, зелену вину. Въ началѣ былъ Костя Новоторженинъ: Василій тутъ его опробовалъ—сталъ его бити по буйной головѣ червленнымъ вязомъ во двѣнадцать пудъ: стоитъ тутъ Костя не шевельнется и на буйной головѣ кудри не тряхнутся. И назвалъ Васька его Костю своимъ братомъ названнымъ—паче брата родимаго. А и мало время позамѣшкавши, пришли Лука и Моисей—дѣти боярскіе, а Василій молодой сынъ Буслаевичъ тѣмъ молодцамъ сталъ радошенъ и веселешенекъ. Пришли тутъ мужики Залѣшана (?) — и не смѣлъ Васька показатися къ нимъ. Еще тутъ пришло семь братовъ Сбродовичи — собиралися, сходилися тридцать молодцовъ безъ единаго, — онъ самъ Василій тридцатый сталъ. Какой зайдетъ—убьютъ его, убьютъ его, за ворота бросятъ. Послышалъ Васинька: у мужиковъ новогородскіихъ канунъ варенъ, пива ячныя; пошелъ Василій съ дружиною, пришелъ во братчину въ Никольщину. «Не малу мы тебѣ сыпь (?) платимъ:

за всякаго брата по пяти рублевъ». А за себя Василій даетъ пятьдесятъ рублевъ. А и тотъ-то староста церковный принимаетъ ихъ во братчину въ Никольщину; а и зачали они тутъ канунъ варенъ пить, а тѣ-то пива ячныя.

Васька и его молодцы бросаются на царевъ кабакъ, — и всѣ они возвращаются въ Никольщину добрѣ пьяны.

А и будетъ день къ вечеру; отъ малаго до стараго, начали ужь ребята боротися, а въ иномъ кругу въ кулаки бьются; отъ тое борьбы отъ ребячія, отъ того бою отъ кулачнаго, началася драка великая; молодой Василій сталъ драку разнимать, а иной дуракъ зашелъ съ носка, его по уху оплелъ; а и тутъ Василій закричалъ громкимъ голосомъ: «Гой еси ты, Костя Новоторженинъ, и Лука, Моисей, дѣти боярскіе! уже Ваську меня бьютъ».

Васькины молодцы пошли на выручку: много народу перебили до смерти, больше того переуродовали. Тогда Васька вызываетъ новогородскихъ мужиковъ на великій закладъ: «напущаюсь-де я на весь Новгородъ битися, дратися, со всею дружиною хороброю», если возьметъ сторона мужицкая, Васька платитъ мужикамъ дани, выходы, по смерть свою, на всякій годъ по три тысячи; буде же его сторона одолѣетъ—мужики платятъ ему такую же дань. И въ томъ договорѣ руки они подписали. Василій Буслаевъ началъ съ своими молодцами одолѣвать противниковъ; тогда мужики новогородскіе бросились съ дорогими подарками къ Васькиной матушкѣ: «Уйми-де свое чадо милое, Василья Буслаевича». Тутъ является на сцену совершенно новое и до крайности странное лице—дѣвушка чернавушка; по приказанію Амелѳы Тимоѳѣевны, прибѣжала дѣвушка чернавушка, схватала Ваську за бѣлы руки, притащила его къ матушкѣ на широкій дворъ; а и та старуха неразмышлена, посадила его въ погреба глубокіе, затворила дверьми желѣзными, запирала замки булатными. Между тѣмъ, дружина Васькина бьется съ утра до вечера—и ей становится ужь не въ мочь;

увидѣвъ дѣвушку чернавушку, пошедшую на Волховъ за водою, молодцы взмолились ей: «Не подай насъ у дѣла ратнаго, у того часу смертнаго». И тутъ дѣвушка чернавушка бросала она ведро кленовое, брала коромысло кипарисово, коромысломъ тѣмъ стала она помахивати по тѣмъ мужикамъ новогородскіимъ; перебила ужь много до смерти; и тутъ дѣвка запыхалася, побѣжала къ Василью Буслаеву, срывала замки булатные, отворяла двери желѣзныя: «А и спишь ли, Василій, или такъ лежишь? твою дружину хорабрую мужики новогородскіе всѣхъ перебили, перераненили, булавами буйны головы пробиваны». Ото сна Василій пробуждается, онъ выскочилъ на широкій дворъ,—не попола палица желѣзная, что попала ось тележная,—побѣжалъ Василій по Новугороду, по тѣмъ по широкимъ улицамъ; стоитъ тутъ старецъ пилигримища, на могучихъ плечахъ держитъ колоколъ, а вѣсомъ тотъ колоколъ во триста пудъ; кричитъ тотъ старецъ пилигримища: «А стой ты, Васька, не попархивай, молодой глуздырь, не полетывай: изъ Волхова воды не выпити, въ Новѣградѣ людей не выбити; есть молодцовъ супротивъ тебя, стоимъ мы, молодцы, не хвастаемъ». Говорилъ Василій таково слово: «А и гой еси, старецъ пилигримища! а и бился я о великъ закладъ со мужики новогородскими, опричь почестнато монастыря, опричь тебя, старца пилигримища; во задоръ войду—тебя убью!» Ударилъ онъ старца въ колоколъ а и той-то осью тележною, — качается старецъ, не шевельнется; взглянулъ онъ, Василій, старца подъ колоколъ, а и во лбѣ глазъ, ужь вѣку нѣту! Пошелъ молодецъ по Волхъ рѣкѣ, завидѣли добрые молодцы молода Василья Буслаева,—у ясныхъ соколовъ крылья отросли, у нихъ-то молодцовъ думушки прибыло.

Мужики Новогородскіе побиты—они покорилися и помирилися; насыпали чашу чистаго серебра, а другую чистаго золота; пошли ко двору дворянскому, къ матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ, бьютъ челомъ, покланяются: «Осуда-

рыня матушка, принимай ты дороги подарочки, а уйми свое чадо милое, молода Василья со дружиною; а и рады мы платить на всякій годъ по три тысячи, на всякой годъ будемъ носить: съ хлѣбниковъ по хлѣбику, съ калачниковъ— по калачику, съ молодицъ—повѣнечное, съ дѣвицъ повалешное, со всѣхъ людей со ремесленныхъ, опричь поповъ и дьяконовъ»...

Амелѳа Тимоѳѣевна посылаетъ дѣвушку чернавушку привести Василья съ дружиною; бѣжавши та дѣвушка запыхалася, нельзя пройдти дѣвкѣ по улицѣ, что́ п о л т е н (?) по улицѣ валяются тѣхъ мужиковъ новогородскіихъ. Прибѣжала дѣвушка чернавушка, сохватала Василья за бѣлы руки, а стала ему разсказывати, что-де мужики новогородскіе принесли къ его матушкѣ дороги подарочки и записи крѣпкія. Повела дѣвка Василья со дружиною на тотъ на широкій дворъ, привела-то ихъ къ зелену вину, а сѣли они молодцы во единъ кругъ, выпили вѣдь по чарочкѣ зелена вина, со того уразу молодецкаго отъ мужиковъ новогородскихъ. Вскричатъ тутъ ребята зычнымъ голосомъ: «У мота и у пьяницы, у молода Василья Буслаевича, не упито, не уѣдено, вкраснѣ хорошо не ухожено, а цвѣтнаго платья не уношено, а увѣчье на вѣкъ залѣчено.—И повелъ ихъ Василій обѣдати къ матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ; втапоры мужики новогородскіе приносили Василью подарочки, вдругъ *сто тысячей*,—и затѣмъ у нихъ мирова пошла; а и мужики новогородскіе покорилися и сами поклонилися.

—

Не говоря уже о томъ, что въ этой поэмѣ очень много—по крайней мѣрѣ, сравнительно съ прежними—поэзіи и силы въ выраженіи,—въ ней есть еще не только мысль но и что-то похожее на идею. Эту поэму должно понимать, какъ миѳическое выраженіе историческаго значенія и гражданственности Новагорода. Исторія Новагорода не могла дать содержанія для чисто-исторической поэмы; или, лучше

сказать, государственная идея Новагорода не могла выразиться въ историческо-поэтической формѣ, и по необходимости должна была ограничиться смутными, неопредѣленными и дикими миѳическими полуобразами, очерками и намеками. Точность и опредѣленность—одни изъ главнѣйшихъ и необходимѣйшихъ качествъ и условій истинной поэзіи; но эти качества зависятъ отъ одного содержанія: чѣмъ содержаніе существеннѣе, дѣйствительнѣе, субстанціальнѣе, тѣмъ и форма точнѣе и опредѣленнѣе, образы яснѣе, живѣе и полнѣе. Всякая народная поэзія начинается миѳами; но и миѳы могутъ имѣть свою ясность, опредѣленность и, такъ сказать, прозрачность; только для этого необходимо, чтобъ выражаемое ими содержаніе было обще-человѣческое и заключало въ себѣ возможность дальнѣйшаго діалектическаго развитія, а слѣдовательно и возможность служить содержаніемъ для поэзіи, развившейся и возросшей до высшей степени своего совершенства — до художественности. Новогородская жизнь была к а к и м ъ - то зародышемъ ч е г о - то, повидимому, важнаго; но она и осталась зародышемъ чего-то: чуждая движенія и развитія, она кончилась тѣмъ же, чѣмъ и началась—ч ѣ м ъ-т о; а что-то никогда не можетъ дать опредѣленнаго содержанія для поэзіи и по необходимости должно ограничиться миѳическими и аллегорическими полуобразами и намеками. Новгородъ, вѣроятно, былъ колоніею южной Руси, которая была первоначальною и коренною Русью. Колоніи народовъ, находящихся на низкой степени гражданственности, всегда бываютъ цивилизованнѣе своихъ метрополій: онѣ составляются изъ самой предпріимчивой части народа, которая, переселившись на новую почву и подъ новое небо, поневолѣ отрѣшается отъ ограниченности прежняго быта, открываетъ новые источники жизни, указываемые новою страною, и, удерживая много отъ духа прежней родины, много и измѣняетъ въ своемъ характерѣ. Почва Новагорода, бѣдная, болотистая, климатъ холодный; это обстоятельство, въ соединеніи

съ сосѣдствомъ Нѣмцевъ, и направило поневолѣ дѣятельность Новогородцевъ на торговлю: по невозможности быть земледѣльцами, они оторвались отъ общаго славянскаго быта и сдѣлались купцами; сосѣдство же съ Нѣмцами еще болѣе способствовало развитію ихъ предпріимчивости. Но, сдѣлавшись купеческимъ городомъ, Новгородъ не сдѣлался ни Венеціей, ни Амстердамомъ и ни однимъ изъ ганзеатическихъ городовъ, съ которыми онъ торговалъ. Равнымъ образомъ, Новогородцы, сдѣлавшись купцами, отнюдь не слѣлались гражданами правильно организованной республики: у нихъ не было опредѣленнаго раздѣленія классовъ, не было ни малѣйшаго понятія о правѣ личномъ, общественномъ и торговомъ. Тамъ всѣ были купцами случайно, и торговали на авось да на удачу, по азіятски. Духъ европеизма всему опредѣлялъ значеніе, всему указывалъ мѣсто, все силился освободить отъ случайности и подвести подъ общія, неизмѣнныя и опредѣленныя условія необходимости, все подчинялъ системѣ, ремесло возвышалъ до искусства, изъ искусства дѣлалъ науку. Ничего этого не было и тѣни въ основахъ новогородской гражданственности. Внѣшнія обстоятельства были причиною ея возникновенія: внѣшнія обстоятельства и докончили ее. Безсиліе разъединенной Руси дало Новогороду укрѣпиться; а соединеніе Руси въ одну державу, безъ борьбы и особенныхъ усилій, низпровергло его. И еслибъ Москва допустила существованіе Новагорода,— онъ палъ бы самъ собою и сталъ бы легкою добычею Польши, или Швеціи. Чтó не развивается, то не живетъ, а что̀ не живетъ, то умираетъ: таковъ общій законъ всѣхъ гражданскихъ обществъ. Въ Новѣгородѣ не было зерна жизни, не было развитія, а потому, повторяемъ, изъ него ничего не могло выйдти, и онъ никогда не былъ органически-историческимъ обществомъ, у котораго бы могла быть исторія, а слѣдовательно, и поэзія.

Но, съ другой стороны, нельзя не признать Новагорода

весьма примѣчательнымъ явленіемъ, имѣвшимъ важное вліяніе даже на Московское царство. Торговля родила въ Новѣгородѣ богатство, а богатство породило духъ какого-то самодовольствія, приволья, удальства, отваги, молодечества. Вслѣдствіе этого, въ Новѣгородѣ образовался родъ какой-то странной и оригинальной гражданственности; явилась аристократія богатства, съ особенными формами жизни, своимъ церемоніяломъ, своими общественными правами и обычаями, своею общественною и семейною нравственностію. Все это, вмѣстѣ взятое, сдѣлалось типомъ русскаго быта. Новгородъ былъ богатъ, силенъ и славенъ на Руси въ то время, когда Русь была бѣдна и безсильна, когда въ ней не было никакой общественности, никакой гражданственности, когда въ ней было не до прохлады, не до роскоши, не до удальства и разгула: ее терзали сперва междоусобія, потомъ Татары. Теперь очень понятно, что Новгородъ для тогдашней Руси былъ тѣмъ же, чѣмъ теперь Парижъ для Европы. Новгородъ былъ городомъ аристократіи, въ смыслѣ сословія, которое, много имѣя денегъ, много и тратило ихъ на свои прихоти: аристократія безъ денегъ нигдѣ и никогда не бывала, а если выскочекъ называютъ мѣщанами въ дворянствѣ, то бѣдныхъ аристократовъ должны называть дворянами въ мѣщанствѣ. Богатство родитъ множество нуждъ и прихотей, страсть къ удобству и уваженіе къ приличію, и, если оно не въ состояніи возвысить душу, отъ природы низкую, всегда можетъ смягчить внѣшнюю грубость, дать душѣ большій просторъ и полетъ въ сферѣ житейскаго и общественнаго образованія, потому-что богатство освобождаетъ человѣка отъ низкихъ нуждъ, заботъ и работъ жизни. И потому, мы думаемъ, что русскій этикетъ, свадебные и другіе обряды, образовались первоначально въ Новѣгородѣ, и оттуда, вмѣстѣ съ венеціянскими и нѣмецкими товарами, разлились и распространились по всей Руси. Мы здѣсь разумѣемъ собственно сѣверную Русь, бѣдную и грубую, центромъ которой былъ спер-

ва Владиміръ на Клязьмѣ, а послѣ Москва. Сѣверная Русь рѣзко отдѣлилась отъ южной, превратившейся въ послѣдствіи въ Малороссію; Червонная Русь, болѣе близкая къ Кіевско-черниговской, также не имѣла ничего общаго съ сѣверною. Явно, что типъ общественнаго быта сѣверной Руси образовался и развился въ Новѣгородѣ. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ служить всѣ поэмы, въ которыхъ упоминается о великомъ князѣ Владимірѣ и которыя мы разбирали въ предыдущей статьѣ: въ нихъ нѣтъ ничего, принадлежащаго и свойственнаго южно-русской поэзіи, въ нихъ нѣтъ ничего общаго ни въ изобрѣтеніи, ни въ колоритѣ съ «Словомъ о Полку Игоревѣ». Напротивъ, въ нихъ все новогородское: и изобрѣтеніе, и выраженіе, и тонъ, и колоритъ, и замашка, и, наконецъ, эти герои богатыри изъ купцовъ, какъ Иванъ гостиный сынъ и другіе. «Василій Буслаевъ» явно новогородская поэма—въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія; но сличивши эту поэму со всѣмъ цикломъ богатырскихъ сказокъ временъ Владиміра,—нельзя не видѣть, что всѣ онѣ какъ будто бы сочинены однимъ и тѣмъ же лицомъ. Это показываетъ, что всѣ онѣ дѣйствительно сложены въ Новѣгородѣ,—и богатырскія сказки о Владимірѣ красномъ-солнышкѣ были ничѣмъ инымъ, какъ воспоминаніемъ Новогородца о своей прежней родинѣ. Измѣнившись и выродившись, изъ земледѣльца или ратника южной Руси ставъ новогородскимъ купчиною, Новогородецъ воскресилъ смутныя преданія о первобытной родинѣ по идеалу современнаго ему быта своей новой и настоящей отчизны. И потому, изъ преданія онъ взялъ одни имена и нѣкоторые смутные образы,—и Владиміръ красно-солнышко является у него такимъ же смутнымъ воспоминаніемъ, какъ и Дунай-сынъ-Ивановичъ, берега котораго тоже были нѣкогда его отчизною. Но Дунай и остался въ его пѣсняхъ миѳическимъ воспоминаніемъ; а Владиміръ великій князь Кіевскій стольный превратился, въ поэмахъ Новогородца, въ

какого-то купчину, гостя богатаго, и по рѣчамъ, и по манерамъ, и по складу ума. Отъ того же и княгиня Апраксѣевна, равно какъ и всѣ героини Киршевыхъ поэмъ, такъ похожи на купчихъ: ихъ иначе и нельзя представить, какъ въ жемчугахъ, съ повязанными головами, разбѣленныхъ, нарумяненныхъ съ черными зубами и съ чарами зелена̀ вина въ рукахъ; «онѣ по двору идутъ—будто уточки плывутъ, а по горенкѣ идутъ—частенько ступаютъ, а на лавицу садятся—колѣнцо жмутъ,—а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжина изъ перстовъ не вышли всѣ».

Но не по одному этому вліянію на Русь замѣчателенъ Новгородъ: онъ и самъ по себѣ есть интересное явленіе съ своимъ меньшимъ братомъ, Псковомъ. Это какой-то неразвившійся, но большой зародышъ чего-то, какая-то неудавшаяся, но размашистая попытка на что-то. По преобладанію восточнаго элемента, всѣ славянскіе народы являли собою одни зачатки жизни, которымъ не суждено было развиться изъ самихъ себя во что-нибудь дѣйствительное и опредѣленное собственною самодѣятельностію, не принявъ въ себя обще-человѣческихъ элементовъ европейскаго духа. Повторяемъ: Новгородъ былъ не республикою, а скорѣе каррикатурою на республику. Ничемъ нельзя такъ хорошо охарактеризовать Новагорода, какъ его же собственнымъ прозваніемъ, простодушнымъ и безсознательнымъ но мѣткимъ и вѣрнымъ: новогородская вольница. Гдѣ нѣтъ права и закона, нѣтъ развившихся изъ жизни государственныхъ постановленій — тамъ нѣтъ и свободы, нѣтъ гражданъ, а есть вольность и вольница, которыя, въ отношеніи къ личной безопасности и независимости членовъ общества, ничѣмъ не лучше азіятскаго деспотизма, если еще не хуже. Извѣстно, что вѣче «великаго господина Новгорода» часто оканчивалось кровавымъ самоуправствомъ невѣжественной черни, а спокойствіе города нерѣдко нарушалось самыми безсмысленными мятежами. Въ Новгородѣ не было представительности: толпа

невѣжественная и дикая безусловно владычествовала на вѣчѣ; но Новгородъ былъ богатъ и зналъ это; Новогородцы были полны отваги и удали, и говорили: «Кто противъ Бога и великаго Новагорода?» Святая Софія была покровительницею, и въ ея храмѣ хранилась грамота Ярослава. Новогородцы по своему любили Новгородъ и гордились имъ. Вѣчевой колоколъ—символъ ихъ политическаго значенія, былъ для нихъ дорогъ, и рыдая провожали они его въ Москву...

Новгородъ не былъ государствомъ, но въ немъ были зачатки государственной жизни,—и потому онъ былъ явленіемъ неопредѣленнымъ, страннымъ, чѣмъ-то и въ то же время ничѣмъ; это былъ инфузорій государственной жизни, но не государство. Проблескивало въ его жизни что-то и размашистое и грандіозное, но только проблескивало и, мгновенно поразивъ зрѣніе, тотчасъ же изчезало, подобно миражамъ и блуждающимъ огнямъ...

Такова была историческая дѣйствительность Новагорода; такова и его поэзія: никакія лѣтописи, никакія историческія изысканія не могутъ такъ вѣрно выразить смутнаго его существованія, какъ его поэзія. Начнемъ съ «Василья Буслаева»: это—апоѳеоза Новагорода, столь же поэтическая, удалая, размашистая, сильная, могучая и столь же неопредѣленная, дикая, безобразная, какъ и онъ самъ. Съ самаго начала поэмы, вы видите существованіе въ Новѣгородѣ двухъ сословій—аристакратіи и черни, которыя не совсѣмъ въ ладу между собою. Какъ-бы въ похвалу Буслаю, отцу Василью, говорится, что онъ «съ Новымъ-городомъ жилъ, не перечился, со мужики новогородскими поперекъ словечка не говаривалъ». Да и какъ не хвалить за это: изъ чего же и ссориться было сему благородному дворянину со мужики новогородскими? Въ Римѣ, вражда между патриціями и плебеями была вражда основательная и разумная: первые возникли и образовались изъ племени завоевателей, вторые—изъ племени побѣжденнаго и завоеваннаго: вотъ пер-

вый исходный пунктъ вражды двухъ сословій. Далѣе: патриціи образовывали собою правительственную корпорацію; въ ихъ рукахъ была высшая государственная власть; они были полководцами и сенаторами, изъ нихъ преимущественно выбирались консулы и диктаторы; вообще, сословіе патриціевъ пользовалось большими правами, которыя составляли часть коренныхъ государственныхъ законовъ, владѣли большими имѣніями, а народъ былъ бѣденъ правами и полями, ему предоставлено было только лить кровь за отечество и повиноваться его законамъ. Наконецъ, патрицій считалъ себя существомъ высшимъ плебея и гнушался вступить съ нимъ въ родство, или допустить его въ свое общество. Патрицій оскорблялъ плебея и самымъ превосходствомъ своимъ въ образованіи. Все это поддерживало борьбу, бывшую источникомъ римской исторіи и причиною ея колоссальнаго развитія. Но въ Новѣгородѣ дворянамъ и боярамъ не изъ чего было перечиться съ мужиками, а мужикамъ не изъ чего было враждовать противъ дворянъ и бояръ: при равенствѣ правъ, или совершенномъ отсутствіи правъ съ той и другой стороны, и при равенствѣ образованія, или при совершенномъ отсутствіи всякаго образованія съ той и другой стороны, тамъ только бѣдный могъ завидовать богатому, а не мужикъ дворянину, ибо тамъ и мужикъ могъ быть богаче боярина, и потому, больше его имѣть вѣсу на вольномъ вѣчѣ. Но тутъ была безсмысленная спѣсь, которая основывалась не на превосходствѣ образованія, общественнаго или умственнаго, не на правѣ заслуги, а на пергаментныхъ грамотахъ: спѣсь съ одной стороны вызывала вражду съ другой; а какъ неважныя причины родятъ неважныя слѣдствія, то вражда и разрѣшилась кулачными боями и телесным увѣчьемъ. Василій Буслаевъ есть представитель аристократической партіи въ Новѣгородѣ: онъ человѣкъ превосходно образованный—умѣетъ читать, писать, и пѣть: чего же больше?... Повадился онъ со пьяницы, со

безумницы; но быль молодцу не укора, тѣмъ болѣе, что общественная нравственность Новагорода отнюдь не призирала этихъ господъ, ибо они были не только пьяницы, безумницы; но и «веселые, удалые добры молодцы». Костя Новоторженинъ долженъ быть не изъ дворянъ, а изъ купчинъ; выдержавъ экзаменъ Васьки, т. е. ударъ по головѣ червленнымъ вязомъ во двѣнадцать пудъ, онъ дѣлается его братомъ названнымъ: вотъ вамъ и символъ единства и родства высшаго и низшаго сословій въ политической организаціи Новагорода! Лука и Моисей—два боярченка; Василій особенно «сталъ радошенъ и веселешенекъ» ихъ приходу: это своя братія—аристократы... Но что за мужики Залѣшана, не разъ упоминаемые въ Киршевыхъ поэмахъ—неизвѣстно; и почему Васька, никого петрусившій, не посмѣлъ имъ показаться, хоть они и пришли къ нему на дворъ, гдѣ онъ бесѣдовалъ за чаномъ зелена вина съ своею ватагою—то же темно и неопредѣленно. Не менѣе загадочны и братья Сбродовичи, не разъ упоминавшіеся и въ прежнихъ поэмахъ: о нихъ, какъ и о мужикахъ Залѣшанахъ, можно сказать съ достовѣрностію только, что они—Новгородцы. Что за братчина Никольщина, гдѣ на складчину пьютъ капунъ варенъ и пива ячныя—тоже загадка. Драка началась не изъ ссоры: побывавши въ кабакѣ, молодцы Василья начали «боротися, а въ иномъ кругу въ кулаки битися»; начали за здравіе, а свели за упокой, по русской коренной поговоркѣ; слѣдовательно, не вражда между сословіями, а то что руки разчесались и плечи расходились произвело нецивилизованную драку. Вызовъ Васьки мужиковъ новогородскихъ на бой съ его дружиною о великъ закладъ, прекрасно характеризуетъ новогородскую удаль и молодечество; въ его условіи съ ними, къ которому были «подписаны руки» съ обѣихъ сторонъ, промелькиваетъ коммерческая цивилизація Новогорода. Въ жалобѣ мужиковъ, приносимой къ матери Васьки, и скорой расправѣ матери съ сыномъ,

вполнѣ выражается патріархально-семейное основаніе гражданскаго быта того времени; а «дороги подарочки», представленные матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ при жалобѣ на сына, показываютъ ясно, что и въ новогородской республикѣ безъ «подарочковъ» никакая просьба не обходилась. «Дѣвушка чернавушка», упоминается и въ нѣкоторыхъ другихъ русскихъ сказкахъ; слѣдовательно, она должна имѣть какое-нибудь значеніе, но какое именно — нельзя понять. Для насъ эта «дѣвушка чернавушка», которая хватаетъ Ваську за бѣлы руки и, какъ ребенка, тащитъ въ погреба глубокіе, а потомъ кипарисовымъ коромысломъ побиваетъ мужиковъ новогородскихъ, сшибаетъ замки булатные, ломаетъ двери желѣзныя и освобождаетъ Василья, — для насъ она не имѣетъ никакого смысла. Замѣчательно, что эта «дѣвушка чернавушка» явно держитъ сторону Василья и его молодцовъ и только въ качествѣ служанки его матери, обязанной повиноваться своей госпожѣ, дѣйствуетъ она противъ Василья. Встрѣча освобожденнаго изъ подвала Василья съ старцемъ-пилигримищемъ есть лучшее мѣсто въ поэмѣ. Этотъ старецъ-пилигримище есть поэтическая апоѳеоза Новагорода, поэтическій символъ его государственности. Старецъ держитъ на могучихъ плечахъ колоколъ въ триста пудъ; онъ холодно и спокойно, какъ голосъ увѣреннаго въ себѣ государственнаго достоинства, останавливаетъ рьяность Буслаева: «Изъ Волхова воды не выпити, въ Новѣгородѣ людей не выбити: есть молодцовъ супротивъ тебя, стоимъ мы молодцы не хвастаемъ». Въ отвѣтѣ Василья видны привилегіи духовнаго сословія и уваженіе Буслаева къ идеѣ Новагорода, однакоже побѣждаемое неукротимостію его молодечества: «Бился я о великъ закладъ со мужики новогородскими, опричь почестнаго монастыря, опричь тебя старца-пилигримища: во задоръ войду — и тебя убью!» Васька ударяетъ тележною осью по головѣ старца: качается старецъ, не шевельнется; заглянулъ онъ, Василій, старца подъ колоколъ: «а и во лбѣ

глазъ—ужь вѣку нѣту»... Хоть слова качается и не шевельнется и кажутся противорѣчіемъ другъ другу, однако въ нихъ нѣтъ противорѣчія, а только неточность выраженія: слово «качается» должно относить къ колоколу, а «не шевельнется»—къ старцу, образу Новагорода. «А и во лбѣ глазъ—ужь вѣку нѣту»—указываетъ на мистическую древность историческаго существованія Новагорода.

Вообще, этотъ образъ Новагорода дышетъ какою-то граціозностію, силою и поэзіею; но въ то же время онъ страненъ, дикъ, неопредѣленъ,—словомъ: самый вѣрный портретъ историческаго Новагорода, поэтическій инфузорій, огромный взмахъ безъ удара...

Теперь мы докончимъ исторію мота и пьяницы, молода Василья Буслаевича, пересказавъ содержаніе другой новогородской поэмы, представляющей Буслаевича въ новомъ положеніи.

—

Подъ славнымъ великимъ, Новымъ-городомъ, по славному озеру по Ильменю, плаваетъ, поплаваетъ сѣръ селезень, какъ бы ярый гоголь попыриваетъ: а плаваетъ, поплаваетъ червленъ корабль какъ бы молода Василья Буслаевича со его дружиною хороброю: Костя Никитинъ корму держитъ, маленькій Потапя на носу стоитъ, а Василій-то по кораблю похаживаетъ, таковы слова поговариваетъ «Свѣтъ, моя дружина хоробрая, тридцать удалыхъ, добрыхъ молодцовъ! ставьте корабль поперекъ Ильменя, приставайте, молодцы, ко Новугороду!»

Вышедъ изъ корабля, Василій идетъ къ своей матушкѣ, матерой вдовѣ Амелоѣ Тимоѳеевнѣ, проситъ у нея благословенія великаго «идти въ Ерусалимъ градъ, Господу помолитися, святой святынѣ приложитися, во Ердапѣ рѣкѣ искупатися». Мать отвѣчаетъ: «Коли ты пойдешь на добрыя дѣла, тебѣ дамъ благословеніе великое; коли ты, дитя, на разбой пойдешь, я не дамъ благословенія великаго, а и не носи

Василья сыра земля». Камень отъ огня разгорается, а булатъ отъ жару растопляется, материно сердце распущается; и даетъ она много свинцу, пороху, и даетъ Василью запасы хлѣбные, и даетъ оружье долгомѣрное. «Побереги ты, Василій, буйну голову свою».

Поѣхалъ Буслай со дружиною по Ильменю озеру во Ерусалимъ-градъ; плывутъ они уже другую недѣлю (какое огромное озеро!), встрѣчу имъ гости корабельщики: «Здравствуй, Василій Буслаевичъ! куда, молодецъ, поизволилъ погулять?» Отвѣчаетъ Василій Буслаевичъ: «Гой еси вы, гости корабельщики! А мое-то вѣдь гулянье неохотное: съ молоду бито много, граблено, подъ старость надо душа спасти; а скажите вы, молодцы, мнѣ прямаго путя ко святому граду Іерусалиму». Корабельщики отвѣчаютъ, что если ѣхать прямымъ путемъ— то семь недѣль, а если окольною дорогою—полтора года; и что на славномъ Каспійскомъ морѣ, на Куминскомъ острову стоитъ застава крѣпкая—атаманы казачіе; не много, не мало ихъ—три тысячи, грабятъ бусы, галеры (?), разбиваютъ червлены корабли».«А не вѣрую я, Васинька, ни въ сонъ, ни въ чохъ, а и вѣрую въ свой червленый вязъ; а бѣгите вы, ребята, прямымъ путемъ». И завидя Буслай гору высокую, скоро приставалъ ко круту бережку и походилъ на ту гору Сорочинскую, а за нимъ летитъ дружина хорабрая. Будетъ Василій въ полугорѣ, попадается ему пуста голова, человѣческая кость; пнулъ Василій тое голову съ дороги прочь; провѣщится пуста голова человѣческая: «Гой еси, Василій Буслаевичъ ты къ чему меня голову, побрасываешь? Я молодецъ не хуже тебя былъ; умѣю я, молодецъ, валятися,—и гдѣ лежитъ пуста голова молодецкая, и будетъ лежать головѣ Васильевой». Плюнулъ Василій, прочь пошелъ: «Али, голова, въ тебѣ врагъ говоритъ, али нечистый духъ?»

На вершинѣ горы, на самой сопкѣ, стоитъ камень, а на немъ написано, что-де кто у камени станетъ тѣшиться, забавлятися, вдоль скакать по камню—сломитъ буйну голову. Ва-

силій тому не вѣруетъ, и сталъ съ молодцами тѣшиться, забавлятися, поперегъ того каменю поскакивати, а вдоль-то его не смѣетъ скакать.

Наскакавшись вдоволь, молодцы ѣдутъ далѣе и достигаютъ заставы казачей; и скочилъ-то Буслай на крутъ бережокъ, червленнымъ вязомъ подпирается. Атаманы сидятъ, не дивуются, сами говорятъ таково слово: «Стоимъ мы на острову тридцать лѣтъ, не видали страху великаго: это-де идетъ Василій Буслаевичъ; знать-де полетка соколиная, видѣть-де поступка молодецкая». Василій спрашиваетъ ихъ о пути въ Іерусалимъ, а они просятъ его «за единый столъ хлѣба кушати». Втапоры Василій не ослушался, садился съ ними за единый столъ наливали ему чару зелена вина въ полтора ведра, принимаетъ Василій единой рукой и выпилъ чару единымъ духомъ, и только атаманы тому дивуются: а сами не могутъ и по полу-ведру пить. Когда Василій собрался въ путь, атаманы казачіе дали подарки свои: перву мису чиста серебра и другу красна золота, третью скатнаго жемчуга. Проситъ онъ у нихъ до Іерусалима провожатаго; тутъ атаманы Василью не отказали, дали ему молодца провожатаго. По Каспійскому морю молодцы прибѣжали прямо во Ердань-рѣку и пошли въ Ерусалимъ-городъ. Пришелъ Василій во церкву соборную, служилъ обѣдню за здравіе матушки и за себя, Василья Буслаевича; и обѣдню съ панихидою служилъ по родимомъ своемъ батюшкѣ и по всему роду своему; на другой день служилъ обѣдни съ молебнами про удалыхъ добрыхъ молодцовъ, что съ молоду бито много, граблено. И ко святой святынѣ приложился онъ, и во Ерданѣ-рѣкѣ искупался. И расплатился Василій съ попами, съ дьяконами, и которые старцы при церкви живутъ; даетъ золотой казны несчитаючи. Пошелъ онъ на червленъ корабль, а дружина то хорабрая купалася во Ерданѣ рѣкѣ; приходила къ нимъ баба залѣсная (?), говорила таково слово: «Почто вы купаетесь во Ерданѣ-рѣкѣ? А не кому купатися, опричь Василья Буслаевича,—во Ерданѣ крестился самъ Господь

Іисусъ Христосъ; потерять его вамъ будетъ большаго атамана, Василья Буслаевича». И они говорятъ таково слово: «Нашъ Василій тому не вѣруетъ ни въ сонъ, ни въ чохъ». И мало времени поизойдучи, пришелъ Василій ко дружинѣ своей; выводили корабли изъ Ердань-рѣки, подняли тонки парусы полотняны, побѣжали по морю Каспійскому. У острова Куминскаго, атаманы казачіе Василью кланялись и «здорово-ли съѣздилъ во Ерусалимъ-градъ?» его спрашивали. Много Василій не баитъ съ ними, подалъ Василій письмо въ руку имъ, что много трудовъ за нихъ положилъ, служилъ обѣдни съ молебнами за нихъ молодцовъ. Ѣдутъ молодцы недѣлю другую, доѣхали до горы Сорочинской, и Василью вздумалось опять потѣшиться: позабавиться, не смотря на вторичное зловѣщее предсказаніе головы. Только на этотъ разъ ему вздумалось поскакать вдоль камени: разбѣжался, скочилъ вдоль по каменю, и не доскочилъ только четверти, и тутъ убился подъ каменемъ. Гдѣ лежитъ пуста голова, тамъ Василья схоронили. Пріѣхавъ въ Новгородъ, молодцы пошли къ матерой вдовѣ, Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ; пришли и поклонилися, всѣ письмо въ руки подали; прочитала письмо матера вдова, сама заплакала, говорила таковы слова: «Гой вы еси, удалы добры молодцы! у меня нынѣ вамъ дѣлать нечего; подите въ подвалы глубокіе, берите золотой казны не считаючи». Дѣвушка чернавушка сводила ихъ въ подвалы глубокіе, брали они казны по малу числу, кланялись матерой вдовѣ, что «поила, кормила, обувала и одѣвала добрыхъ молодцовъ.» Затѣмъ, матера вдова велѣла дѣвушкѣ чернавушкѣ наливать по чаркѣ зелена вина, подносить удалымъ добрымъ молодцамъ; они выпили, сами поклонилися и пошли кому куда захотѣлося.

—

Отпуская Буслаева, мать даетъ ему благословеніе только на добрыя дѣла, а за разбой заклинаетъ землю не носить его. Когда Василья корабельщики спрашиваютъ о цѣли по-

ѣздки, онъ отвѣчаетъ: «А мнѣ-то вѣдь гулянье неохотное: съ молоду бито много, граблено, подъ старость надо душа спасти». Оставляя въ сторонѣ странное понятіе о возможности такъ легко сложить съ себя кровавыя преступленія, обратимъ вниманіе на самыя преступленія. Это не былъ разбой въ прямомъ смыслѣ: разбойникъ тотъ, кого отвергло общество, или кто самъ отвергся общества и принялся за ножъ, какъ за средство къ существованію, кто рѣжетъ и грабитъ съ полнымъ сознаніемъ преступности подобнаго промысла. Не таковъ нашъ Василій Буслаевичъ: какъ ни важны его преступленія, но онѣ только шалости, плодъ невѣжественнаго понятія о молодецкой удали и широкомъ размётѣ души. Такое дурное проявленіе бурнаго бушеванія крови и неукротимой рьяности души есть порожденіе полудикой гражданственности, лишенной всякаго духовнаго движенія и развитія. Сильная натура непремѣнно требуетъ для себя широкаго, размашистаго круга дѣятельности. И потому, лишенная нравственной сферы, она бѣшено и дико бросается въ безумное упоеніе удалой жизни, разрываетъ, подобно паутинѣ, слабую ткань общественной морали. Въ Римѣ, сильная натура являлась въ колоссальныхъ образахъ Коклесовъ, Сцеволѣ, Коріолановъ, Гракховъ, въ Новѣгородѣ она могла являться только въ образѣ буйныхъ и дикихъ Буслаевичей и Костей Никитичей. Сама общественная нравственность того времени видѣла только молодечество и удальство въ томъ, что въ другихъ странахъ было буйствомъ и разбойничествомъ. Новогородцы цѣлыми шайками отправлялись въ Пермь и Вятку, рѣзали, жгли и грабили по Камѣ. На нихъ жаловались Московскимъ царямъ, — и они иногда являлись съ повинною головой, какъ черезчуръ задурившіеся удальцы, а не какъ воры и разбойники. Ихъ вызывали на подобные подвиги не бѣдность, не нищета, не развратъ и кровожадность, а жажда какой бы то ни было дѣятельности, лишь бы сопряженной съ опасностями, отвагою и удалью. Новго-

родъ можно смѣло назвать гнѣздомъ русской удали. Дурно направленная сила души дурно и дѣйствуетъ, а хорошо направленная и дѣйствуетъ хорошо; но срамъ и горе народу, у котораго нѣтъ того, что бы могло дурно, или хорошо быть направляемо! И потому Васька Буслаевъ «мотъ и пьяница», право, былъ лучше многихъ тысячъ людей, которые тихо и мирно проживали вѣкъ свой: онъ былъ мотомъ и пьяницей отъ избытка душевнаго огня лишеннаго истинной пищи; а тѣ жили тихо и мирно по недостатку силы. Замѣтьте, что Буслаевичъ говоритъ слова: «съ молоду бито много, граблено», какъ будто мимоходомъ, безъ поясненій, безъ сентенцій, безъ самообвиненія, и какъ будто съ какимъ-то хвастовствомъ; и можно поручиться, что гости корабельщики выслушали его безъ удивленія, безъ ужаса, но съ тою улыбкою, съ какою пожилой человѣкъ выслушиваетъ любовныя похожденія юноши, воспоминая о своихъ собственныхъ во время оно. Да и почему не пошалить, если поѣздка въ Іерусалимъ могла загладить всѣ шалости... И Буслаевичъ поѣхалъ совсѣмъ не смиреннымъ пилигримомъ — удальство и молодечество заглушаютъ въ немъ всякое другое чувство, если только было что заглушить въ немъ... Узнавъ, что прямая дорога сопряжена съ опасностію, онъ выбираетъ ее, говоря, что «не вѣруетъ онъ, Васинька, ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣруетъ въ свой червленый вязъ». Не доѣзжая до казачей заставы, онъ видитъ гору: ему надо побывать на ней—а зачѣмъ?—да такъ, изъ удали. Роковое предвѣщаніе мертвой головы и надпись на камнѣ не только не отвращаютъ его отъ безумнаго желанія «тѣшиться, забавлятися, поперегъ того каменю поскакивати», но вызываютъ на эту потѣху. Что такое эта Сорочинская гора, мертвая голова и камень съ надписью, и почему можно было скакать только поперегъ его, а не вдоль,—все это имѣетъ смыслъ развѣ того пошлаго мистицизма, который видитъ таинственное и глубокое во всемъ, что, за отсутствіемъ здраваго смысла, не-

понятно разсудку. Скачи поперегъ, а вдоль не скачи: это такъ нелѣпо, что простому, неразвитому размышленіемъ и наукою уму непремѣнно должно было показаться необыкновенно таинственнымъ и глубоко знаменательнымъ, подобно мистическимъ числамъ семь, девять, двѣнадцать, подобно молодому мѣсяцу съ лѣвой стороны, зайцу, перебѣжавшему дорогу, и другимъ предразсудкамъ старыхъ бабъ. Замѣчательно, впрочемъ, что, не смотря на прямой путь изъ Ильменя въ Каспійское море, а изъ него прямо въ рѣку Іорданъ, есть въ поэмѣ и признаки географической достовѣрности: на вершинѣ Сорочинской горы находится сопка—явленіе, возможное на юго-западномъ берегу Каспійскаго моря.

Страхъ, а вслѣдствіе его и уваженіе, обнаруженные казаками къ герою поэмы, указываютъ на славу Василья Буслаева, какъ удальца изъ удальцовъ, какъ человѣка, съ которымъ плохи шутки. Баба залѣсная, которая предсказываетъ купающейся въ Ерданѣ дружинѣ Василья о гибели его, одно изъ тѣхъ чудовищныхъ порожденій лишенной всякаго содержанія фантазіи, которыми особенно любитъ щеголять русская народная поэзія. Смерть Василья выходитъ прямо изъ его характера, удалаго и буйнаго, который какъ бы напрашивается на бѣду и гибель. Слова матери Василья къ его осиротѣлой дружинѣ не отличаются особенною материнскою нѣжностію; однако видна истинная грусть по безвременно погибшемъ сынѣ, въ выраженіи: «у меня нынѣ вамъ дѣлать нечего». Есть также что то глубоко грустное въ умѣренности молодцовъ Василья, которые «брали казны по малу числу», они были и сильны, и могучи, и удалы, и веселы только съ своимъ лихимъ предводителемъ, а безъ него на что имъ и золота казна! При немъ, они составляли дружину и братчину, а безъ него—«пошли добры молодцы, кому куда захотѣлося»... Такъ бываетъ не въ однѣхъ сказкахъ, такъ бываетъ и въ дѣйствительности: сильный и богатый дарами природы духъ собираетъ вокругъ себя кружокъ

людей, способныхъ понимать его, и соединяетъ ихъ между собою союзомъ братства; но нѣтъ его—и осиротѣлый кругъ, лишенный своего центра, распадается самъ собою...

Теперь мы должны перейдти къ другому герою, по преимуществу новогородскому. Это уже не богатырь, даже не силачъ и не удалецъ въ смыслѣ забіяки и человѣка, который никому и ничему не даетъ спуску, который подобно Васинькѣ Буслаевичу, не вѣруетъ ни въ сонъ ни въ чохъ, а вѣруетъ въ свой червленный вязъ; это и не бояринъ, не дворянинъ: нѣтъ, это сила, удаль и богатырство денежное, это аристократія богатства, пріобрѣтеннаго торговлею,—это купецъ, это апоѳеоза купеческаго сословія.

—

По славной матушкѣ Волгѣ-рѣкѣ а гулялъ Садко молодецъ тутъ двѣнадцать лѣтъ; никакой надъ собою притки и скорби Садко не вѣдывалъ, а все молодецъ во здоровьи пребывалъ. Захотѣлось молодцу побывать въ Новѣгородѣ, отрѣзалъ хлѣба великій сукрой, а и солью насолилъ, его въ Волгу опустилъ: «А спасибо тебѣ, матушка Волга-рѣка! А гулялъ я по тебѣ двѣнадцать лѣтъ, никакой я притки, скорби не видывалъ надъ собой, и въ добромъ здоровьи отъ тебя отошелъ; а иду я, молодецъ, въ Новгородъ побывать». Проговоритъ ему матка Волга-рѣка: «Гой еси, удалой добрый молодецъ! когда пріѣдешь ты во Новгородъ, а стань ты подъ башню проѣзжую, поклонися отъ меня брату моему, а славному озеру Ильменю». Правилъ Садко Ильменю озеру челобитье великое: «А и гой еси, славный Ильмень-озеро! сестра тебѣ, Волга, челобитье посылаетъ двою» (?). Приходилъ тутъ отъ Ильмень-озера удалъ добрый молодецъ и спрашивалъ Садку: «Гой еси, съ Волги удалъ молодецъ! какъде ты Волгу сестру знаешь мою?» А и тотъ молодецъ Садко отвѣтъ держитъ. «Что-де я гулялъ по Волгѣ двѣнадцать лѣтъ, съ вершины знаю и до устья ее, а и нижняго царства Астраханскаго». А и сталъ тотъ молодецъ наказывати,

который посланъ отъ Ильмень-озера, чтобъ Садко просилъ бошлыковъ закинуть въ Ильмень три невода: будетъ-де ему Садкѣ Божья милость». Первый неводъ къ берегу пришелъ: и тутъ въ немъ рыба бѣлая, бѣлая вѣдь рыба мелкая; и другой-то вѣдь неводъ къ берегу пришелъ: въ томъ-то рыба красная; а и третій неводъ къ берегу пришелъ: въ томъ-то вѣдь рыба бѣлая, бѣлая рыба въ три четверти. Перевозился Садко молодецъ на гостиный дворъ съ тою рыбою ловленою, навалилъ ею три погреба глубокіе, запиралъ тѣ погребы накрѣпко, ставилъ караулъ на гостиномъ на дворѣ, и давалъ тѣмъ бошлыкамъ за труды ихъ сто рублевъ. А не ходитъ Садко на тотъ на гостиный дворъ по три дни, на четвертый день погулять захотѣлъ; заглянетъ онъ въ первый погребъ—котора была рыба мелкая, что то вѣдь стали деньги дробныя; заглянулъ онъ въ другой погребъ: гдѣ была рыба красная—очутились у Садки червонцы лежать; въ третьемъ погребу, гдѣ была рыба бѣлая—а и тутъ у Садки все монеты лежатъ. Втапоры Садко купецъ богатый гость, сходилъ онъ на Ильмень-озеро, а бьетъ челомъ покланяется: «Батюшко мой, Ильмень-озеро! поучи меня жить въ Новѣгородѣ». Ильмень даетъ ему совѣтъ поводиться съ людьми со таможенными, да позвать молодцовъ посадскихъ людей, а станутъ-де тя знать и вѣдати. Позвалъ къ себѣ Садко людей таможенныхъ и сталъ водиться съ людьми посадскими. Сходилися мужики новогородскіе, у того ли Николы Можайскаго, во братчину Никольщину, пить канунъ, пива ячныя; Садко билъ челомъ, поклоняется принять его во братчину Никольщину, сулитъ имъ заплатить сыпь не малую, и даетъ имъ пятьдесятъ рублевъ. Когда молодцы напивались до пьяна, а и съ хмѣлю тутъ Садко захвастался: велитъ припасать товаровъ въ Новѣгородѣ, онъ-де тѣ товары всѣ выкупитъ, не оставитъ ни на денежку, ни на малу разну полушечку: а не то—заплатитъ казны имъ сто тысячей. И ходитъ Садко по Новугороду, выкупаетъ всѣ товары повольной

цѣпой, не оставилъ ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Вложилъ Богъ желанье въ ретиво сердце: а и шедъ Садко Божій храмъ соорудилъ, а и во имя Стефана архидьякона: кресты, маковицы золотомъ золотилъ, онъ мѣстны иконы изукрашивалъ, изукрашивалъ иконы, чистымъ жемчугомъ усадилъ, царскія двери вызолачивалъ. На второй день онъ опять выкупилъ всѣ товары въ Новѣгородѣ и соорудилъ церковь во имя Софіи премудрыя. По третій день по Новугороду товару больше стараго, всякіихъ товаровъ заморскіихъ: онъ выкупилъ товары въ половину дня, и соорудилъ Божій храмъ во имя Николы Можайскаго. А и ходитъ Садко по четвертый день, ходилъ Садко по Новугороду, а и цѣлой день онъ до вечера, не нашелъ онъ товаровъ въ Новѣгородѣ ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Зайдетъ Садко онъ во темный въ рядъ, и стоятъ тутъ черепаны, гнилые горшки, а всѣ горшки, уже битые; онъ самъ Садко усмѣхается, даетъ деньги за тѣ горшки, самъ говоритъ таково слово: «Пригодятся ребятамъ черепками играть, поминать Садку гостя богатаго, что не я Садко богатъ—богатъ Новгородъ всякими товарами заморскими, и тѣми черепанами, гнилыми горшки!»

—

Въ этой поэмѣ ощутительно присутствіе идеи: она есть поэтическая апоѳеоза Новагорода, какъ торговой общины! Садко выражаетъ собою безконечную силу, безконечную удаль; но эта сила и удаль основаны на безконечныхъ денежныхъ средствахъ, пріобрѣтеніе которыхъ возможно только въ торговой общинѣ. Русскій человѣкъ во всемъ удалъ и во всемъ любитъ хвастнуть своею удалью. У насъ и теперь всякій проживаетъ вдвое больше того, что́ получаетъ: исключенія рѣдки. Садко выкупаетъ товары въ Новѣгородѣ не по разсчету, не по нуждѣ, а потому что онъ расходился, и ему море по колѣно. Онъ хочетъ насладиться чувствомъ своего золотаго могущества: черта чисто-русская! Русскій человѣкъ любитъ похвастаться чѣмъ Богъ послалъ: и кулакомъ,

и плечами, и рѣчами, и безумною удалью, которая можетъ стоить ему жизни. Чтó же до денегъ, извѣстное дѣло, что у него послѣдняя копейка ребромъ. Копитъ онъ иногда деньгу цѣлый годъ, живетъ скрягой, во всемъ себѣ отказываетъ— и для чего все это?—чтобъ подъ веселый часъ все разомъ спустить. Когда расходится, — онъ добръ и тароватъ: вали къ нему на дворъ званый и незваный, пей и ѣшь сколько душѣ угодно, пейдетъ въ душу—лей и бросай на полъ. Тутъ онъ уже и не торгуется, — даетъ безъ счету, сколько руки захватили; а завтра—хорошо, если осталось, чѣмъ опохмѣлиться, а тамъ опять на постъ и на лишенія, иногда безъ раскаянія, безъ сожалѣнія, безъ вздоховъ и оховъ а чаще всего съ жалобами на горькую участь свою, — все это до новаго праздника.

Но Садко обязанъ своимъ богатствомъ не себѣ а Волгѣ да Ильменю, да Новугороду Великому. Волга прислала съ нимъ поклонъ брату своему Ильменю; Ильмень разговариваетъ съ Садкою въ видѣ удалаго добраго молодца: въ этомъ олицетвореніи есть мысль: рѣки и озера судоходныя — божества торговыхъ народовъ. Превращеніе рыбы въ деньги—тоже не безъ смысла; это языкъ поэзіи, выразившій собою прозаическое понятіе о выгодномъ торговомъ оборотѣ. Садко выкупилъ всѣ товары въ Новѣгородѣ; остались только битые горшки—и тѣ надо скупить: пусть играютъ ребятишки, да поминаютъ Садку гостя богатаго. Новгородъ униженъ, оскорбленъ, опозоренъ въ своемъ торговомъ могуществѣ и величіи: частный человѣкъ скупилъ всѣ его товары, и все остался богатъ, а товаровъ больше нѣтъ... Но этотъ Садко сталъ такъ богатъ, благодаря Новугороду же, — и потому, пусть ребятишки играютъ битыми черепками, да поминаютъ Садку гостя богатаго, «что не Садко богатъ — богатъ Новгородъ всякими товарами заморскими, и тѣми черепанами, гнилыми горшки»...

Итакъ, Садко великъ и полонъ поэзіи не самъ по себѣ, но

какъ одинъ изъ представителей Великаго Новагорода, въ которомъ всего много, все есть—отъ драгоцѣннѣйшихъ заморскихъ товаровъ до битыхъ черепковъ. Послѣднія приведенныя нами слова, удивительно замыкаютъ собою поэму, даютъ ей какое-то художественное единство и полноту, дѣлаютъ осязательно ясною скрытую въ ней идею. Вся поэма проникнута необыкновеннымъ одушевленіемъ и полна поэзіи. Это одинъ изъ перловъ русской народной поэзіи.

Послѣдняя новогородская поэма едва ли уступаетъ въ поэтическомъ достоинствѣ этой. Въ ней опять два героя: одинъ видимый—Садко, другой невидимый—Новгородъ, но уже не самъ собою, а своими божествами-покровителями — морями, озерами и рѣками, особенно тою, которая поила его изъ своихъ береговъ. Всѣ эти моря, озера и рѣки олицетворены въ поэмѣ, и являются поэтическими личностями, что придаетъ поэмѣ какой-то фантастическій характеръ, столь вообще чуждый русской поэзіи, и тѣмъ болѣе здѣсь поразительный.

—

Плывутъ по синему морю тридцать кораблей, единъ соколъ корабль самаго Садки гостя богатаго. Всѣ корабли что соколы летятъ, а соколъ Садкинъ корабль на морѣ стоитъ. Садко велитъ своимъ ярыжкамъ, людямъ наемнымъ, подначальнымъ, рѣзать жеребья валжены и бросить ихъ на сине море, которы-де по верху плывутъ, а и тѣ бы душеньки правыя, а которы въ морѣ тонутъ, тѣхъ-то спихнемъ-де мы во сине море. Садко кинулъ хмѣлево перо съ своею подписью: а всѣ жеребья по морю плывутъ, кабы яры гоголи по заводямъ; единъ жеребій въ море тонетъ—въ морѣ тонетъ хмѣлево перо самого Садки гостя богатаго. Садко велитъ рѣзать жеребьи вѣтляныя; которы-де жеребьи потонутъ, а и то-бы душеньки правыя. Самъ онъ бросаетъ жеребій булатный въ десять пудъ. И всѣ жеребьи во морѣ тонутъ, единъ жеребій по верху плыветъ—самого Садки гостя богатаго. Говоритъ тутъ Садко купецъ богатый гость: «Вы ярыжки люди наемные, а наемны люди под-

начальные! Я Садъ-Садко знаю, вѣдаю: бѣгаю по морю двѣнадцать лѣтъ, тому царю заморскому не платилъ я дани, пошлины, и во то сине море Хвалынское хлѣба съ солью не опускивалъ,—по меня Садку смерть пришла. И вы, купцы, гости богатые, а вы цаловальники любимые, а и всѣ прикащики хорошіе, принесите шубу соболиную». И скоро Садко наряжается, беретъ онъ гусли звончаты со хороши струны золоты, и беретъ онъ шахматницу золоту со золоты тавлеями. На золотой шахматницѣ поплылъ Садко по синю морю. Всѣ корабли по морю шли, и Садкинъ корабль что кречетъ бѣлъ летитъ. Отца, матери молитвы великія, самого Садки гостя богатаго: подымалася погода тихая, прибила Садку къ крутому берегу. Пошелъ Садко подлѣ сиия моря, нашелъ онъ избу великую, а избу великую—во все дерево, нашелъ онъ двери—и въ избу вошелъ. И лежитъ на лавкѣ царь морской: «А и гой еси ты, купецъ, богатый гость? А что душа радѣла, того Богъ мнѣ далъ, и ждалъ Садку двѣнадцать лѣтъ, а нынѣ Садко головой пришелъ; поиграй Садко въ гусли ты звончаты». Сталъ Садко царя тѣшити, а царь морской зачалъ скакать, плясать; и того Садку напоилъ питьями разными—развалялся Садко, и пьянъ онъ сталъ, и уснулъ Садко купецъ богатый гость. А во снѣ пришелъ святитель Николай къ нему, говоритъ ему таковы слова: «Гой еси ты, Садко купецъ, богатый гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты гусли звончаты: расплясался у тебя царь морской, а сине море всколебалось, а и быстры рѣки разливалися, топятъ много бусы, корабли, топятъ души напрасныя того народу православнаго». Бросилъ Садко гусли звончаты, изорвалъ струны золоты; пересталъ царь морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли рѣки быстрыя. Поутру царь морской сталъ уговаривать Садку женитися и привелъ ему тридцать дѣвицъ; а Никола ему во снѣ наказывалъ, чтобъ не выбиралъ онъ хорошей, бѣлыя, румяныя, а взялъ бы дѣвушку повареннyю, котора хуже всѣхъ. Садко думался, не продумался, и взялъ дѣвушку поваренную; царь

морской положилъ Садку съ новобрачною въ подклетѣ спать, а Никола святой во снѣ Садкѣ наказывалъ не обнимать и не цѣловать жены. Съ молодой женой Садко па подклетѣ спитъ, свои рученьки ко сердцу прижалъ; со полуночи ногу лѣву накинулъ онъ въ просонья на молоду жену; ото сна Садко пробуждался: «онъ очутился подъ Новымъ-городомъ, а лѣвая нога во Волхъ-рѣкѣ»...

Взглянулъ Садко на Новгородъ, узналъ онъ церкву, приходъ свой, того Николу Можайскаго, перекрестился онъ крестомъ своимъ. И глядитъ Садка: по Волхъ-рѣкѣ, отъ того синя моря Хвалынскаго, по славной матушкѣ Волхъ-рѣкѣ, бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей, единъ корабль самаго Садки гостя богатаго. И встрѣчаетъ Садко купецъ, богатый гость цѣловальниковъ любимыхъ, и со всѣхъ кораблей въ таможню положилъ казны своей сорокъ тысячей—по три дни ни осматривали.

—

Кто бы ожидалъ такой развязки отъ лѣвой ноги?... Какая широкая, размашистая фантазія! А пляска морскаго царя, отъ которой само море всколебалося, а и быстры рѣки разливалися!... Да, это не сухія, аллегорическія и риторическія олицетворенія: это живые образы идей, это поэтическое олицетвореніе покровительныхъ для торговой общины водяныхъ божествъ, это поэтическая миѳологія Новагорода, которая въ тысячу разъ лучше славянской миѳологіи, съ ея семью дрянными богами!... Замѣчательная черта характера русскаго человѣка видна въ хитростяхъ Садки, чтобъ отдѣлаться отъ наказанія: видя, что его хмѣлево перо потонуло, онъ предлагаетъ новую пробу, наоборотъ, но когда онъ видитъ, что его булатый жеребій въ десять пудъ поплылъ поверхъ воды, а вѣтляные жеребья товарищей потонули,—то уже болѣе не отвертывается, но бросается страху прямо въ глаза, со всею рѣшимостію, отвагою и удалью...

—

Есть еще новогородское сказаніе, но то уже не поэма, а сказка, въ которой новогородскаго—только герой. Мы говоримъ объ «Акундинѣ», помѣщенномъ въ первой части «Русскихъ Народныхъ Сказокъ», изданныхъ г. Сахаровымъ, Акундинъ—богатырь въ сказочномъ родѣ. Жилъ онъ въ старомъ Новѣговродѣ, а былъ со посадской стороны, со торговой, ни пива не варилъ, ни вина не курилъ, ни въ торгу торговалъ; а ходилъ онъ, Акундинъ, со повольницей и гулялъ по Волгѣ по рѣкѣ на суденышкахъ. Понаскучило ему, Акундину, повольницу водить; вотъ и думаетъ Акундинъ: кабы ему до Кіева дойти, въ Москвѣ побывать. Сѣлъ онъ на суденышко и поплылъ по Волгѣ-рѣкѣ, чрезъ тридцать три дня увидѣлъ себя у крута бережка. На встрѣчу ему попался калечище перохожій, онъ спрашаетъ у него: что то за сторона, что за городъ? И узнаетъ Акундинъ отъ колечища, что «сторона то широкая, что отъ Оки рѣки потягла до Дону глубокаго, зовутъ Рязанью, а правитъ тою стороной стольный князь Олегъ; и что городъ-то поселенъ по Окѣ рѣкѣ, то зовутъ Ростиславль, а на столѣ княжитъ рязанскаго роду князь, молодой Глѣбъ Олеговичъ».

Акудинъ призадумался, и сказалъ себѣ невзначай: «а кабы ту широкую сторону Рязань и съ молодымъ княземъ Глѣбомъ Олеговичемъ и со всѣми его исконными слугами покорить Новугороду». Здѣсь видѣнъ Новгородецъ, членъ вольной и торговой общины, который все относитъ къ своей родинѣ и о ея выгодахъ заботится, какъ о своихъ собственныхъ. Слушая Акундина, калечище думаетъ: «не корыстна сторона для Новгорода! Кабы Рязань не полонили злые Татарове, да не обложили данью великою, постояла бъ Рязань за себя. Да и Рязань не та чета Новугороду».

Калечище показываетъ Акундину, что на Окѣ плыветъ чудовище невиданное—змѣй Тугаринъ. Длиною-то былъ тотъ змѣй Тугаринъ въ триста сажень, хвостомъ бьетъ рать Рязанскую, спиною валитъ круты берега, а самъ все проситъ

стару дань. Разгорѣлось богатырское сердце у Акундина: хочетъ онъ сражаться съ змѣемъ за Рязань. Калечище, узнавъ о родѣ племени Акундина, снималъ съ себя платье перехожее, надѣвалъ платье посадничье, и называется Замятнею Путятичемъ, дядею Акундина: братъ его, отецъ Акундина, былъ посадскимъ въ Новѣгородѣ, и не взлюбили его люди Новогородскіе—вишь правилъ ими не такъ, и порѣшили сгубить съ родомъ, съ племенемъ, и сокрушили его со всѣмъ домомъ; а Замятня Путятичъ пошелъ въ Кіевъ, и съ той-де поры во тоскѣ, во кручинѣ, горе-горевапьицемъ качу, свое милое дѣтяще (Акундина) дожидаючи. По какимъ образомъ, дожидаясь въ Кіевѣ, увидѣлся онъ съ племянникомъ на Окѣ—Богъ вѣсть... Не домолвивши рѣчи вѣстныя, сталъ Замятня Путятичъ кончатися, со бѣлымъ свѣтомъ разставатися: видно на роду ему, братцы, такъ написано, что довелось посередь поля переставиться!... Какъ сталъ Замятня Путятичъ со бѣлымъ свѣтомъ разставатися и учалъ отповѣдь чинить: «А и гой еси ты, мое милое дѣтище, Акундинъ Акундиновичъ! какъ и будешь ты во славномъ во Новѣгородѣ, и ты ударь челомъ ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: и дай же то ты Боже! тебѣ ли, Новугороду, вѣкъ вѣковать, твоимъ ли дѣтушкамъ славы добывать! Какъ и быть ли тебѣ, Новугороду, во могучествѣ, а твоимъ ли дѣтушкамъ во богачествѣ!»...

Какая поэтическая и умилительная картина любви къ родинѣ со стороны оскорбленнаго ею сына!... Сколько простодушія; чувства, любви, тоски и стремленія выражаются въ простыхъ, но поэтическихъ словахъ умирающаго гражданина Великаго Новагорода! Послѣдняя мысль, послѣднее слово изгнанника — благословеніе неправой, но все милой родинѣ!... Да, это поэзія! Тутъ есть мысль—и мысль глубокая!..

Глѣбъ Олеговичъ женится, а змѣй Тугаринъ грозитъ потопить Ростиславль. Старый посадникъ Юрья Никитичъ да-

етъ совѣтъ князю — послать пословъ къ Тугарину. Змѣю понравилось смиреніе князя; онъ вступилъ въ переговоры, принималъ отъ пословъ хлѣбъ-соль и съѣдалъ за единый разъ. Послы говорили, что миръ готовы урядить, а дани не вѣдуютъ за собою никакой. Змѣй называетъ ихъ смердами Ростиславичами и ссылается на записи. Хитрый старый дьякъ Чеботокъ развернулъ записи поручныя и свелъ по нимъ, что долгу нѣтъ. Змѣй требуетъ мѣшка золота за Ростиславичей, мѣшка серебра за отцовъ ихъ, и мѣшка каменьевъ самоцвѣтныхъ за дѣдовъ; иначе, грозитъ затопить городъ, а женъ въ Орду продать.

Здѣсь Змѣй Тугаринъ — ясно апоѳеоза Татаръ, обыкновенно дѣлавшихъ набѣги свои изъ-за Оки, и прежде всего опустошавшихъ Рязанское княжество. Хитрый дьякъ Чеботокъ проситъ у Тугарина мѣшковъ, и, получивъ, думаетъ ихъ сжечь: безъ мѣшковъ-де не во что будетъ и дани собирать. Но посадскій Юрья Никитичъ думаетъ иначе: ему жаль золотой казны княжеской, и онъ напустилъ на дьяка Чеботка: «А постой ты, дьякъ! А и погоди ты, дьякъ! А ты-то, дьякъ, злой еретикъ, за одно съ Тугаринымъ держишься еретичества. А и знаю я, какъ тебя извять, а и знаю я, какъ тебя со бѣла свѣта согнать?» Взялъ да и посадилъ дьяка въ мѣшки, да и послалъ къ змѣю. И онъ дьякъ Чеботокъ на ту пору догадливъ былъ: давай мѣшки глодать, свѣту Божьяго искать; какъ проѣдалъ онъ одинъ мѣшокъ, два зуба сломалъ; какъ проѣдалъ онъ второй мѣшокъ, три зуба сломалъ; какъ проѣдалъ онъ третій мѣшокъ, всѣ пять сломалъ И началъ дьякъ Тугарину всю вину на посадника слагать, что жаль ему золотой казны княжеской. И сталъ Тугаринъ пытать дьяка сколько-де у князя золотой казны, каменьевъ самоцвѣтныхъ и силы ратной, «А и право скажу, ничего не утаю, лишь, дядюшка, окупись въ Оку, да достань бѣлосыпучаго песку». Змѣй досталъ и подалъ дьяку, а дьякъ учалъ бѣгать по полю, утекаючи къ городу, крича: «А и вотъ ка-

кова сила ратная у молода князя Глѣба Олеговича!» И туто Тугаринъ догадался, что дьяку въ обманъ дался, а догадавшись, давай Оку-рѣку гонять, городъ Ростиславль затоплять. А дьякъ, пришедши въ городъ, объявилъ князю, что Змѣй готовъ на миръ, да только хочетъ переговоры вести съ однимъ посадникомъ Юрьемъ Никитичемъ. И тому-то старый посадникъ вѣру имадъ. А и не зналъ онъ, старый посадникъ, что дьякъ-то его избывалъ. Да и дьяку ли вѣру имать? И волчья спасть у дьяка на зубахъ; пулы беретъ, на суды сыды (?) ведетъ. Змѣй почелъ посадника за дьяка, въ другорядъ въ обманъ не хотѣлъ даться, и туто его, стараго посадника, съѣлъ за единъ разъ. И дьякъ Чеботокъ на ту пору догадливъ былъ; онъ, злодѣй, въ воротахъ за старичища стоялъ, да на стара посадника смотрѣлъ. Какъ-де завидѣлъ онъ дьякъ. что Змѣй Тугаринъ стара посадника съѣлъ, то и давай кричать: «Ай, батюшки, бѣда! ай, родимые, бѣда! Не стало нашего посадника, Юрья Никитича, на бѣломъ свѣтѣ. Ужь его ли, родимаго, Змѣй Тугаринъ съѣлъ. А что мы, сироты, будемъ безъ него!» И его дьячьи слова скоро до князя дошли; а никто про то во городѣ не вѣдаетъ, а никто про то не узнаетъ, что то дьячья стряпня, стара дьяка Чобота.

Этотъ интересный эпизодъ о хитрыхъ продѣлкахъ дьяка Чобота показываетъ, что поэзія иногда лучше всѣхъ лѣтописей можетъ снабжать отдаленное потомство любопытными и важными историческими фактами. Дьяки Чоботы мало измѣнились съ тѣхъ поръ,

Князь Глѣбъ собираетъ войско, идетъ на Тугарина, попадаетъ ему стрѣлою въ правый глазъ; но Рязанцамъ скоро стало не въ мочь. Тогда Акундинъ напустился на Змѣя Тугарина и убилъ его. Князь Глѣбъ одарилъ его шубою соболиною гривною золотою, а князья и бояре повели его, Акундина подъ бѣлыя руки во гридицы княженецкія, сажали за столы дубовые, за скатерти браныя, за ѣства сахарныя; прошали

хлѣба соли покушать, бѣлыхъ лебедей рушить. Князь оставлялъ его у себя, жаловалъ боярствомъ давалъ усадбище немалое, палаты посадничьи. Но Акундинъ ото всего отказывался и поѣхалъ на своемъ суденышкѣ оснащенномъ въ Кіевъ-градъ. Доѣхавъ до Мурома, онъ узналъ, что Татары полонили много народу изъ Мурома и дочь воеводы Муромскаго, Настасью Ивановну. Акундину стало жаль добрыхъ Муромцовъ, а жальчѣй того дочь воеводы муромскаго. Онъ отправился на своемъ суденушкѣ въ Орду немирную, перебилъ ее всю до одного человѣка, и выручилъ изъ полону Настасью Ивановну, и отправилъ ее впередъ въ Муромъ съ молодымъ бояриномъ Замятнею Микитичемъ, который ходилъ съ нимъ въ Орду изъ Мурома. На дорогѣ ему попалась другая Орда—онъ и ту изрубилъ. Пріѣхалъ въ Муромъ, а тамъ свадьба: Настасья Ивановна выходитъ за Замятню Микитича. Воевода говоритъ Акундину: «А и думали мы, что тебя въ живыхъ не стало; за твои услуги великія награжу я тебя золотой казной, а на нашей лебедушкѣ не погнѣвайся». Уѣзжая, Акундинъ слово молвилъ: «Не дай же то Боже во вѣкъ въ Муромѣ бывать, того воеводу Муромскаго видать; а и его-то воеводины слова перелетныя—на посуляхъ висятъ». Неждамъ Ивановичъ за то слово велитъ слугамъ гнать его вонъ со двора: «а и онъ ли, невѣжа, деревенскій мужикъ, смѣлъ свататься за боярскую дочь». Но Акундинъ ужь былъ далеко. Въ Кіевѣ онъ угостилъ и одѣлилъ золотой казной сорокъ каликъ съ каликою, и одинъ изъ нихъ сказалъ ему таково слово: «За твою хлѣбъ соль великую, за твой капунъ варенъ, повѣдаю твою судбинушку: тебѣ ли, доброму молодцу, на роду счастье написано—женится на молодой вдовѣ во чужомъ городу. Не умѣлъ ты, добрый молодецъ, изловить бѣлую лебедушку, такъ съумѣй же ты, добрый молодецъ, достать сѣру утицу». Акундинъ идетъ въ Муромъ, застаетъ тамъ Настасью Ивановну вдовою, и женится на ней.

—

Эта сказка — цѣлый романъ; мы выжали изъ нея, такъ сказать, одинъ сокъ, и опустили множество подробностей, превосходно характеризующихъ общественный и семейный бытъ древней Руси. Въ этомъ отношеніи, сказка «Акундинъ» имѣетъ даже историческій интересъ — и г. Сахаровъ заслуживаетъ особенную благодарность за спасеніе отъ забвенія этого во всѣхъ отношеніяхъ любопытнѣйшаго факта русской народной поэзіи, русскаго духа и русскаго быта.

Мы не будемъ пересказывать содержанія другихъ сказокъ въ сборникѣ г. Сахарова: всѣ онѣ, исключая «Акундина» и «Семи Семіоновъ»—тѣ же самыя поэмы, которыя уже разсказаны и разобраны нами въ предыдущей статьѣ: разница, какъ мы замѣтили тамъ же, состоитъ только въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, въ нѣсколько особенной (сказочной) манерѣ, а главное—въ томъ, что сказка объемлетъ собою всю жизнь героя, отъ рожденія до смерти, и слѣдовательно заключаетъ въ себѣ содержаніе иногда нѣсколькихъ поэмъ; ибо поэма схватываетъ только одинъ, отдѣльный моментъ изъ жизни героя, и представляетъ его какъ бы чѣмъ-то цѣльнымъ и оконченнымъ. Такъ, сказка о «Добрынѣ» начинается кручиною и печалью князя Владиміра, испуганнаго какимъ-то неизвѣстнымъ богатыремъ, разбившимъ свой шатеръ передъ Кіевомъ. Этотъ богатырь былъ уже знакомый намъ Тугаринъ Змѣевичъ. «Чохнулъ онъ чохъ по полю заповѣданному—дрогнула сыра земля; попадали ничь могучіе княжіе богатыри. А и былъ же Тугаринъ Змѣевичъ въ уростъ человѣчь: голова-то съ пивной котелъ, глаза-то со пивные ковши, туловище-то со круту гору, ноги-то со дубовы колоды, руки-то со шесты вязовы. А и самъ-то Тугаринъ Змѣевичъ ѣдетъ по лѣсу—ровенъ съ лѣсомъ, ѣдетъ по полю—ровенъ съ поднебесью. А и держится Тугаринъ Змѣевичъ еретичествомъ, да и хвастаетъ, собака, онъ молодечествомъ». Когда отъ Тугарина пришлось плохо, вдругъ откуда ни возьмись сильный могучій богатырь: это нашъ давнишній знакомецъ, Добрыня Никитичъ. Онъ родомъ изъ

Новагорода, и пріѣхалъ служить князю Владиміру вѣрою и правдою. И вышелъ онъ, съ своимъ Торопомъ слугою, на Тугарина Змѣевича, и, какъ у богатырей ужь изстари заведено, далъ ему карачунъ. «И со той-то поры Добрынюшка Никитичъ жилъ во славномъ городѣ во Кіевѣ, у ласкова осударя Владиміра князя, свѣтъ Святославьевича. Три года Добрынюшка стольничалъ, три года Добрынюшка приворотничалъ, три года Добрынюшка чашничалъ. Стало девять лѣтъ; на десятомъ году онъ погулять захотѣлъ». Дальнѣйшія похожденія Добрынюшки уже извѣстны намъ.

Сказка о Василіѣ Буслаевѣ отличается отъ поэмы многими подробностями: въ ней мужики Новогородскіе, провидя въ Буслаевѣ опаснаго для свободы общины человѣка, сами задираютъ его, чтобъ заранѣе отдѣлаться отъ него. Они приглашаютъ его къ себѣ на пиръ, сажаютъ его на первое мѣсто, но Буслаевъ скромно (изъ политики) отговаривается: «Вы, гой еси, люди степные, честны мужики посадскіе! велика честь моей молодости: есть постарше меня».

„Застучали столы съ зеленымъ виномъ, понеслись яства сахарныя. Пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются, въ полпьяна напиваются, рѣчи держатъ крупныя. Одинъ Васька сидитъ не пьянъ, сидитъ не молвитъ ни словечушка. Стали мужики посадскіе похвальбу держать. *Садко* молвитъ: „А и нѣтъ нигдѣ такого ворона коня супротивъ моего сокола: онъ броду не спрашиваетъ, рѣки проскакиваетъ, дороги промахиваетъ, горы перелетываетъ". *Чурило* молвитъ: „А и нѣтъ нигдѣ такой молодой жены, супротивъ моей Настасьи Апраксѣевны! Ужь она ли ступитъ, не ступитъ по алу бархату; ѣстъ яства сахарныя, запиваетъ сытой медовой; ужь у моей ли молодой жены очи сокольи, брови собольи, походка павлиная, грудь лебединая, а и краше ея нѣтъ нигдѣ во всей околицѣ поднебесной". *Костя Новоторженинъ* молвитъ: „А и нѣтъ нигдѣ такого богачества супротивъ моего: три корабля плывутъ за синими морями съ крупнымъ жемчугомъ, три корабля плывутъ по лукоморью съ соболями; три корабля плывутъ по морю Хвалынскому со камнями самоцвѣтными; а золотомъ, серебромъ потягаюсь со всѣмъ Новымгородомъ". *Ставръ* молвитъ: „А и нѣтъ нигдѣ такого удалаго молодца, супротивъ Ставра: ѣдетъ ли онъ во поѣздѣ богатыр-

скомъ, не вѣтры въ поляхъ подымаются, не вихри бурные крутятъ пыль черную—выѣзжаетъ сильный могучь богатырь Ставръ Путятичъ, на своемъ конѣ богатырскомъ, съ своимъ слугой Акундиномъ. На Ставрѣ доспѣхи ратные словно жаръ горятъ; на бедрѣ виситъ мечь кладенецъ, во правой рукѣ копье булатное, во лѣвой шелковая плеть, того ли шелку шемаханскаго, на конѣ збруя красна золота. Наѣзжаетъ Ставръ на Чудь поганую, вскрикиваетъ богатырскимъ голосомъ, засвистываетъ молодецкимъ посвистомъ: сыры боры приклоняются, зелены, листы опускаются; онъ бьетъ коня по крутымъ бедрамъ: богатырскій конь осержается, мечемъ изъ подъ копытъ по сѣнной копнѣ; бѣжитъ въ полѣ—земля дрожитъ, изъ рта пламя валитъ, изъ ноздрей пыль столбомъ. Ставръ гонитъ силу поганую: конемъ вернетъ—улица, копьемъ махнетъ—нѣтъ тысячи, мечемъ хватитъ—лежитъ тьма людей".

Мужики спрашиваютъ Буслаева, отчего сидитъ онъ задумался, самъ ничѣмъ не похваляется. «На что́ мнѣ, молодцу, радоватися, чѣмъ передъ вами похвалятися? Оставилъ меня осударь батюшка во сиротствѣ, а сударыня матушка живетъ во вдовствѣ. Есть у меня золота казна, богатства несмѣтныя: и то я не самъ добылъ».

„Отъ слова умнаго Васьки Буслаева мужики посадскіе дивовалися, стали его промежъ себя перешептывать: „Зло держитъ Васька на сердцѣ". Наливаютъ братину зелена вина, ставятъ на столы дубовые, отошедъ кланяются и всѣ едину рѣчь говорятъ: „Кто хочетъ дружить Новугороду, тотъ пей зелено вино до суха!" Садятся мужики посадскіе за дубовы столы, усмѣхаючись, и ждутъ отповѣди отъ Васьки. Встаетъ Васька покланяется, принимаетъ братину во бѣлы руки, выпиваетъ зелено вино единымъ духомъ. И стала братина пуста до суха, а Васька сидитъ въ полпьяна. Заиграла хмѣлинушка, закипѣла кровь молодецкая, и сталъ Васька похвалятися: „Глупые вы, неразумные, мужики посадскіе! Взять будетъ Василію Буслаевичу Новгородъ за себя; править будетъ мужиками посадскими на своей волѣ: брать будетъ пошлины даточныя со всей земли; съ лову заячьяго и гоголинаго, съ заѣзжихъ гостей пошлины мытныя, а мужикамъ посадскіимъ будетъ лежать у ногъ моихъ".

„Не любы стали мужикамъ посадскіимъ рѣчи спорныя; закричали всѣ во едино слово: „Младъ еще ты, дѣтище неудалое; незрѣлъ твой умъ, не бывать за тобой Новугороду; потерять тебѣ буйну голову; не честь тебѣ съ нами жить, нѣтъ про тебя съ нами земли".

„Разгорается сердце молодецкое пуще прежняго; распаляется голова буйная. „Не честь мнѣ съ вами жить (отповѣдь держитъ Васька) — иду съ вами перевѣдаться". Встаетъ Васька изъ-за стола дубоваго встаетъ, идетъ, не кланяется; и только его видѣли".

И вотъ мы прошли весь циклъ богатырскихъ поэмъ, Что до сказокъ — ихъ въ сборникѣ г. Сахарова такъ мало, что мы обо всѣхъ по крайней мѣрѣ упомянули, а въ хранилищѣ народной памяти такъ много, что обо всѣхъ не переговоришь. Скажемъ коротко объ общемъ характерѣ этихъ поэмъ и сказокъ. Содержаніе ихъ бѣдно, и потому утомительно и однообразно. Отсутствіе миѳическихъ созерцаній, какъ зерна развитія внутренняго и гражданственнаго, ограниченная сфера народнаго быта, такъ сказать стоячесть жизни, вращавшейся вокругъ себя безъ движенія впередъ,—вотъ причина скудости и однообразія въ содержаніи этихъ поэмъ. Только въ Новѣгородѣ, гдѣ, вслѣдствіе торговли и плода ея—всеобщаго богатства и довольства—жизнь раскинулась и шире, и размашистѣе, а духъ предпріимчивости, удальства и отваги, свойственныхъ русскому племени, нашелъ себѣ болѣе свободную сферу, — только въ Новѣгородѣ народная поэзія могла проявиться болѣе яркими проблесками. Мы уже говорили выше, что новогородскій штемпель лежитъ на всемъ русскомъ бытѣ, а слѣдовательно, и на всей русской народной поэзіи; что даже самъ Владиміръ, великій князь кіевскій стольный, и всѣ богатыри его говорятъ, дѣйствуютъ и пируютъ какъ-то по новогородски, и какъ будто по-купечески.

Но, несмотря на всю скудность и однообразіе содержанія нашихъ народныхъ поэмъ, нельзя не признать необыкновенной, исполинской силы, заключающейся въ нихъ жизни, хотя эта жизнь и выражается повидимому только въ матеріальной силѣ, для которой все равно—побить ли цѣлую рать ордынскую, или единымъ духомъ выпить чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра. Богатырь всегда—богатырь, и сила, въ чемъ бы ни выражалась она—

всегда сила: сильный плѣняется только силою, и богатырь богатырствомъ. Въ грезахъ народной фантазіи оказываются идеалы народа, которые могутъ служить мѣрою его духа и достоинства. Русская народная поэзія кипитъ богатырями, и если въ этихъ богатыряхъ незамѣтно особеннаго избытка какихъ-либо нравственныхъ началъ,—ихъ сила все-таки не можетъ назваться лишь матеріяльною: она соединялась съ отвагою, удальствомъ и молодечествомъ, которымъ—море по колѣно, а это уже начало духовности, ибо принадлежитъ не къ комплексіи не къ мышцамъ и тѣлу, а къ характеру и вообще нравственной сторонѣ человѣка. И эта отвага, это удальство и молодечество, особливо въ новогородскихъ поэмахъ являются въ такихъ широкихъ размѣрахъ, въ такой несокрушимой, исполинской силѣ, что передъ ними невольно преклоняешься. Одни эти качества — отвага, удаль и молодечество, еще далеко не составляютъ человѣка; но они—великое поручительство въ томъ, что одаренная ими личность можетъ быть попреимуществу человѣкомъ, если усвоитъ себѣ и разовьетъ въ себѣ духовное содержаніе. Мы уже сказали и снова повторяемъ: Русь, въ своихъ народныхъ поэмахъ, является только тѣломъ, но тѣломъ огромнымъ, великимъ, кипящимъ избыткомъ исполинскихъ физическихъ силъ, жаждущимъ пріять въ себя великій духъ, и вполнѣ способнымъ и достойнымъ заключить его въ себѣ... Долго ждала она своего духовнаго возрожденія, приготовлялась къ нему тяжелымъ и кровавымъ испытаніемъ, долгою годиною ужасныхъ бѣдствій и страданій—и дождалась: нестройный хаосъ ея существованія огласился творческимъ глаголомъ «да будетъ»—и бысть...

Форма народныхъ поэмъ совершенно соотвѣтствуетъ ихъ содержанію: та же сила—и та же скудость, та же неопредѣленность, то же однообразіе въ выраженіи и образахъ. Если у князя, или гостя богатаго, пиръ,—то во всѣхъ поэмахъ описаніе его совершенно одинаково: «А и было пированье почестный пиръ, а и было столованье почестный столъ; а

и будетъ день во полудиѣ, а и будетъ пиръ во полупирѣ, а и будетъ столъ во полустолѣ». Если богатырь стрѣляетъ изъ лука, то непремѣнно: «а и спѣла вѣдь тетивка у лука— взвыла да пошла калена стрѣла». Обезоруженный ли богатырь ищетъ своего оружія, то уже всегда: «не попала ему его палица желѣзная, что попала-та ему ось тележная». Если дѣло идетъ объ удивительномъ убранствѣ палатъ, то: «на небѣ солнце—въ теремѣ солнце» и проч. Однимъ словомъ, всѣ источники нашей народной поэзіи такъ не многочислены, что какъ-будто перечтены и отмѣчены общими выраженіями, которыя и употребляются по надобности.

Форма русской народной поэзіи вообще оригинальна въ высшей степени. Къ главнымъ ея особенностямъ принадлежитъ музыкальность, пѣвучесть какая-то. Между русскими пѣснями есть такія, въ которыхъ слова какъ будто набраны не для составленія какого-нибудь опредѣленнаго смысла, а для послѣдовательнаго ряда звуковъ, нужныхъ для «голоса». Уху русскій человѣкъ жертвовалъ всѣмъ—даже смысломъ. Художникъ легко примиряетъ оба требованія; но народный пѣвецъ по необходимости долженъ прибѣгать къ повтореніямъ словъ и даже цѣлыхъ стиховъ, чтобъ ненарушить требованій ритма. Сверхъ того, въ русской народной поэзіи большую роль играетъ рифма не словъ, а смысла: русскій человѣкъ не гоняется за рифмою—онъ полагаетъ ее не въ созвучіи, а въ кадансѣ, и полубогатыя рифмы какъ-бы предпочитаетъ богатымъ; но настоящая его рифма есть — рифма смысла: мы разумѣемъ подъ этимъ словомъ двойственность стиховъ, изъ которыхъ второй рифмуетъ съ первымъ по смыслу. Отсюда эти частыя и, повидимому, ненужныя повторенія словъ, выраженій и цѣлыхъ стиховъ; отсюда же и эти отрицательныя подобія, которыми, такъ-сказать, оттѣняется настоящій предметъ рѣчи: «Не грозна туча во широкомъ полѣ подымалася, не полая вода на круты берега разливалася: а выводилъ то молодой князь Глѣбъ Олеговичъ рать на войну»: или: «Не высоко

солнце по поднебесь восходило, не румяная заря на широкомъ полѣ разстилалася: а выходилъ то молодой Акундинъ».

Не допустятъ Екима до добра коня
До *своей его* палицы *тяжкія,*
А и *тяжкія* палицы *мѣдныя,*
Лита она была въ три тысячи пудъ;
Не *попала* ему палица *железная,*
Что *попала* ему ось-то тележная

Всѣ эти повторенія и не нужныя слова: *своей* и *его*, *тяжкія* и *тяжкія*, *попала* и *попала*, сдѣланы явно для пѣвучей гармоніи размѣра и для рифмы смысла; для того же сдѣлана и безсмыслица; т. е. въ третьемъ стихѣ палица названа *мѣдною*, а въ пятомъ *желѣзною:* желѣзная была необходима, сверхъ того, и для кадансовой, просодической (а не для созвучной) рифмы: *желѣзная—тележная:* ◡ — ◡ ◡ и ◡ — ◡ ◡. Такихъ примѣровъ можно найти бездну; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ.

Отъ богатырскихъ поэмъ самый естественный переходъ къ сказкамъ. Выше мы уже говорили о различіи вообще поэмъ отъ сказокъ и въ особенности русскихъ богатырскихъ поэмъ отъ русскихъ богатырскихъ сказокъ: поэма схватываетъ одинъ какой-нибудь моментъ изъ жизни богатыря; сказка объемлетъ всю жизнь его; тонъ поэмы важнѣе, выше и поэтичнѣе; тонъ сказки простонароднѣе и прозаичнѣе. Мы уже говорили, что всѣ поэмы, заключающіяся въ сборникѣ Кирши Данилова, существовали и въ формѣ сказокъ. Но кромѣ того, есть много русскихъ сказокъ, существенно отличающихся отъ поэмъ. Эти сказки раздѣляются на два рода—богатырскія и сатирическія. Первыя часто такъ и бросаются въ глаза своимъ иностраннымъ происхожденіемъ, онѣ налетѣли къ намъ и съ Востока и съ Запада. Такъ, напримѣръ, извѣстная сказка о Бовѣ Королевичѣ слишкомъ рѣзко отзывается итальянскимъ происхожденіемъ, какъ по собственнымъ именамъ ея героевъ и городовъ—Гвидонъ, Додонъ, Мелектриса, и т. д., такъ и преобладаніемъ любовнаго интереса, соединеннаго съ ядами и

отравленіями. Восточныя сказки всѣ отличаются чисто татарскимъ происхожденіемъ. Въ сказкахъ западнаго происхожденія замѣтенъ характеръ рыцарскій; въ сказкахъ восточнаго происхожденія—фантастическій. Были попытки прослѣдить происхожденія нашихъ сказокъ; одинъ литераторъ даже выводилъ ихъ всѣ изъ Индіи, и нашелъ ихъ подлинники на санскритскомъ языкѣ, котораго онъ впрочемъ не зналъ. По главное дѣло въ томъ, что подобные розыски невозможны. Русскій человѣкъ, выслушавъ отъ Татарина сказку, пересказывалъ ее потомъ совершенно по-русски, такъ что изъ его устъ она выходила запечатлѣнною русскими понятіями, русскимъ взглядомъ на вещи и русскими выраженіями. Это очень понятно, и въ наше время существуетъ пѣсня; въ которой разсказывается, какъ графъ Платовъ надулъ Бонапарта: онъ, видите-ли, пришолъ къ нему инкогнито, а Бонапартъ-то сдуру, не догадавшись, кто у него въ гостяхъ, велѣлъ и «банюшку истопить»; когда Платовъ выпарился въ банюшкѣ и наѣлся за столомъ, то откланялся Бонапарту, говоря ему: «не умѣла ты, ворона, ясна сокола поймать»—да и былъ таковъ, — а Бонапарту, разумѣется, куда больно досадно стало, что Платовъ то его такъ одурачилъ: вѣдь еслибы онъ не далъ промаха и не разинулъ рта, и смекнулъ бы, кто былъ его гость, то сейчасъ же велѣлъ бы съ Платова съ живаго содрать кожу. Вотъ поразительный образчикъ переложенія чуждой жизни на свои національныя понятія! удивительно ли, что татарскія сказки и европейскія рыцарскія легенды, пересказанныя по-русски, не сохранили ничего ни восточнаго ни западнаго? Удивительно-ли, что всѣ попытки на точныя изслѣдованія ихъ происхожденія такъ же невозможны, какъ и безплодны, еслибъ онѣ были и возможны? Если въ этихъ сказкахъ есть что-нибудь интересное, такъ это именно ихъ выраженіе, въ которомъ проявляется русскій умъ,—а не содержаніе, которое уже по тому самому нелѣпо, что оно, какъ иностранное, находится въ явномъ противорѣчіи съ русскимъ складомъ выраженія.

Сказокъ на Руси множество. Г. Сахаровъ насчитываетъ ихъ до 120-ти названій, говоря только о тѣхъ изъ нихъ, которыя попали въ печать. Сколько же ихъ хранилось и еще теперь хранится въ народной памяти? Но это богатство въ сущности немногимъ разнится отъ совершенной нищеты: почти всѣ эти сказки дошли до насъ въ искаженномъ видѣ, а большая часть и доселѣ сохранившихся въ памяти народа еще не собрана. Не только наши литераторы прошлаго вѣка, но даже и простолюдины, занимавшіеся такъ-называемыми лубочными изданіями, искажали ихъ. Касательно этого предмета, г. Сахаровъ сообщаетъ весьма интересныя подробности. Вотъ его собственныя слова:

„Рѣзка на деревѣ появилась на Руси съ XVI столѣтія и постоянно продолжается доселѣ въ разныхъ мѣстахъ. Имя перваго рѣщика намъ неизвѣстно. Въ 1597 году появилось изображеніе съ именемъ рѣщика Андроника Тимофеевича Невѣжи. Въ XVII столѣтіи намъ извѣстны рѣщики: Паисій (1659 г.), Василій Корень (1697 г.); а въ XVIII столѣтіи образовалась уже школа подъ надзоромъ Генерала-Фельдцейхмейстера Брюса. Василій Кипріановъ съ своими учениками Өедоромъ Никитинымъ, Маркомъ Петровымъ и Алексѣемъ Зубовымъ постоянно занимались рѣзбою на деревѣ. Они издали Брюсовъ календарь, географическія карты, басни Езоповы. Книга подъ названіемъ: „Исторія или дѣйствіе Евангельскія притчи о блудномъ сынѣ, бываемое лѣта отъ Рождества Христова 1685“—безспорно принадлежитъ къ первоначальнымъ книгамъ лубочныхъ изданій. По Московскимъ преданіямъ извѣстно, что рѣщики лубочныхъ изданій жили прежде у Успенія въ печатникахъ. Знаменитая лубочная Московская печатница Ахметьева, основанная въ половинѣ XVIII вѣка, существовала болѣе 100 лѣтъ у Спаса въ Спасской, за Сухаревой башней. Ахметьевъ получилъ сію печатницу въ приданое за своею невѣсткою. Прежде въ этой типографіи работали на 20 станахъ. При старикѣ доски вырѣзывались у него въ заведеніи. Подлинники и истинники буквально переносились рѣзщиками съ одной доски на другую и отличались вѣрностію. Когда же вступила въ управленіе Ахметьевскою печатницею Татьяна Аөанасьевна, то истинники раздавались по деревнямъ, и тамъ уже правильная рѣзба на деревѣ обратилась въ кустарное (грубое) ремесло. Рѣзщики начали своевольно отступать отъ истинниковъ, и

вмѣсто русскаго народнаго платья появились на персонахъ наряды нѣмецкіе. Вмѣстѣ съ этимъ изуродованіемъ персонъ, начали портить и текстъ народныхъ сказокъ. Всѣ отпечатанные листы отдавались съ Ахметьевской печатницы по деревнямъ. Раскраски преимущественно производились четырьмя цвѣтами: краснымъ, желтымъ, синимъ и голубымъ. Но никто въ Москвѣ такъ лучше не умѣлъ раскрашивать картинъ, какъ извѣстная старушка Ѳедосья Семеновна съ сыномъ. Старыя лубочныя изданія теперь такъ сдѣлались рѣдки, что съ большими трудами, едва, едва можно пріобрѣтать. Сосредоточіемъ продажи лубочныхъ изданій всегда была Москва. Сюда являлись для закупки ихъ отъ Макарья осенью и предъ масляницею ходебщики, торгующіе по Руси всѣми возможно-существующими товарами. Въ старину раскрашенныя картины продавались въ Москвѣ у Спасскаго моста, близь стараго бастіона. Вытѣсненныя оттуда, онѣ перешли къ оградѣ Казанскаго собора. Послѣ этого ихъ согнали къ холщевому ряду, а наконецъ вытѣснили въ квасной рядъ. Временныя выставки лубочныхъ произведеній бываютъ на Смоленскомъ рынкѣ и у Сухаревой башни, по воскресеньямъ. Говорятъ, что въ 1812 году, во время пожара Москвы погибло много народныхъ истинниковъ, драгоцѣнныхъ по изобрѣтенію и по тексту. Стоитъ только сравнить старыя изданія съ новыми, и сейчасъ упадокъ выразиться во всемъ ничтожествѣ на новыхъ. Дешевизна лубочныхъ изданій, изображеніе предметовъ, близкихъ для народа, языкъ народный—увѣковѣчили лубочное художество на Руси. Явись человѣкъ съ умомъ и знаніемъ нуждъ народа, заговори чистымъ народнымъ языкомъ про нашу народную Русь, изобрази на лубочныхъ картинахъ дѣла родимой отчизны — и онъ былъ бы просвѣтителемъ нашего простонародія, онъ подвинулъ бы его на цѣлой вѣкъ“.

Но привиллегированные грамотники, записные литераторы въ конецъ исказили русскія сказки, Чулковъ, еще въ 1780 году начавшій издавать «Русскія сказки» и издавшій ихъ цѣлыхъ десять томовъ, имѣлъ подлинные списки этихъ сказокъ, и не смотря на то, почелъ необходимымъ исправлять и передѣлывать ихъ. А что онъ имѣлъ подлинные списки, это доказывается его выписками, а индѣ фразами изъ нихъ, которыя онъ отмѣчалъ въ печати вставочнымъ знакомъ: «—». Всѣ другіе собиратели русскихъ сказокъ поступали съ ними съ такимъ же простодушнымъ варварствомъ, усердно хлопоча поворотить ихъ на повѣсти и романы.

Вотъ нѣкоторыя изъ замѣчательнѣйшихъ названій русскихъ сказокъ:

«О Ершѣ Ершовѣ сынѣ Щетинниковѣ», «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ»; «Емеля Дурачокъ»; «Шемякинъ Судъ»; «О семи мудрецахъ и о юношѣ»; «О чудныхъ и зѣло умильныхъ гусляхъ самогудахъ»; «О Жаръ птицѣ и о Иванѣ Царевичѣ»; «О Филѣ простакѣ и о Бабѣ-Ягѣ»; «О Утицѣ съ золотыми яицами»; «Исторія о Петрѣ златыхъ ключахъ»; «Сказка о Булатѣ молодцѣ»; «О Бовѣ Королевичѣ»; «О Еруслапѣ Лазаревичѣ»; «Сказка о нѣкоемъ прикащикѣ и о купцовой женѣ»; «Бабьи увертки»; О томъ, какъ масляница семикъ къ себѣ въ гости звала»; Похожденіе о носѣ и морозѣ»; «Сказка о ворѣ и бурой коровѣ»; «Сказка о двухъ братьяхъ и о томъ, какъ на роду написано счастье дураку»; «О двунадесяти сестрахъ и о всѣхъ иже есть въ міру лихорадкахъ»; «О Иванушкѣ дурачкѣ».

Между этими сказками, по увѣренію г. Сахарова, есть новѣйшіе переводы съ французскаго: такъ сказка о «Дуринѣ Шаринѣ» есть «La Reine Cherie», а «Катерина Сатирина»—«La sotte Reine Katherine». Русскій человѣкъ, по своей натурѣ всегда былъ эклектикомъ и въ одеждѣ, и въ обычаяхъ, и въ понятіяхъ: посмотрите внимательно драгоцѣнное изданіе «Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ» — и вы увидите, сколько заимствованій было въ оригинальномъ русскомъ костюмѣ. А сколько обычаевъ перешло къ намъ отъ Византійцевъ, отъ Татаръ? Почему же было отвсюду не заимствоваться сказками? По нашему мнѣнію эта способность заимствованія и усвоенія есть человѣчески прекрасная черта русскаго народа: Китайцы и Монголы не заимствуютъ.

Особенно извѣстны на Руси, кромѣ «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича» (появившихся, вѣроятно не ранѣе XVIII столѣтія), сказки: «О жаръ Птицѣ и Иванѣ Царевичѣ» «О Иванушкѣ Дурачкѣ» и «О семи Семіонахъ, семи родныхъ

братьяхъ». Первыя двѣ доселѣ можно прочесть только въ лубочныхъ изданіяхъ; послѣдняя издана г. Сахаровымъ. Содержаніе первыхъ, въ томъ видѣ, какъ можно ихъ прочесть, довольно извѣстно всѣмъ и каждому, а выраженіе не слишкомъ отличается народнымъ колоритомъ. Золотыя яблоки, Жаръ птица, Сѣрый волкъ, который служитъ красавицѣ плѣнной царицѣ,—все это отзывается Востокомъ. Иванушка Дурачокъ — одинъ изъ любимыхъ героевъ народной фантазіи. Онъ сдержалъ слово, данное отцу, провести ночь на его могилѣ, и дежурилъ на ней двѣ ночи и за братьевъ. За это онъ получаетъ въ свое распоряженіе чудодѣйнаго коня къ которому въ одно ухо влезаетъ онъ и неумойкой мужикомъ и дуралеемъ, а изъ другаго вылезаетъ блистательнымъ богатыремъ и умницею. Съ помощію коня, онъ три дня побѣждаетъ всѣхъ богатырей, ищущихъ руки царевны, и каждый разъ изчезаетъ являясь домой нечосой и болваномъ. Наконецъ, къ удивленію обоихъ своихъ умныхъ братьевъ, онъ дѣлается мужемъ царевны, какъ бы для доказательства выгоды быть нравственнымъ, а не простымъ дуракомъ. Мораль сказки, какъ видите, очень тонкая! Такова же сказка «О Емелѣ Дурачкѣ», который, за глупость и лѣность, пріобрѣлъ покровительство щуки, и «по своему хотѣнію, по щучьему велѣнію», ѣздитъ себѣ на печи вмѣстѣ съ избою. Здѣсь осуществленъ народный идеалъ высшаго на землѣ блаженства— ѣсть, спать, лежать на печи и ничего не дѣлать. Въ особѣ «Фили простачка» русская народная фантазія олицетворила хитрость и лукавство вмѣстѣ съ глупостію: Филя простачокъ надуваетъ Ягу-бабу,—она хотѣла его изжарить и съѣсть, а онъ накормилъ ее жаркимъ изъ мяса собственныхъ ея дочерей.

Сказка «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ» носитъ на себѣ всѣ признаки народной фантазіи, или вѣрно подслушанной изъ устъ народа, или перепечатанной съ хорошаго стариннаго списка: это доказываетъ ея неподдѣльно-народное выраженіе. Семь Семіоновъ по десятому году оста-

лись сиротами послѣ отца и матери. Всѣ они были близнецы. Узналъ о нихъ молодой князь Угоръ, и собралъ великую думу боярскую, на которой и возговоритъ молодой князь Угоръ: «гой еси вы, мои бояре вѣковѣчные! Придумайте, пригадайте, кабы тѣхъ малыхъ дѣтищей научить уму-разуму? Да и тѣ-то, малы дѣтища, живучи безъ отца и безъ матери, во своемъ сиротствѣ; сами учали править домкомъ, землю пахать, хлѣбъ доставать.—И били бояре челомъ ему, молоду князю Угору, а сами вымолвляли во едину рѣчь: Осударь, ты нашъ батюшко, молодой князь Угоръ! Велико твое слово мудрое, велика твоя заботушка о твоихъ малыхъ дѣтищахъ! Выслушай преже наши словеса немудрыя, приголубь рѣчью лебединою наши думушки простыя, да опослѣй и суди по своему уму-разуму. Вѣдь и тѣ-то, малы дѣтища на возрастѣ, да и живутъ своимъ умомъ-разумомъ; повели, осударь, ты нашъ батюшко, спрошать на особицѣ по единому: а и кто изъ нихъ чему гораздъ? а кто изъ нихъ по своему уму-разуму въ какую науку похочетъ пойдти?—И приговорилъ молодой князь Угоръ: быть дѣлу такъ, какъ придумали, пригадали его бояре вѣковѣчные на великой думѣ».

Спросили Семіоновъ, каждаго порознь; всѣ они отказались въ науку идти, но каждый изъ нихъ вызвался на дѣло великое: первый построить на княженецкомъ дворѣ желѣзный столбъ до неба; второй—засѣсть на столбу и разсказать, что̀ дѣлается на всемъ свѣтѣ; третій—топоромъ, сдѣланнымъ первымъ Семіономъ, состроить великъ корабль; четвертый—когда на корабль нападутъ разбойники, уводить его подъ воду, а потомъ опять выводить поверхъ воды; пятый—стрѣлою, сдѣланною первымъ Семіономъ, бить на лѣту птицъ, а шестой—подхватывать на воздухѣ убитыхъ птицъ. Когда молодой князь Угоръ спросилъ седьмаго Семіона: «По своему уму-разуму въ какую науку хошь пойдти?»—тотъ отвѣчалъ: «Осударь; ты нашъ батюшка, молодой князь Угоръ! по своему уму-разуму ни въ какую науку не хочу итить; а кабы ты, осу-

дарь, князь смиловался, не велѣлъ меня казнить, и я бы въ тѣ поры повѣдалъ свое ремесло. И нудилъ его молодой князь Угоръ про то его ремесло отповѣдать. И туто молвилъ онъ, Семіонъ: «какъ мое-то ремесло ни пахать, ни молоть, ни початочки мотать; умѣю я, молодецъ, всяку всячину воровать, да и никто тому такъ во всемъ царствѣ не горяздъ». Молодой князь Угоръ спрашиваетъ у бояръ, какою казнію казнить Семіона; одинъ говоритъ: а и его-то Семіона сжечь пора; другой: а и его-то Семіона повѣсить пора, и т. д. Наконецъ одинъ старый бояринъ предлагаетъ велѣть Семіону украсть молоду княжну Елену прекрасную, которую князь Угоръ доставалъ себѣ десять лѣтъ, «какъ и въ тѣ-то десять лѣтъ извели всю золоту казну, потеряли три рати несмѣтныя». Скоро дѣлалъ Семіонъ желѣзный столбъ, а скорѣй того тотъ столбъ до неба досягалъ. Выходилъ бояринъ тотъ столбъ пытать, и пытаетъ бояринъ тотъ желѣзный столбъ засовомъ дубовымъ, а самъ посматриваетъ: нѣтъ ли прогалинокъ поперечныхъ; а самъ прислушиваетъ: не проходятъ ли буйны вѣтры со частымъ дождичкомъ; буде такъ—не сносить Семіону головы на плечахъ своихъ. (Въ этой сказкѣ болѣе легкихъ наказаній не существуетъ).

Послалъ бояринъ втораго Семіона на столбъ. «И пошелъ Семіонъ на тотъ желѣзный столбъ, да и давай себѣ глядѣть на всю поднебесную. Глядитъ дѣтина, дивуется, что на бѣлымъ свѣтѣ дѣется; глядитъ дѣтина со бѣла утра до темной ночи, а боярину ни словечушка не молвитъ: знать дознаетъ дѣтина всю поднебесную... И молвитъ бояринъ: поглядите-тко, добры люди, на тотъ желѣзный столбъ, а поглядѣвши, скажите: тамъ ли дѣтина стоитъ? Смотрятъ люди на тотъ желѣзный столбъ, а поглядѣвши молвятъ: ни вѣсть дѣтина стоитъ, ни вѣсть птица сидитъ? Крутитъ-мутитъ зазнобушка у боярина ретиво сердце; крутитъ-мутитъ невзгодушка у боярина буйну голову. И молвитъ бояринъ самъ съ собою: не вѣсть на дѣтину дурь взошла? не вѣсть дѣтину

птицы заклевали? Кабы на дѣтину дурь взошла, и онъ бы, дѣтина, съ того столба упалъ долой. Кабы дѣтину птицы заклевали, и онъ бы дѣтина, крикомъ кричалъ.—И махалъ бояринъ дѣтинѣ шапкой соболиной, а за нимъ и весь міръ крещеной. И сходилъ Семіонъ съ того столба желѣзнаго, а самъ боярину вымолвлялъ: а и видѣлъ-де я, Семіонъ, всю поднебесную, всѣ царства и государства, и знаю я, что-де тамъ дѣлается. И спрошалъ бояринъ его, Семіона: а и что во той поднебесной за царства и государства? да и есть ли во тѣхъ государствахъ люди? да и что тѣ люди дѣлаютъ? И молвитъ онъ, Семіонъ: велика земля вся поднебесная, что и ума-разума не достанетъ измѣрить. А стоятъ на той землѣ всѣ царства и государства единъ за единымъ, что и смѣты нѣтъ, да и нѣтъ на всей землѣ такого человѣка, кто бы сочелъ: сколько царствъ и государствъ. Какъ за нашей-то матушкой Волгой-рѣкой стоитъ море Хвалынское, а на томъ морѣ Хвалынскомъ живутъ все бесермены, а и живутъ тѣ бесермены не по нашему, православному, а по своему уму глупому: ни хлѣба не пекутъ, ни въ баню не ходятъ. Какъ за славнымъ-то Дономъ, за тою рѣкою глубокою, стоитъ море Бѣлое, а на томъ па морѣ Бѣлымъ живутъ злы Татарченки, а и живутъ тѣ злы Татарченки не по нашему, православному, а по своему уму глупому: на семи женахъ женятся, на семи дворахъ одни сани стоятъ. Какъ за межей-то нашей-матушки святой Руси стоитъ Окіанъ море глубокое, какъ за тѣмъ ли Окіаномъ моремъ глубокіимъ стоятъ тридевять земель, всѣ бесерменскія; а позадь тѣихъ тридѣвять земель стоитъ тридесятое царство, а въ томъ тридесятомъ царствѣ стоитъ теремъ изукрашенный, а въ томъ теремѣ изукрашенномъ сидитъ у злата окошечка молода княжна Елена прекрасная, во тоскѣ, во кручинушкѣ.—И пыталъ бояринъ дѣтину: ай ты, дѣтина! скажи всю правду со истиной: почему знать то тридесятое царство? Почему знать теремъ изукрашенный? Почему знать молоду княжну, Елену прекрасную?—И молвитъ онъ, Семіонъ:

знать то тридесятое царство по рѣкамъ глубокіимъ, по раздольицамъ широкіимъ, по темнымъ лѣсамъ, непроходимыимъ, по людямъ незнаемымъ; знать-то теремъ изукрашенный по бѣлостекольчату крылечку съ перильцами, по злату окошечку съ решеточкой, по серебряной крышечкѣ со маковкой; знать-то молоду княжну Елену прекрасную—по ея лицу румяному, по ея русой косѣ, по ея вѣжеству прироженому. И возговоритъ бояринъ: ай ты, дѣтина! буде ты не вспознал тридесятаго царства, не угадалъ терема изукрашеннаго, не дознал молодой княжны, Елены прекрасной, не сносить тебѣ головы на своихъ плечахъ».

Когда третій Семіонъ сдѣлалъ великъ корабль, бояринъ пыталъ тотъ великій корабль засовомъ дубовыимъ, а самъ посматриваетъ—цѣло ли днище крѣпкое; а самъ поглядываетъ — есть ли весельца кленовыя, замки дубовые, скамѣечки рѣшетчаты. Глядитъ бояринъ на великъ корабль, глядитъ, посматриваетъ, а самъ съ собой думу думаетъ: ну, какъ-то пойдетъ великъ корабль въ окіанъ море глубоко?—вѣдь окіанъ-то море глубина несказанная? ну, какъ-то великъ корабль проплыветъ окіанъ море глубокое?—вѣдь окіанъ-то море не яндовѣ чета! И поѣхали братья Семіоны за молодой княжной Еленой прекрасною, за тридевять земель, въ тридесятое царство. Какъ и всѣ-то братья за дѣломъ сидятъ, а семой Семіонъ вдоль по кораблику похаживаетъ, черна кота поглаживаетъ. «Вѣдь его-то, братцы, черный котъ баютъ изъ за синяго моря, изъ-за того ли лукоморья; да и онъ ли, черный котъ, по умному сказки сказываетъ, по разумному пѣсни заводитъ. Какъ на томъ ли на Окіанъ морѣ глубокомъ стоитъ островъ зеленъ, какъ на томъ ли на зеленомъ острову стоитъ дубъ зеленый, отъ того дуба зеленаго виситъ цѣпь золотная, по той ли по цѣпи золотной ходитъ черный котъ. Какъ и тотъ ли черный котъ, во правую сторону идетъ веселыя пѣсни заводитъ; какъ во лѣвую сторону идетъ стары сказки сказываетъ. И ходитъ онъ, Семіонъ, около терема изукрашеннаго,

ходитъ, похаживаетъ, черна кота поглаживаетъ, на высокъ теремъ посматриваетъ. Какъ и тотъ ли теремъ изукрашенный былъ красоты несказанныя: внутри его, терема изукрашеннаго, ходитъ красно солнышко словно на небѣ. Красно солнышко зайдетъ, молодой мѣсяцъ по терему похаживаетъ, золоты рога на всѣ стороны покладываетъ. Часты звѣзды изпасѣены по стѣнамъ, словно маковъ цвѣтъ. А построенъ тотъ теремъ изукрашенный на семи верстахъ съ половиною; а высота того терема несказанная. Кругомъ того терема рѣки текутъ, молокомъ изнаполненныя, сытой медовой подслащенныя. По всѣимъ по теимъ по рѣкамъ мостички хрустальные, словно жаръ горятъ. Кругомъ терема стоятъ зелены сады, а въ зеленыихъ садахъ поютъ птицы райскія пѣсни царскія. Во томъ ли теремѣ всѣ окошечки красна золота, всѣ крылечки бѣлостекольчаты, всѣ дверцы чиста серебра. Какъ и на теремѣ-то крышечка чиста серебра со маковкой золотной, а во той ли маковкѣ золотной лежитъ дорогъ рыбій зубъ. Отъ красна крылечка бѣлостекольчата лежатъ ковры самотканые; а по тѣимъ по коврамъ самотканыимъ ходитъ молода княжна Елена прекрасная». Семой Семіонъ называется купцомъ: «посадскаго роду я, молода княжна, изъ-за тридевять земель, ходилъ, гулялъ на корабликахъ по всѣмъ городамъ, мѣнялъ, вымѣнивалъ золоты парчи червчатыя, бѣлошелковы аксамиты венецейскія, дороги камочки цареградскія, золоты ширинки съ убрусничками, вальящаты рясны съ монистами, черны соболи сибирскіе, сиводущаты лисицы поморскія, бѣлы куницы закамскія. Не въ угоду ль тебѣ, молода княжна, вальящаты рясны съ монистами? Не по твоему ли праву княженецкому золоты парчи червчатыя? Не по сердцу ли тебѣ, молодая княжна, на душегрѣечку соболи сибирскія, бѣлы куницы закамскія, сиводущаты лисицы поморскія? Пригляни, молода княжна, на дороги товары заморскіе, выбирай себѣ съ любка любое, и потѣшь покупочкой заѣзжаго купца, гостиной сотни молодца». Заманивши молоду княжну на великъ ко-

рабль, Семіоны подняли паруса и поплыли. Увидѣвъ за собою погоню, четвертый Семіонъ схватилъ великъ корабль за его носъ туриный, за его корму звѣриную, и увелъ его въ подземельное царство; когда погоня ушла назадъ, Семіонъ опять вывелъ корабль. Молода княжна Елена прекрасная оборотилась лебедушкою бѣлою и улетѣла съ корабля; тогда пятый Семіонъ подстрѣлилъ ее въ крыло, а шестой подхватилъ на лету. Князь Угоръ женился на Еленѣ, надѣлилъ Семіоновъ золотой казной, да и отпустилъ ихъ на родиму сторону, а самъ онъ, молодой, князь Угоръ, сталъ жить, поживать, добра наживать.

Содержаніе этой сказки, оригинально-русское оно, или восточнаго происхожденія, во всякомъ случаѣ такъ вздорно, что странно было бы разсуждать о немъ; но выраженіе этой сказки, складъ и тонъ разсказа, такъ наивны, такъ оригинальны, такъ проникнуты понятіями и взглядомъ на вещи той эпохи въ которую она сложена, и того класса народа, которымъ она сложена, что ее нельзя прочесть безъ интереса, болѣе или менѣе живаго. И этого-то не поняли ученые и образованные литераторы прошлаго столѣтія: они гонялись за сюжетомъ сказокъ и ни во что ставили ихъ форму, которую и позволяли себѣ передѣлывать,—тогда какъ въ формѣ-то этихъ сказокъ и заключается весь ихъ интересъ, все ихъ достоинство. Но не будемъ слишкомъ винить этихъ передѣлывателей: они покорялись духу своего времени, которое требовало уже не сказокъ, а романовъ. Въ прошлое столѣтіе появились и «Георги, милорды англійскіе», и «Гуаки съ непоколебимою вѣрностію», и множество другихъ сказокъ, которыхъ содержаніе романическое, а слогъ сбивается то на тонъ Флоріановской поэмы, то на тонъ рыцарскаго романа, въ родѣ тѣхъ, отъ которыхъ помѣшался Донъ-Кихотъ. И простой народъ теперь предпочитаетъ эти площадные романы своимъ наивнымъ сказкамъ, такъ же какъ гражданскую печать предпочитаетъ онъ своимъ лубочнымъ изданіямъ. И те-

перь русскія сказки могутъ имѣть свой интересъ для людей образованныхъ, которые видятъ въ нихъ духъ, умъ и фантазію народа; но для простолюдиновъ эти сказки не имѣютъ уже никакой цѣны. И кто же не согласится, что въ этомъ видѣнъ со стороны простонародья большой шагъ впередъ по пути образованности? Да, тутъ есть прогрессъ.

Особенно интересны тѣ русскія сказки, которыя можно назвать сатирическими. Въ нихъ видѣнъ бытъ народа, его домашняя жизнь, его нравственныя понятія, и этотъ лукавый русскій умъ, столь наклонный къ ироніи, столь простодушный въ своемъ лукавствѣ. Взглянемъ на нѣкоторыя изъ этихъ сказокъ. Въ сборникѣ Кирши Данилова три такихъ сказки «Чурилья игуменья», «Дурень Бабинъ», и «У Спаса къ обѣдни звонятъ». Первая особенно интересна, но любопытные сами могутъ прочесть ее, а мы поговоримъ о двухъ послѣднихъ. Не всѣмъ дуракамъ удается въ русскихъ сказкахъ; инымъ въ нихъ приходится очень дорого расплачиваться за глупость.

А жилъ былъ дурень,
А жилъ былъ Бабинъ,
Вздумалъ онъ, Дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Отшедши Дурень
Версту другу.
Нашелъ онъ, Дурень,
Двѣ избы пусты,
Въ третьей людей нѣтъ,
Заглянетъ въ подполье,
Въ подпольѣ черти
Вострого́ловы,
Глаза что часы,
Усы что вилы,
Руки что грабли,—
Въ карты играютъ,
Кости бросаютъ,
Деньги считаютъ,

Груды переводятъ.
Онъ имъ молвилъ:
„Богъ вамъ въ-помочь,
Добрымъ людямъ“.
А черти не любятъ,
Схватили Дурня,
Зачали бити,
Зачали давити,
Едва его, Дурня,
Жива отпустили.
Пришедши Дурень
Домой то плачетъ,
Голосомъ воетъ:
А мать бранити,
Жена пѣняти,
Сестра-то также:
„Ты глупой Дурень,
Неразумный Бабинъ!
То же бы ты слово
Не такъ же бы молвилъ:
А ты бы молвилъ:
Будь врагъ проклятъ
Именемъ Господнимъ,
Во вѣки вѣковъ, аминь.
Черти бъ убѣжали,
Тебѣ бы, Дурню,
Деньги достались
Вмѣсто кладу“.
Добро ты, баба,
Баба Бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потомъ я, Дурень,
Таковъ не буду.

Сказка эта довольно длинна, но она вся разсказывается почти одними и тѣми же словами. Получивъ урокъ отъ чертей, и помня наставленіе жены, матери и сестры, Дурень сказалъ четыремъ братьямъ молотившимъ ячмень: «Будь врагъ проклятъ именемъ Господнимъ». Опять урокъ и опять наставле-

ніе со стороны женщинъ: «Ты бы молвилъ: Дай вамъ Боже по сту на день, по тысячѣ на недѣлю». Встрѣтивъ похороны, Дурень привѣтствовалъ ихъ этими словами, былъ прибитъ и опять получилъ наставленіе, что слѣдовало ему сказать: «Дай, Боже, царство небесное, землѣ упокой». Дурень этимъ желаніемъ привѣтствовалъ свадьбу князя и былъ нещадно избитъ. Опять поученіе: «Ты бы молвилъ: Дай Господь Богъ новобрачному князю сужено поняти, потъ златъ вѣнецъ стати, законъ божій пріяти, любовно жити, дѣтей сводити». И Дурень привѣтствовалъ этимъ желаніемъ встрѣтившагося ему старца, который и изломалъ о его бока свою клюку — «не жаль ему, старцу, дурака-то, но жаль ему, старцу, костыля-то. Узнавши, что старцу долженъ онъ былъ сказать: «Благослови меня, отче, святой игуменъ», Дурень обратился съ этимъ привѣтствіемъ къ медвѣдю въ лѣсу. Прибѣжавъ домой еле живъ, онъ узналъ, что на медвѣдя ему слѣдовало заускать, загайкать, заулюкать,—и встрѣтивши на дорогѣ «полковника Шишкова», онъ заускалъ, загайкалъ и заулюкалъ, за что и крѣпко былъ избитъ солдатами — ту ему Дурню и смерть случилась.

Сказка: «У Спаса къ обѣдни звонятъ» замѣчательна сколько по тону легкой ироніи въ выраженіи столько и по тому, что она представляетъ вѣрную картину одного изъ важнѣйшихъ общественныхъ отношеній—отношенія зятя къ тещѣ и выгоднаго положенія послѣдняго передъ первою, равно какъ и намекъ на нѣкоторыя права и привиллегіи, доставляемыя законнымъ бракомъ. Теща, пришедши къ зятю, била ему челомъ, а зять и не посмотрѣлъ на нее, говоритъ:

„А и вижу я, вижу сама,
А что есть на немъ бѣшеная
Бить зятю дочи моя,
Прогнѣвить сердце материно,
И пролить бы горячу кровь
А и чѣмъ будетъ зятя дарить,
Чѣмъ господина дарить?

Выраженіе этой сказки особенно оригинально: въ немъ есть что-то поэтическое и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то ироническое. Она состоитъ изъ двухъ частей, которыя обѣ начинаются такъ:

У Спаса къ обѣднѣ звонятъ,
У прихода часы говорятъ,
По монастырямъ благовѣстятъ;—
Теща къ обѣднѣ спѣшитъ,
На мутовкѣ рубашку сушитъ,
На поваренкѣ кокошнички
Она теща къ обѣднѣ пошла—
А идетъ по-малешеньку,
Съ ноги на ногу поступываетъ,
На башмачки посматриваетъ,
Чеботы накалачиваетъ.

Въ первой части сказки теща предлагаетъ зятю кафтанъ изъ камки, а дочери сарафанъ, чтобы зять не билъ ее, дочь, не гнѣвилъ сердце материно, не проливалъ бы горячую кровь. Но видно, зятю этого показалось мало; теща предложила ему быстру рѣку, а на той на быстрой на рѣкѣ много гусей, лебедей, много сѣрыхъ малыхъ уточекъ

А и зять на нее поглядѣлъ,
Господинъ слово выговорилъ:
„Теща ты, теща моя,
Богоданная матушка!
Ты поди-тко живи у меня,
А работы не робь на меня;
Только ты баню топи,
Только ты воду носи,
Еще мнѣ робенки качай“.

Изъ этого видно, какъ выгодно бывало встарину быть зятемъ богатой тещи: Чтобы взять у ней все, стоило только прибить жену свою, прогнѣвить сердце материно, и пролить бы горячую кровь... Любопытная черта общественныхъ и семейственныхъ нравовъ милой старины!...

Любопытны сказки въ родѣ такихъ какъ «Сказка о нѣко-

емъ прикащикѣ и купцовой женѣ» и «БабьиУвертки». Это сказки новѣйшія или, по крайней мѣрѣ, сильно подновленныя. Послѣдняя называется еще «Сказкою о бабьихъ увертках и не постоянныхъ документахъ». Но особенно любопытны исторически-старинныя сказки въ сатирическомъ духѣ, каковы? «Сказка о томъ, какъ мыши кота погребаютъ», «Шемякинъ Судъ» и «Сказка о Ершѣ Ершовѣ сынѣ Щетинниковѣ». Изъ нихъ только послѣдняя напечатана г. Сахаровымъ съ старинпаго подлинника. Эти сказки въ тысячу разъ важнѣе всѣхъ богатырскихъ сказокъ, потому-что въ нихъ ярко отражается народный умъ, народный взглядъ па вещи и народный бытъ. Въ послѣднемъ отношеніи, они могутъ считаться драгоцѣннѣйшими историческими документами. Для поясненія нашей мысли, приводимъ здѣсь послѣднюю сказку всю цѣликомъ со всѣми ея повтореніями, которыя имѣютъ глубокій смыслъ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ гусударствѣ, за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ уряженъ былъ судъ, а въ томъ судѣ судьями сидѣли: бояринъ Осетръ, да воевода Сомъ, объ отъ Хвалынскаго моря; да тутъ же въ судѣ выборные мужики сидѣли; Судакъ да Щука, оба отъ земскихъ волостей, съ Волги рѣки да съ Дона.

И къ тому суду пришли Ростовскаго озера челобитчики, рыба Лещь съ товарищи. И били тѣ челобитчики, рыба Лещь съ товарищи, на судѣ на Ерша Ершова сына Щетинникова, да подали за руками челобитную. А въ той ихъ челобитной, у рыбы Леща съ товарищи написано:

„Бьютъ челомъ и плачутся убогіе сироты, нищіе крестьяне, Ростовскаго озера рыба Лещь съ товарищи на Ерша Ершова сына Щетинникова. Въ прошломъ 7010 годѣ, били мы, рыба Лещь съ товарищи, на него вора Ерша, въ насильномъ разграбленіи нашихъ животишекъ; и подали сказку за руками всѣхъ старожиловъ, что то Ростовское озеро изстари было за нами, нищими крестьянами, дано въ отчину, а намъ убогіимъ сиротамъ, послѣ отцовъ нашихъ та отчина въ вѣкъ прочна. А нынѣ тотъ ябедникъ Ершъ лихой человѣкъ и воришка, изъ Волги рѣки Выркою рѣкою къ намъ, убогіимъ сиротамъ, въ Ростовское озеро пришелъ, а пришелъ онъ, Ершъ, зимою, не въ погожую пору, и выпросился онъ, Ершъ, одну ночь въ Ростовскомъ озерѣ ночевать; а назвался онъ, Ершъ, наемнымъ крестьяниномъ; а

про то мы, нищіе крестьяне, не вѣдая его, Ершовой хитрости, пустили его, Ерша, одну ночь въ Ростовское озеро ночевать. А какъ онъ, воръ Ершишка, одну ночь ночевалъ, и упросилъ насъ, убогіихъ сиротъ, чтобы его, Ершишка, пустить покормитися въ наше озеро Ростовское съ женишкою и съ дѣтишками своими; а мы нищіе крестьяне, не вѣдая его, Ершова, лихости, положили на міру: его, Ерша, съ женою и дѣтишками его въ Ростовское озеро покормитися пустить. Да свѣдали мы послѣ, что ему Ершу, нарядомъ повѣщено было идти зимовать на сторожи на Каму рѣку, а онъ, воръ и ябедникъ Ершишка, укрываючись, про то намъ не повѣдалъ; а мы, убогіи сироты ваши, про то не знали. И тотъ воръ, Ершишка, въ нашемъ въ Ростовскомъ озерѣ поллѣта прожилъ, и дѣтишекъ расплодилъ, и дочь свою Ершиху за мужъ за Карпушкина сына выдалъ; а послѣ того стакався съ племенники своими и дѣтишки, приговорили, насъ, убогіихъ сиротъ перебить и животишки разграбить, и родъ нашъ весь изъ отчины вонъ выгнать и озеромъ Ростовскимъ завладѣть напрасно. И то все онъ, воръ Ершишка, дѣлалъ, понадѣючись на свое насильство. Смилуйтесь, господа судьи! не дайте намъ, убогіимъ сиротамъ, дожить до конечнаго разоренья и укажите дать праведный судъ намъ, нищіимъ крестьянамъ, съ тѣмъ Ершомъ“.

И судьи спрошали рыбу Лещь съ товарищи: ты, рыба Лещь съ товарищи! скажи ты намъ: правое ли то ваше челобитье, и чѣмъ вы по челобитной на судъ ручаетесь?

И рыба Лещь съ товарищи стали на судъ къ отвѣту, да говорили: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Вѣдая свое дѣло правое, били челомъ по правдѣ, и въ томъ ручаемся животомъ и жизнію; да какъ вы, господа судьи, посудите, такъ тому и быть.

И судьи, поговоря промежь собою, приговорили послать приставомъ рыбу Окунь, да велѣли ему, приставу Окуню, поставить рыбу Ершъ на судъ къ отвѣту.

И приставъ Окунь рыбу Ершъ на судъ къ отвѣту поставилъ, а доводчикъ Карась читалъ тѣ жалобы челобитчиковы, рыбы Леща съ товарищи.

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! то челобитье истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, неправое, и то-де я послѣ доводомъ доведу; а напередъ на нихъ истцовъ, рыбу Леща съ товарищи, дайте судъ и расправу въ дѣлѣ великомъ.

И судьи спрошали его, Ерша; ты, Ершъ! въ какомъ дѣлѣ великомъ дать тебѣ судъ и расправу на нихъ истцовъ, рыбу Леща съ товарищи?

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Тѣ истцы, рыба Лещь съ товарищи, въ своей челобитной, меня, Ерша, поносили и безчестили и называли меня, Ерша, и воромъ, и ябедникомъ, и Ершишкою, и волочайкою, и укрывайцею. И то все соромъ они истцы, рыба Лещь съ товарищи, лаяли на меня Ерша, и за то съ нихъ истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, доправить мнѣ слѣдуетъ за большое безчестье съ проторы и убытки.

И судьи спрашивали рыбу Лещь съ товарищи: ты Лещь съ товарищи! скажи ты намъ: будетъ дѣло не правое по суду отвѣтчикову доказано будетъ, и чѣмъ вы ручаетесь за большое безчестье?

И рыба Лещь съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! А то онъ Ершъ, затѣялъ дѣло не правое, взвелъ лихой извѣтъ, кабы судъ проволочить; а буде на судѣ наше челобитье неправымъ дѣломъ доказано будетъ, и мы ручаемся въ томъ животомъ и жизнью.

И судьи, поговоря промежь собою, приговорили: тотъ его, Ерша, лихой извѣтъ оставить, а ему, Ершу, указали, безъ проволочки, чинить отвѣтъ на суду по челобитью истцовъ, рыбы Леща съ товарищи.

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! А то челобитье истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, лихой извѣтъ на меня, Ерша: а грабить ихъ и животишки ихъ разорять не думалъ я и не гадалъ; а то Ростовское мое озеро изстари, и владѣли имъ изстари отцы и дѣды, а дано оно было въ отчину старому Ершу, моему дѣду; и потому жь оно нынѣ прочно за мною въ вѣкъ; а родомъ мы изстари дѣти боярскіе, мелкихъ бояръ Переяславскихъ; а тѣ челобитчики, рыба Лещь съ товарищи, бывали у отца моего въ холопѣхъ; а я, Ершъ, непохотя грѣха по батюшкиной душѣ, отпустилъ ихъ холопей на волю, да велѣлъ имъ жить за собою поитися и кормитися самимъ собою; а ихъ племя, рыбы Леща съ товарищи, и нынѣ есть во дворѣ у насъ въ холопѣхъ: а какъ то Ростовское озеро отъ великихъ засухъ повысохло, и стала скудность великая и голодъ, а тѣ челобитчики, рыба Лещь съ товарищи, сами сволоклися на Вырку рѣку и по затокамъ разселися, умышляя лихое дѣло на мою голову: похотѣли меня, Ерша, со всѣмъ моимъ домишкомъ искоренить напрасно: и отъ того мнѣ, Ершу, житья не стало; а послѣ стали они истцы, рыба Лещь съ товарищи, отъ крестьянства отбиватися, и учали они воровствомъ въ Ростовскомъ озерѣ промышлять; а я, Ершъ, отцовскимъ домишкомъ и нынѣ живу въ Ростовскомъ озерѣ: а живу я на днѣ и на свѣту, кабы добрый человѣкъ; не тать и не разбойникъ; а я живу своею силою и кормлюся своею отчиною; да

меня, Ерша, знают на Москвѣ большіе князья и бояре, и окольничіе и дворяне, и дьяки и гостинныя сотни, и всѣхъ чиновъ люди въ иныхъ городѣхъ и во многихъ селѣхъ.

И судьи спрошали рыбу Лещь съ товарищи; ты, рыба Лещь съ товарищи! скажи ты намъ: на кого ты шлешься, что то Ростовское озеро вашо, а не Ершово съ товарищи? И чѣмъ его, Ерша, уличаете?

И рыба Лещь съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ. Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Уличаемъ мы его, Ерша, всею правдою и шлемся въ томъ на свидѣтелей, а свидѣтели тѣ у насъ люди добрые: Новгородской области, Ладожскаго озера, рыба Бѣлуга да со Бѣлаозера рыба Бѣлая-рыбица, и что тѣ, добрые люди, подлинно про то вѣдаютъ, что то Ростовское озеро наше, а не Ершово.

И судьи спрошали Ерша съ товарищи: ты, рыба Ершъ! шлешься ли Новогородской области Ладожскаго озера на рыбу Бѣлугу да съ Бѣлаозера на рыбу Бѣлую-рыбицу?

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Новгородской области Ладожскаго озера на рыбу Бѣлугу да съ Бѣлаозера на рыбу Бѣлую-рыбицу не шлюся за тѣмъ, что тѣ рыбы большія, а мы, Ерши, рыбы малыя; и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; да они жь, тѣ рыбы Бѣлуга да Бѣлая-рыбица за одно живутъ съ Лещемъ, и пьютъ и ѣдятъ вмѣстѣ; и въ томъ промежь насъ правды не будетъ; да у нихъ же, у рыбы Бѣлугѣ да у Бѣлой-рыбицѣ съ Лещемъ промежъ себя испоконъ вѣку идетъ сватовство и кумовство: и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; да и они жь рыба Бѣлуга да Бѣлая-рыбица люди зажиточные, а я, Ершъ, человѣкъ убогой, и мнѣ Ершу, за ѣзду поѣзжаное платить приставу съ понятыми не чѣмъ, а путь дальній.

И судьи спрошали рыбу Лещь съ товарищи: ты, рыба Лещь съ товарищи! Скажи ты намъ, на кого шлешься еще въ томъ, что то Ростовское озеро ваше, а не Ершово съ товарищи?

И рыба Лещь съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Уличаемъ мы его, Ерша, всею правдою, и слалися въ томъ на свидѣтелей, а свидѣтели были у насъ въ томъ люди добрые. И онъ, Ершъ, лихостію своею обезчестилъ людей добрыхъ: Новогородской области Ладожскаго озера рыбу Бѣлугу да съ Бѣлаозера рыбу Бѣлую-рыбицу для того, будто тѣ рыбы велики; и то онъ соромъ лаялъ; и будто тѣ рыбы живутъ со мною, Лещемъ, за одно и пьютъ и ѣдятъ вмѣстѣ со мною, Лещемъ; и то онъ дурно дѣлалъ; и будто тѣ рыбы водятъ кумовство и сватовство со мною, Лещемъ; и то онъ напраслину ставилъ. А тѣ всѣ рѣчи его,

Ершовы, извѣстныя и къ отвѣту нейдутъ, и тѣмъ рѣчамъ его нельзя вѣры имать безъ доводчиковъ и крѣпкой поруки. Опричь тѣхъ добрыхъ людей, ставитъ онъ, Лещь, въ свидѣтели Переяславскую рыбу Сельдь, и что та рыба Сельдь человѣкъ добрый, и подлинно вѣдаетъ, что то Ростовское озеро ваше, а не Ершово.

И судьи спрошали Ерша съ товарищи: ты, Ершъ! шлешься ли Переяславскаго озера на рыбу Сельдь?

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Переяславская рыба Сельдь всѣмъ свѣдома, и на ту рыбу я, Ершъ, шлюсь. Да она жь, рыба Сельдь, человѣкъ зажиточный, а я, Ершъ, человѣкъ убогой, да мнѣ, Ершу за ѣзду поѣжаное платить приставу съ понятыми не чѣмъ, а путь дальній.

И судьи поговоря между собою, приговорили: послать, мимо истцовъ и отвѣтчиковъ, приставомъ рыбу Окунь, а ѣзду за поѣзжаное доправить послѣ на виноватомъ; да ему, приставу Окуню, приговорили взять въ понятые рыбу Линь.

И Линь сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Въ понятыхъ мнѣ, Линю, быть нельзя за тѣмъ, что у меня, Линя, и глаза малы, и говорить не умѣю и память худа, за хворостію съ мѣста не схожу.

И судьи, поговоря промежъ собою, приговорили: за тою хворостію рыбу Линя отъ понятыхъ освободить, а вмѣсто его приказали отпустить въ понятые рыбу Язя.

И приставъ, рыба Окунь, до понятой, рыба Язь, по сыску въ Переяславскомъ озерѣ ту рыбу Сельдь обыскали, и поставили ту рыбу Сельдь къ суду въ отвѣтъ.

И какъ стала рыба Сельдь Переяславская къ суду въ отвѣтъ, и доводчикъ Карась читалъ судное дѣло, да потому жь приговорилъ рѣчи истцовы и отвѣтчиковы, да взялъ у нихъ, истцовъ и отвѣтчиковъ, сказки въ томъ за ихъ руками, и положилъ тѣ сказки передъ судьями

И судьи спрошали Переяславскую рыбу Сельдь: ты рыба Сельдь! скажи ты намъ про того Леща и Ерша: чье у нихъ то Ростовское озеро изстари?

И рыба Сельдь Переяславская сказала: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Скажу вамъ всю правду, что вѣдаю про Леща и Ерша, чье у нихъ Ростовское озеро изстари. Лещь, господа судьи, человѣкъ добрый и крестьянинъ гожій, а живетъ онъ, Лещь, своею силою, какъ и прочіе люди живутъ; и онъ, Лещь, ни тать, ни разбойникъ. Да то все вѣдаю заподлинно.—Ершъ, господа судьи, лихой человѣкъ и ябедникъ, а живетъ по рѣкамъ и озерамъ на днѣ и на свѣту мало бы-

ваетъ; да тотъ Ершъ и большіихъ рыбъ обманываетъ; попросится онъ воръ на ночь ночевать, и тутъ поселится со всѣмъ домишкомъ вѣковать, а тамъ и учнетъ послѣ клепать, что та его отчи на завѣдомо изстари; да тотъ же Ершъ не бывалъ изстари въ дѣтѣхъ боярскихъ; и за собой не имѣлъ при дворѣ холопей; да и живалъ онъ, Ершъ въ бобыляхъ; а по наряду довелось ему быть на сторожи на Камѣ на рѣкѣ, да и туто укрылся на Ростовское озеро. Да то все вѣдаю заподлинно.

И судьи спрошали Переяславскую рыбу Сельдь: ты, рыба Сельдь! скажи ты намъ, знаютъ ли его, Ерша, на Москвѣ большіе князья и бояре, стольники и дворяне, дьяки и гостиныя сотни, и всѣхъ чиновъ люди въ иныхъ городѣхъ и во многихъ селѣхъ?

И рыба Сельдь Переяславская сказала: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Скажу вамъ всю правду, что вѣдаю про Ерша. Знаютъ его, Ерша, на Москвѣ и въ иныхъ городѣхъ и во многихъ селѣхъ на кружалахъ, и не князья и бояре, и не стольники и не дворяне, и не дьяки и торговыя сотни, и всѣхъ чиновъ люди, а ярыжки, бражники и зернщики. Да то все вѣдаю подлинно.

И судьи спрошали его Ерша: ты, Ершъ! скажи ты намъ: чѣмъ ты опорочиваешь рѣчи свидѣтельскія? И кто въ томъ за тебя, Ерша, порукою?

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Опорочиваю тѣ рѣчи свидѣтельскія, Переяславской рыбы Сельдь, тѣмъ, что все то она говоритъ съ похмѣлья, понаровя истцамъ, рыбѣ Лещу съ товарищами; да и она, рыба Сельдь, отродясь меня, Ерша, не видывала и говоритъ въ своихъ рѣчахъ извѣтъ лихой напрасно; и въ своихъ рѣчахъ кладу за себя порукою рыбу Налима, а та ли рыба Налимъ человѣкъ добрый, и знаетъ доподлинно, что та рыба Сельдь съ похмѣлья и не въ разумѣ и что говоритъ ума-разума не спрошаючи.

И судьи, поговоря промежъ собою, приговорили: послать приставомъ рыбу Окунь по рыбу Налимъ, а ѣзду за поѣзжаное доправить послѣ на виноватомъ; да ему приставу приговорили взять на понятые рыбу Язя.

И приставъ рыба Окунь да понятой рыба Язь, по сыску въ Волгѣ рѣкѣ, ту рыбу Налимъ обыскали, и поставили ту рыбу Налимъ къ суду въ отвѣтъ.

И какъ рыба Налимъ сталъ на судъ къ отвѣту, и доводчикъ Карась читалъ судное дѣло, да потому жь проговорилъ рѣчи отвѣтчиковы Ерша и рѣчи свидѣтельскія рыбы Сельдь, да взялъ у нихъ, у Ерша и

Сельди, сказки въ томъ за ихъ руками и положилъ тѣ сказки передъ судьями.

И судьи спрошали рыбу Налимъ: ты, Налимъ! скажи ты намъ: бываетъ ли рыба Сельдь съ похмѣлья и не въ разумѣ, и что та рыба Сельдь говоритъ ли, ума-разума не спрошаючи?

И рыба Налимъ сталъ на судъ къ отвѣту; да говоритъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! таковско дѣло мнѣ, Налиму, невѣдомо; да и погому жь ничего про Ерша не знаю и не вѣдаю.

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Тотъ рыба Налимъ мужикъ глупой и состарѣлся, да и на суду говорить не съумѣетъ. И въ своихъ рѣчахъ кладу за себя порукой старыхъ старожиловъ, рыбу Плотву съ товарищи.

И судьи, поговоря промежъ собою, приговорили: рыбу Налимъ отослать назадъ съ понятымъ и сдать становому подъ росписку; а ему, Ершу, за оболганье рыбы Сельдь и Налима очныхъ ставокъ болѣе не давать.

И понятой рыба Язь положилъ рыбу Налимъ въ сани, да и свезъ къ Волгѣ рѣкѣ, и подалъ передъ судьями росписку о томъ.

И судьи, поговоря промежъ собою, приговорили: истцовъ и челобитчиковъ выслать изъ суда вонъ, сдавъ на руки понятому рыбѣ Язю; судное дѣло указали писать Вьюну; дѣло вершить по грамотамъ суднымъ доводчику Карасю, и грамату печатать Раку клешнею.

И какъ дѣло повершили, и доводчикъ Карась положилъ то судное дѣло передъ судьями.

И судьи, поговоря промежъ себя, приговорили: Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить, да и выдать Ерша ему Лещу головою.

И доводчикъ Карась поставилъ на судъ истцовъ и отвѣтчиковъ предъ судьями, а грамоту къ губному старостѣ сталъ читать Вьюнъ.

Память Ростовскаго озера губному старостѣ большой рыбѣ Севрюгѣ съ товарищи. Въ прошлыхъ-де годѣхъ 7110, явясь на судъ Ростовскаго озера челобитчики, рыба Лещь съ товарищи, и били намъ челомъ и подали свое челобитье за руками; а въ томъ ихъ челобитье писано: на Ерша Ершова сына Щетинникова жалоба великая: онъ де Ершъ изъ Волги рѣки Выркою рѣкою пришелъ къ намъ въ Ростовское озеро зимою, не въ погожую пору, и выпросился обманомъ у насъ, рыбы Леща съ товарищами, одну ночь въ Ростовскомъ озерѣ ночевать, а послѣ онъ-де Ершъ проспался у насъ, рыбы Леща съ товарищи, покормитися съ женишкою и дѣтишками; и онъ-де Ершъ у насъ, рыбы Леща съ товарищи, поллѣта прожилъ, и дѣтишекъ рас-

плодилъ, и дочь свою Ершиху за Карпушкина сына выдалъ; да онъ-де Ершъ, стакався съ своими племянники и дѣтишки, приговорили насъ, рыбу Леща съ товарищи, перебить и животишки наши разграбить, и изъ отчины вонъ выгнать, и тѣмъ Ростовскимъ озеромъ завладѣть напрасно. А по сыску и допросу въ томъ судѣ оказалось, что-де онъ Ершъ воръ и разбойникъ, живетъ-де онъ Ершъ по озерамъ и болотамъ бобылемъ, и онъ-де Ершъ говорилъ въ судѣ, что будто онъ Ершъ изъ боярскихъ дѣтей мелкихъ бояръ Переяславскихъ, и что де та рыба Лещь съ товарищи изстари были за отцемъ его крестьяне; и то онъ Ершъ лаялъ напрасно. И какъ къ тебѣ ся наша память придетъ, и ты бъ того Ерша съ таварищи взялъ къ себѣ въ губную избу, учинилъ наказаніе на мірскомъ дворѣ, билъ батоги нещадно, чтобы впередъ имъ и всѣмъ братіямъ на то смотря, такъ дѣлать было не повадно, и учиня имъ наказаніе, доправилъ бы, безъ Московскія волокиты, съ него Ерша съ товарищи всѣ проторы и убытки, а доправя проторы и убытки, выдалъ бы того Ерша ему Лещу головою, и велѣлъ бы его Леща, водя по торгамъ, бить кнутомъ, а бивъ кнутомъ, повѣсить противъ солнца. И о томъ о всемъ прислалъ бы еси къ намъ отписку безъ молчанія.

Эта сказка — полная и вѣрная картина древней русской юриспруденціи, древняго русскаго судопроизводства, древняго русскаго словеснаго суда, со всѣмъ ихъ добромъ и со всѣмъ ихъ зломъ: и съ гарантіею справокъ и свидѣтельствъ, забираемыхъ у лицъ, соприкосновенныхъ дѣлу или подсудимому, и съ Московскою волокитою. Повторяемъ: для людей, которымъ доступна не одна буква, такая сказка есть драгоцѣнный историческій документъ.

Отъ поэмъ и сказокъ самый естественный переходъ къ историческимъ пѣснямъ. Этотъ отдѣлъ русской народной поэзіи бѣденъ во всѣхъ отношеніяхъ: и числомъ, и содержаніемъ, и поэзіею. Трудное и тяжкое историческое развитіе Руси до Петра Великаго было слишкомъ сухою и безплодною почвою для поэзіи.

Древнѣйшая историческая пѣсня въ разсматриваемыхъ нами сборникахъ находится въ книгѣ Кирши Данилова и называется «Щелкапъ Дудентьевичъ». Она носитъ на себѣ ха-

рактеръ сказочный, но явно, что историческое событіе дало для нея содержаніе. Герой ея, Щелканъ Дудентьевичъ, не получилъ себѣ отъ своего шурина, царя Азвяка Ставруловича, удѣла, потому что былъ во время раздачи удѣловъ въ Литвѣ: «Бралъ онъ, младъ Щелканъ, дани, выходы, царски невыплаты; съ князей бралъ по сту рублевъ, со бояръ по пятидесяти, съ крестьянъ по пяти рублевъ;—у котораго денегъ нѣтъ, у того дитя возметъ, у котораго дитя нѣтъ, у того жену возметъ; у котораго жены-то нѣтъ, того самого головой возметъ». Возвратившись къ царю Азвяку съ данями, невыплатами, онъ проситъ у него себѣ въ удѣлъ старую Тверь. Азвякъ отвѣчаетъ ему: «Гой еси, шуринъ мой, Щелканъ Дудентьевичъ! заколи-тко ты сына своего любимаго, крови ты чашу нацѣди, выпей ты крови тоя, крови горячія, и тогда я тебя пожалую Тверью богатою, двумя братцами родимыми, дву удалыми Борисовичами». Выполнивъ это *гуманное* требованіе Щелканъ «судьею насѣлъ въ Тверь ту старую, въ Тверь ту богатую, а немного онъ судьею сидѣлъ: и вдовы-то безчестити, красны дѣвицы позорити, надо всѣми наругатися, надъ домами насмѣхатися. Мужики-то старые, мужики-то богатые, мужики-то посадскіе, они жалобу приносили двумъ братьямъ родимыимъ, двумъ удалымъ Борисовичамъ; отъ народа они съ поклономъ пошли, съ честными подарками. Изошли его въ домѣ у себя Щелкана Дудентьевича; подарки принялъ отъ нихъ, чести не воздалъ имъ. Втапоры младъ Щелканъ зачванился, онъ загордился, и они съ нимъ раздорили — одинъ ухватилъ за волосы, а другой за ноги, и тутъ его разорвали. Тутъ смерть ему случилася, ни на комъ не сыскалося». — Эта пѣсня есть искаженная быль XIV столѣтія: Щелканъ Дудентьевичъ есть не кто иной, какъ Шевкалъ, сынъ Дюденевъ, двоюродный братъ хана Узбека (переименованнаго сказкою въ Азвяка, да еще и Ставруловича), который, прибывъ посломъ въ Тверь въ 1327 году, за свою жестокость

и наглость былъ сожженъ гражданами со всею татарскою свитою.

Кромѣ этой пѣсни, въ сборникѣ Кирши Данилова нѣтъ ни одной, которая бы относилась къ эпохѣ татарщины; равнымъ образомъ, нѣтъ ни одной исторической пѣсни, которая бы относилась къ Донскому, къ Іоанну III; есть нѣсколько пѣсень объ Иванѣ Грозномъ, да нѣсколько пѣсень, относящихся къ эпохѣ самозванцевъ и борьбы Россіи съ Польшею на независимость; также изъ эпохи царя Алексія Михаиловича и Петра Великаго. Всѣхъ этихъ пѣсень числомъ не болѣе десяти, да и тѣ совершенно ничтожны и по содержанію, и по формѣ, и по историческому значенію. Русская народность еще сознавала себя въ сказкахъ: въ исторіи она потерялась. Русскій человѣкъ какъ бы не чувствовалъ себя членомъ государства и потому не зналъ, что въ немъ дѣлалось. До него ходили слухи, онъ и самъ бывалъ свидѣтелемъ событій, какъ ратникъ лилъ кровь свою по царскому наказу, боярскому приказу, но ничего не понималъ въ этихъ столь близкихъ къ нему событіяхъ и потому перевиралъ ихъ вопреки здравому смыслу и исторической дѣйствительности. Такъ въ одной пѣсни, «кругомъ сильна царства Московскаго, Литва облегла со всѣ четыре стороны, а и съ нею сила, Сорочина долгополая, и тѣ Черкесы пятигорскіе, еще ли Калмыки съ Татарами, со Татарами, со Башкирцами, еще Чукши со Люторами (съ Лютеранами, изъ которыхъ политическій тактъ древней Руси сдѣлалъ особый народъ)»; тогда Михайло Скопинъ «правитель царству Московскому, оберегатель міру крещеному, и всей нашей земли свѣто - русскія» пріѣзжалъ въ Новгородъ, «садился на ременчатъ стулъ, а и беретъ чернилицу золотую, какъ бы въ ней перо лебединое, и беретъ онъ бумагу бѣлую, писалъ ярлыки скорописчаты во свитцкую (швецкую) землю, Саксонскую, ко любимому брату названному, ко свицкому королю Карлосу, а отъ мудрости слово поставлено: «А и гой еси, названный братъ, а ты

свицкій король Карлосъ! а и смилуйся, смилосердуйся, смилосердуйся, покажи милость, а и дай мнѣ силы на подмочь». Это посланіе—образецъ дипломатическаго краснорѣчія, отослано къ шведскому королю, который и прислалъ къ Скопину на помощь сорокъ тысячъ войска. Соединившись съ Шведами, наши войска пошли въ восточную сторону и вырубили Чудь бѣлоглазую и Сорочину долгополую; въ полуденную сторону—перекрошили Черкесъ пятигорскихъ «еще нонѣ тутъ Малороссія», и такимъ же образомъ уничтожили Литву, Чукчей, Башкирцевъ, Калмыковъ и «Алюторовъ». Въ остальной половинѣ піэсы перевирается по сказочному отравленіе Скопина, котораго причина — самая народная: Скопинъ на пиру у Воротынскаго больно началъ похваляться: «Я, Скопинъ, очистилъ царство Московское и велико Государство Россійское, еще ли мнѣ славу поютъ до вѣку, отъ стараго до малаго, отъ малаго до вѣку моего». И тутъ боярамъ за бѣду стало: они подсыпали въ чашу зелья лютаго, а кума Скопина крестовая, дочь Малюты Скурлатова поднесла ему отравленную чашу.

Окончаніе піэсы отличается всею наивною и удалою прелестью русской народной поэзіи:

То старина, то и дѣянье,
Какъ бы синему морю на утишенье,
А быстрымъ рѣкамъ слава до моря,
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманье,
Еще намъ веселымъ молодцамъ, на потѣшенье,
Сидючи въ бесѣдѣ смиренныя,
Испиваючи медъ, зелено вино;
Гдѣ ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
Тому боярину великому
И хозяину своему ласковому.

Въ другой пѣснѣ, царь Алексій Михайловичъ три года стоитъ подъ Ригою, потомъ ѣдетъ въ Москву; войско проситъ царя не оставлять его подъ Ригою: «наскучила намъ Рига, напрокучила: много голоду, холоду приняли, наготы,

босоты, вдвое того». Царь отвѣчаетъ: «когда прибудемъ въ каменну Москву, забудемъ бѣдность, нужу великую, а и выставлю вамъ погреба царскіе, что съ пивомъ, съ виномъ, меды сладкіе.

Лучшія историческія пѣсни — объ Иванѣ Грозномъ. Тонъ ихъ чисто сказочный, но образъ Грознаго просвѣчиваетъ сквозь сказочную неопредѣленность со всею яркостію грозовой молніи. Въ драгоцѣнномъ сборникѣ Кирши Данилова, къ сожалѣнію, далеко не вполнѣ перепечатанномъ г. Сахаровымъ, есть пѣсня подъ названіемъ «Мастрюкъ Темрюковичъ, въ которой описывается кулачный бой царскаго шурина, Мастрюка, съ двумя московскими удальцами. Грозный пировалъ по случаю женитьбы своей на Марьѣ Темрюковой, сестрѣ Мастрюковнѣ, Купавѣ Крымской, царицѣ благовѣрной, дочери Темрюка Степановича, царя Золотой Орды (о исторія!...). На пиру всѣ были веселы; не веселъ одинъ Мастрюкъ Темрюковичъ, шуринъ царскій: онъ еще нигдѣ не нашелъ борца по себѣ и думаетъ Москву загонять, сильно царство Московское. Узнавъ о причинѣ его кручины-раздумья, царь велѣлъ боярину Никитѣ Романовичу искать бойцовъ по Москвѣ. Два братна родимые по базару похаживаютъ, а и бороды бритыя, усы торженые, а платье саксонское, сапоги съ раструбами. Они спрашиваютъ боярина: «смѣть ли нога ступить съ царскимъ шуриномъ и смѣть ли его побороть»? Царь велѣлъ боярину сказать имъ: «кто бы Мастрюка поборолъ, царскаго шурина, платье бы съ плечь снялъ, да нагаго съ круга спустилъ, а нагаго какъ мать родила, а и мать на свѣтъ пустила». Прослышавъ борцовъ, «скачетъ прямо Мастрюкъ изъ мѣста большаго, угла передняго, черезъ столы бѣлодубовы, повалилъ онъ тридцать столовъ, да прибилъ триста гостей: живы—да негодны, на корачкахъ ползаютъ по палатѣ бѣлокаменной: то похвальба Мастрюку, Мастрюку Темрюковичу». Но эта похвальба худо кончилась для Мастрюка: Мишка Борисовичъ его съ носка бросилъ о землю; похвалилъ его царь-

государь: «Исполать тебѣ молодцу, что чисто борешься». А и Мишка къ сторонѣ пошелъ, ему полно боротися. А Потанька бороться пошелъ, костылемъ подпирается, самъ впередъ подвигается, къ Мастрюку приближается; смотритъ царь государь, что кому будетъ Божья помочь; Потанька справился, за плеча сграбился, согнетъ корчагою, воздымалъ выше головы своей, опустилъ о сыру землю—Мастрюкъ безъ памяти лежитъ, не слыхалъ какъ платье сняли. Былъ Мастрюкъ во всемъ, сталъ Мастрюкъ ни въ чемъ, со стыда и сорома окарачкахъ подъ крылецъ ползетъ. Какъ бѣла лебедушка по зарѣ она прокликала, говорила царица царю, Марья Темрюковна: «Свѣтъ ты, вольный царь Иванъ Васильевичъ! такова у тебя честь добра до любимаго шурина, а дѣтина наругается, что дѣтина деревенской; а почто онъ платье снимаетъ?» Говорилъ тутъ царь-государь: «Гой еси ты, царица во Москвѣ, да ты Марья Темрюковна! а не то у меня честь во Москвѣ, что Татары - те борются; то - то честь въ Москвѣ, что Русакъ тѣшится; хотя бы ему голову сломилъ, до люби бы я пожаловалъ двухъ братцевъ родимыхъ, двухъ удалыхъ Борисовичевъ».

Другая пѣсня содержитъ въ себѣ сказочное описаніе историческаго происшествія, касающагося до ужасной личности грознаго царя—гнѣва его на сына. У Грознаго пиръ во дворцѣ, «а всѣ тутъ князья и бояра на пиру напивалися, промежъ собой расхвасталися: а сильный хвастаетъ силою, богатой хвастаетъ богатствомъ. Злата труба въ царствѣ протрубила, прогласилъ царь-государь, слово выговорилъ: «А глупы бояра, вы неразумные! и всѣ вы бездѣлицей хвастаетесь; а смѣю я царь похвалитися, похвалитися и похвастати: что вывелъ измѣну я изъ Кіева, да вывелъ измѣну изъ Новгорода, а взялъ я Казань, взялъ и Астрахань». Царевичъ Ѳедоръ говоритъ отцу, что не вывелъ онъ измѣны въ Москвѣ, что три большіе боярина, а три Годуновы измѣнники. Царь велитъ сыну назвать трехъ измѣнниковъ, говоря, что одного велитъ въ

котлѣ сварить, другаго—на колъ посадить, третьяго—скоро сказнить. «Ты пьешь съ ними, ѣшь съ единаго блюда, единую чару съ ними требуешь», отвѣтилъ царевичь, и царю то слово за бѣду стало, за великую досаду показалося, скричалъ онъ царьзычнымъ голосомъ: «А есть ли въ Москвѣ немилостивы палачи? возьмите царевича за бѣлы ручки, ведите царевича со царскаго стола, за тѣ за вороты москварѣцкія, за славную матушку Москву-рѣку, за тѣ живы мосты калиновы, къ тому болоту поганому, къ той ко лужѣ кровавыя, ко той ко плахѣ бѣлодубовой». Всѣ палачи испужалися, по Москвѣ разбѣжалися: единъ палачъ не пужается, единъ злодѣй выступается—Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ». До стараго боярина Никиты Романовича дошла вѣсть нерадошна, кручинная, что де «упала звѣздочка поднебесная, потухла во соборѣ свѣча мѣстная, не стало царевича у насъ въ Москвѣ, а меньша-то Ѳедора Ивановича». Бояринъ скачетъ къ болоту поганому, настигъ палача на полупути, кричитъ ему зычнымъ голосомъ: «Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ! не за свойскій кусъ ты хватаешься, а этимъ кускомъ ты подавишься; не переводи ты роды царскіе». Малюта отвѣчаетъ что дѣло невольное, что не самому же ему быть сказнену; чѣмъ окровенить саблю острую, руки бѣлыя, и съ чѣмъ прійдти къ царю предъ очи, предъ его очи царскія? Никита Романовичъ совѣтуетъ ему сказнить его конюха любимаго и въ его крови предстать предъ очи царскія. Какъ завидѣлъ царь Малюту въ крови, «а гдѣ-ко стоялъ, онъ и туто упалъ, что рѣзвы ноги подломилися, царски очи помутилися, что по три дня не пьетъ, не ѣстъ». А Никита Романовичъ увезъ царевича въ село Романовское. Царю докладываютъ: у тебя-де кручина великая, а у стараго Никиты Романовича пиръ идетъ на веселѣ. «А грозный царь, онъ и крутъ добрѣ, велитъ схватить боярина нечестно; когда привели его къ нему, онъ пригвоздилъ ему къ полу ногу жезломъ своимъ, грозитъ его въ котлѣ сварить, либо на колъ посадить». Когда дѣло объяснилось, царь даетъ

боярину село Романовское, съ такою привиллегіею: «Кто церкву покрадетъ, мужика ли убьетъ, али у жива мужа жену уведетъ и уйдетъ во село боярское, ко старому Никитѣ Романовичу, и тамъ быть имъ не на выдачѣ».

Покореніе Казанскаго царства воспѣто въ цѣлыхъ двухъ пѣсняхъ, на основаніи которыхъ однакожь нельзя сдѣлать и одной поэмы. Одна изъ этихъ пѣсень разсказываетъ, какъ Иванъ Васильевичъ подъ Казанью съ войскомъ стоялъ, за Сулай-рѣку бочки съ порохомъ каталъ, а пушки и снаряды въ чистомъ полѣ разставлялъ; какъ Татары по городу похаживали, и всяко грубіянство оказывали, и грозному царю насмѣхалися, что не быть-де нашей Казани за бѣлымъ царемъ; какъ царь на пушкарей осерчался, приказалъ пушкарей казнить, что подрывъ такъ долго медлился; и какъ—лишь пушкари слово молвить поотважились, — взрывъ воспослѣдовалъ, а «всѣ Татары тутъ, братцы, устрашилися, они бѣлому царю покорилися».

Другая пѣсня почти вся состоитъ изъ сна казанской царицы Елены, который она разсказываетъ своему мужу Симеону, что ей привидѣлось «какъ отъ сильнаго царства Московскаго кабы сизый орлище встрепенулся, кабы грозная туча подымалась, что на наше вѣдь царство наплывала; а изъ сильнаго царства Московскаго подымался великій князь Московскій, а Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель». Далѣе слѣдуетъ содержаніе первой пѣсни. Когда подрывъ грянулъ, Иванъ Васильевичъ побѣжалъ въ палаты царскія, а Елена догадалася: посыпала соли на ковригу и съ радостью встрѣчала Московскаго князя,—за что онъ ее пожаловалъ: привелъ въ крещену вѣру и постригъ въ монастырь; а царю Симеону за гордость, что не встрѣтилъ онъ великаго князя, «выпялъ ясны очи косицами», взялъ съ него царскую корону, порфиру и царскій костыль изъ рукъ принялъ. И въ то время князь воцарился и насѣлъ на Московское царство, что тогда де Москва основалася; и съ тѣхъ поръ великая слава

И вся то пѣсня—сказка, поводомъ къ которой было, впрочемъ, историческое событіе; но что такое конецъ ея?... Когда царь Иванъ Васильевичь Казань взялъ, тогда только и на Московское царство насѣлъ, а до тѣхъ поръ словно былъ безъ царства...

И вотъ какъ отразился въ народной поэзіи колоссальный образъ и отозвалась страшная память Грознаго—этого исполина тѣломъ и духомъ, который такъ ужасно рвался изъ тѣсныхъ оковъ ограниченной народности, и, явившись не во время, безсильный самаго себя свергнуть и разбить ихъ, нашелъ въ себѣ силу страшно выместить на своемъ народѣ эту враждебную ему народность!...

Изъ пѣсни о Гришкѣ Разстригѣ ясно видно, что этотъ даровитый и пылкій но неблагоразумный и неразсчетливый удалецъ палъ въ глазахъ народа не за самозванство, а за то, что втупору, какъ «князи и бояра пошли къ заутрени, а Гришка Разстрига онъ въ баню съ женой; уже князи и бояра отъ заутрени, а Гришка Разстрига изъ бани съ женой; выходитъ Разстрига на Красный Крылецъ, кричитъ, ревѣтъ зычнымъ голосомъ: «Гой еси, ключники мои, приспѣшники, приспѣвайте кушанье разное, а и поспѣшное скоромное: заутра будетъ ко мнѣ гость дорогой, Юрья панъ съ паньею». Тогда, вишь, стрѣльцы догадалися, въ Боголюбовъ монастырь бросалися, къ царицѣ Маѳѣ Матвѣевнѣ; а узнавъ отъ нея всю правду, къ Красному царскому крылечку металися и тутъ въ Москвѣ взбунтовалися; злая жена Разстриги, Марина безбожница сорокою обернулась и изъ палатъ вонъ вылетѣла; а Разстрига догадается, на копья стрѣлецкія съ крыльца бросается—и тутъ ему такова смерть случилась».

Но слѣдующая пѣсня о «Борисѣ Шереметевѣ», достойномъ сподвижникѣ Петра Великаго, лицѣ нисколько не миѳическомъ, вполнѣ историческомъ и современномъ пѣснѣ,—лучше всего обнаруживаетъ историческую значительность нашихъ историческихъ пѣсень. Шереметевъ, подходя съ вой-

сками къ сильному городу Орѣшку, послалъ въ объѣздъ донскихъ и яицкихъ казаковъ — снять шведскіе караулы. Они полонили майора и привели его къ самому государю; злата труба въ полѣ протрубила, прогласилъ государь, слово молвилъ, государь Московскій—первый императоръ: «А и гой еси, Борисъ, сынъ Петровичъ! изволь ты майора допросити тихонько, по-малешеньку: а сколько-де силы въ Орѣшкѣ у вашего короля шведскаго?» Майоръ наговорилъ силы несмѣтное множество; тогда императоръ велѣлъ Шереметеву морить его голодомъ. А втапоры Борисъ Петровичъ Шереметевъ на то-то больно догадливъ: и двое-де сутки майора не кормили, въ третьи винца ему подносили; втапоры майоръ правду сказалъ: «всѣхъ съ королемъ нашимъ и генераломъ силы семь тысячей, а болѣ того нѣту». И тутъ государь взвеселился—велѣлъ ему майору голову отляпать».

И вотъ какъ народная фантазія поняла великаго преобразователя Руси!... Какого же историческаго содержанія, какой исторической жизни можно требовать отъ русскихъ народныхъ пѣсень, относящихся къ эпохѣ Петра Великаго!... Не такова историческая поэзія Малороссіи. Исторія Малороссіи не принадлежитъ къ исторіи всемірно-человѣческой; кругъ ея тѣсенъ, политическое и государственное значеніе ея—тоже, что въ искусствѣ гротескъ; но несмотря на все это, Малороссія была органически-политическимъ тѣломъ, гдѣ всякая отдѣльная личность сознавала себя, жила и дышала въ своей общественной стихіи, и потому знала хорошо дѣла своей родины, столь близкія къ ея сердцу и душѣ. Народная поэзія Малороссіи была вѣрнымъ зеркаломъ ея исторической жизни. И какъ много поэзіи въ этой поэзіи! Пусть читатели вспомнятъ думу о «Самко Мушкетъ», которую мы привели выше для доказательства аналогіи, существующей между «Словомъ о Пълку Игоревѣ» и малороссійскою поэзіею: это диѳирамбъ исторической поэзіи, это паѳосъ патріотическаго

сознанія! Что передъ однимъ этимъ отрывкомъ скудный сборникъ всѣхъ русскихъ историческихъ пѣсень!..

Донскія казачьи пѣсни можно причислить къ циклу историческихъ, — и онѣ въ самомъ дѣлѣ болѣе заслуживаютъ названіе историческихъ, чѣмъ собственно такъ-называемыя историческія русскія народныя пѣсни. Въ нихъ весь бытъ и вся исторія этой военной общины, гдѣ русская удаль, отвага, молодечество и разгулье нашли себѣ гнѣздо широкое и привольное. Онѣ и числомъ несравненно больше историческихъ пѣсень; въ нихъ и исторической дѣйствительности больше, въ нихъ и поэзія размашистѣе и удалѣе. Взглянемъ бѣгло на тѣ только героемъ которыхъ является Ермакъ.

На Бузанѣ островѣ сидѣли атаманы и есаулы — Ермакъ Тимоѳеевичъ, Самбуръ Андреевичъ, Апофрій Степановичъ; они думушку думали крѣпкую про дѣло ратное, про добычу казацкую. Есаулъ кричитъ голосомъ во всю буйну голову: «А и вы, гой еси, братцы, атаманы казачіе! У насъ кто на морѣ не бывалъ, морской волны не видалъ, не видалъ дѣла ратнаго, человѣка кровуваго,—отъ желанья тѣ Богу не маливались; останьтесь таковы молодцы на Бузанѣ островѣ». И садилися молодцы во свои струги легкіе, они грянули молодцы внизъ по матушкѣ Волгѣ рѣкѣ, по протокѣ по Ахтубѣ. Молодцамъ нашимъ повстрѣчались двѣнадцать турецкихъ кораблей—они взяли ихъ въ плѣнъ, а съ ними и душу красну-дѣвицу, молоду Урзамоновну, дочь мурзы турецкаго. Потомъ они повстрѣчались съ посломъ царскимъ, Семеномъ Константиновичемъ, возвращавшимся изъ Персіи съ своими солдатами и матросами. Казаки были пьяные, а солдаты не совсѣмъ умомъ попущалися на нихъ дратися ради корысти своея. Не разобравъ дѣла, посолъ выслалъ на казаковъ сто человѣкъ изъ своей свиты: Ермакъ велѣлъ своимъ бить ихъ и бросать въ Волгу. Казаки перебили всю посольскую свиту и самого посла, а всѣ животы пограбили; пріѣхали въ Астрахань, назвались купцами, заплатили пошлины и пошли тор-

говать безъ запрещенія. Тѣмъ старина и кончилась—въ первой пѣснѣ.

Но во второй мы видимъ результаты этой старины: во славномъ понизовомъ городѣ Астрахани, противъ пристани матки-Волги-рѣки, наши молодцы снова сходились думать думушку крѣпкую. Ермакъ Тимоѳеевичъ говорилъ: «А и вы гой еси, братцы, атаманы молодцы! не корыстна у насъ шутка зашучена, убили мы посла персидскаго и всѣмъ животомъ его покорыстовались: и какъ намъ на то будетъ отвѣтствовать? Въ Астрахани жить нельзя; на Волгѣ жить — ворами слыть; на Яикъ идти — переходъ великъ; въ Казань идти—грозенъ царь стоитъ, грозенъ царь осударь Иванъ Васильевичъ; въ Москву идти—перехваченнымъ быть, по разнымъ городамъ разосланнымъ и по темнымъ тюрьмамъ разсаженнымъ; пойдемте мы въ усолья ко Строгоновымъ ко тому Григорью Григорьевичу, ко тѣмъ господамъ ко Вороновымъ—возьмемъ мы много свинцу, пороху и запасу хлѣбнаго». Дальнѣйшее содержаніе пѣсни состоитъ въ разсказѣ, какъ молодцы пошли въ Сибирь, добрались до Тагиль-рѣки, до горы Магницкой, зимовали, настроили коломенокъ надѣлали соломенныхъ людей, и добравшись до Тоболя, обманули ими Татаръ и выиграли великую битву; какъ Ермакъ Тимоѳеевичъ взялъ въ полонъ Кучума царя татарскаго; какъ Ермакъ, пошивши казакамъ шубы и шапки соболиныя, пріѣхалъ въ Москву съ повинной головою къ грозному царю Ивану Васильевичу; какъ государь прощалъ Ермаку всѣ вины его, и снова посылалъ его въ Сибирь — брать съ Татаръ дани, выходы въ казну государеву; какъ Татары взбунтовались противъ Ермака и напали на него на Енисеѣ, когда у него было казаковъ только на двухъ коломенкахъ; и какъ въ битвѣ погибъ храбрый и удалый завоеватель Сибири. «Онъ хотѣлъ перескочити на другую свою коломенку—и ступилъ на переходню обманчивую, правою ногою поскользнулся онъ—и та нереходня съ конца верхняго подымалася и на него опуща-

лася, расшибла ему буйну голову и бросила его въ тое Енисей быстру рѣку: тутъ Ермаку такова смерть случилась.

Исключая поѣздки Ермака въ Москву, на мѣсто есаула его Кольца, все остальное довольно правдоподобно для русской народной исторической пѣсни. Мы уже говорили, что историческая вѣрность — качество почти чуждое историческимъ русскимъ пѣснямъ. Такъ-какъ всѣ явленія исторической жизни старой Руси возникали какъ-бы случайно, имѣя свой корень скорѣе въ политическомъ неустройствѣ, чѣмъ въ устройствѣ,—то и казались народу сказочными явленіями. Оттого всякое историческое лице для народа казалось миѳомъ, и онъ дѣлалъ изъ его жизни сказку. Такъ, въ одной казацкой пѣснѣ, Ермакъ сидитъ въ Азовѣ въ тюрьмѣ, мимо которой случилось пройдти турецкому царю Солтану Солтановичу (Ермакъ, видите, былъ посланъ къ султану изъ Москвы съ подарками, а мурзы, улановья ограбили его, да и посадили въ темницу). Султанъ, одаривъ его златомъ, серебромъ, съ честью отпускаетъ въ Москву; но донской казакъ «загулялся по матушкѣ Волгѣ-рѣкѣ, не явился въ каменну Москву».

Солдатскія пѣсни образуютъ собою особый циклъ народной поэзіи. По формѣ своей, онѣ ничѣмъ не отличаются отъ другихъ русскихъ пѣсень; но содержаніе ихъ оригинально по русско-простонародному разумѣнію европейскихъ вещей, и по смѣси чисто-русскихъ выраженій съ терминами и словами изъ сферы регулярно-военнаго быта. Этотъ родъ пѣсенъ еще не довольно извѣстенъ у насъ печатно и потому о немъ трудно сказать что-нибудь дѣльное. Но для примѣра приведемъ здѣсь одну солдатскую пѣсню, которая показываетъ, что великій преобразователь Россіи прежде всѣхъ другихъ своихъ подданныхъ встрѣтилъ къ себѣ сочувствіе въ храбрыхъ солдатахъ созданнаго имъ войска:

Ахъ ты, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ!
Что ты свѣтишь не по-старому,
Не по старому и не по-прежнему?

Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бѣла свѣта;
Все ты прячешься за облака,
Укрываешься тучей темною.
Что у насъ было, на святой Руси,
Въ Петербургѣ, въ славномъ городѣ.
Во соборѣ Петропавловскомъ,
Что у праваго у клироса,
У гробницѣ государевой,
У гробницы Петра Перваго,
Петра Перваго Великаго.
Молодой сержантъ Богу молится,
Самъ онъ плачетъ, какъ рѣка льется,
По кончинѣ вскорѣ государевой,
Государя Петра Перваго;
Въ возрыданьи слово вымолвилъ:
„Разступись ты, мать сыра земля,
Что на всѣ ли на четыре стороны!
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися золота парча!
И ты встань, пробудись, Государь.
Пробудись, батюшка, православный царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Безъ тебя мы осиротѣли,
Осиротѣвъ, обезсилѣли!“

Такъ-называемыя «удалыя» пѣсни должны слѣдовать непосредственно за казацкими: что́ такое были казаки, какъ не удальцы, промышлявшіе на Волгѣ чѣмъ Богъ послалъ, и что́ такое были удальцы, какъ не казаки, только неимѣвшіе опредѣленнаго мѣста для жительства? Существованіе «удальцовъ» не было улегитимировано правительственною властью, но было улегитимировано общественнымъ мнѣніемъ,—и потому въ одной пѣснѣ они сами про себя говорятъ:

Мы не воры,—мы разбойнички;
Атамановы мы работнички.

Въ подобныхъ явленіяхъ нѣтъ ничего унизительнаго для національной чести, ибо въ нихъ виновато было неустройство

и шаткость общественнаго зданія, а со всѣмъ не національный духъ. Италія и Испанія—классическія страны разбойниковъ: тамъ эти господа и теперь еще разгуливаютъ на улицахъ столичныхъ городовъ, середи бѣла дня, и ихъ боятся многіе, но никто не презираетъ; а съ массою народа они всегда были даже въ большихъ ладахъ. Теперь и удальцовъ уже нѣтъ на Руси: нація все та же, да порядокъ въ обществѣ другой — вотъ и все. Теперь можно изъѣздить и исходить Россію вдоль и поперегъ съ туго-набитымъ бумажникомъ: можетъ-быть, васъ обокрадутъ, или засудятъ, но уже не ограбятъ и не зарѣжутъ. А прежде было не такъ, особенно до эпохи Петра Великаго. Стѣсненность и ограниченность условій общественной жизни, безусловная зависимость слабаго и бѣднаго отъ произвола сильнаго и богатаго, словомъ— Кошихинскій характеръ администраціи, и общественной нравственности: все это заставляло людей, чаще всего съ сильными натурами искать какого бы то ни было выхода изъ тѣсноты и духоты на просторъ и приволье души. Низовыя страны, особенно степи, прилегающія къ Волгѣ и Дону, давали полную возможность для подвиговъ удальства и молодечества. И наши удальцы того времени никогда не были ни казаками, ни разбойниками, а всегда тѣмъ и другимъ вмѣстѣ: они били басурмановъ, оберегали границы, и иногда, при стѣсненныхъ обстоятельствахъ грабили и посланниковъ царскихъ, и бояръ, и кто попадется. Подвиги этихъ витязей такого рода никогда не были запечатлѣны ни звѣрствомъ, ни жестокостію: они были удальцы и молодцы, а не злодѣи. Конечно, они не отличались и идеальнымъ рыцарствомъ; но можно ли было требовать рыцарства въ тѣ варварскія времена, когда и войны походили на разбой, когда само правосудіе было свирѣпо и кровожадно? Повторяемъ: наши удальцы не были по крайней мѣрѣ хуже всѣхъ другихъ этого рода людей, если не были лучше ихъ. При дурной общественности падшія души часто бываютъ самыя благороднѣйшія по своей

натурѣ,—и ужъ конечно скорѣе можно предполагать человѣчность, благородство и возвышенность въ покорителѣ Сибири, чѣмъ во многихъ изъ знатныхъ тунеядцевъ, богатыхъ только спѣсью, невѣжествомъ и низостью. Въ пѣсняхъ о Ермакѣ лучшее доказательство справедливости всего сказаннаго нами объ удалыхъ казакахъ. Теперь взглянемъ на удальцовъ собственно, въ глазахъ которыхъ удаль и успѣхъ извиняли всякое дѣло. Въ ихъ пѣсняхъ кромѣ удальства и молодечества, господствуетъ еще ироническая веселость, какъ одна изъ характеристическихъ чертъ народа русскаго. Слѣдующій отрывокъ изъ большой пѣсни можетъ служить лучшимъ примѣромъ такого рода сочиненій:

„Ахъ, доселева Усовъ и слыхомъ не слыхать, а слыхомъ ихъ не слыхать, видомъ не видать; а нонѣче Усы проявилися на Руси. Собиралися Усы на царевъ на кабакъ, а садилися молодцы во единый кругъ. Большой Усище и всѣмъ атаманъ, а Гришка Мурышка, дворянскій сынъ, самъ говоритъ, самъ усомъ шевелитъ: „А братцы Усы, удалы молодцы! А и лѣто проходитъ, зима настаетъ, а и надо чѣмъ Усамъ голова кормить, на палатяхъ спать и намъ сытымъ быть. Ахъ, нутетъ-ко, Усы за свои промыслы! А мечитеся по кузницамъ, накуйте топоры со подбородышами, а накуйте ножей по три четверти, а и сдѣлайте бердыши и рогатины и готовьтесь всѣ; ахъ, знаю я крестьянина—богатъ добрѣ, живетъ на высокой на горѣ, далеко въ сторонѣ, *хлѣба онъ не пашетъ, да рожь продаетъ, онъ деньги беретъ да въ кубышку кладетъ, онъ пива не варитъ и сосѣдей не поитъ, а прохожихъ-то людей ночевать не пущаетъ, а прямыя дороги не сказываетъ.* Ахъ, надо-де къ крестьянину умѣючи идти: а и полю идти — не посвистывати, а и по бору идти—не покашливати, ко двору его идти— не пошаркивати. Ахъ, у крестьянина-то въ домѣ борзые кобыли, и ограда крѣпка, избушка заперта, у крестьянина ворота крѣпко заперты“.

Теперь намъ слѣдовало бы перейдти къ собственно-лирической поэзіи; но это потребовало бы особой статьи, и мы ограничимся только тѣми пѣснями, которыя особенно характеризуютъ духъ народный; а для этого мы должны говорить и о пѣсняхъ эпическаго содержанія, по которыхъ преобладающій элементъ — лирическій, и которыя могутъ служить

зеркаломъ семейнаго быта древней Руси. Какъ отличительный характеръ эпической поэзіи — духъ удальства, отваги, молодечества, такъ отличительный характеръ лирической поэзіи—заунывность, тоска и грусть души сильной и мощной. Климатъ и географическое положеніе страны имѣютъ сильное вліяніе на образованіе характера націи. Ровное, степное положеніе Россіи, этотъ климатъ срединный: ни южный, ни сѣверный, ни жаркій, ни холодный: этотъ годъ, состоящій изъ краткаго лѣта, длинной осени и длинной зимы,—все это не могло не способствовать развитію въ русскомъ народѣ чувства безконечной и глубокой грусти, какъ основнаго мотива его поэзіи и музыки. Не забудьте, что колыбелью настоящей, коренной Руси были Новгородъ, Владиміръ, Рязань, Москва и Тверь, гдѣ небо такъ часто бываетъ свинцово и мелкій дождь однообразно падаетъ на скользкую траву и уличную слякоть... А продолжительная русская зима, съ ея трескучими морозами и усѣяннымъ звѣздами небомъ, съ пушистыми мятелями, залепляющими очи путника, и ея заунывнымъ вѣтромъ, свободно гуляющими по необозримой снѣжной равнинѣ, которой унылое однообразіе изрѣдка нарушается то печально зеленѣющеюся елкою, то нашимъ лѣсомъ съ бѣловатыми отъ инея сучьями!... Вонъ скачетъ удалая тройка; борода лихаго возничаго покрыта пушистымъ инеемъ; путникъ глубоко забился въ кибитку въ своей тяжелой шубѣ; колокольчикъ надрываетъ ему сердце своимъ утомительнымъ звономъ; ямщикъ даетъ вздохнуть родимымъ — медленно идутъ онѣ; онъ затягиваетъ заунывную пѣсню; впереди ничего—только безконечная снѣжная скатерть сливается вдали съ свинцовымъ небомъ... Да, тутъ необходима заунывная, протяжная пѣсня ямщика — душа упивается полнотою собственной грусти, ей такъ привольно въ однообразной мелодіи этихъ задушевныхъ звуковъ:

Что то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:

То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Присовокупите ко всему этому медленное, тяжкое, испытательное историческое развитіе Руси: междоусобія и темное владычество Татаръ, которыя пріучили русскаго крестьянина считать свою жизнь, свое поле, свою жену и дочь, и все свое скудное достояніе—чужою собственностію, ежеминутно готовою отойдти во владѣніе перваго, кто, съ желѣзомъ въ рукѣ, вздумаетъ объявить на нее свое право... Далѣе, кровавое самовластительство Грознаго, смуты междоцарствія—все это такъ гармонировало, и съ суровою зимою, и съ свинцовымъ небомъ холодной весны и печальной осени, и съ безконечностію ровныхъ и однообразныхъ степей... Вспомните бытъ русскаго крестьянина того времени, его дымную, неопрятную хижину, похожую на хлѣвъ, его поле, то орошаемое кровавымъ его пòтомъ, то пустое, незасѣянное, или затоптанное татарскими отрядами, а иногда и псовою охотою боярина... Вспомните привычку русскаго человѣка, зашибивъ деньгу, зарывать ее въ землю—и ходить въ лохмотьяхъ, ѣсть черствый хлѣбъ по поламъ съ мякиною, стоная и жалуясь на нищету, — и поймите причину этой привычки.... Если и этого мало, прочтите Кошихина,—и вамъ все будетъ ясно безъ комментаріевъ...

Но географія (положеніе и климатъ) и исторія страны еще ничто въ сравненіи съ семейнымъ бытомъ древней Руси, о которомъ мы теперь, сравнивая его съ нашимъ, современнымъ, поневолѣ говоримъ, какъ о чемъ-то такомъ, что́ трудно понять, чему трудно повѣрить. Семейный бытъ первый и непосредственный источникъ народной поэзіи. Русская народная эпическая поэзія какъ будто совсѣмъ не приняла въ себя элемента сердечной тоски и душевной грусти, составляющей основной элементъ лирической поэзіи. И это понятно: русская эпическая поэзія какъ-будто совсѣмъ обошла и миновала се-

мейный быть, посвятивъ себя преимущественно идеѣ своей народности въ общественномъ значеніи. И потому въ эпической поэзіи чувство отваги, удальства и молодечества составляетъ главный преобладающій мотивъ. Лирическая поэзія, напротивъ, вся посвящена семейному быту, вся выходитъ изъ него,—и потому она такъ грустна, такъ заунывна нерѣдко дышетъ такимъ сокрушительнымъ чувствомъ отчаянія и ожесточенія... Здѣсь кстати мы должны замѣтить, что грусть русской души имѣетъ особенный характеръ: русскій человѣкъ не расплывается въ грусти, не падаетъ подъ ея томительнымъ бременемъ, но упивается ея муками съ полнымъ сосредоточеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ своихъ. Грусть у него не мѣшаетъ ни ироніи, ни сарказму, ни буйному веселію, ни разгулу молодечества: это грусть души крѣпкой, мощной, несокрушимой. Все что могло бы обезсилить и уничтожить всякій другой народъ, все это только закалило русскій народъ, — и то, что сказалъ Пушкинъ о Россіи въ отношеніи къ ея борьбѣ съ Карломъ XII можно примѣнить къ Руси въ отношеніи ко всей ея исторіи:

Но въ искушеньяхъ долгой кары
Перетерпѣвъ судебъ удары
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Значительную часть семейныхъ пѣсень составляютъ такъ называемыя «свадебныя» пѣсни. Ихъ можно раздѣлить на два рода—на веселыя и печальныя. Въ первыхъ воспѣвается счастіе обрученныхъ и особенно обрученной. Слѣдующая пѣсня можетъ служить образцомъ веселыхъ свадебныхъ пѣсень:

Съ ранней, утренней зари
Стояли кони на дворѣ.
Никто про тѣхъ коней не знаетъ,
Никто про тѣхъ коней не вѣдаетъ,
Одна знала, спознала Машенька,
Машенька свѣтъ Ѳомовна.

Брала коней за поводы,
Ставила коней во стойла,
Сыпала сахаръ вмѣсто овса,
Лила сыту вмѣсто воды,
Отошедши, конямъ кланялась:
Ужь вы кушайте, пейте, кони мои!
Завтра поутру свезите меня
Далѣ, подалѣ отъ батюшки,
Ближе, поближе къ свекру въ домъ:
Далѣ, подалѣ отъ матушки,
Ближе, поближе, къ свекрови въ домъ.

Но въ пѣсняхъ такого рода личное чувство невѣстъ не принимало никакого участія: онѣ слагались явно безъ ихъ согласія, да и число ихъ слишкомъ невелико. Свадебныя печальныя пѣсни гораздо многочисленнѣе и болѣе исполнены поэзіи. Всѣ онѣ выражаютъ одно чувство—страхъ невѣсты къ будущему, безусловному властителю ея участи, ужасъ при мысли о свекрѣ и свекрови, горесть отъ разлуки съ домомъ отца и матери.

Свѣтелъ мѣсяцъ, родимый батюшка!
Красно солнышко, родима матушка!
Не бейте вы полу о полу;
Не хлопайте вы пирогъ о пирогъ,
Не пробивайте вы меня бѣдную,
Не давайте вы меня горькую,
На чужду дальню сторонушку,
Ко чужому отцу, ко чужой матери.
Какъ чужіе-то отецъ съ матерью
Безжалостливы уродилися:
Безъ огня у нихъ сердце разгорается,
Безъ соломы у нихъ гнѣвъ разсыпается,
Насижусь-то я, у нихъ бѣдная,
На концѣ стола дубоваго,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

И всѣ пѣсни, въ которыхъ изображается картина замужества, суть оправданіе этихъ зловѣщихъ предчувствій... И ни единой, ни единой, гдѣ бы жена не была жертвою насильственнаго брака, жестокости мужа и родни его...

Смѣшно было бы доказывать, что и въ старину у русскихъ людей любовь составляла одинъ изъ элементовъ жизни: любовь достояніе общечеловѣческое, и сердце дикаря сибирскаго такъ же бьется отъ нея, какъ и сердце образованнаго Европейца. Разница въ проявленіи и развитіи чувства, а не въ самомъ чувствѣ. Въ отношеніи же къ обществамъ, важно то, какъ смотритъ на чувство общество. Съ этой стороны, древняя Русь представляетъ зрѣлище не совсѣмъ отрадное: чѣмъ богаче народъ чувствомъ, тѣмъ ужаснѣе видѣть это чувство сдавленнымъ неправильно развившеюся общественностію. А что любовь на Руси могла быть не только поэтическою, но и даже граціозно-поэтическою, тому доказательствомъ можетъ служить слѣдующая прелестная пѣсня:

На горѣ стоитъ елочка
Подъ горою свѣтелочка,
Во свѣтелочкѣ Машенька.
Приходилъ къ ней батюшка,
Будилъ ее, побуживалъ:
Ты, Машенька, пойдемъ домой!
Ты, Ефимовна, пойдемъ домой!
  Я не йду и не слушаю:
Ночь темна и не мѣсячна,
Рѣки быстры, перевозовъ нѣтъ,
Лѣса темны, карауловъ нѣтъ.
  На горѣ стоитъ елочка,
Подъ горою свѣтелочка,
Во свѣтелочкѣ Машенька.
Приходила къ ней матушка,
Будила, побуживала:
Машенька, пойдемъ домой!
Ефимовна, пойдемъ домой!
  Я не йду и не слушаю;
Ночь темна и не мѣсячна,
Рѣки быстры, перевозовъ нѣтъ,
Лѣса темны, карауловъ нѣтъ.
  На горѣ стоитъ елочка,
Подъ горою свѣтелочка,

Во свѣтелочкѣ Машенька,
Приходитъ къ ней Петръ,
Петръ, сударь Петровичъ,
Будилъ ее, побуживалъ:
Машенька, пойдемъ домой!
Душа Ефимовна, пойдемъ домой!
Я иду сударь, и слушаю:
Ночь свѣтла и мѣсячна,
Рѣки тихи, перевозы есть,
Лѣса темны, караулы есть.

Но это, къ сожалѣнію, чуть ли не единственная пѣсня во всемъ сборникѣ г. Сахарова. Если и еще найдутся подобныя, то число ихъ слишкомъ незначительно въ сравненіи съ числомъ пѣсень, подобныхъ слѣдующимъ: Молодецъ—

. . . . держалъ красну дѣвицу за бѣлы ручки
И за хороши перстни злаченные,
Цаловалъ, миловалъ, ко сердцу прижималъ,
Называлъ красну дѣвицу животомъ своимъ
И проговоритъ дѣвица душа красная:
„Ты надежда мой, надежда сердечный другъ!
А не честь твоя хвала молодецкая,
Безъ числа больно надежда упиваешься,
А и ты мной красной дѣвицей похваляешься,
А и ты будто надо мной все насмѣхаешься“.
Ему туто молодцу за бѣду стало,
Какъ онъ бьетъ красну дѣвицу по бѣлу ея лицу.
Онъ расшибъ у дѣвицы лицо бѣлое,
Проливалъ у дѣвицы кровь горючую,
Замаралъ на дѣвицѣ платье цвѣтное.

Противорѣчіе общественности съ разумными потребностями и стремленіями человѣческой натуры становитъ общество въ трагическое положеніе. Въ нашей народной поэзіи бездна трагическихъ элементовъ, свидѣтельствующихъ о глубинѣ и страшной силѣ русскаго духа, который, попавшись въ противорѣчіе, мстилъ и себѣ самому и всему окружающему. Вотъ нѣсколько примѣровъ для подтвержденія этой мысли:

Хорошо тому на свѣтѣ жить,
У кого нѣтъ стыда въ глазахъ,

Нѣтъ стыда въ глазахъ, ни совѣсти
Нѣтъ у молодца заботушки,
Въ ретивомъ сердцѣ зазнобушки!
Зазнобилъ меня любезный другъ,
Зазнобилъ, сердце повысушилъ;
Безъ краснова солнышка высушилъ,
Безъ морозу сердце вызнобилъ.
Я сама дружка повысушу,
Не зельями, не кореньями,
Безъ мороза сердце вызноблю,
Безъ краснова солнца высушу!
Схороню тебя, мой миленькій,
Въ зеленомъ саду подъ грушею,
Я сама сяду, послушаю:
Не стонетъ ли мать сыра земля,
Не вскрывается ль гробова доска,
Не встаетъ ли мой сердечный другъ?
Зарости, моя могилушка
Ты травушкой, муравушкой!
Не достанься мой любезный другъ,
Ни дѣвушкамъ, ни молодушкамъ,
Ни своей змѣѣ полюбовницѣ!
Ты достанься, мой любезный другъ.
Сырой землѣ, гробовой доскѣ.

—

Во сыромъ-то бору брала Маша ягодки;
Она, бравши ягодки, заблудилася.
Заблудившись, пріаукнулась:
„Ты, ау, ау! милъ сердечный другъ!“
— Не аукайся, моя Машенька:
За мной ходятъ здѣсь три сторожа—
Первый сторожъ, тесть мой батюшка;
Другой сторожъ—теща матушка;
Третій сторожъ—молода жена.
Ты взойди-ка, взойди, туча грозная!
Ты убей-ко громомъ тестя-батюшку,
Молоньей ты сожги тещу матушку;
Лишь не бей ты, не жги молодой жены;
Съ молодой женой самъ я справлюся:
Я слезьми ее, слезьми вымочу,
Я кручинушкой жену высушу,

Во сыру землю положу ее;
А тебя, Машенька, за себя возьму.

—

Много бы можно было сказать о лирической поэзіи, много бы можно было привести примѣровъ; но для основательнаго и сосредоточеннаго обсуживанія такого обширнаго предмета нужна не журнальная статья, а отдѣльный трактатъ—плодъ изученія и обдуманнаго труда. Мы и такъ уже вышли изъ предѣловъ журнальной статьи, увлекшись занимательностію, важностію и обширностію предмета, доселѣ нетронутаго критикою и неизвѣстнаго публикѣ, и принуждены были обо многомъ сказать на скоро, и слегка, а многое и совсѣмъ пропустить: пѣсни хороводныя, святочныя, шуточныя или юмористическія, разгульныя, требовали бы особой статьи. По крайней мѣрѣ, мы утѣшаемъ себя мыслію, что первые заговорили о предметѣ, о которомъ другіе только восклицали.

———

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВЪ ПУСТЫНѢ, ИЛИ ОЗЕРО-МОРЕ. *Романъ Фенимора Купера. Переводъ съ англійскаго. Спб. 1841. Двѣ части.*

Такъ какъ Фениморъ Куперъ началъ писать романы уже послѣ Вальтеръ-Скотта, то и почитается его подражателемъ, или, по крайней мѣрѣ, замѣчательнымъ даже а послѣ Вальтеръ-Скотта романистомъ. Но это грубое заблужденіе—мнѣніе толпы, которая дѣлаетъ свои заключенія не изъ сущности самого дѣла, а изъ внѣшнихъ обстоятельствъ, т. е. не изъ того, какъ пишетъ тотъ или другой романистъ, но изъ того, когда онъ началъ писать, какъ расходятся его романы, кто ихъ хвалитъ, или кто бранитъ. Куперъ нисколько не ниже Вальтеръ-Скотта; уступая ему въ обиліи и многосложности содержанія, въ яркости красокъ, онъ превосходитъ его въ сосредоточенности чувства, которое мощно охватываетъ душу читателя, прежде, чѣмъ онъ это замѣтитъ; Куперъ превосходитъ Вальтеръ-Скотта тѣмъ, что, повидимому, изъ ничего создаетъ громадныя, величественныя зданія, и поражаетъ васъ видимою простотою матеріяловъ и бѣдностію средствъ, изъ которыхъ творитъ великое и необъятное. Яркая пестрота и многосложность дѣятельной, кипучей европейской жизни—сами подавали Вальтеръ-Скотту готовые и богатые матеріалы, но Куперъ на тѣсномъ пространствѣ па-

лубы умѣетъ завязать самую многосложную, и въ то же время самую простую драму, которой корни иногда скрываются въ почвѣ материка, а величавыя вѣтви осѣняютъ дѣвственную землю Америки. Эта драма невольно изумляетъ васъ своею силою, глубиною, энергіею, граціозностію, а между тѣмъ въ ней все такъ, повидимому, спокойно, неподвижно, мелко и обыкновенно!—Вспомните его «Лоцмана» и «Краснаго Корсара». Говоря ближе къ истинѣ,—Вальтеръ-Скотта не должно и сравнивать съ Куперомъ, такъ же какъ Купера съ Вальтеръ-Скоттомъ: каждый изъ нихъ великъ по своему, каждый самобытенъ и оригиналенъ въ высшей степени, а по силѣ творческой дѣятельности, оба они принадлежатъ къ величайшимъ міровымъ явленіямъ въ сферѣ искусства.

Не мало оригинальности придаетъ генію Купера еще и то, что Куперъ—гражданинъ молодаго государства, возникшаго на молодой землѣ, нисколько не похожей на нашъ старый свѣтъ. Вслѣдствіе этого обстоятельства, на созданіяхъ Купера лежитъ какой-то особый отпечатокъ: съ мыслію о нихъ тотчасъ переносишься въ дѣвственные лѣса Америки, на ея необъятныя степи, покрытыя травою выше человѣческаго роста,—степи, на которыхъ бродятъ стада бизоновъ, таятся краснокожія дѣти Великаго Духа, ведущія непримиримую брань между собою съ одолѣвающими ихъ блѣднолицыми людьми... Море еще едва ли не больше связывается съ мыслію о романахъ Купера: море и корабль — это его родина, тутъ онъ у себя дома; ему извѣстно названіе каждой веревочки на кораблѣ, онъ понимаетъ, какъ самый опытный лоцманъ, каждое движеніе корабля; какъ искусный капитанъ, онъ умѣетъ управлять имъ и, нападая на непріятельское судно и убѣгая отъ него, онъ сыплетъ любезными его слуху терминами и теряется въ описаніяхъ маневровъ корабля съ такимъ же удовольствіемъ, какъ Вальтеръ-Скоттъ въ описаніи какого-нибудь древняго костюма, или мрачной готической залы.

Много лицъ, исполненныхъ оригинальности и интереса, создала могучая кисть великаго Купера: стоитъ только упомянуть о Джонъ-Полѣ, Красномъ Корсарѣ и Харвеѣ-Биршѣ, чтобъ разомъ потеряться въ созерцаніи безконечнаго... Но ни одно лицо во множествѣ дивно созданныхъ имъ лицъ не возбуждаетъ столько удивленія и участія въ читателѣ, какъ колоссальный образъ того великаго въ естественной простотѣ своей существа, котораго Куперъ сдѣлалъ героемъ четырехъ романовъ своихъ: «Послѣдняго изъ Могиканъ», «Путеводителя въ пустынѣ», «Піоперъ» и «Степей». Самъ творецъ его такъ увлеченъ и очарованъ возникшимъ въ его фантазіи дивнымъ образомъ, такъ горячо любитъ это лучшее созданіе своего генія,—что, изобразивъ его въ трехъ романахъ, какъ лице безъ котораго ходъ дѣйствія остановился бы, задумалъ создать новый романъ, въ которомъ онъ былъ бы героемъ,—и изъ всего этого вышла чудная тетралогія, великая и огромная поэма въ четырехъ частяхъ. Долго готовился Куперъ къ этому роману, какъ къ великому подвигу; много лѣтъ прошло между тою минутою, когда впервые блеснула въ душѣ его идея «Путеводителя», и тою, когда онъ написалъ его:—такъ глубоко сознавалъ Куперъ важность задуманнаго имъ созданія, и за то, едва ли, между всѣми извѣстными романами, можно указать на твореніе, которое отличалось бы такою глубиною идеи, смѣлостію замысла, полнотою жизни и зрѣлостію генія! Многія сцены «Путеводителя» были бы украшеніемъ любой драмѣ Шекспира. Основная идея его—одинъ изъ величайшихъ и таинственныхъ актовъ человѣческаго духа: «самоотреченіе,» въ этомъ отношеніи, его романъ есть апотеоза самоотреченія. Но довольно: «Путеводитель въ Пустынѣ», такое твореніе, о которомъ должно или говорить все, или ничего не говорить. Мы предоставляемъ себѣ удовольствіе въ скоромъ времени поговорить, въ особой статьѣ, о «Путеводителѣ»; а поговорить будетъ о чемъ: жизнь и ея неразгаданныя таинства,

опоэтизированныя въ романѣ, дадутъ самый лучшій предметъ для нашихъ словъ, а эпиграфъ къ роману: «Здѣсь сердце можетъ дать полезный урокъ головѣ—и наука будетъ мудрѣе безъ книгъ» настроитъ тонъ нашей статьи...

«Путеводитель въ Пустынѣ» вышелъ въ свѣтъ только въ прошломъ году, и въ прошломъ же году былъ переведенъ и напечатанъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», а теперь является отдѣльною книгою. Извѣстно, что и Вальтеръ-Скотту не очень-то посчастливилось въ русскихъ переложеніяхъ его романовъ, Куперъ же просто несчастенъ въ этомъ отношеніи: только «Лоцманъ» и Красный Корсаръ» переведены порядочно, другіе же кое-какъ; «Послѣдній изъ Могиканъ» и «Степи» крайне-дурно, а «Браво» и «Американскіе Пуритане»—безсмысленно. Переводъ «Путеводителя» вполнѣ вознаграждаетъ Купера за тяжкія истязанія его на русскомъ языкѣ: это переводъ, во первыхъ, съ подлинника, во вторыхъ поэтически-вѣрный духу своего оригинала, воспроизведеннаго съ художественнымъ тактомъ.

ПАНТЕОНЪ РУССКАГО И ВСѢХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. *№ IX. Спб. 1840.*

Мы было не думали скоро говорить о «Пантеонѣ», потому что примѣчательное рѣдко является во всей русской литературѣ, не только въ какомъ-нибудь одномъ повременномъ изданіи; но «Пантеонъ» невольно заставляетъ насъ говорить о себѣ, такъ же, какъ невольно заставляетъ публику читать себя. Въ послѣдней книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за прошлый годъ, вышедшей назадъ тому какихъ-нибудь двѣ недѣли, мы говорили о «Петербургскихъ Квартирахъ» г. Кони, гдѣ такъ превосходно изображенъ взяточникъ-газетчикъ съ одною изъ своихъ тварей, которая служитъ у него жидомъ-маклеромъ въ его лихоимственныхъ операціяхъ; а вотъ теперь «Пан-

теонъ» является съ драмой Шекспира «Цимбелинъ»... Двѣ драмы Шекспира въ одинъ годъ! А между тѣмъ, въ первыхъ книжкахъ «Пантеона на 1841 годъ», говорятъ, напечатаются драма Шекспира «Ромео и Юлія», поэтически-переведенная г. Катковымъ, и «Донъ Карлосъ», драма Шиллера, въ переводѣ г. Ободовскаго. Удивительно ли послѣ этого, что на «Пантеонъ» такъ сердятся два изданія — «Репертуаръ» и «Сѣверная Пчела»? Первому разумѣется, тяжело умирать скоропостижно, во цвѣтѣ лѣтъ, безъ читателей; второй разумѣется, больно видѣть смерть своего protegè... Конечно, по чувству человѣческому, намъ жаль «Репертуара», и мы, видя коварную и торжествующую улыбку «Пантеона», повторяемъ съ невольною грустью: «кошкѣ игрушки—мышкѣ слезки»! Но съ другой стороны, и не долженъ ли былъ «Репертуаръ» ожидать себѣ такой горькой и плачевной участи? Вѣдь ларчикъ открывался просто! «Репертуару» очень легко было сознать свое невыгодное положеніе относительно «Пантеона»: ему стояло только сообразить для этого слѣдующія обстоятельства:

Оба они—«Репертуаръ» и «Пантеонъ» изданія драматическія; слѣдовательно существованіе одного при другомъ возможно только при равномъ достоинствѣ содержанія обоихъ изданій; но гдѣ жь это равенство въ достоинствѣ, когда «Репертуаръ» продолжалъ наполняться только игранными на русскихъ театрахъ піесами, слѣдовательно, или плохими оригинальными quasi-драмами, или плохими переводами и передѣлками французскихъ водевилей, — а «Пантеонъ» наполнялся хорошими оригинальными драматическими произведеніями («Торжество Добродѣтели», «Благородные Люди», «Петербургскія Квартиры»), хорошими переводами драмъ, имѣвшихъ успѣхъ на сценѣ («Велизарій»), драмами Шекспира («Буря» и «Цимбелинъ», драмами Вернера, Больвера и другихъ; повѣстями, стихотвореніями, переводными статьями о театрахъ всего міра, не исключая китайскаго и пи-

дійскаго. Украшаясь приложеніями виньетъ, картинъ, портретовъ замѣчательныхъ художниковъ, онъ вздумалъ еще являться къ публикѣ съ какимъ-то «Текущимъ Репертуаромъ», т. е. давать публикѣ, какъ безденежное приложеніе, піесы игранныя и имѣвшія на сценѣ успѣхъ, т. е., то, чѣмъ живетъ «Репертуаръ» г. Песоцкаго.

Что жь оставалось дѣлать «Репертуару», чтобъ спасти себя отъ конечной гибели, которою грозилъ ему опасный соперникъ? — Оставалось одно только средство: наполняясь огромными и (благодаря игрѣ талантливыхъ артистовъ) имѣвшимъ на сценѣ успѣхъ вздоромъ, дарить публику хорошими піесами, въ видѣ приложеній. «Репертуаръ» и попробовалъ было это сдѣлать, — и на первый случай сдѣлалъ хорошо, выдавъ въ видѣ приложенія прозаическій переводъ драмы Шекспира «Антоній и Клеопатра»; но этого было слишкомъ недостаточно, чтобъ сравняться съ «Пантеономъ», котораго каждая книжка толще трехъ книжекъ «Репертуара» и у котораго въ каждой книжкѣ есть что-нибудь примѣчательное. Мѣсяцъ спустя, «Репертуаръ» выдавалъ особымъ приложеніемъ «Клевету», комедію Скриба; но кромѣ того, что піеса эта не Богъ знаетъ что такое, — она уже была напечатана въ «Пантеонѣ».

Тогда «Репертуаръ» по неволѣ былъ принужденъ отдаться на волю случая. Мало того, что тощія его тетрадки продолжали наполняться по прежнему невиннымъ вздоромъ, но онѣ стали вдругъ запаздывать, отставать. Прежде съ ними этого не случалось: аккуратность въ выходѣ составляла ихъ главное, единственное достоинство,—и потому, это хромавье на обѣ ноги было всѣми понято, какъ истощеніе въ силахъ и средствахъ... Чтобъ поправить разстроенное состояніе своего изданія, г. Песоцкій пустилъ въ немъ хозяйничать разныхъ юношей, которые точатъ свои перья на тупыхъ куплетцахъ и полемическихъ ратованіяхъ съ людьми, не хотящими замѣчать ни ихъ писку, ни ихъ существованія. Между ними

особенно отличается какой-то господинъ, который одну половину тощенькой тетрадки «Репертуара» наполняетъ своимъ ошиканнымъ водевилемъ, а другую — глубокомысленными разсужденіями о томъ, отчего его водевиль былъ ошиканъ, тогда какъ извѣстный задушевный пріятель его, господинъ такой-то, подпустилъ въ него своего остроумія... Но довольно объ этомъ...

Подъ «Цимбелиномъ» стоитъ имя г. Бородина, въ первый разъ еще являющееся на аренѣ литературы, — и мы тѣмъ болѣе почитаемъ себя обязанными высказать свое мнѣніе о достоинствѣ перевода. Очень жалѣемъ, что судъ нашъ не совсѣмъ въ пользу вновь явившагося переводчика. Кажется, г. Бородинъ не постигъ въ драмахъ Шекспира одной изъ важнѣйшихъ сторонъ ихъ — того лиризма, который проступаетъ сквозь драматизмъ и сообщаетъ ему играніе жизни, какъ румянецъ—лицу прекрасной дѣвушки, какъ блескъ и сіяніе—ея чернымъ или голубымъ глазамъ... Замѣтно, что онъ трудился добросовѣстно и отчетливо, но въ его трудѣ—трудъ и работа виднѣе поэзіи, и піеса Шекспира является богатою содержаніемъ повѣстью во вкусѣ среднихъ вѣковъ, изложенною въ драматической формѣ—не больше. Это какое-то женское лице, съ правильными чертами, красивое, но безъ улыбки, безъ жизни, съ тусклыми стеклянными глазами. Сверхъ того, переводчикъ (важное обстоятельство!) не овладѣлъ стихомъ, который въ иныхъ мѣстахъ рѣшительно не слушается его, и выражаетъ или совсѣмъ другой смыслъ, нежели какой хотѣлъ сообщить ему переводчикъ, или затемняетъ тотъ смыслъ, который онъ сообщилъ ему.

Очень интересна въ XI книжкѣ «Пантеона» переводная статья объ испанскомъ драматургѣ конца XVI и первой половины XVII вѣка, Тирзо де-Молино. Въ своемъ родѣ, очень любопытна маленькая статейка (отрывокъ изъ письма)—«Театръ Китайцевъ». О, милый мандаринскій народъ! Какъ мы любимъ тебя, съ какою любовію занимаемся всѣмъ, что къ тебѣ отно-

сится! какъ охотно говоримъ о тебѣ, какъ неохотно умолкаемъ!... Вотъ интересная черта китайскаго театра, которую заимствуемъ изъ статьи «Пантеона». «Нерѣдко актеры обращаются къ партеру съ просьбами о заступничествѣ противъ тирана піесы, и когда получаютъ отказъ, осыпаютъ зрителей бранными словами, и это отмѣнно-пріятно мандаринамъ. «Ругай!» говорятъ они, «только занимайся нами, хотя бы нашей глупостью: все хорошо! Это обращаетъ на насъ вниманіе черни и даетъ барышъ... Кстати: какъ во всемъ вѣрны себѣ нравы мандариновъ! Мы получили на дняхъ письмо изъ Пекина отъ одного пріятеля, недавно отправившагося туда по долгу службы: пріятель описываетъ намъ китайскую журналистику и увѣряетъ (кажется, не шутя), будто тамъ бездарные издатели стараются дать ходъ своему плохому изданію тѣмъ, что возглашаютъ никѣмъ до сихъ поръ неслыханную дичь, называя бѣлое чернымъ, а черное бѣлымъ; ругаютъ на-поваль все отличенное талантомъ и жизнію въ литературахъ другихъ народовъ, и превозносятъ до небесъ мертвыя, какъ церемонія, издѣлія своихъ мандариновъ: далѣе, чтобъ обратить на себя особенное вниманіе, пускаются на всевозможныя штуки — кувыркаются, высовываютъ языки, лаютъ по-собачьи, мяучатъ по-кошачьи, острятъ по мужицки, наконецъ, ругаютъ изданія, имѣющія большой ходъ у сосѣднихъ народовъ и, ругая ихъ, валяются у нихъ же въ ногахъ и лижутъ ихъ, чтобъ эти изданія вступили съ ними въ споръ, или хоть бы просто ругали ихъ, чтобъ только дать имъ тѣмъ извѣстность, вопія неистово: «Ругай! только занимайся нами, хотя бы нашей глупостью: все хорошо! Это обращаетъ на насъ вниманіе черни и доставляетъ барышъ!»—Подлинно, дивны нравы мандариновъ!...

ЦЫНЪ КІУ-ТОНГЪ (,) ИЛИ ТРИ ДОБРЫЯ ДѢЛА ДУХА ТЬМЫ. *Фантастическій романъ въ четырехъ частяхъ, Р. Зотова. Спб. 1840.*

Ба! да вотъ и китайскій романъ!... О счастіе! романъ мандаринскій! настоящій, неподдѣльный, истинный китайскій романъ! Какое блаженство!... Талантливый и многоуважаемый нами г. Р. Зотовъ только издатель этой книги, вышедшей въ небесной, или срединемной имперіи, и переведенной на русскій языкъ однимъ промышленникомъ, живущимъ въ Кяхтѣ. Все это превосходно и увлекательно изложено въ предисловіи къ роману:—обстоятельство, которое и заставляетъ насъ сдѣлать изъ него слѣдующую выписку.

„Недавно въ небесной или срединемной имперіи, которую мы почему-то называемъ Китаемъ, вышла книга: *Цынъ-Кіу-Тонгъ*, или *три добрыя дѣла духа тьмы*. Книгу эту написалъ одинъ изъ ученыхъ кандидатовъ, недавно возведенный въ 5-ю или послѣднюю степень мандариновъ. Хотя мы привыкли слово *мандаринъ* принимать въ значеніи русскаго слова вельможа, но это большая ошибка. Только первокласные мандарины, то есть имѣющіе пять шариковъ на шапкѣ, могутъ идти на равнѣ съ нашими вельможами; прочіе же, начиная съ 2-го и до 5-го класса, постепенно переходятъ въ значеніе нашихъ сенаторовъ директоровъ департаментовъ, губернаторовъ и кончаются (?) начальниками отдѣленій и вице губернаторами (!!). А какъ въ Китаѣ пишутъ книги не одни ученые, но даже первѣйшіе сановники государства, *то отъ того и тамъ* ремесло *это* и не въ такомъ униженіи, какъ у иныхъ западныхъ народовъ, гдѣ аристократическое общество никогда не рѣшится принять въ свой кругъ писателя; гдѣ журналистика въ самыхъ грязныхъ рукахъ и гдѣ званіе литератора самая дурная рекомендація для общественной довѣренности и государственной службы, гдѣ всякое правительственное полулицо изкоса смотритъ на всякаго автора и при всякомъ случаѣ старается истребить его, какъ созданіе вредное и ничтожное. (Какъ при этомъ случаѣ не вспомнить съ истинною и благоговѣйною признательностію, что у насъ на святой Руси, Державинъ, Дмитріевъ, Карамзинъ и Жуковскій, чрезъ литературныя свои дарованія были взысканы отличными милостями монарховъ!)

Одну изъ удивительнѣйшихъ рѣдкостей при этой китайской книгѣ, составляетъ еще и то, что авторъ, при изданіи ея въ свѣтъ, не на-

печаталъ своего имени. Онъ только сказалъ въ концѣ, что *„все сіе сочинялъ бывшій кандидатъ пекинскаго училища, который за самую сію книгу возведенъ на степень мандарина 5-го разряда"*. Скромность ли *это*, или авторско(і)й разсчетъ, чтобъ возбудить любопытство публики, *это* составляетъ тайну сочинителя, или литературный обычай небесной имперіи. У насъ, въ Европѣ, рѣдко скрываютъ свое имя, и подъ самыми ничтожными статьями видимъ мы роковыя заглавныя литеры фамилій, которыя къ сожалѣнію, слишкомъ извѣстны въ нашей литературѣ, чтобъ нужно было выставлять полныя имена, которыя составляютъ иногда грязныя пятна для человѣчества и словесности. Скрываютъ же въ европейской словесности только тѣ имена, которыя совѣстно объявить. У Китайцевъ же совсѣмъ другіе нравы, обычаи и понятія, къ которымъ намъ трудно примѣнится. У нихъ нѣтъ такого множества журналовъ, нѣтъ грязныхъ полемическихъ пінвокъ, нѣтъ безсовѣстныхъ критикъ, нѣтъ бездушныхъ рецензентовъ, нѣтъ литературныхъ акціонеровъ, нѣтъ общества для битья по карманамъ. Жадность къ личному прибытку конечно общая добродѣтель всѣхъ народовъ, но по крайней мѣрѣ она не вездѣ проявляется въ наглом, грязномъ, отвратительномъ видѣ. Въ Китаѣ само правительство исполняетъ обязанности европейскихъ журналистовъ. Тамъ верховный литературный судъ первокласныхъ мандариновъ рѣшаетъ, хороша ли книга, или нѣтъ; и если уже она выпущена въ свѣтъ, то въ Китаѣ это значитъ, что она хороша (;) иначе ее никто и не видалъ бы.

Слѣдовательно, книга *Цынъ-Кіу-Тонгъ* признана была хорошею, и авторъ за сочиненіе былъ награжденъ даже слѣдующею гражданскою степенью. Какимъ образомъ она недавно попала въ руки одному русскому промышленнику, живущему въ Кяхтѣ, и вѣренъ ли этотъ переводъ:—все это не много загадочно (Ч. I. стр. 9—14).

Дальнѣйшее разсмотрѣніе этой дѣйствительно интересной книги, за сочиненіе которой къ колпаку автора стояло бы привѣсить пять желтыхъ бубенчиковъ и такимъ образомъ возвести его въ мандарины 5-й степени,—дальнѣйшее разсмотрѣніе этой книги еще болѣе убѣдитъ всѣхъ и каждаго, что она—дѣйствительное китайское твореніе и вышла изъ глубочайшихъ нѣдръ духа мандарина 5-й степени. Надобно сказать прежде всего, что мысль ея—самая оригинальная и счастливая, хотя и не самая новая, и можно съ достовѣрностію заключить, что мандаринъ 5-го разряда укралъ ее изъ какой-

нибудь европейской книги; по крайней мѣрѣ, нисколько нельзя сомнѣваться въ томъ, чтобъ онъ не понюхалъ, хоть издалека, Мильтонова «Потеряннаго Рая» въ русскомъ прозаическомъ переводѣ съ лубочными картинками, замысловато изображающими разныя райскія и адскія сцены; не менѣе того подозрительно, что оный мандаринъ съ пятью бубенчиками слышалъ о сказкѣ извѣстнаго европейскаго писателя, Вольтера «Микромегасъ» и о поэмѣ европейскаго поэта Томса Мура «Лалла-Рукъ», изъ которой другой европейскій поэтъ такъ прекрасно перевелъ на русскій языкъ отрывокъ «Пери и Ангелъ». Нельзя не предполагать также и другихъ европейскихъ источниковъ, которыхъ наскоро не перечтешь, а мы торопимся представить благосклонному вниманію публики великое мандаринское твореніе. Что́ же до выполненія основной мысли, оно чисто-китайское, и Европа не принимала въ немъ ни малѣйшаго участія! Въ чемъ же состоитъ основная мысль? спрашиваете вы. А вотъ, извольте видѣть: по китайской миѳологіи, владыка и производитель всего міра есть богдыханъ Тіенъ, такъ же, какъ по греческой — тучегонитель Зевесъ. И вотъ отъ богдыхана Тіена отложился одинъ изъ главныхъ его мандариновъ 5-го класса, и увлекъ съ собою, въ своемъ возстаніи, цѣлыя толпы прежде покорныхъ мандариновъ низшихъ степеней, отъ 5-й до 14-й включительно, за что и получилъ имя Шу-Тіена, т. е. противника богдыхана, а во владѣніе—хаосъ. Одному изъ падшихъ мандариновъ, именно Цынъ-Кіу-Тонгу, пришла въ голову фантазія сдѣлать три добрыя дѣла, но такъ, безъ всякой цѣли; хоть ему за это и предлагалось прощеніе, но онъ похвастался что соглашается быть прощенъ только вмѣстѣ со всѣми товарищами своего паденія, а не то—не хочетъ и слышать о прощеніи. Подобная гордость придаетъ ему блескъ какой-то благородной и величественной поэзіи и возбуждаетъ къ нему больше удивленія и участія, чѣмъ къ безмолвно-покорнымъ мандаринамъ; но мы увидимъ, что это было только

хвастовство, и что китайскимъ мандаринамъ ни въ чемъ нельзя вѣрить. Цынъ-Кіу-Тонгъ прилетаетъ на землю, погружается въ жерло огнедышущей горы, гдѣ и встрѣчается съ однимъ изъ своихъ товарищей, который тутъ добывалъ золото, чтобъ посредствомъ его дѣлать зло людямъ. Цынъ-Кіу-Тунгъ съеживаетъ свое огромное тѣло въ малую точку и изъ желѣза дѣлаетъ себѣ тѣло, похожее фигурою на человѣческое. Тутъ начинаетъ онъ творить добро, давая людямъ золото; но изъ его добра вездѣ выходитъ зло. Все это описывается въ цѣлыхъ двухъ частяхъ; во всемъ этомъ нѣтъ ни тѣни фантастическаго, но все это имѣетъ видъ холодной, беззубой и скучной сатиры на общіе недостатки людей. Цынъ-Кіу-Тонгъ во все это время дѣйствуетъ въ Китаѣ, большею частію въ Кантонѣ, гдѣ сталкивается съ Англичанами. Прочтя энциклопедистовъ XVIII вѣка, онъ такъ осердился на Западъ, что не хотѣлъ его и видѣть, предпочитая ему невѣжественный Востокъ... Ужь и видно, что китайскій чортъ? Однакожь онъ попадаетъ и въ Англію; но, какъ Китаецъ, ничего хорошаго въ ней не видитъ. Съ третьей части дѣйствіе начинаетъ идти живѣе, и — возьмись за этотъ предметъ, во-первыхъ, талантъ, а во-вторыхъ, талантъ европейскій, книга вышла бы преинтересная, преувлекательная; но китайскій взглядъ на вещи и всесовершеннѣйшая бездарность испортили все дѣло. Цынъ-Кіу-Тонгъ входитъ въ тѣло только-что умершаго сына одного мандарина съ пятью желтыми шариками на колпакѣ, и такимъ образомъ знакомится съ природою человѣка, испытываетъ на себѣ дѣйствіе страстей и всѣ возможныя ощущенія, физическія и духовныя, поколику послѣднія возможны для Китайца. Онъ влюбляется, женится, волочится, ѣстъ, пьетъ, спитъ, и между всѣми этими занятіями успѣваетъ сдѣлать три добрыя дѣла. Первое состоитъ... въ чемъ бы вы думали? въ томъ, что онъ казнитъ литераторовъ срединной имперіи, какъ безнравственныхъ сочинителей. Несмотря на аляповатое изображеніе и

грубыя, неправильныя черты, въ трехъ китайскихъ писателяхъ можно признать трехъ европейскихъ—именно Виктора Гюго, Ёжена Сю и Жоржъ Занда. Всѣ они осуждаются къ висѣлицѣ—по китайски! В. Гюго казненъ за то, что варваровъ предковъ своихъ изображалъ варварами, а не людьми просвѣщенными и образованными, и за то, что выставлялъ въ ужасномъ видѣ ужасные законы древнихъ временъ. Мы могли бы и умолчать о подобномъ невинномъ вздорѣ, но намъ хочется указать читателямъ достоинство китайскаго взляда на вещи: у Китайцевъ хорошо не хорошее, а старое и заплесневѣлое; стоячая холодная вода для нихъ высшій идеалъ общественной жизни; какъ бы ни былъ ужасенъ, неразуменъ, гнусенъ тотъ или другой законъ, они его никогда неотмѣнятъ, потому что уважаютъ не разумъ, не жизнь, не человѣчество, а только свое старье, какъ бы оно глупо ни было. Наказавъ бамбукомъ и висѣлицею Гюго, Сю и Зандъ, Цынъ-Кіу-Тонгъ награждаетъ учениковъ пекинскаго училища—да не за познанія (ибо онъ видѣлъ, что они рѣшительно ничего не знаютъ, кромѣ глупыхъ китайскихъ книгъ, и не могли ему отвѣтить на вопросъ—что такое жаръ и холодъ), и не за умъ и таланты (ибо онъ видѣлъ, что то и другое замѣнено у нихъ ослинымъ прилежаніемъ и врожденнымъ каждому Китайцу плутовствомъ), а за покорность и скромность... Какъ виденъ Китаецъ въ этомъ поступкѣ!

Они немножко и дерутъ
За то ужь въ ротъ хмѣльнаго не берутъ!

Вотъ какъ рекомендовалъ ихъ Дзюнь Вапу, котораго образъ принялъ Цынъ-Кіу-Тонгъ, начальникъ ихъ, мандаринъ Ли-Лао, большой плутъ и, подобно всѣмъ Китайцамъ, великій казнокрадъ и взяточникъ:

„Вы изволите видѣть, какъ всѣ чиновники, подъ моимъ личнымъ начальствомъ состоящіе, стройны, скромны и благочинны, какъ цвѣтущая аллея прекрасныхъ деревъ нашего сада. *Никто изъ нихъ не смѣетъ сказать при мнѣ ни слова, ни кто не будетъ ни въ чемъ противорѣчить мнѣ, никто не сдѣлаетъ лишняго противу предни-*

санныхъ правилъ. За то это все *чиновники* мои, вѣрные охранители порядка въ народномъ просвѣщеніи, безкорыстные блюстители чистоты правилъ, строгіе исполнители тайнаго правосудія и явныхъ милостей. Они во всемъ берутъ примѣръ съ меня, и я буду самымъ счастливымъ мандариномъ, если удостоюсь быть тѣнью свѣтлѣйшаго Дзюнь-Вана... (Ч. III. стр. 201).

Какая отвратительная картина униженія, лести, подлости, покорной рутины, безотвѣтной бездарности. . . Настоящій Китай! Но за тѣмъ слѣдуютъ нападки на цѣховыхъ литераторовъ, которыхъ вся вина состоитъ въ томъ, что въ нихъ есть дарованіе, нетерпимое китайскою нравственностью»...

Второе доброе дѣло, сдѣланное Цынъ-Кіу-Тонгомъ состояло въ томъ, что онъ отрекся отъ дѣвушки, которую любилъ и которая его любила, и предалъ ее въ холодныя и нечистыя объятія старика, котораго она не любила и супружескія отношенія съ которымъ, слѣдовательно, были для нея поруганіемъ, ибо только одна любовь, какъ преобладающее духовное начало, освящаетъ и самый союзъ чувственный. Но Китайцы думаютъ объ этомъ навыворотъ, задомъ напередъ, какъ и обо всемъ, подлежащемъ р а з у м у, который замѣненъ у нихъ ц е р е м о н і е ю: удивительно ли, что гнусное дѣйствіе китайскаго чорта, Цынъ Кіу-Тонга, они сочли благороднымъ и благимъ?.. Третье доброе дѣло Цынъ-Кіу-Тонга состояло въ томъ, что онъ уронилъ слезу, изъ которой зародилось солнце, и, забывъ свое хвастовство не принимать прощенія иначе, какъ со всѣми товарищами своего паденія, вѣроломно воспользовался соблазнительными предложеніями богдыхана Тіена... Ужь и видно, что китайскій чортъ — ни искры благородства и чести!...

Тѣмъ сказка и кончается: на этомъ мѣстѣ и закрываетъ книгу глубоко-скучающій читатель. Мы въ началѣ статьи и указали на европейскія сочиненія, которыя подали китайскому мандарину съ пятью бубенчиками основную мысль книги, а объ изложеніи сказали, что оно оригинально, т. е. чисто китайское; но виноваты—мы ошиблись: по «сочинительскимъ» замашкамъ, оно есть подражаніе извѣстному россійскому со-

чиненію съ раскрашенными лубочными картинками «Не любо, не слушай, а лгать не мѣшай»; по краскамъ и вообще художественной отдѣлкѣ, оно есть подражаніе тоже извѣстнымъ россійскимъ сочиненіямъ, вышедшимъ изъ народныхъ суздальскихъ литографій, а именно: «Какъ мыши кота погребаютъ» и «Какъ пришелъ Яковъ, ерша смякалъ»...

Что касается до перевода этого китайскаго уродца 5-класса,—онъ довольно плохъ. Замѣтно, что кяхтинскій промышленникъ не знаетъ первыхъ основаній русскаго языка, не знаетъ одного изъ самыхъ главныхъ правилъ русскаго синтаксиса, что дѣепричастіе придаточнаго и глаголъ главнаго предложенія должны непремѣнно имѣть одно подлежащее, и что иначе будетъ выходить галиматья. По этой причинѣ кяхтинскій промышленникъ безпрестанно впадаетъ въ китаизмы,—чему слѣдуютъ доказательства: «А потому онъ продолжалъ сгущеніе массы своего тѣла и наконецъ достигъ до того, что, опустясь (?) почти къ самой землѣ, горизонтъ его зрѣнія ограничивался уже небольшою дугою всего шара» (ч. 1 стр. 86). Кто же опускался къ землѣ—онъ, или горизонтъ? — «Дѣйствительно, употребивъ небольшое усиліе, ходъ съ трескомъ развалился» (ч. 1 стр. 102). Ходъ употребилъ небольшое усиліе и съ трескомъ развалился... очень хорошо!—«Обхватя толстый сукъ, на которомъ онъ сидѣлъ, глаза его приходились у самой шелковой ткани» (ч. III. стр. 168). Глаза обхватили толстый сукъ и пришлись у самой шелковой ткани... Превосходно! — Ну, кяхтинскіе промышленники не похвалятся особенною грамотностію!

ПРОТРЕТНАЯ И БІОГРАФИЧЕСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ СЛОВЕСНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЪ И ИСКУССТВЪ ВЪ РОССІИ. 1. ПУШКИНЪ И БРЮЛЛОВЪ. *Спб. 1841.*

Въ декабрѣ мѣсяцѣ прошедшаго года вышла въ Петербургѣ огромная программа, всѣхъ удивившая, многихъ на-

смѣшившая, а нѣкоторыхъ и оскорбившая. Программа эта гласила, что-де будетъ издаваться «Портретная Галлерея» всѣхъ великихъ людей Земли Русскія, съ ихъ жизнеописаніями. Дѣло доброе! сказали мы, думая увидѣть портреты Петра Великаго, и его сподвижниковъ, Меншикова, Миниха, Остермана и другихъ; Екатерины Великой, Румянцова, Суворова, Потемкина, Ломоносова, Державина, Фонъ-Визина и прочихъ знаменитыхъ и замѣчательныхъ лицъ ея царствованія; изъ новѣйшихъ—Озерова, Батюшкова (котораго можно считать какъ бы умершимъ), Веневитинова, Дельвига и наконецъ Пушкина; — но каково же было наше удивленіе, когда мы замѣтили, что, во-первыхъ, въ программѣ помѣщены имена большею частію живыхъ лицъ, которыхъ біографіи странно было бы читать, и во вторыхъ, что многіе изъ великостей и знаменитостей напоминаютъ собою стихи Крылова:

Какіе крохотны коровки!
Есть, право, менѣе булавочной головки!

Удивительно ли, послѣ этого, что многіе были оскорблены внесеніемъ ихъ именъ въ забавную програму,—потому ли, что не считали себя великими людьми, или потому-что находили для себя какъ-то страннымъ красоваться въ ряду нѣкоторыхъ «великихъ людей»... Но вотъ наконецъ вышла первая тетрадь съ портретами и біографіями Пушкина и Брюлова. Взглянемъ на нее.

Во первыхъ, что за странное заглавіе: «Портретная и Біографическая Галлерея Словесности, Наукъ, Художествъ и искусствъ въ Россіи? Есть ли тутъ смыслъ и выражаетъ ли это содержаніе тетради? Нисколько! — Потомъ, что такое—художества и искусства? неужели это не одно и то же, а два разные предмета?.. Или, можетъ быть, чѣмъ больше словъ въ заглавіи, хотя бы и наудачу поставленныхъ, тѣмъ эффектнѣе дѣйствуетъ это заглавіе на добродушіе того круга публики, для котораго выдумана эта спекуляція?...

Но содержаніе еще лучше заглавія. Не говоримъ уже о томъ, что тутъ видны слѣды руки, которая «гальванически хваталась за перо, когда автора пронизывало вдохновеніе»,— (не называйте нашихъ словъ галиматьею: это слогъ біографій Пушкина и Брюлова),— но посмотрите, Бога ради, что̀ это такое: «Въ отвѣтъ на выходки парижскихъ журналовъ, Пушкинъ отрянулъ патріотическимъ стихотвореніемъ «Клеветникамъ Россіи», въ которомъ каждый стихъ былъ скованъ (!) изъ любви къ родинѣ и изъ народной гордости; тутъ же вспомнилъ онъ бородинскую годовщину и справилъ ей тризну въ стихотвореніи подъ тѣмъ же именемъ; потомъ сшутилъ нѣсколькими русскими сказками» и проч. (стр. 12)? Или еще вотъ это мѣсто говоря о томъ, что Брюловъ, будучи ребенкомъ, безпрестанно срисовывалъ на аспидной доскѣ попадавшіеся ему на глаза предметы, и, безпрестанно стирая и перерисовывая одну и ту же вещь, пріобрѣлъ вѣрность взгляда и руки,—авторъ біографіи говоритъ: «Не мудренпаго, послѣ этого, что линія правды въ рисункѣ такъ чисто звѣнитъ теперь передъ художникомъ»... Скажите, пожалуйста, что̀ это такое? Невинная шутка надъ читателями, или насмѣшка надъ именами людей, не заслужившихъ, кажется насмѣшекъ?...

Но это еще не главное: это только смѣшно, а есть странности еще удивительнѣе. Біографія гласитъ: «Слава» Библіотеки для Чтенія» возбудила въ немъ (въ Пушкинѣ!) желаніе основать свой собственный журналъ, который съ 1836 и сталъ выходить въ свѣтъ, подъ именемъ «Современника», по четыре книжки въ годъ. Пушкинъ, при своихъ довольно стѣсненныхъ обстоятельствахъ, полагалъ большія надежды на успѣхъ этого изданія, но результатъ не оправдалъ его ожиданій» (стр. 13). Здѣсь что̀ ни слово, то неправда, и неправда оскорбительная для памяти великаго русскаго поэта. Во первыхъ, Пушкина никогда не обольщала слава «Библіотеки для чтенія»: доказательствомъ можетъ служить то,

что на другой же годъ этого изданія онъ снялъ съ него свое имя и потомъ пересталъ въ немъ участвовать. Если онъ въ первый годъ изданія «Библіотеки для Чтенія» давалъ въ этотъ журналъ свои произведенія, то потому только, что думалъ въ немъ видѣть просто Библіотеку для Чтенія—сборъ статей, изданіе книгопродавца Смирдина (съ которымъ однимъ онъ и имѣлъ дѣло, давая въ его сборникъ свои піесы), а не потѣхи надъ наукою, искусствомъ и литературою, которыя со втораго же года существованія «Библіотеки для Чтенія» начали составлять основныя, характеристическія черты ея. «Современникъ» Пушкинъ сталъ издавать нисколько не по соревнованію къ славѣ (очень сомнительной!) «Библіотеки для Чтенія», а для того, чтобъ Россія имѣла хоть одно изданіе, гдѣ находили бы себѣ мѣсто талантъ, знаніе, достоинство и независимое отъ торговыхъ соображеній литературное мнѣніе. Успѣхъ «Современника» вполнѣ оправдалъ ожиданіе Пушкина: безъ всякой программы, однимъ своимъ именемъ, тотчасъ же пріобрѣлъ онъ себѣ болѣе тысячи подписчиковъ, чего для него было слишкомъ довольно, ибо четыре книжки его журнала требовали самыхъ ничтожныхъ расходовъ.

Далѣе «біографія» разсказываетъ: Звѣзда Пушкина какъ будто начинала клониться къ закату. Публика, всегда ожидавшая отъ великаго поэта великихъ твореній, замѣчала быть можетъ несправедливо, ослабленіе его генія. Явный упадокъ всеобщаго удивленія (?) при выходѣ въ свѣтъ послѣднихъ плодовъ пера поэта, сильно огорчалъ его. Пушкинъ сдѣлался раздражительнымъ, и—странно сказать!—Пушкинъ завидовалъ нѣкоторымъ новымъ талантамъ» (стр. 12—13)... Нѣтъ, это ужь верхъ отваги! Гдѣ доказательства этой зависти? Кому завидовалъ Пушкинъ? Кому могъ онъ завидовать? Гдѣ эти новые таланты, которые появились въ послѣднее время его жизни? Ужь не Гоголь ли? Но Гоголь былъ другомъ Пушкина и благоговѣйно чтилъ его. Пушкинъ прежде всѣхъ

поспѣшилъ указать публикѣ на новое великое дарованіе, такъ неожиданно блеснувшее въ извѣстномъ тогда авторѣ «Вечеровъ на Хуторѣ близь Диканьки»: онъ написалъ въ тогдашнихъ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Рускому Инвалиду» (1832 г.) статью, въ которой изъявилъ все свое удивленіе къ новому, молодому таланту, Гоголь не печаталъ ни одного своего произведенія, не показавъ его напередъ Пушкину—и только одному Пушкину; со смертію же Пушкина онъ почти совсѣмъ замолкъ, какъ-бы лишась истиннаго своего цѣнителя, благословлявшаго его на дѣланіе и вызывавшаго на подвигъ... Или не Кольцовъ ли этотъ новый талантъ, которому завидовалъ Пушкинъ? Но Кольцову Пушкинъ не могъ завидовать, а напротивъ онъ радушно принялъ и обласкалъ его... Позвольте, можетъ быть, дѣло въ томъ, что Пушкинъ не всѣ «новые таланты» принималъ къ себѣ и ласкалъ?— Именно такъ! Но причина этому не зависть, а разборчивость Пушкина въ знакомствѣ, расположеніе его исключительно къ людямъ порядочнымъ.

Вообще, эта спекуляція, называющаяся «Портретною и Біографическою Галлереею» исполнена духа и вліянія тѣхъ журналовъ и «талантовъ», славою которыхъ Пушкинъ с о б л а з н я л с я и которымъ з а в и д о в а л ъ... Боже великій! если умершаго Пушкина можно поносить именемъ завистника, чего же нельзя написать объ обыкновенномъ литераторѣ, когда смерть лишитъ руку его возможности отвѣчать на клевету достойнымъ ея образомъ?...

СОБРАНІЕ СТИХОТВОРЕНІЙ ИВАНА КОЗЛОВА.

Третье изданіе. Спб. 1840. Двѣ части.

Странное зрѣлище представляетъ собою наша литература. Не годами, а цѣлыми вѣками, и не чертою, а цѣлымъ океаномъ пространства отдѣлены мы, люди новѣй..аго поколѣнія,

отъ интересовъ, понятій, чувствъ, самыхъ формъ, которыя, напримѣръ, видимъ—не говоримъ, въ сочиненіяхъ Державина, нѣтъ—въ сочиненіяхъ самого Карамзина; а между тѣмъ, Карамзинъ умеръ въ 1826 году, слѣдовательно, назадъ тому какихъ-нибудь 14 лѣтъ, и едва ли прошло 50 лѣтъ, какъ Карамзинъ началъ сближать съ Европою и преобразовывать нашу литературу, нашъ языкъ, словомъ, создавать литературу и публику!..Двадцатые года текущаго вѣка ознаменовались сильнымъ движеніемъ въ нашей литературѣ: явился Пушкинъ съ дружиною молодыхъ, замѣчательныхъ талантовъ, — и вотъ мы, вскормленные и взлелѣянные ихъ звуками, не прошли, можетъ быть, еще и половины дороги своей жизни, а уже нѣтъ и Пушкина, нѣтъ и многихъ изъ его сподвижниковъ! Итакъ, мы дѣтьми встрѣтили новый и самый цвѣтущій періодъ нашей литературы, и юношами проводили его до могилы... А сколько утратъ понесла наша литература въ лицѣ ея представителей, похищенныхъ смертію, большею частію безвременною! Четвертое десятилѣтіе текущаго вѣка было особенно трудною годиною для нашей литературы: Мерзляковъ, Гнѣдичъ, Дельвигъ, Пушкинъ, Полежаевъ, Марлинскій, Дмитріевъ, Давыдовъ умерли въ продолженіи какихъ-нибудь десяти лѣтъ. За исключеніемъ Дмитріева, умершаго въ полнотѣ лѣтъ, вполнѣ совершившаго свое призваніе, другіе умерли, еще не сдѣлавъ всего, чего, можно было ожидать отъ ихъ дарованій, какъ, напр., Мерзляковъ и Гнѣдичъ; Марлинскій умеръ рано для своихъ многочисленныхъ почитателей, но въ самую пору, чтобъ не видѣть паденія своей славы; остальные слишкомъ рано умерли и для себя и для публики... И между ими, онъ, который одинъ могъ составить эпоху во всякой литературѣ; онъ, еще только вполнѣ созрѣвшій для великихъ созданій, хотя уже и много создавшій великаго и безсмертнаго... Увы!

Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла!
Сколько низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла;

Живъ презрительный Терситъ
. . . .
Миръ тебѣ во тьмѣ Эреба!
Жизнь твою не врагъ пожалъ:
Ты своею силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва!
. . . .
Слава дней твоихъ нетлѣнна;
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Козловъ былъ послѣднею жертвою смертоноснаго для нашей литературы десятилѣтія. Но его смерть не могла быть для насъ поразительна: онъ уже сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, и выпилъ до дна всю чашу страданія: смерть была для него успокоеніемъ. Нашъ долгъ теперь — оцѣнить его подвигъ указать мѣсто, которое должно занимать его имя на страницахъ исторіи русской литературы.

Слава Козлова была создана его «Чернецомъ». Нѣсколько лѣтъ эта поэма ходила въ рукописи по всей Россіи прежде, чѣмъ была напечатана. Она взяла обильную и полную дань слезъ съ прекрасныхъ глазъ; ее знали наизустъ и мущины. «Чернецъ» возбуждалъ въ публикѣ не меньшій интересъ, какъ и первыя поэмы Пушкина, съ тою разницею, что его совершенно понимали: онъ былъ въ уровень со всѣми натурами, всѣми чувствами и понятіями, былъ по плечу всякому образованію. Это второй примѣръ въ нашей литературѣ, послѣ «Бѣдной Лизы» Карамзина. «Чернецъ» былъ для двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія тѣмъ же самымъ, чѣмъ была «Бѣдная Лиза» для девятидесятыхъ годовъ прошедшаго и первыхъ нынѣшняго вѣка. Каждое изъ этихъ произведеній прибавило много единицъ къ суммѣ читающей публики и пробудило не одну душу, дремавшую въ прозѣ положительной жизни. Блестящій успѣхъ при самомъ появленіи ихъ и скорый конецъ—совершенно одинаковы: ибо, повторяемъ,

оба эти произведенія совершенно одного рода и одинаковаго достоинства: вся разница во времени ихъ явленія и, въ этомъ отношеніи, «Чернецъ», разумѣется, гораздо выше.

Содержаніе «Чернеца» напоминаетъ собою содержаніе Байронова «Джяура»: есть общее между ими и въ самомъ изложеніи. Но это сходство чисто внѣшнее: «Джяуръ» не отражается въ «Чернецѣ» даже и какъ солнце въ малой каплѣ воды, хотя «Чернецъ» и есть явное подражаніе «Джяуру». Причина этого заключается сколько въ степени талантовъ обоихъ пѣвцовъ, столько и въ разности ихъ духовныхъ натуръ. «Чернецъ» полонъ чувства, насквозь проникнутъ чувствомъ—и вотъ причина его огромнаго, хотя и мгновеннаго успѣха. Но это чувство только тепло, не глубоко, не сильно, не всеобъемлюще. Страданія чернеца возбуждаютъ въ насъ состраданіе къ нему, и его терпѣніе привлекаетъ къ нему наше расположеніе, но не больше. Покорность волѣ провидѣнія (Resignation)—великое явленіе въ сферѣ духа; но есть безконечная разница между самоотреченіемъ голубя, по натурѣ своей неспособнаго въ отчаянію, и между самоотреченіемъ льва, по натурѣ своей способнаго пасть жертвою собственныхъ силъ: самоотреченіе перваго только неизбѣжное слѣдствіе несчастія, но самоотреченіе втораго—великая побѣда, свѣтлое торжество духа надъ страстями, разумности надъ чувственностію. Вотъ почему даже лютое отчаяніе, если оно является въ формѣ несокрушимой силы духа, горделиво и презрительно несущей свое несчастіе, — въ тысячу разъ сильнѣе и обаятельнѣе дѣйствуетъ на нашу душу, чѣмъ безсильное смиреніе, тихо льющее сладкія слезы примиренія. Примиреніе—самый торжественный актъ духа, но только тогда, когда онъ совершенно свободенъ и совершается собственною силою человѣка. Глубокъ и великъ тотъ, въ комъ лежитъ возможность не одного примиренія, но и вѣчнаго разрыва съ общимъ, возможность несокрушимой гордыни и самого паденія духа, оскорбленнаго противорѣчіемъ жизни.

Тѣмъ не менѣе, страданія чернеца, высказанныя прекрасными стихами, дышащими теплотою чувства, плѣнили публику и возложили миртовый вѣнокъ на голову слѣпца-поэта. Собственное положеніе автора еще болѣе возвысило цѣну этого произведенія. Онъ самъ особенно любилъ его передъ всѣми своими созданіями, какъ это видно изъ его поэтической исповѣди, предшествующей поэмѣ:

О, сколько разъ я плакалъ надъ струнами,
Когда я пѣлъ страданья Чернеца,
И скорбь души, обманутой мечтами,
И пылъ страстей, волнующихъ сердца!
Моя душа сжилась съ его душою:
Я съ нимъ бродилъ во тьмѣ чужихъ лѣсовъ,
Съ его родныхъ днѣпровскихъ береговъ
Мнѣ вѣяло знакомою тоскою.
Быть можетъ, мнѣ такъ сладко не мечтать!
Быть можетъ, мнѣ такъ стройно не пѣвать!

И въ самомъ дѣлѣ, двѣ другія поэмы Козлова: «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» и «Безумная» уже далеко не то, что «Чернецъ». Въ нихъ, особенно въ первой, есть прекрасныя поэтическія мѣста, но въ нихъ нѣтъ никакого содержанія, почему онѣ растянуты и скучны въ цѣломъ. Въ «Безумной» даже нѣтъ никакой истины: героиня—Нѣмка въ овчинномъ тулупѣ, а не русская деревенская дѣвка. Кромѣ того, обѣ эти поэмы, не смотря на разность содержанія ихъ, суть не что иное, какъ повтореніе «Чернеца»: слова другія, но мотивъ тотъ же,—а одно и то же утомляетъ вниманіе, перестаетъ возбуждать участіе. Вотъ почему двѣ послѣднія поэмы не имѣли никакого успѣха, тогда какъ успѣхъ «Чернеца» былъ чрезвычайный. Какъ цѣлое, эта поэма уже нѣма для нашего времени; но многія частности и теперь еще прочтутся съ наслажденіемъ.

Первая часть этого третьяго изданія сочиненій Козлова заключаетъ въ себѣ три его поэмы, о которыхъ мы сейчасъ

говорили: извѣстное его посланіе «Къ другу В. А. Ж.», интересное, какъ поэтическая исповѣдь слѣпца-поэта; балладу «Венгерскій Лѣсъ»; Байронову «Абидосскую Невѣсту», «Крымскіе Сонеты Адама Мицкевича» и «Сельскій Субботній Вечеръ въ Шотландіи». Что до баллады — кромѣ хорошихъ стиховъ, она не имѣетъ никакого значенія; ибо принадлежитъ къ тому ложному роду поэзіи, который изобрѣтаетъ небывалую дѣйствительность, выдумываетъ Веледъ, Извѣдовъ, Остановъ, Свѣжановъ, никогда несуществовавшихъ, и изъ славянскаго міра создаетъ нѣмецкую фантастическую балладу. Переводъ «Абидосской Невѣсты»—весьма замѣчательная попытка; но сжатости, энергіи, молніеносныхъ очерковъ оригинала въ немъ нѣтъ и тѣни. Также замѣчателенъ переводъ и «Крымскихъ Сонетовъ» Мицкевича; но отношеніе его къ оригиналу точно такое же, какъ и перевода «Абидосской Невѣсты» къ ея подлиннику. Одно уже то, что иногда 16-ю, 18-ю и 20-ю стихами переводитъ Козловъ 14 стиховъ Мицкевича, показываетъ, что борьба была неравная,—«Сельскій Субботній Вечеръ въ Шотландіи» есть не переводъ изъ Борнса, а вольное подражаніе этому поэту. Жаль! потому что эту превосходную піесу Козловъ могъ бы перевести превосходно; а какъ подражаніе—она представляетъ собою что-то странное. Не понимаемъ, къ чему послѣ прекраснаго обращенія шотландскаго поэта къ своей родинѣ, переводчикъ (въ XIX строфѣ) вдругъ обратился къ Россіи. Положимъ, что его обращеніе полно патріотическаго жара; но умѣстно ли оно — вотъ вопросъ! Не смѣшно ли было бы, еслибъ въ переводѣ «Иліады» Гнѣдичъ, послѣ Гомеровскаго обращенія къ музѣ, вдругъ обратился отъ себя съ воззваніемъ, напримѣръ, къ Хераскову? А жизнь шотландская, представляемая Борнсомъ въ его прекрасной идилліи, столько же похожа на жизнь нашихъ мужиковъ, бабъ, ребятъ, парней и дѣвокъ сколько муза Калліопа на Хераскова.

Съ бо́льшимъ удовольствіемъ обращаемся ко второй части

стихотворенiй Козлова. Она вся состоитъ изъ мелкихъ лирическихъ пiесъ и изъ отрывочныхъ переводовъ; но въ нихъ-то поэтическiй талантъ Козлова и является съ своей истинной стороны и въ болѣе блестящемъ видѣ. Конечно, не всѣ лирическiя стихотворенiя Козлова равно хороши; на половину наберется посредственныхъ, есть и совершенно неудачныя; даже бо́льшая часть лучшихъ—переводы, а не оригинальныя произведенiя; наконецъ, и изъ самыхъ лучшихъ многiя не выдержаны въ цѣломъ и отличаются только поэтическими частностями; но тѣмъ не менѣе; самобытность замѣчательнаго таланта Козлова не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнiю. Его нельзя отнести къ числу художниковъ: онъ поэтъ въ душѣ, и его талантъ былъ выраженiемъ его души. Посему, талантъ его тѣсно былъ связанъ съ его жизнiю. Лучшимъ доказательствомъ этому служитъ то, что безъ потери зрѣнiя Козловъ прожилъ бы весь вѣкъ, не подозрѣвая въ себѣ поэта. Ужасное несчастiе заставило его познакомиться съ самимъ собою, заглянуть въ таинственное святилище души своей и открыть тамъ самородный ключъ поэтическаго вдохновенiя. Несчастiе дало ему и содержанiе и форму, и колоритъ для пѣсень; почему всѣ его произведенiя однообразны, всѣ на одинъ тонъ. Таинство страданiя, покорность волѣ провидѣнiя, надежда на лучшую жизнь за гробомъ, вѣра въ любовь, тихое унынiе, кроткая грусть,—вотъ обычное содержанiе и колоритъ его вдохновенiй. Присовокупите къ этому прекрасный, мелодическiй стихъ—и муза Козлова охарактеризована вполнѣ, такъ что больше о немъ нечего сказать. Впрочемъ, его музѣ не чужды и звуки радости и роскошныя картины жизни, наслаждающейся самой собою.

Ночь весенняя дышала
Свѣтло-южною красой;
Тихо Брента протекала.
Серебримая луной;
Отраженъ волной огнистой

Блескъ прозрачныхъ облаковъ,
И восходитъ паръ душистый
Отъ зеленыхъ береговъ.
Сводъ лазурный, томный ропотъ
Чуть дробимыя волны,
Померанцевъ, миртовъ шопотъ
И любовный свѣтъ луны,
Упоенья аромата
И цвѣтовъ и свѣжихъ травъ,
И вдали напѣвъ Торквата
Гармоническихъ октавъ.
Все вливаетъ тайно радость,
Чувствамъ снится дивный міръ;
Сердце бьется; мчится младость
На любви весенній пиръ.
По водамъ скользятъ гондолы;
Искры брыжжутъ подъ весломъ;
Звуки нѣжной баркаролы
Вѣютъ легкимъ вѣтеркомъ
. . . .
Но густѣе тѣнь ночная;
И красотъ цвѣтущихъ рой,
Въ нѣгѣ страстной утопая
Покидаетъ пиръ ночной.
Стихли пышныя забавы;
Все спокойно на рѣкѣ;
Лишь Торкватовы октавы
Раздаются вдалекѣ

Какая роскошная фантазія! какія гармоническія стихи! что̀ за чудный колоритъ—полупрозрачный, фантастическій! И какъ прекрасно сливается эта выписанная нами часть стихотворенія съ другою—унылою и грустною, и какое поэтическое цѣлое составляетъ онѣ обѣ!...

Многіе удивлялись въ Козловѣ вѣрности его картинъ природы, яркости ихъ красокъ, — ничего нѣтъ удивительнаго: воспоминаніе прошедшаго сильнѣе въ насъ при лишеніи настоящаго; чего страстно желаемъ мы, то живо и представля-

емъ себѣ, а чего сильнѣе желаетъ слѣпецъ, какъ не созерцанія картинъ и формъ жизни?

. . . .
Италія Торкватова земля,
Ты не была, не будешь мною зрима,
Но какъ ты мной, прекрасная, любима!
Мнѣ видятся полуденныя розы,
Душистые, лимонные лѣса,
Зеленый миртъ и виноградны лозы,
И синія, какъ яхонтъ, небеса
Я вижу ихъ, и тихо льются слезы...
Италія, мила твоя краса,
Какъ первое любви младой мечтанье,
Какъ чистое младенчества дыханье.
Съ высотъ летятъ сіяющія воды,
Жемчужныя—надъ безднами горятъ;
Таинственныхъ видѣній хороводы,
Прозрачные—вкругъ горъ твоихъ кипятъ;
Твои моря, не зная непогоды,
Зеленыя—струятся и шумятъ;
Воздушный пиръ—твой вечеръ благодатный
Съ прохладою и нѣгой ароматной.
Луна взошла, а небосклонъ пылаетъ
Послѣднею багряною зарей:
Высокій сводъ безоблачно сіяетъ,
Весь радужной подернутъ пеленой,
И яркій лучъ, сверкая, разсыпаетъ
Блескъ розовый надъ сонною волной,
Но гаснетъ онъ подъ ризою ночною;
Заливъ горитъ, осеребренъ луною.

Прекрасно высказана Козловымъ тайна этихъ видѣній незрящими очами:

Такъ узникъ въ мрачной тишинѣ
Мечтаетъ о красахъ природы,
О солнцѣ яркомъ, о лунѣ,
О томъ, что видѣлъ въ дни свободы.
Уснетъ ли онъ—въ его очахъ
Лѣса, поля, рѣка въ цвѣтахъ,

И пробудясь, вздыхаетъ онъ,
Благословляя свѣтлый сонъ.

Козловъ—поэтъ чувства, точно такъ же, какъ Баратынскій поэтъ мысли (т. е, поэтическаго раздумья, а не разсудочнаго резонёрства). Поэтому, не ищите у Козлова художественныхъ созданій, глубокихъ и міреобъемлющихъ созерцаній; ищите въ немъ одного чувства,—и вы найдете въ его двухъ книжкахъ много прекраснаго, едва ли не на половину съ посредственнымъ. Отъ этого всѣ переводы его отличаются однимъ колоритомъ—тѣмъ же самымъ, какъ и его оригинальныя произведенія. Укажемъ здѣсь на лучшія изъ тѣхъ и изъ другихъ: «На погребеніе англійскаго генерала сэра Джона Мура» «Венеціянская Ночь», «Плачъ Ярославны», «Къ Италіи, «Португальская Пѣсня», «Къ Радости», «Добрая Ночь», «На отъѣздъ», «Обвороженіе»», «Къ Тирзѣ», «Романсъ» (Есть тихая роща у быстрыхъ ключей), «Еврейская Мелодія», «Вечерній Звонъ», «Къ Полевой Маргариткѣ», Къ тѣни Дездемоны», Изъ Байрона Донъ Жуана» (О любо намъ), «Новые Стансы», «Романсъ Дездемоны», «Насъ Семеро», «Подражаніе сонету Мицкевича» (Увы! несчастливъ тотъ), «Стансы» (Настала тѣнь) «Стансы» (Подражаніе Петраркѣ), «Къ Ней», «Ночь» (элегія), «Молитва» (послѣдняя предсмертная піэса Козлова) и нѣсколько піесъ, переведенныхъ изъ Андрея Шенье.

Кстати о переводахъ? «Добрая Ночь», «Обвороженіе» и нѣкоторыя другія напоминаютъ своимъ достоинствомъ образцовые переводы Жуковскаго, и показываютъ, что онъ могъ усвоивать русской литературѣ драгоцѣннѣйшіе перлы иностранныхъ литературъ.

Не понимаемъ, почему Козловъ никогда не включалъ въ собранія своихъ сочиненій своей поэмы «Байронъ», посвященной Пушкину и напечатанной въ «Новостяхъ Литературы», издававшихся покойнымъ Воейковымъ, 1824 (книжка десятая, стр. 85). Эта поэма есть апоѳеоза всей жизни Бай-

рона; въ цѣломъ она не выдержана, но отличается поэтическими частностями.

Это стихотвореніе не помѣщено и въ новомъ, посмертномъ, изданіи сочиненій Козлова. Не понимаемъ также, почему ни въ общемъ оглавленіи піесъ, ни при заглавіи каждой піесы отдѣльно, не выставлено, откуда она переведена или заимствована. Кажется, стихотвореніе «Къ Морю», которымъ начинается вторая часть, переведено Козловымъ изъ Байрона; но вотъ странность: первый куплетъ этой піесы есть не что иное, какъ извѣстная элегія Батюшкова. Сличите сами.

Вотъ Элегія Батюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ
И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ,
Дробящихся въ пустынныхъ бѣгѣ.
Я ближняго люблю—но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ;
Тобою въ чувствахъ оживаю;
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ
И какъ молчать объ нихъ, не знаю

А вотъ первая строфа стихотворенія «Къ Морю».

Отрада есть во тьмѣ лѣсовъ дремучихъ,
Восторгъ живетъ на дикихъ берегахъ,
Гармонія слышна въ волнахъ кипучихъ,
И съ моремъ есть бесѣда на скалахъ.
Мнѣ ближній милъ, но тамъ, въ моихъ мечтахъ
Что я теперь, что былъ—позабываю,
Природу я душою обнимаю,
Она милѣй; постичь стремлюся я
Все то, чему нѣтъ словъ, но что таить нельзя.

Не одно ли это и то же?...

АББАДДОНА. *Соч. Николая Полеваго. Изданіе второе. Спб. 1840. Четыре части.*

Ба! старые знакомые! Добро пожаловать! Давно ли, подумаешь, а ужь сколько воды утекло, сколько событій смѣнилось. Знакомые—а смотрятъ другъ на друга дико; друзья—а не знаютъ, какъ и о чемъ говорить другъ съ другомъ. Знаете ли, на кого похожъ, въ отношеніи къ публикѣ, романъ г. Полеваго, явившійся вторымъ изданіемъ, чрезъ пять лѣтъ послѣ перваго появленія на свѣтъ?—На добраго, простодушнаго помѣщика, который, проживъ въ деревнѣ лѣтъ тридцать, народивъ кучу дѣтей и посѣдѣвъ въ капитанскомъ чинѣ, вдругъ пріѣзжаетъ по дѣламъ въ столицу и идетъ навѣстить своихъ прежнихъ товарищей по воспитанію и службѣ; но увы! куда ни пріидетъ онъ съ распростертыми дланями, съ радушною улыбкою, — вездѣ принимаютъ его холодно, съ удивленіемъ, и, провожая, громко наказываютъ человѣку говорить «дома нѣтъ». Добрякъ въ отчаяніи, не понимая того, что бывшіе его друзья уже успѣли нажить себѣ новыхъ друзей, и изъ повѣсъ и шалуновъ успѣли сдѣлаться людьми разсудительными, солидными, людьми comme il faut. Пять лѣтъ въ русской литературѣ — да это все равно, что пятьдесятъ въ жизни инаго человѣка! Самымъ разительнымъ доказательствомъ этой грустной истины можетъ служить почтенный авторъ «Аббаддонны». Въ 1835 году издалъ онъ этотъ романъ, т. е. черезъ два или три года послѣ «Клятвы при Гробѣ Господнемъ», и такимъ образомъ, двумя романами, изъ записнаго историка явился записнымъ романистомъ, хотя и тутъ не измѣнилъ своей натурѣ — оставлять дѣло безъ конца, ибо «Аббаддонна» до сихъ поръ еще не кончена, такъ же, какъ и знаменитая «Исторія Русскаго Народа», и «Русская Исторія для Дѣтей». И такъ, въ 1835 году, г. Полевой былъ уже не историкъ, а романистъ. Но вотъ проходитъ еще пять лѣтъ,—онъ уже и не романистъ а пере-

дѣлыватель Шекспира, трагикъ, комикъ, водевилистъ . Мимоходомъ, въ это время онъ успѣлъ покончить журналъ и приняться за другой . . . И потому, повторяемъ: должно ли удивляться, что та же самая публика, которая очень радушно приняла «Аббаддону» въ 1835 году, теперь велитъ ей говорить «дома нѣтъ?»...

Г. Полевой хотѣлъ выразить въ своемъ романѣ идею противорѣчія поэзіи съ прозою жизни. Для этого онъ представилъ молодаго поэта въ борьбѣ съ сухимъ, эгоистическимъ и прозаическимъ обществомъ: — мысль, которая никогда не состарѣется, если только будетъ являться въ новыхъ формахъ. Но формы г. Полеваго восходятъ гораздо за 1835 годъ. Во первыхъ, его поэтъ, этотъ Рейхенбахъ, есть то, что Нѣмцы называютъ прекрасною душою (schöne-Seele). У насъ пытались нѣкогда ввести это понятіе подъ иностраннымъ словомъ «прекраснодушіе», которое только насмѣшило всѣхъ. Здѣсь мы пользуемся случаемъ объяснить значеніе нѣмецкаго Schönseeligkeit, — тѣмъ болѣе, что романъ г. Полеваго дастъ намъ для этого всѣ средства. Слова «прекрасная душа,» имѣли у Нѣмцевъ, какъ и у всѣхъ добрыхъ людей, то благородное и похвальное значеніе, которое имѣютъ до сихъ поръ у насъ; но теперь они у Нѣмцевъ употребляются какъ выраженіе чего то комическаго, смѣшнаго. Такъ точно, у насъ еще недавно слова «чувствительность» и «чувствительный» употреблялись для отличія людей съ чувствомъ и душою отъ людей грубыхъ, животныхъ, лишенныхъ души и чувства; слѣдовательно, они употреблялись въ благородномъ и похвальномъ значеніи; а теперь эти слова употребляются у насъ для выраженія слабаго, расплывающагося и приторнаго чувства. Выраженіе «прекрасная душа», чрезъ діалектическое развитіе во времени, получило теперь у Нѣмцевъ значеніе чего то добраго, теплаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣтскаго, безсильнаго, фразёрскаго и смѣшнаго.

Рейхенбахъ г. Полеваго есть полный представитель та-

кой «прекрасной души», и онъ тѣмъ смѣшнѣе, что почтенный сочинитель нисколько не думалъ издѣваться надъ нимъ, но отъ чистаго сердца убѣжденъ, что представилъ намъ въ своемъ Рейхенбахѣ истиннаго поэта, душу глубокую, пламенную, могучую. И потому, его Рейхенбахъ есть что-то уродливое, смѣшное, не образъ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на сѣрой и толстой бумагѣ дурно-очиненнымъ перомъ. Въ немъ нѣтъ ничего поэтическаго; онъ просто добрый и весьма недалекій малый,—а между тѣмъ, авторъ поставилъ его на высокія ходули. Люди оскорбляютъ его не истинными своими недостатками, а тѣмъ, что не мечтаютъ, когда надо работать, и не восхищаются вечернею зарею, когда надо ужинать. Авторъ даже и не намекнулъ на истинныя противорѣчія поэзіи съ прозою жизни, поэта съ толпою.

Рейхенбахъ любитъ Генріетту, простую дѣвушку безъ образованія, безъ эстетическаго чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не былъ мальчикомъ и не влюблялся такимъ образомъ и въ кузину, и въ сосѣдку, и въ подругу по дѣтскимъ играмъ? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, когда воротнички à l'enfant мѣняются на галстухъ? Рейхенбахъ думаетъ объ этомъ иначе и, во что бы ни стало, хочетъ обожать Генріетту до гробовой доски. Она тоже не прочь отъ этого. Но въ ихъ отношеніяхъ нѣтъ ничего поэтическаго, невыговариваемаго автором, но понятнаго для читателя. Вся любовь ихъ испарется въ словахъ, въ дерзкихъ поцѣлуяхъ со стороны поэта, и въ «ахъ, что вы это»! со стороны хорошенькой мѣщаночки. Вдругъ, Рейхенбаху предстаетъ Леонора. Это актрисса—femme emancipée нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхлаго, развратнаго старичишки, она томится жаждою любви глубокой и возвышенной. Въ Рейхенбахѣ находитъ она свой идеалъ. И вотъ, вы думаете, что она перерождается, какъ баядера Гёте,—ничего

не бывало! Она только говоритъ фразы о перерожденіи, о возстаніи, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбахъ оставляетъ для этой сильной, пламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей, оставляетъ для нея свою ребяческую любовишку къ добренькой кухарочкѣ,—ничего не бывало! Онъ только колеблется между тою и другою, и въ этомъ колебаніи выказывается вся слабость его слабенькой натуры. Наконецъ Генріетта рѣшительно побѣждаетъ, особенно потому что Леонора впадаетъ въ бѣшенство и неистовствуетъ, какъ пьяная гетера, вмѣсто того, чтобъ представлять изъ себя плачущую слезами любви и раскаянія падшую Пери. И чѣмъ же оканчивается любовь нашего великаго поэта?—А вотъ чѣмъ, послушайте «Генріетта ни за что не хотѣла соглашаться съ Вильгельмомъ, который увѣрялъ, что съ этихъ поръ онъ перестанетъ писать стихи. На усиленныя требованія Генріетты не оставлять стиховъ, онъ отвѣчалъ, смѣясь, что готовъ писать, но—только колыбельныя пѣсни для своихъ дѣтей. Тутъ нескромному Вильгельму зажали ротъ маленькою ручкою, краснѣли, и не знали, куда дѣваться, пока другіе собесѣдники смѣялись громко»... О, честное компанство добрыхъ мѣщанъ! О великій поэтъ, вышедшій изъ маленькой фантазіи! Видите ли, какъ ложная, натянутая идеальность сходится наконецъ съ пошлою прозою жизни, мирится съ нею на конфектныхъ страстишкахъ, картофельныхъ нѣжностяхъ и плоскихъ шуткахъ?... Это не то, что на человѣческомъ языкѣ называется «любить», а — то, что на мѣщанскомъ языкѣ называется «амуриться»..,

Но въ «Аббаддоннѣ» есть другая сторона, и сторона очень хорошая.

Если идеальныя лица, герои этого романа, смѣшны и приторны до пошлости, натянуты до неестественности, то прозаическія лица очеркнуты очень удачно. Баронъ Калькопфъ, директоръ театра, баронъ Хилей, мать Генріетты,

пріятельница ея совѣтница, и другія лица не даютъ вамъ бросить романа, и заставляютъ дочитать до конца: такъ много въ нихъ истины и дѣйствительности. Равнымъ образомъ, если сцены любви и вообще высокихъ страстей и трагическихъ положеній въ «Аббаддоннѣ» смѣшны до послѣдней крайности, за то сцены прозаической жизни чрезвычайно живы и увлекательны, и впечатлѣніе, производимое ими, нерѣдко бываетъ тяжело и грустно—именно оттого, что въ нихъ есть истина... Къ такимъ сценамъ можно причислить: плачевное шествіе Рейхенбаха въ каретѣ съ восьмнадцатью душами добрыхъ мѣщанъ, расположившихся помѣститься въ одной ложѣ; сцены въ пріемной залѣ Калькопфа, представленіе Вильгельма этому покровителю талантовъ; далѣе, литературно музыкальный вечеръ владѣтельнаго князя, и проч. въ «Аббаддоннѣ» даже и несовсѣмъ безъ поэтическихъ мѣстъ; таково напримѣръ, описаніе вечера въ загородномъ домѣ Элеоноры, гдѣ довольно удачно очерчена пирушка людей разныхъ состояній, уравненныхъ любовію къ искуссву и умѣющихъ весело проводить время внѣ стѣснительныхъ условій приличія.

Въ романѣ г. Полеваго не безъ резонерства, не безъ устарѣлыхъ мнѣній, которыя были стары уже и въ 1835 году; но за то, много есть мыслей умныхъ, вѣрныхъ и высказанныхъ живо, увлекательно. Но самое поэтическое мѣсто въ романѣ — это разговоръ Лалаги съ Элеонорою, или, лучше сказать, характеристика поэта съ африканской точки зрѣнія, которая господствуетъ впрочемъ во всемъ мірѣ, только подъ разными формами (ч. I, стр. 115—119).

Вообще, многое въ романѣ г. Полеваго можетъ быть прочтено не безъ удовольствія, а иное и съ удовольствіемъ, но цѣлое его странно: теперь оно развѣ усыпитъ сладко, и ужь никого не увлечетъ. Когда, рисуя смѣшное, авторъ знаетъ, что онъ рисуетъ смѣшное—картина можетъ быть великимъ созданіемъ; но когда авторъ изображаетъ намъ Донъ-Кихота, думая изображать Александра Македонскаго, или Юлія-Це-

заря,—картина выйдетъ суздальская, лубочная литографія съ изображеніемъ райской птицы и наивною надписью:

Райская птица Сиренъ,
Гласъ ея въ пѣніи зело силенъ:
Когда Господа воспѣваетъ,
Сама себя позабываетъ.

Главный недостатокъ «Аббаддонны», какъ хорошаго беллетрическаго произведенія (о художественности тутъ и слова быть не можетъ), состоитъ въ отсутствіи созерцанія, которое служило бы, такъ сказать, фономъ для его картинъ. Поэзія, поэтъ, любовь, женщина, жизнь, ихъ взаимныя отношенія,—все это въ «Аббаддонѣ» похоже на цвѣты, сдѣланные изъ старыхъ тряпокъ. Можетъ быть, всѣ эти предметы и позволительно было понимать такъ до 1835 года; но теперь такое разумѣніе ихъ смѣшно для всякаго.

Не понимаемъ, почему авторъ «Аббаддонны» выдалъ свой романъ безъ конца. Статьи, которыя онъ называетъ эпилогомъ къ нему и обѣщаетъ издать особо, суть не что иное, какъ пятая часть романа, въ которой Элеонора умираетъ отъ яда, не возбуждая къ себѣ нашего состраданія, а Вильгельмъ женится на Генріеттѣ и мирится истинно по-нѣмецки съ пошлою прозою кухонной жизни. Вотъ вамъ и великій поэтъ! Вотъ вамъ и идеальность, которая не хочетъ и слышать о землѣ и ни о чемъ земномъ!...

НА СОНЪ ГРЯДУЩІЙ. *Отрывки изъ вседневной жизни. Соч. графа В. А. Соллогуба. Спб. 1841.*

Какъ отрадно посреди различнаго хлама, описаніемъ и взвѣшиваніемъ котораго поневолѣ должна заниматься наша Библіографическая Хроника, встрѣтить книгу, непринадлежащую ни къ журнальнымъ, ни къ книгопродавческимъ спекуляціямъ,—книгу, которой авторъ не собиралъ денегъ на подписку за 18 неизданныхъ томовъ, не объявлялъ своихъ

претензій на званіе дворецкаго въ русской литературѣ, не писалъ похвалъ самому себѣ на татарско-бѣлорусскомъ нарѣчіи,—но въ которой находите просто умъ, талантъ и изящество.

Душа отдыхаетъ при взглядѣ на одну наружную форму этой книги: здѣсь вы встрѣтите имена людей, всѣми уважаемыхъ; вы видите себя въ кругу хорошаго общества; вы увѣрены, что ни что не оскорбитъ чувства приличія, что не встрѣтите дальновидныхъ разсчетовъ на легковѣріе публики, ни горячаго заступничества за товарищей; вы спокойны,—эту книгу можно читать безъ перчатокъ.

Начавъ читать ее, вы увлекаетесь занимательностію содержанія, живостію красокъ, изяществомъ разсказа. Вы замѣчаете въ этомъ ряду повѣстей не вялое, безжизненное повтореніе одного и того же, которымъ промышляютъ писаки, по обстоятельствамъ сдѣлавшіеся сочинителями романовъ, трагедій, исторій, чего угодно, только было-бы не въ убытокъ, — нѣтъ, вы видите въ этой книгѣ то, что́ всегда почитается признакомъ истиннаго дарованія, — видите, что каждая повѣсть молодаго писателя новый шагъ впередъ, и что съ каждымъ шагомъ его дарованіе мужаетъ и укрѣпляется.

Первая повѣсть «Три Жениха» отличается въ особенности живымъ изображеніемъ провинціяльнаго быта. Содержаніе ея не запутано; нѣсколько смѣшныхъ портретовъ счастливо очерчено; вы дочитываете до конца и жалѣете, зачѣмъ въ такой тѣсной рамѣ сжата эта картина. — Вторая повѣсть представляетъ картину нѣмецкаго городка и разгульный студенческій бытъ. Та же наблюдательность, тѣ же небрежные, но счастливые очерки; однако здѣсь уже не одна смѣшная сторона жизни, здѣсь мимоходомъ прорывается и глубокое чувство.—«Сережа» переноситъ васъ въ кругъ свѣтскаго общества. Здѣсь почти одно дѣйствующее лице, петербургскій молодой человѣкъ, который не знаетъ куда дѣвать свое

время и сердце; но въ изобрѣтеніи этого характера болѣе глубины, нежели съ перваго взгляда кажется по шутливому, небрежному тону, которымъ написана повѣсть; характеръ этотъ былъ бы достоинъ болѣе подробнаго развитія; въ немъ схвачены на лету основныя черты физіономіи молодыхъ людей новаго поколѣнія, которые—уже ни Онѣгинъ ни Графъ Нулинъ... Графъ Соллогубъ первый перенесъ въ литературный миръ эту новую породу романическихъ характеровъ и, какъ ботанистъ, открывшій новое растеніе, можетъ смѣло поставить при имени «Сережи: mihi. Неожиданность развязки этой повѣсти показываетъ въ авторѣ уже большую опытность въ расположеніи частей разсказа,

Приступаемъ къ другимъ повѣстямъ, которыя относятся, какъ кажется, ко второму періоду литературной жизни автора. Всѣмъ памятно впечатлѣніе, произведенное на читателей «Исторіею двухъ Калошъ», когда эта повѣсть въ первый разъ была напечатана въ 1-й книжкѣ Отечественныхъ Записокъ 1839 года. По нашему мнѣнію, она принадлежитъ къ лучшимъ повѣстямъ, когда либо написаннымъ на русскомъ языкѣ. Естественность и вмѣстѣ оригинальность завязки, искусно протянутая нить разсказа, все болѣе и болѣе раздражающая любопытство читателя, вѣрность въ изобрѣтеніи и изображеніи характеровъ, наконецъ изящество слога, все это вмѣстѣ оправдываетъ наше мнѣніе. Въ «Исторіи двухъ Калошъ» ужь незамѣтно прежней небрежности; но болѣе тщательная обработка подробностей нисколько не повредила живости и естественности слога. Здѣсь нѣтъ ни одного лишняго характера, ни одного ненужнаго для повѣсти описанія. Сапожныхъ дѣлъ мастеръ Іоганнъ Петеръ Августъ—Марія Мюллеръ, надворный совѣтникъ Ѳедоренко, органистъ Шульцъ, княгиня, покровительница музыканта, даже настройщикъ,—всѣ эти лица изображены мастерски, каждое имѣетъ только тѣ мысли, которыя оно можетъ имѣть, каждое говоритъ тѣмъ языкомъ, которымъ должно говорить. Эта тайна извѣстна

немногимъ изъ нашихъ романистовъ и драматистовъ. Въ большей части произведеній сихъ господъ, которые вытягиваются не литературными журналами въ длину и ширину, можно перемѣшать рѣчи всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, вынимать любую на угадъ—и выйдетъ одно и то же.

Въ «Исторіи двухъ Калошъ» замѣчательно искусство, съ которымъ авторъ умѣлъ говорить о предметѣ несовсѣмъ, такъ сказать, литературномъ, какова колоша,—говорить съ непринужденностію: съ приличной шуткой. Можно поручиться, что такой предметъ былъ бы камнемъ преткновенія для «калоши», какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «сардонической, наблюдающей всѣ нравы безъ исключенія, даже нравы тѣхъ гостиныхъ, куда ея не пускаютъ». Кстати замѣтимъ, что критикъ «Сѣверной Пчелы» очень серьезно доказывалъ, что непремѣнно надобно писать *галоши*, а не *калоши*. Поздравляемъ съ находкою! Еслибъ эти господа ограничивались только такого рода замѣчаніями и наблюденіями, мы не такъ горевали бы объ участи нашей журналистики; но не будемъ мѣшать похожденіямъ этихъ господъ по русской азбукѣ: можетъ быть, они когда-нибудь въ ней чему и научатся; подождемъ, потерпимъ....

«Большой Свѣтъ, повѣсть въ двухъ танцахъ», хотя менѣе предыдущей оригинальна по своей завязкѣ, но весьма занимательна по тщательной, окончательной обдѣлкѣ характера. Впрочемъ, характеръ Сафьева, замѣчательный и новый по изобрѣтенію, намъ кажется, слишкомъ—преувеличенъ. Его постоянное мщеніе графинѣ, мы думаемъ продолжается слишкомъ долго. Сверхъ того, напрасно скрыта отъ читателя другая половина этого характера: любопытно было бы изобразить, что мыслитъ и чувствуетъ этотъ загадочный человѣкъ, когда онъ не играетъ комедіи. Его поступки измѣняютъ той промышленной и эгоистической маскѣ, которую онъ на себя надѣваетъ: любопытно было бы знать, какимъ образомъ эта маска, носимая съ такимъ постоянствомъ, дѣйствуетъ на

внутреннее состояніе его души; любопытно было бы знать печали и страданія, которыя испытываетъ человѣкъ, обрекшій себя на такое душевное одиночество, который старается себя убѣдить, что онъ не вѣритъ сочувствію съ другими людьми, не вѣритъ собственной возвышенности духа. Характеру Сафьева тѣсно въ повѣсти: онъ можетъ быть предметомъ весьма занимательнаго и большаго романа. Мы весьма желали бы, чтобъ авторъ «Большаго Свѣта» подарилъ насъ такимъ произведеніемъ: въ немъ удобно и кстати могутъ быть изслѣдованы всѣ стихіи нашего вѣка, этого чуднаго боренія вольтеровской насмѣшки и англійскаго матеріялизма, съ идеальными, возвышенными порывами поэтовъ и мыслителей.

Но да не пріймутъ читатели нашей искренней похвалы за пристрастіе къ сотруднику; напротивъ, мы будемъ строги къ молодому автору... Оставляемъ въ сторонѣ опечатки на поживу людей, которые безъ того не имѣли бы насущнаго хлѣба—(имъ будетъ чѣмъ поживиться, ибо на эти опечатки не поскупился корректоръ до такой степени, что на 408 страницѣ, вмѣсто слова, которое вѣроятно должно быть: *два противника*, напечатано: *два избранные*, отъ чего фраза потеряла смыслъ); но замѣтимъ опечатки другаго рода, въ которыхъ виноватъ уже не корректоръ. Напримѣръ стр. 64: «часто сходился я *съ* людьми *съ* душой благородной, *съ* свѣтлымъ умомъ; въ этой фразѣ, странная двусмысленность, которой можно было избѣжать, употребивъ прекрасный, лишь русскому языку свойственный оборотъ: «души благородной, ума свѣтлаго», какъ напримѣръ «мужъ совѣта» у Пушкина. На стр. 89, слово *поминала* употреблено вмѣсто «помнила», или «вспомнила». На стр. 103 употреблены два глагола въ разныхъ временахъ: «подпирала—устремились». На стр. 354, вмѣсто: «по мнѣнію свѣта», точнѣе, по смыслу фразы, было бы сказать: «въ мнѣніи свѣта». На стр. 368: «такъ, какъ говорилъ я, прошло два года», не хорошо! На стр. 375:

«опять заблужденіе одно отъ него отлетѣло» неправильная разстановка словъ: впрочемъ, можетъ-быть здѣсь и опечатка... Мы могли бы набрать съ десятокъ такихъ обмолвокъ, правда, онѣ бездѣлица, но зачѣмъ при такомъ умѣньи владѣть языкомъ, при такой естественной гибкости слога, зачѣмъ, повторяемъ, даря публику прекраснымъ подаркомъ, не уничтожить этихъ небрежностей и давать поводъ незваныиъ гостямъ въ нашей литературѣ цѣпляться за эти небрежности и питать ими свое корректурное тщеславіе, которое симъ господамъ замѣняетъ всѣ возможные таланты и свѣдѣнія? ... Мы увѣрены, что авторъ отдѣлается отъ этихъ небрежностей при второмъ изданіи своей книги, въ необходимости котораго невозможно сомнѣваться.

Объемъ библіографической статьи не позволяетъ намъ ни разсказать содержанія повѣстей, ни обратить вниманіе на многія и многія страницы, блестящія неподдѣльнымъ, непринужденнымъ остроуміемъ, къ которому не пріучили насъ наши романисты,—на другія страницы, отличающіяся истиннымъ, высокимъ краснорѣчіемъ,— на цѣлыя сцены, одушевленныя глубокимъ чувствомъ и вѣрною наблюдательностію. Прочтите, напримѣръ, сцену бала (193 по 200 стр.); сцену концерта (213 по 217); сцену похоронъ княгини (242 по 248); сцену въ церкви (157 по 161), или послѣднія главы Большаго Свѣта» (стр. 410 по 428). Прочтите небольшое письмо любовника, этотъ камень преткновенія для обыкновенныхъ романистовъ (стр. 224). Это письмо въ нѣсколько строкъ, но оно требовало больше таланта и знанія человѣческаго сердца, нежели составленіе цѣлой повѣсти. Хотите ли сцену въ другомъ родѣ (стр. 372 и 373):

Всѣхъ болѣе надоѣлъ ему маленькой франтикъ съ мужицкой прической, съ цѣпочкой, съ лорнетомъ, который не давалъ ему покоя.

— А! bonjour, очень радъ васъ здѣсь встрѣтить. Мы въ театрѣ очень часто видимся. Кто вамъ больше нравится: Allan или Taglioni? Вообразите, я видѣлъ пятнадцать разъ сряду „Гитану“. Я всегда во

французскомъ театрѣ. Что дѣлать?... Люблю Allan; насъ въ театрѣ нѣсколько человѣкъ всегда вмѣстѣ,—Петруша, Ваня... Вы знаете Петрушу, графа Петра В., и Ваню, князя Ивана? Славные ребята! Я съ ними неразлученъ. Обѣдаемъ каждый день почти вмѣстѣ у Кулона или у Legrand. Какъ по вашему, кто лучше, Légrand или Coulon? Хорошъ Legrand! Дорогъ, нечего сказать, а мастеръ своего дѣла!— Вы много ѣздите въ свѣтъ, слышалъ я.—Скажите, пожалуйста, етъ ву каню авекъ ле Чуфыринъ э ле Курмицынъ? — „Нѣтъ" — Жалко! Очень у нихъ весело! Ужь не такіе вечера, продолжалъ онъ, наклонясь на ухо Леонина и улыбаясь лукаво, ужь не такіе вечера, какъ здѣсь; почище, гораздо почище. Въ комнатахъ освѣщено прекрасно, а за ужиномъ не подаютъ чортъ знаетъ что. Курмицыны долго были за границей и живутъ совершенно на иностранный genre. Славные вечера! Я очень хорошъ въ домѣ. Хотите я васъ представлю? Я съ ними очень друженъ...

Не правда ли, что вы встрѣчали этого франтика? непремѣнно встрѣчали: Онъ живой передъ вами. Увѣряемъ автора, что его господинъ «йетъ ву каню» войдетъ въ пословицу и останется вѣчнымъ... какъ бишь это называется, типомъ что ли—въ исторіи нашихъ нравовъ.

Не желая предупреждать любопытства читателей, мы выписали здѣсь небольшія отдѣльныя строки; но повѣсти графа Соллогуба производятъ наибольшее впечатлѣніе въ своей цѣлости, а остроумная его наблюдательность усыпала ихъ такими неожиданными и тонкими подробностями, которыя непереносимы въ критику. Нельзя не подивиться, какъ хорошо извѣстны молодому писателю всѣ классы нашего общества: и большой свѣтъ, и бытъ поселянъ, и средній классъ, и жизнь Нѣмцевъ, и студенческій бытъ и провинціяльные обычаи,— и, что всего важнѣе, всѣ разсказы его согрѣты теплымъ чувствомъ любви и проникнуты благородствомъ мыслей; здѣсь тайна того сочувствія съ читателями, котораго никогда не постигнутъ люди, думающіе, что можно писать безъ вдохновенія, даже безъ убѣжденія, и что въ искусствѣ, какъ въ ремеслѣ: стóитъ только набить руку, чтобъ попасть въ литераторы.

Оканчивая статью, мы не можемъ не принести жертвы промышленному духу нашего времени. Вспоминая хорошія повѣсти, у насъ существующія, мы нашли, что русская литература нашего времени не совсѣмъ бѣдна ими,—и потому думаемъ, что тотъ затѣялъ бы хорошее дѣло, кто собралъ бы въ одну книгу всѣ повѣсти, донынѣ изданныя особо, или разсѣянныя по журналамъ: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, князя Одоевскаго, графа Соллогуба, Даля, Павлова, псевдонима А. П. Панаева, Гребенки и другихъ. Такое собраніе необходимо имѣло бы успѣхъ въ Россіи и послужило бы пособіемъ для иностранцевъ, которые съ недавняго времени такъ прилежно занимаются русскою литературою, и которые, будучи обмануты пышными объявленіями литературныхъ спекулянтовъ, принимаются за переводы издѣлій, нисколько не достойныхъ этой чести и только поселяющихъ весьма странное мнѣніе о нашей литературѣ на чужой сторонѣ, гдѣ не могутъ быть извѣстны всѣ домашнія сдѣлки нашихъ чернильныхъ витязей.

ДУШЕНЬКА, *древняя повѣсть*, *И. Богдановича. Спб. 1841.*

«Душенька» имѣла въ свое время успѣхъ чрезвычайный, едва ли еще не высшій, чѣмъ трагедіи Сумарокова, комедіи Фон-Визина, оды Державина, «Россіада» Хераскова. Пастушеская свирѣль Богдановича очаровала слухъ современниковъ сильнѣе трубъ и литавръ эпическихъ поэмъ и торжественныхъ одъ; миртовый вѣнокъ его былъ обольстительнѣе лавровыхъ вѣнковъ нашихъ Гомеровъ и Пиндаровъ того времени. До появленія въ свѣтъ «Руслана и Людмилы» наша литература не представляетъ ничего похожаго на такой блестящій тріумфъ, если исключить успѣхъ «Бѣдной Лизы» Карамзина. Всѣ поэтическія знаменитости пустились писать надписи къ портрету счастливаго пѣвца «Душеньки», а когда онъ умеръ,—эпитафіи на гробѣ.

Одинъ Дмитріевъ, въ свое время поэтическая знаменитость первой величины, написалъ три такія эпитафіи. Батюшковъ воспѣлъ Богдановича въ своемъ прекрасномъ посланіи къ Жуковскому «Мои Пенаты», вмѣстѣ съ другими знаменитостями русской литературы. Карамзинъ написалъ разборъ «Душеньки», въ которомъ силился доказать, что Богдановичъ побѣдилъ Лафонтена, забывъ, что сказка Лафонтена если писана и прозою, то прозою изящною, на языкѣ уже установившемся, безъ усѣченій, безъ насильственныхъ удареній, что у Лафонтена есть и наивность и остроуміе, и грація, столь сродственныя французскому генію.

Что же такое въ самомъ-то дѣлѣ эта препрославленная, эта пресловутая «Душенька»?

Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами, съ усѣченными прилагательными, натянутыми удареніями, часто съ полубогатыми и бѣдными рифмами, — сказка, лишенная всякой поэзіи, совершенно чуждая игривости, граціи, остроумія. Правда, авторъ ея претендовалъ и на поэзію, и на грацію, и на остроумную наивность, или наивное остроуміе; но все это у него поддѣльно, тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско. Выпишемъ для примѣра хоть то мѣсто, гдѣ Душенька, съ свѣтильникомъ въ рукѣ, и съ мечемъ подъ полою, увидѣла спящаго Амура:

Увидя Душенька *прекрасно* божество
На мѣсто аспида, котораго боялась,
Видѣніе сіе почла за колдовство,
Иль сонъ, или *призракъ*, и долго изумлялась,
И видя наконецъ, какъ каждый видѣть могъ,
Что былъ супругъ ея прекрасный самый богъ,
Едва не кинула лампады и кинжала,
И, позабывъ тогда свою *приличну статъ*,
Едва не бросилась супруга обнимать,
Какъ будто бъ никогда его не обнимала.
Но удовольствіемъ *жадающихъ* очей.
Остановлялась тутъ стремительность *любовна*,

И Душенька тогда, недвижна и *безсловна*,
Считала ночь сію пріятнѣй всѣхъ ночей.
Она не разъ себя въ семъ дивѣ обвиняла,
Смотря со всѣхъ сторонъ, что только зрѣть могла,
Почто къ нему давно съ лампадой не пришла,
Почто его красотъ *заранѣ* не видала,
Почто о богѣ семъ въ незнаніи была,
И дерзостно его за змѣя почитала.
Впослѣдокъ царска дочь,
Въ сію пріятну ночь
Дая свободу взгляду,
Приближалась, потомъ приближала лампаду,
Потомъ нечаянной бѣдой,
При семъ движеніи, и робкомъ и несмѣломъ,
Держа огонь надъ самымъ тѣломъ,
Трепещущей рукой
Небрежно надъ бедромъ лампаду наклонила,
И, *масла часть* проливъ *оттоль*,
Ожогою бедра Амура разбудила.
Почувствовавъ *жестоку* боль,
Онъ вдругъ вздрогнулъ, вскричалъ, проснулся,
И, боль свою забывъ, *отъ свѣта ужаснулся*;
Увидѣлъ Душеньку, увидѣлъ также мечъ,
Который *изъ-подъ плечъ*
Къ ногамъ тогда *скользнулся*;
Увидѣлъ онъ вины,
Или *признаки* вины *зломышленной жены*;
И тщетно тутъ желала
Сказать несчастья всѣ сначала,
Какія *въ выправку* сказать ему могла.
Слова въ устахъ остановлялись:
И свѣтъ и мечъ *въ винахъ* уликою являлись,
И Душенька тогда, *упадши*, обмерла.

Сирѣчь «сомлѣла»;—и по дѣломъ ей? Мы нарочно не поскупились на выписку: пусть читатели сами судятъ по этому отрывку, какого труда и поту стоитъ прочесть поэму, писанную такими милыми стишками и преисполненную такой легкой, очаровательной и граціозной поэзіи...

«Душенька» Богдановича ведетъ свое начало отъ высока-

го эллинскаго миѳа о сочетаніи души съ любовью, т. е. о проникновеніи духовнымъ началомъ естественнаго влеченія половъ: на этотъ разъ изъ чистаго и глубокаго источника вытекла мутная лужица воробью по колѣно. Конечно, нельзя винить Богдановича за то, что ему не могла и въ голову войдти подобная мысль: объ этихъ премудростяхъ и въ самой Германіи очень не за долго до его времени начали догадываться; не винимъ его также за отсутствіе художественнаго такта, пластичности и наивной граціозности древнихъ: онъ не былъ ни художникомъ, ни поэтомъ, ни даже особенно талантливымъ стихотворцемъ, да въ его время о художественности и пластицизмѣ древнихъ и сами Нѣмцы только что начинали догадываться, а вся остальная Европа жила въ идеѣ остроумія; но вѣдь остроуміе должно же быть остроумно, а не плоско; шалость должна же быть игрива, граціозна, чтобъ не оскорблять эстетическаго вкуса...

Почему же «Душенька» Богдановича имѣла такой блестящій успѣхъ?—Мы первые согласны въ томъ, что всякій блестящій успѣхъ всегда основывается если не на достоинствѣ, то на какой-нибудь основательной причинѣ; и мы убѣждены, что успѣхъ «Душеньки» былъ вполнѣ заслуженный, такъ же какъ и успѣхъ «Бѣдной Лизы». Это очень легко объяснить. Громкія оды и тяжелыя поэмы всѣхъ оглушали и удивляли, но никого не услаждали, — и потому всѣ мечтали о какой-то «легкой поэзіи», вѣроятно, разумѣя подъ нею салонную французскую бельлетристику. И вотъ является человѣкъ, который для своего времени пишетъ просто и легко, даже забавно и игриво, силится ввести въ поэзію комическій элементъ, высокое смѣшать съ смѣшнымъ, какъ это есть въ самой дѣйствительности, риторику поддѣльнаго эмфаза замѣнить риторикою поддѣльной наивности и остроумія, какимъ наградила его скупая природа. Естественно, что все приходитъ въ восторгъ отъ такой невидали и небывальщины: должно было приглядѣться къ ней (а для этого нужно было

время и время), чтобы увидѣть ея незначительность и пустоту. И приглядѣлись; но тогда еще наши литературные авторитеты сокрушались медленно: ихъ и не читали, а все-таки хвалили по преданію и лѣнивой привычкѣ. И вотъ Батюшковъ, поэтъ съ большимъ дарованіемъ и съ художественнымъ тактомъ, безсознательно преклоняясь передъ всемогущею тогда силой преданія, воспѣлъ Богдановича, какъ любимца музъ и грацій, съ которыми у пѣвца «Душеньки» не было ничего общаго. Вѣдь Дмитріевъ говорилъ же о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ;
Хераскову они вреда не нанесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Воейковъ (во время оно, тоже литературная и поэтическая знаменитость) провозглашалъ:

Херасковъ, *нашъ Гомеръ*, воспѣвшій древни брани,
Россіи торжество, паденіе Казани...

А теперь? — Увы! — Sic transit gloria mundi!... Успѣху «Душеньки» много способствовалъ и ея вольный, шаловливый тонъ, столь противоположный чопорности литературныхъ приличій того времени. Этому же обстоятельству много обязаны были своимъ успѣхомъ и сказки Дмитріева «Причудница» и «Модная Жена», которыя впрочемъ по литературному достоинству гораздо выше «Душеньки». Однакожь, поэма Богдановича все-таки замѣчательное произведеніе, какъ фактъ исторіи русской литературы: она была шагомъ впередъ и для литературы, и для литературнаго образованія нашего общества. Кто занимается русскою литературою какъ предметомъ изученія, а не одного удовольствія, тому—еще болѣе записному литератору—стыдно не прочесть «Душеньки» Богдановича. Но безотносительныхъ достоинствъ она не имѣетъ никакихъ, и въ наше время нѣтъ ни малѣйшей возможности читать ее для удовольствія.

А между тѣмъ, «Душенька» до сихъ поръ все печатается новыми изданіями; мелкіе книжные торговцы сдѣлали ее постояннымъ средствомъ для своихъ спекуляцій. И это очень понятно. У насъ есть особый классъ читателей: это люди, только что начинающіе читать, вмѣстѣ съ перемѣною національнаго сермяжнаго кафтана на что-то среднее между купеческимъ длиннополымъ сюртукомъ и фризовою шинелью. Обыкновенно они начинаютъ съ «Милорда Англинскаго», и «Потеряннаго Рая» (неистовымъ образомъ переведеннаго прозою съ какого-то риторическаго французскаго перевода), «Письмовника» Курганова, «Душеньки» и басень Хемницера,—этими же книгами и оканчиваютъ, всю жизнь перечитывая усладительные для ихъ грубаго и необразованнаго вкуса творенія. Потому-то эти книги и издаются почти ежегодно нашими смѣтливыми книжными торговцами.

Новое изданіе «Душеньки» очень скромно и ужасно безвкусно. Корректура неисправна. Приложеній нѣтъ никакихъ.

БЕРНАРДЪ МОПРАТЪ (,) *или* **ПЕРЕВОСПИТАННЫЙ ДИКАРЬ** (,) *соч. Жоржъ Зандъ (Г-жи Дюдеванъ). Часть первая. Спб. 1841.*

„Мопрà“ есть одно изъ лучшихъ созданій Жоржъ Занда. Въ основѣ этой повѣсти лежитъ мысль глубокая и поэтическая: молодой человѣкъ, воспитанный въ шайкѣ феодальныхъ воровъ и разбойниковъ, влюбляется со всею силою дикой и дѣвственной натуры, въ дѣвушку съ душою возвышенною, характеромъ сильнымъ, и тѣмъ не менѣе прекрасную, граціозную. Дѣйствіемъ непосредственнаго вліянія своей красоты и женственности она обуздываетъ животные и звѣрскіе порывы его страсти, постепенно изъ дикаго звѣря дѣлаетъ ручнаго звѣря, а потомъ и человѣка; научивъ его любить кротко, почтительно, благоговѣйно и беззавѣтно, всего ожи-

дать отъ любви; а не отъ правъ своихъ и свято уважать личную свободу любимой женщины. Прекрасная мысль эта развита въ высшей степени поэтическимъ образомъ. Разсказъ Жоржъ Занда—это сама простота, сама красота, сама жизнь, самъ умъ, сама поэзія. Сколько глубокихъ, практическихъ идей о личномъ человѣкѣ, сколько свѣтлыхъ откровеній благородной, нѣжной, женственной души! И какая человѣчность дышетъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ этой геніяльной женщины! Это не то что г. *де* Бальзакъ, передъ которымъ такъ благоговѣйно преклоняются наши добрые гонители всего европейскаго во славу всего китайскаго! Это не г. *де*-Бальзакъ, съ своими герцогами, герцогинями, графами, графинями и маркизами, которые столько же похожи на истинныхъ, сколько самъ г. де-Бальзакъ похожъ на великаго писателя, или геніяльнаго человѣка. У Жоржъ Зандъ нѣтъ ни любви, ни ненависти къ привиллегированнымъ сословіямъ, нѣтъ ни благоговѣнія, ни презрѣнія къ низшимъ слоямъ общества; для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебеи,—для нея существуетъ только человѣкъ,—и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ о немъ. Но женщина и ея отношенія къ обществу, столь мало оправдываемыя разумомъ, столь много основывающіяся на преданіи, предразсудкахъ, эгоизмѣ мущинъ,—эта женщина наиболѣе вдохновляетъ поэтическую фантазію Жоржъ Занда, и возвышаетъ до паѳоса благородную энергію ея негодованія къ легитимированной насиліемъ невѣжества лжи, ея живую симпатію къ угнетенной предразсудками истинѣ. Жоржъ Зандъ есть адвокатъ женщины, какъ Шиллеръ адвокатъ человѣчества. Мудрено ли послѣ этого, что г жа д'Юдеванъ ославлена слѣпою чернью, дикою и невѣжественною толпою, какъ писательница безнравственная?.. Кто открываетъ людямъ новыя истины, тому люди не дадутъ спокойно кончить вѣка; за то, когда сведутъ въ раннюю могилу,—то непремѣнно

воздвигнутъ великолѣпный памятникъ, и какъ на святотатца будутъ смотрѣть на того, кто бы дерзнулъ сказать хоть одно слово противъ предмета ихъ прежней остервенѣлой ненависти... Вѣдь и Шиллеръ при жизни своей, слылъ писателемъ безнравственнымъ и развратнымъ...

ЛАСТОВКА. *Сочиненія на малороссійскомъ языкѣ г. Л. Боровиковскаго, Е. Гребенки, Грицька Основьяненка, В. Забѣлы, И. Котляревскаго, Кореницкаго, Ц. Кулеша, Мартавицкаго, П. Писаревскаго. А. Чужбинскаго, Т. Шевченка, С. Шерепери и другихъ. Повѣсти и разсказы, нѣкоторыя народныя малороссійскія пѣсни, поговорки, пословицы, стихотворенія и сказки. Собралъ Е. Гребенка. Спб. 1841.*

СВАТАНЬЕ. *Малороссійская опера въ трехъ дѣйствіяхъ. Соч. Основьяненка. Изданіе второе. Харьковъ. 1840.*

Не смотря на разность этихъ двухъ книжекъ, изъ которыхъ одна—альманахъ, а другая—водевиль, несправедливо названный оперою, — мы соединяемъ ихъ въ одну статью, находя между ими то общее, о которомъ особенно хочется намъ поговорить: обѣ онѣ писаны на малороссійскомъ нарѣчіи. Предстоитъ важный вопросъ: есть ли на свѣтѣ малороссійскій языкъ, или это только областное нарѣчіе? Изъ рѣшенія этого вопроса вытекаетъ другой: можетъ ли существовать малороссійская литература и должны ли наши литераторы изъ Малороссіянъ писать по малороссійски?

Что до перваго вопроса, на него можно отвѣчать и *да* и *нѣтъ*. Малороссійскій языкъ дѣйствительно существовалъ во времена самобытности Малороссіи, и существуетъ теперь—въ памятникахъ народной поэзіи тѣхъ славныхъ временъ. Но это еще не значитъ, чтобъ у Малороссіянъ была литература: народная поэзія еще не составляетъ литературы.

Тѣмъ не менѣе памятники народной поэзіи драгоцѣнны, и сохраненіе ихъ похвально. Малороссія—страна поэтическая и оригинальная въ высшей степени. Малороссіяне одарены неподражаемымъ юморомъ: въ жизни ихъ простаго народа такъ много человѣческаго, благороднаго. Тутъ имѣютъ мѣсто всѣ чувства, которыми высока натура человѣческая. Любовь составляетъ основную стихію жизни. Прибавьте къ этому азіятское рыцарство, извѣстное подъ именемъ удалаго казачества; вспомните тревожную жизнь Малороссіи, ея борьбу съ католическою Польшею и басурманскимъ Крымомъ и Турціею,—и вы согласитесь, что трудно найдти болѣе обильнаго источника поэзіи, какъ малороссійская жизнь. Но не должно забывать, что Малороссія начала выходить изъ своего непосредственнаго состоянія вмѣстѣ съ Великороссіею, со временъ Петра Великаго; что до тѣхъ поръ какой-нибудь вельможный гетманъ отличался отъ простаго казака не идеями, не образованіемъ, но только старостію, опытностію, а иногда только богатымъ платьемъ, большими хоромами и обильною трапезою. Языкъ былъ общій, потому что идеи послѣдняго казака были въ уровень съ идеями пышнаго гетмана. Но съ Петра Великаго началось раздѣленіе сословій. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русскій языкъ и русско-европейскіе обычаи въ образѣ жизни Языкъ самого народа началъ портиться, и теперь чистый малороссійскій языкъ находится преимущественно въ однѣхъ книгахъ. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право сказать, что теперь уже нѣтъ малороссійскаго языка, а есть областное малороссійское нарѣчіе, какъ есть бѣлорусское, сибирское и другія, подобныя имъ областныя нарѣчія.

Теперь очень легко рѣшается и второй вопросъ: должно ли и можно ли писать по-малороссійски? Обыкновенно пишутъ для публики, а подъ «публикою» разумѣется классъ общества, для котораго чтеніе есть родъ постояннаго занятія, есть нѣкотораго рода необходимость. Поэтому, въ составъ публики

можетъ войдти и гостинодворскій сидѣлецъ, даже съ бородкою, и—если хотите—деревенскій мужичокъ; но все-таки это будетъ исключеніемъ: собственно публика состоитъ изъ высшихъ образованнѣйшихъ слоевъ общества. Поэзія есть идеализированіе дѣйствительной жизни: чью же жизнь будутъ идеализировать наши малороссійскіе поэты?—Высшаго общества Малороссіи? Но жизнь этого общества переросла малороссійскій языкъ, оставшійся въ устахъ одного простаго народа,—и это общество выражаетъ свои чувства и понятія не на малороссійскомъ, а на русскомъ и даже французскомъ языкахъ. И какая разница, въ этомъ случаѣ, между малороссійскимъ нарѣчіемъ и русскимъ языкомъ! Русскій романистъ можетъ вывести въ своемъ романѣ людей всѣхъ сословій и каждаго заставить говорить своимъ языкомъ: образованнаго человѣка языкомъ образованныхъ людей, купца по-купечески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки. А малороссійское нарѣчіе одно и то же для всѣхъ сословій—крестьянское. Поэтому, наши малороссійскіе литераторы и поэты пишутъ повѣсти всегда изъ простаго быта и знакомятъ насъ только съ Марусями, Одарками, Покипами, Кандзюбами, Стецьками и тому подобными особами. Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія: слѣдовательно, и въ простомъ быту есть поэзія? Правда; но для этой поэзіи нужны слишкомъ огромные таланты. Мужицкая жизнь сама по себѣ мало интересна для образованнаго человѣка: слѣдственно, нужно много таланта чтобъ идеализировать ее до поэзіи. Это дѣло какого-нибудь Гоголя, который въ малороссійскомъ бытѣ умѣлъ найдти общее и человѣческое, въ простомъ быту умѣлъ подстеречь и уловить играніе солнечнаго луча поэзіи; въ ограниченномъ кругу умѣлъ подсмотрѣть разнообразіе срастей, положеній, характеровъ. Но это потому что для творческаго таланта Гоголя существуютъ не одни парубки и дывчата, не одни Аѳонасіи Ивановичи съ Пульхеріями Ивановнами, но и Тарасъ Бульба съ своими могучими сынами; не одни Малороссы, но и Русскіе, и не

одни Русскіе, но человѣкъ и человѣчество. Геній есть полный властелинъ жизни и беретъ съ нея полную дань когда бы и гдѣ бы ни захотѣлъ. Какая глубокая мысль въ этомъ фактѣ, что Гоголь, страстно любя Малороссію, все-таки сталъ писать по-русски, а не по-малороссійски!

Но Гоголь не всѣмъ можетъ быть примѣромъ. Тѣмъ не менѣе, жалко видѣть, когда и маленькое дарованіе попусту тратитъ свои силы, пиша по-малороссійски — для малороссійскихъ крестьянъ. Въ самомъ дѣлѣ, содержаніе такихъ повѣстей всегда однообразно, всегда одно и тоже, а главный интересъ ихъ—мужицкая наивность и наивная прелесть мужицкаго разговора. Все это нѣсколько прискучило. У кого, напримѣръ, станетъ терпѣнія прочесть цѣлую книжку, составленную изъ прозаическихъ статей, писанныхъ *такимъ* языкомъ, съ *такою* манерою и *такимъ* тономъ:

„Нема̀ на свити ничо̀го луччого и Богу мылищого, якъ сердце матери до своихъ диточо̀къ! — Скилки бъ ихъ у ние ни было, чы дисяткомъ Богъ благословывъ, чы тилки однимъ — одно; для неи ривни, жо̀дного любытъ, усихъ ривно пестуе, за усякимъ равно вбывается. Девять здоровеньки край неи, потишаютъ ii, а одно морщытця, кысне, не дуже; вже вона за нимъ вбываетця, тужить, вже и боитца, що бъ ще дужче не занедужало, або щобъ—нехай Богъ боро̀ныть—що бъ ще и не вмерло!—Вона ихъ обмыва̀, обпатрюе, обшыва̀ зодяга̀—и нико̀лы жъ то не втомытця, нико̀лы ни поскуча зъ ными и усяка работа на дитичо̀къ ій не важна!“ и пр.

Или вотъ еще:

„Уже я такъ думаю що нема й на свити кращого мисця якъ Полтавська губернія. Господы Боже міи милостивый що за губернія! И степы и лисы и сады и байракы и щукы и караси и вышны и черешни и усяки напытки и волы, и добри кони и добри люде, усе е, усего—богацько!“ и пр.

Хороша литература, которая только и дышетъ, что простоватостію крестьянскаго языка, и дубоватостію крестьянскаго ума!

Но вотъ, что интересно: въ Ластовкѣ» есть повѣсть, или

что-то въ родѣ повѣсти, подъ которою стоитъ имя г. Основьяненка, и надъ которою есть посвященіе такого содержанія: «Любій моій жинци Анни Григоріевни Квитка». Изъ этого видно, что г. Основьяненко и г. Квитка—одно и то же лице, ибо жинка, или жинца по-малороссійски значитъ жена. Итакъ, всѣ эти повѣсти и романы, которые печатались подъ именемъ Основьяненка, принадлежатъ г-ну Квиткѣ, принявшему только въ видѣ псевдонима имя Основьяненка?..

Что касается до «Сватанья» г. Основьяненка или г. Квитки,—это водевиль изъ крестьянскаго быта, водевиль, впрочемъ, довольно растянутый, но мѣстами не безъ занимательности.

СКАЗАНІЯ РУССКАГО НАРОДА, *собр. И. Сахаровымъ. Томъ первый. Книга первая, вторая, третья и четвертая. Изданіе третье. Спб. 1841.*

Читателямъ уже извѣстна программа изданія, предпринятаго И. П. Сахаровымъ. Вѣроятно они, вмѣстѣ со многими изъ прочитавшихъ программу, были изумлены огромностію труда, который задалъ себѣ нашъ почтенный собиратель памятниковъ старины и народности русской. Въ самомъ дѣлѣ, издать одному человѣку семь огромныхъ томовъ, вмѣщающихъ въ себя тридцать книгъ, и объемлющихъ собою всѣ стороны древней русской жизни—отъ фактовъ, сообщаемыхъ лѣтописями, до древнихъ костюмовъ, гербовъ, печатей, пословицъ, поговорокъ, и проч. проч.—трудъ неслыханный на святой Руси! Многіе, въ недовѣрчивости покачивая головою, говорили объ этой программѣ, какъ обыкновенно говорится о великолѣпныхъ „программахъ", къ которымъ пріучили уже наши книжные спекулянты довѣрчивую публику. Но каково же должно быть удивленіе этихъ невѣровавшихъ—теперь, когда г. Сахаровъ вслѣдъ за программою, дѣйствительно издалъ первый томъ своихъ „Сказаній"—томъ огромный, со-

стоящій изъ 568 страницъ большаго формата, напечатанныхъ въ два столбца такимъ мелкимъ, убористымъ шрифтомъ, что онѣ смѣло могутъ быть приняты за 1136 страницъ обыкновенной печати, и вмѣщающій въ себѣ свѣдѣнія въ высшей степени интересныя! По этому первому тому мы можемъ несомнѣнно надѣяться, что г. Сахаровъ выполнитъ въ точности всю свою програму и подаритъ русскую публику такимъ изданіемъ, какого еще не имѣла она и какого тщетно стала бы ожидать отъ дѣятельности другихъ любителей старины. Душевно желаемъ скорѣйшаго окончанія этому прекрасному предпріятію.

Для тѣхъ изъ нашихъ читателей, которые незнакомы еще съ трудами г. Сахарова, скажемъ, что книга его есть сокровищница положительныхъ свѣдѣній о разныхъ фазахъ прежней русской жизни. Свѣдѣнія эти или собраны имъ-самимъ во время путешествій по губерніямъ Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской и Московской, или доставлены ему просвѣщенными соотечественниками, или наконецъ заимствованы изъ книгъ, изданныхъ другими. И. П. Сахаровъ—не теоретикъ: онъ даже иногда посмѣивается надъ теоріею, а иногда и побраниваетъ ее, и потому не думайте встрѣтить въ его книгѣ ни теоретическихъ взглядовъ на ту или другую сторону русскаго быта, ни такъ сказать исторической архитектоники, ни попытки представить стройное изображеніе древней русской жизни; нѣтъ, г. Сахаровъ такъ добросовѣстенъ, что и не брался за подобное изображеніе; онъ лучше чѣмъ кто-нибудь знаетъ, что это дѣло невозможное, и что одинъ только безстыдный, достойный всякаго презрѣнія шарлатанизмъ можетъ въ великолѣпной программѣ обѣщать представить Россію во всевозможныхъ видахъ и отношеніяхъ,—тогда какъ для этого нѣтъ ни у кого въ мірѣ ни силъ, ни матеріяловъ... Онъ избралъ себѣ часть истинно-благую и истинно-полезную: онъ собираетъ матеріялы—пѣсни, сказки, повѣрья, преданія, пословицы, обычаи, письменные

памятники древности, и, не мудрствуя лукаво, передаетъ все это со всевозможною точностію и вѣрностію своимъ соотечественникамъ. Мало этого: онъ тщательно собираетъ разные толки и мнѣнія касательно спорныхъ вопросовъ о достовѣрности, того или другаго ученаго повѣрья и дѣлаетъ изъ этихъ мнѣній сводъ, ограничиваясь, по мѣстамъ, легкими замѣчаніями съ своей стороны и не входя въ дальнѣйшее критическое разбирательство дѣла. Такъ и должно быть: въ противномъ случаѣ, книга его, имѣя двѣ разностороннія цѣли необходимо распалась бы на двѣ части, изъ которыхъ одна непремѣнно вредила бы другой. Давайте намъ матеріяловъ, фактовъ, больше фактовъ; критика не замедлитъ явиться, и тогда само собою обнаружится, кто правъ, кто виноватъ— новая ли, все критизирующая историческая школа (которой явно противорѣчатъ убѣжденія почтеннаго И. П. Сахарова), или старая, готовая вѣрить на слово и лѣтописи, и «Слову о Пълку Игоревѣ», и «Сказанію о Мамаевомъ Побоищѣ», и «Слову Даніила Заточника», и пр. и пр. Безъ фактовъ все дѣло будетъ вертѣться только на словахъ, ограничиваться голословіемъ. Итакъ, въ сторону критику, почтенный и трудолюбивый нашъ собиратель «Сказаній Русскаго Народа»! Давайте намъ фактовъ, больше фактовъ,—и вы услышите громкое спасибо со всѣхъ сторонъ безконечнаго царства русскаго.

Но и теперь, прочитавъ только первый томъ вашихъ «Сказаній», мы шлемъ вамъ свое искреннее, душевное спасибо. Сколько любопытнаго собрано въ этомъ обширномъ томѣ! Первая книга его носитъ на себѣ названіе «Русской Народной Литературы». Здѣсь издатель прежде всего говоритъ о славено-русской миѳологіи; собираетъ все, что находится объ этомъ предметѣ, у Нестора (котораго лѣтопись онъ признаетъ и древнею и достовѣрною), и что написано было о томъ же Инокентіемъ, Гизелемъ, Поповымъ, Чулковымъ, Глинкою, Кайсаровымъ, Строевымъ, Руссовымъ, Пріѣзжевымъ, равно

какъ и иностранцами: Саксомъ-Грамматикомъ, Гельмольдомъ, Дитмаромъ, Стурлезономъ Снорри, Шедіемъ, Френцелемъ, Вагнеромъ, Арнольдомъ, Гроссеромъ, Монфокономъ, Банье, Шereромъ, Машемъ, Гейнекціемъ, Толліемъ, докторомъ Антономъ, Леклеркомъ, графомъ Потоцкимъ, Кромеромъ, Шнейдеромъ, Гваньини, Гютри, Длугошемъ, Стрыйковскимъ, Тунманомъ, Гебгарди, Шварцемъ, Герберштейномъ, Раичемъ, Мавро-Урбиномъ, княземъ Бакхау, Нарушевичемъ, Іовіемъ, Нарбутомъ... Не драгоцѣнныя ли это указанія?... Далѣе слѣдуютъ «Пѣсни Русскаго Народа», или, лучше сказать, пересмотръ почти всѣхъ доселѣ изданныхъ пѣсенниковъ подъ различными, длинными и короткими, шарлатанскими и скромными названіями—отъ «Пѣсенника», изданнаго Чулковымъ въ 1770 году, до новѣйшихъ. Тутъ чрезвычайно любопытны свѣдѣнія, собранныя г. Сахаровымъ о томъ, какъ смотрѣли прежніе издатели на собираемыя имъ пѣсни, какъ поправляли ихъ, т. е. какъ коверкали и уничтожали весь колоритъ древности и народности, для того, изволите видѣть, чтобъ представить ихъ «въ лучшемъ, привлекательнѣйшемъ видѣ». Ужасъ объемлетъ душу, когда посмотришь на работу этихъ поправщиковъ, какъ иной, напримѣръ, изъ 11 стиховъ чуднаго древняго стихотворенія (изъ сборника Кирши Данилова) дѣлалъ ровно 50, по правиламъ риторической «амплификаціи», или вмѣсто

Во чужой землѣ мнѣ могилушка

поправилъ такъ:

Во чужой странѣ могила мнѣ!

или, вмѣсто простыхъ, но оригинальныхъ и выразительныхъ стиховъ:

Молодому, холостому
Назолу даваетъ.
Молодой и холостой
Въ лужкѣ травушку примялъ,

поставилъ свои, водяные и пошлые:

Молодецъ одинъ прекрасной
Дѣвицѣ знакомой
Часто по лугу гуляетъ,
Травку преминаетъ. ..

Говоря о сборникѣ древнихъ пѣсень, извѣстномъ подъ названіемъ: «Древнія Россійскія Стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ», г. Сахаровъ рѣшительно не признаетъ, чтобъ онѣ были собраны этимъ казакомъ, а приписываетъ, собраніе ихъ П. А. Демидову, «жившему въ Тулѣ въ половинѣ XVIII столѣтія и любившему собирать всѣ рѣдкости». Дѣйствительно, извѣстно, что эти стихотворенія открыты были П. А. Демидовымъ, что по смерти его достались они г. Хозикову, который подарилъ ихъ Ѳ. П. Ключареву; что потомъ г. Ключаревъ поручилъ издать ихъ А. Ѳ. Якубовичу, и что они были изданы г. Якубовичемъ въ 1804 году, подъ названіемъ: «Древнія Русскія Стихотворенія». Потомъ К. Ѳ. Калайдовичъ напечаталъ второе изданіе ихъ въ 1818 году, съ той же рукописи, полученной имъ уже отъ графа Н. П. Румянцова, прибавивъ къ нимъ 35 пѣсень и сказокъ откинутыхъ г. Якубовичемъ. Но трудно доказать, чтобъ именно П. А. Демидовъ собралъ эти пѣсни, а не кто-либо другой: пока для этого нѣтъ никакихъ данныхъ, и представляемыя г. Сахаровымъ доказательства — догадки, не болѣе.—Наконецъ, въ этомъ же отдѣлѣ большое мѣсто занимаютъ толки о достовѣрности «Слова о Пълку Игоревѣ» и о значеніи нѣкоторыхъ словъ его. Г. Сахаровъ, собравъ здѣсь все, что было писано объ этомъ «Словѣ» pro и contra, отдаетъ преимущество вѣрующимъ въ древность и русское происхожденіе «Слова», возстаетъ на сомнѣвающихся и даже, перепечатывая это «Слово» въ свое изданіе, ставитъ на заглавномъ листѣ грозное: «да постыдятся и посрамятся вси глаголющіе нань!» Оставляемъ его въ этомъ убѣжденіи, не будемъ пока спорить, и поблагодаримъ за сообщеніе полныхъ свѣдѣній о всемъ, относящемся къ «Слову»: это весьма важная ус-

луга тѣмъ, кому прійдется забирать о «Словѣ» справки. Въ этой же книгѣ указаны сочиненія и мнѣнія о Русскихъ Народныхъ Праздникахъ.

Этими тремя статьями: о миѳологіи, пѣсняхъ и праздникахъ, ограничивается первая книга перваго тома, называющаяся, какъ сказано «Русскою Народною Литературою». Самыя пѣсни составляютъ уже третью, наибольшую по числу страницъ книгу того же тома. Въ ней находится драгоцѣнное собраніе пѣсень святочныхъ, хороводныхъ, плясовыхъ, свадебныхъ, семейныхъ, разгульныхъ, удалыхъ, солдатскихъ, казацкихъ, историческихъ, обрядныхъ и колыбельныхъ — со многими варіянтами, «сравнительными пѣснями», примѣчаніями и описаніями обрядовъ, при которыхъ онѣ поются. Нельзя не имѣть довѣрія къ каждому стиху пѣсень, сообщаемыхъ г. Сахаровымъ: вездѣ слышится чисто народный складъ, народное слово, народное выраженіе, и нигдѣ не замѣтно ни малѣйшей подправки. Рѣшительно, собраніе пѣсень г. Сахарова можетъ быть названо у насъ единственнымъ и образцовымъ. Совѣтуемъ всѣмъ собирателямъ поучиться у него этому дѣлу.

Къ отдѣлу же «Народной Литературы», судя по плану г. Сахарова, напечатанному въ предисловіи къ первой книгѣ, должны быть отнесены помѣщенныя во второй книгѣ «Русскія народныя Загадки и Притчи» и «Русскія Народныя Игры». То же предисловіе обѣщаетъ дополнить отдѣлъ «Народной Литературы»—пословицами, сказками и обозрѣніемъ русскихъ областныхъ нарѣчій; все это войдетъ въ составъ слѣдующихъ томовъ.

Во второй книгѣ, кромѣ сказаннаго, помѣщена большая статья: «Русское Народное Чернокнижіе», гдѣ собраны преданія о разныхъ русскихъ «заговорахъ», «о народныхъ чарованіяхъ»; «преданія знахарей и колдуновъ» и «народныя гаданія».

Четвертая книга содержитъ въ себѣ перепечатанныя съ

вѣрныхъ текстовъ «Былины русскихъ людей», именно: древнія русскія стихотворенія, находящіяся въ сборникѣ Кирши Данилова, «Добрыня Никитичъ», «Илья Муромецъ», «Василій Буслаевъ», «Алеша Поповичъ», «Соловей Будимировичъ», «Иванъ Гостиной Сынъ» и «Чурила Пленковичъ»; — далѣе: «Слово о Пълку Игоревомъ», раздѣленное на XII пѣсень, «Сказаніе о нашествіи Батыя на Русскую Землю», «Слово Даніила Заточника», и наконецъ «Сказаніе о Мамаевомъ Побоищѣ». Все это весьма кстати помѣщено здѣсь, какъ драгоцѣнные матеріялы древней русской словесности.

Честь и слава дѣятельности г. Сахарова и любви его къ избранному имъ предмету! Добросовѣстные, полезные и безкорыстные труды его не останутся безъ вознагражденія. Признательные соотечественники поощрятъ его своимъ вниманіемъ, а ученые русскіе никогда не забудутъ трудовъ его, доставляющихъ имъ такіе драгоцѣнные, достовѣрные матеріялы, которыхъ они нигдѣ не нашли бы, еслибъ г. Сахаровъ, собиравшій большую часть своихъ «Сказаній» на мѣстѣ, въ разныхъ частяхъ Россіи, не дѣлился съ ними своими пріобрѣтеніями. Пожелаемъ только чтобъ онъ не оскудѣлъ въ средствахъ для такого огромнаго и дорого стоящаго изданія; а эти средства—въ рукахъ публики.

РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКИ. *Часть 1. Спб. 1841.*

Вотъ еще плодъ неутомимой дѣятельности почтеннаго И. П. Сахарова. Не знаемъ, будутъ ли «Сказки» его составлять, какъ составляютъ теперь, отдѣльное изданіе или со временемъ войдутъ въ составъ его «Сказаній Русскаго Народа»;— во всякомъ случаѣ, онъ взялся за прекрасное дѣло, о которомъ давно-давно пора было подумать. Въ самомъ дѣлѣ, эта «народная поэзія, выразившаяся въ сказкахъ, можно сказать, вовсе была намъ неизвѣстна. Лубочныя изданія, коверкающія и смыслъ и выраженіе; собранія, изданныя Дру-

ковцовымъ, Чулковымъ, Поповымъ, Тимоѳеевымъ, и пр. и пр., не только не могутъ дать вѣрнаго понятія о подлинныхъ народныхъ сказкахъ, но поведутъ еще къ ложнымъ заключеніямъ и толкованіямъ о старинномъ языкѣ, о древнемъ семейномъ бытѣ Русскихъ и о всемъ, что только можно почерпнуть изъ сказокъ. Московскія и петербургскія типографіи ежегодно въ большомъ числѣ экземпляровъ оттискиваютъ такъ называемыя народныя сказки. Эти жалкія книжонки, вмѣстѣ съ пѣсенниками, помадой, икрой, сапогами, коленкоромъ и солеными огурцами развозятся Богъ знаетъ въ какія концы царства Русскаго, куда не залетаетъ, можетъ-быть, ни одна порядочная печатная книга,—и вѣроятно находятъ себѣ усердныхъ читателей. Но эти книжонки не только не полезны для просвѣщеннаго любителя старины, даже рѣшительно вредны, представляя дѣло совершенно въ превратномъ видѣ. И. П. Сахаровъ рѣшился подвергнуть строгому изслѣдованію такое важное дѣло, перечелъ всѣ напечатанныя сказки, разобралъ ихъ критически, многое отвергъ, какъ чужое, наносное или приданное «благодѣтельными» поправщиками, иное оставилъ, и при изданіи своихъ «Сказокъ» съ величайшею, строгою разборчивостію принялъ два источника: 1) сказки, разсказываемыя нашими сказочниками и 2) сказки, сохраненныя въ рукописяхъ. Въ изданной имъ нынѣ первой части «Сказокъ» находятся: «Добрыня Никитичъ», «Василій Буслаевичъ», «Илья Муромецъ», «Акундинъ», «О Ершѣ Ершовичѣ сынѣ Щетинниковѣ», и «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ». Къ книгѣ приложено большое и чрезвычайно любопытное предисловіе, въ которомъ г. Сахаровъ представляетъ: 1) списокъ русскихъ сказокъ, 2) библіографическую роспись, или списокъ всѣхъ изданій русскихъ сказокъ, 3) изданія русскихъ сказокъ, 4) мнѣнія нашихъ писателей о сказкахъ, 5) содержаніе нашихъ сказокъ и 6) источники русскихъ сказокъ. Одно это предисловіе уже чрезвычайно важно для вся-

каго изслѣдователя русской народной поэзіи; изобилующее всѣми свѣдѣніями, нужными для вѣрнаго взгляда на русскія сказки, оно представляетъ много поучительнаго и можетъ открыть читателю много неизвѣстнаго объ этихъ памятникахъ нашей старинной народной словесности.

Что же касается до сущности напечатанныхъ г. Сахаровымъ сказокъ, то мы здѣсь ничего о ней не скажемъ, потому что, считая народную русскую поэзію такимъ важнымъ предметомъ, о которомъ должно или все сказать, или ничего не говорить, предоставляемъ себѣ изложить о ней свое мнѣніе въ отдѣлѣ критики, именно въ обѣщанной уже нами статьѣ о «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ». Тамъ мы обратимся опять и къ вышедшему нынѣ первому тому «Сказаній Русскаго Народа» и къ первой части изданныхъ г. Сахаровымъ «Сказокъ», тѣмъ болѣе, что содержаніе большей части ихъ сходно съ стихотвореніями сборника Кирши Данилова, находящимися тамъ подъ тѣми же заглавіями.

СОЧИНЕНІЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. *Томы IX, X и XI Спб.*

Наконецъ изданіе полнаго собранія сочиненій Пушкина кончено, или, по крайней мѣрѣ, почти кончено: остаются только матеріялы для исторіи Петра Великаго, нѣсколько литературныхъ статей и нѣсколько малоизвѣстныхъ стихотвореній, разсѣянныхъ по альманахамъ и журналамъ. Матеріялы для исторіи Петра Великаго, долженствующіе составить собою цѣлый томъ (XII-й) и интересные сколько въ историческомъ смыслѣ, столько и по замѣткамъ руки Пушкина, хоть, можетъ-быть, еще и не скоро, но когда-нибудь будутъ же, Богъ дастъ, изданы попечительною опекою; что же до литературныхъ статей и до мало-извѣстныхъ стихотвореній, не вошедшихъ въ одинадцатитомное изданіе полнаго собранія сочиненія Пушкина,—ихъ берутся вторично представить впи-

манію публики «Отечественныя Записки», — чтобъ будущіе издатели, или (что было бы лучше для сочиненій Пушкина, во избѣжаніе пословицы: у семи нянекъ дитя безъ глазу) будущій издатель зналъ, гдѣ взять все остальное, принадлежащее Пушкину и вмѣстѣ собранное. «Отечественныя Записки» не замедлятъ сдѣлать это въ одной изъ слѣдующихъ своихъ книжекъ, а для начала напомнимъ о двухъ уже бывшихъ напечатанными, стихотвореніяхъ Пушкина, и не находящихся въ полномъ собраніи его сочиненій: о стихотвореніи: «Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу» и о стихотвореніи «Признаніе» (Я васъ люблю,—хоть я бѣшусь).

Что же касается до прозаическихъ статей, по чему бы то ни было, невошедшихъ въ полное собраніе сочиненій Пушкина,—мы не можемъ исчислить ихъ всѣ до одной безошибочно, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны безъ имени автора и составляютъ тайну издателей журналовъ, въ которыхъ были помѣщены. Но вотъ перечень главнѣйшихъ изъ нихъ: 1) «Объ Исторіи Пугачевскаго Бунта» (Современникъ 1836 г. Т. III стр. 142); «Мнѣніе М. А. Лобанова о духѣ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной» (Современникъ 1836 г. Т. III., стр. 92); «Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей». (Сѣверные Цвѣты на 1830 годъ, стр. 228); «Торжество дружбы, или Оправданный Александръ Анѳимовичъ Орловъ» (Телескопъ 1831, Т. IV. стр. 136); Одна глава изъ «Неоконченнаго Романа» (Сто Русскихъ Литераторовъ. Т. I). Всѣ эти статьи въ высшей степени интересны, особенно о такъ называемомъ «Мнѣніи г. Лобанова о Словесности какъ иностранной, такъ и отечественной», «Торжество Дружбы», и пр.

Вмѣстѣ со стихами, невошедшими въ одиннадцать, уже изданныхъ, томовъ сочиненій Пушкина, эти шесть статей могли бы составить цѣлый небольшой томъ. А сколько еще въ журналахъ статей, которыя публика читала, не зная, что авторъ ихъ—Пушкинъ! есть статья въ «Московскомъ Теле-

графѣ» 1835 года, и множество мелкихъ статей въ «Литературной Газетѣ» 1830 и 1831 годовъ, издававшейся покойнымъ Дельвигомъ. Въ «Литературной Газетѣ» 1830 года (т. 1, стр. 98) найдете даже подписанную полнымъ именемъ Пушкина статейку, которая есть не что иное, какъ журнальная замѣтка; изъ этой замѣтки видно, что объявленіе объ «Иліадѣ» Гнѣдича (стр. 14) писано Пушкинымъ. Конечно и замѣтка, и объявленіе не больше, какъ журнальныя мелочи; но когда дѣло идетъ о такомъ человѣкѣ, какъ Пушкинъ, тогда мелочей нѣтъ, а все, въ чемъ видно даже простое его мнѣніе о чемъ бы то ни было, важно и любопытно: даже самыя ошибочныя понятія Пушкина интереснѣе и поучительнѣе самыхъ несомнѣнныхъ истинъ многихъ тысячь людей. Вотъ почему мы желали бы чтобъ не пропала ни одна строка Пушкина, и чтобъ люди, которыхъ онъ называлъ своими друзьями, или съ которыми онъ дѣйствовалъ въ однихъ журналахъ, или у которыхъ въ изданіяхъ когда-либо и что-либо помѣщалъ,—объявили о каждой строкѣ, каждомъ словѣ, ему принадлежащемъ. Въ такомъ случаѣ — повторяемъ — кромѣ двѣнадцатаго тома съ матеріялами для исторіи Петра Великаго (если только соблаговолятъ когда-нибудь его выдать), набрался бы еще порядочный томъ, и всѣхъ томовъ вышло бы тринадцать, вмѣсто одиннадцати, теперь существующихъ. Мы не думаемъ, чтобъ, кромѣ пропущенныхъ двухъ статей изъ «Современника», подписанныхъ именемъ Пушкина, не было въ этомъ изданіи и другихъ статей, принадлежащихъ Пушкину. Такъ, напримѣръ, въ «Современникѣ» статьи: «Разборъ сочиненій Георгія Конискаго», «Вольтеръ», «Отрывокъ изъ неизданныхъ записокъ дамы» не подписаны именемъ Пушкина, а послѣдняя даже означена переводомъ съ французскаго,—между тѣмъ, всѣ они вошли въ полное собраніе сочиненій Пушкина; почему же не Пушкину принадлежатъ статьи—въ 3-мъ томѣ «Современника». «Россійская Академія», «Французская Академія»? Не нашлось рукописей?—Но

неужели же нѣтъ другихъ свидѣтельствъ, и всѣ статьи Пушкина, которыя были напечатаны безъ его имени и которыхъ рукописи затеряны, должны пропасть?...

Сказавъ о томъ, что не напечатано изъ сочиненій Пушкина въ «полномъ» собраніи его сочиненій, будемъ теперь говорить о томъ, что вошло въ послѣдніе три тома. Девятый томъ самый большой; онъ наполненъ однѣми стихотворными піесами, и начинается поэмами, напечатанными въ «Современникѣ» 1837 года и въ 1 т. «Ста Русскихъ Литераторовъ»: «Мѣдный Всадникъ», «Каменный Гость», «Русалка» и «Галубъ». Странно, что, по распоряженію, въ которомъ издатели нисколько не виноваты, вторая поэма — изъ «Донъ-Хуана», какъ она названа самимъ Пушкинымъ, переименована въ «Каменнаго Гостя»; но еще страннѣе, что изъ нея выпущены обѣ пѣсни, которыя поетъ Лаура. Вторая изъ этихъ пѣсень давно уже извѣстна публикѣ; это—«Ночной зефиръ струитъ эфиръ». Первая «Я здѣсь, Инезилья» тоже извѣстна публикѣ, хотя и никогда не была напечатана: нашъ извѣстный композиторъ М. И. Глинка положилъ ее на музыку, и слова, съ которыми поется эта музыка, сдѣлались еще извѣстнѣе самой музыки.

За поэмами слѣдуютъ мелкія стихотворенія, въ трехъ отдѣленіяхъ: въ первомъ заключаются посмертныя стихотворенія, какъ бывшія напечатанными, такъ и нигдѣ ненапечатанныя; во второмъ—лицейскія стихотворенія; въ третьемъ—стихотворенія, пропущенныя въ первыхъ восьми томахъ. Изъ посмертныхъ стихотвореній, много совершенно новыхъ, нигдѣ небывшихъ напечатанными; всѣ они прекрасны и интересны, а нѣкоторыя изъ нихъ запечатлѣны всею силою генія Пушкина.

Подобно Державину, Пушкинъ передѣлалъ «Памятникъ» Горація въ примѣненіи къ себѣ: — его «Памятникъ» есть поэтическая апоѳеоза гордаго, благороднаго самосознанія генія. Въ превосходнѣйшей піесѣ «Капризъ» Пушкинъ худож-

нически рѣшаетъ важный эстетическій вопросъ о причинѣ унылости, какъ основномъ элементѣ русской поэзіи. Онъ находитъ ее въ нашей русской природѣ, и изображаетъ ее красками, которыхъ сила, вѣрность и безъискусственная простота дышутъ всею геніяльностію великаго національнаго поэта. Піеса «Ночью во время безсонницы» показываетъ, какъ глубоко вглядывался Пушкинъ во всѣ явленія жизни, какъ глубоко прислушивался онъ къ нимъ. «Подражаніе Данту», для незнающихъ итальянскаго языка, вѣрно показываетъ, что такое Дантъ, какъ поэтъ. Вообще, у насъ Дантъ какая-то загадка: мы знаемъ, что Шлегель провозгласилъ его чуть-чуть не наравнѣ съ Шекспиромъ; наши доморощенные критики также много накричали о немъ; были о немъ даже цѣлыя дисертаціи, хотя немножко и безтолковыя; переводы изъ Данта еще болѣе дисертацій, добили его на Руси. Но теперь, послѣ двухъ небольшихъ отрывковъ Пушкина изъ Данта, ясно видно, что стоитъ только стать на католическую точку зрѣнія, чтобъ увидѣть въ Дантѣ великаго поэта. Прислушайтесь внимательнымъ слухомъ къ этимъ откровеніямъ задумчиваго, тяжело-страстнаго Итальянца, котораго душа такъ и рвется къ обаяніямъ искусства и жизни, несмотря на весь свой католическій страхъ грѣха и соблазна:

И часто я украдкой убѣгалъ
Въ великолѣпный мракъ чужаго сада,
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ.
Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада,
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праздно мыслить было мнѣ отрада.
Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листьевъ шумъ,
И бѣлые въ тѣни деревъ кумиры,
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.
Все мраморные циркули и лиры
И свитки въ мраморныхъ рукахъ
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры,—
Все наводило сладкій страхъ
Мнѣ на сердце; и слезы вдохновенья

При видѣ ихъ рождались на глазахъ.
Другія два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двухъ бѣсовъ изображенья.
Одинъ (дельфійскій идолъ) ликъ младой—
Былъ силенъ, полонъ гордости ужасной
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой, женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ лживый, но прекрасный...

Піеса, названная «Отрывкомъ» (стр. 183), есть цѣлая поэма глубоко-религіознаго содержанія, написанная библейскимъ языкомъ. «Осень» — тоже цѣлая лирическая поэма, отличающаяся вѣрностію красокъ и богатствомъ національныхъ элементовъ. Она особенно знакомитъ съ личностію самого поэта.

Кромѣ піесъ, о которыхъ мы сейчасъ упоминали, особенно замѣчательны: «Не дай мнѣ Богъ сойдти съ ума», «Пажъ или пятнадцатилѣтній Король». «Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила», «Подражаніе Итальянскому», «Къ***» (стр. 153), «Подражаніе Арабскому», «Романсъ» и «Альфонсъ». Всего менѣе можно быть довольну піесою «Родригъ»: это что-то недоконченное, въ родѣ тѣхъ испанскихъ баллад, которыя давно уже прискучили: — «Отрывокъ» (стр. 168) есть не что иное, какъ извѣстная піеса «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный» въ ея первобытномъ видѣ, неизвѣстномъ публикѣ, и ее должно-бъ отнести, вмѣстѣ со многими другими, къ особому разряду передѣланныхъ піесъ. Посмертныя піесы, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» и альманахахъ, помѣщены всѣ до одной, кромѣ двухъ, упомянутыхъ нами въ началѣ этой статьи. Также напечатаны всѣ пропущенныя въ первыхъ восьми томахъ (до пятнадцати числомъ).

Десятый томъ содержитъ въ себѣ прозаическія статьи: «Арапъ Петра Великаго», «Лѣтопись Села Горохина», «Ду-

бровскій», «Египетскія Ночи» и «Сцены изъ Рыцарскихъ Временъ». Изъ нихъ повѣсть «Дубровскій» совершенно новая и доселѣ неизвѣстная публикѣ. Это одно изъ величайшихъ созданій генія Пушкина. Вѣрностію красокъ и художественною отдѣлкою она не уступаетъ «Капитанской Дочкѣ», а богатствомъ содержанія, разнообразіемъ и быстротою дѣйствія далеко превосходитъ ее. Она значительна и объемомъ своимъ, ибо заключаетъ въ себѣ 138 страницъ.

Одиннадцатый томъ содержитъ въ себѣ, кромѣ извѣстныхъ уже статей: «О Мильтонѣ и Шатобріановомъ переводѣ Потеряннаго Рая», «Послѣдній изъ родственниковъ Іоанны д'Аркъ», «Рославлевъ», «Недоконченныя повѣсти», «Анекдоты». «Записки бригадира Моро-де-Брозе»,—совершенно новыя статьи: «Шоссе», «Москва», «Ломоносовъ», «О Цензурѣ», «Русская Изба», «Лордъ Байронъ» и вполнѣ «Записки Пушкина». Изъ всего этого особенно интересна превосходная статья «Ломоносовъ»; примѣчательны статьи: «Шоссе», «Москва» и «Лордъ Байронъ»; но остальныя (т. е. «О Цензурѣ» и «Русская Изба») блѣдны, вялы и похожи на какіе-то недоконченные очерки.

Во всякомъ случаѣ, издатели выполнили свое дѣло совѣстливо и исправно. Если бы кому-нибудь показалось въ этомъ изданіи что-нибудь сомнительнымъ, тотъ можетъ ожидать поясненія только отъ опеки, которая завѣдываетъ всѣмъ, оставшимся послѣ Пушкина,и которая, вѣроятно, при послѣднемъ томѣ, если только она напечатаетъ его, отдастъ отчетъ публикѣ во всемъ изданіи. Три послѣдніе тома изданы очень опрятно, даже красиво, а въ сравненіи съ первыми восемью томами, великолѣпно и роскошно. Мы думаемъ, что за все это издатели заслуживаютъ искреннюю благодарность.

Но не всѣ такъ думаютъ. Только что успѣло появиться объявленіе о прекрасномъ предпріятіи гг. Глазунова и Заикина, какъ уже и было встрѣчено бранью одной газеты, которой мы не назовемъ теперь; когда же понадобится, ука-

жемъ на № и страницу. Благородное предпріятіе гг. Глазунова и Заикина, обрадовавшее всѣхъ, не понравилось этой газетѣ, и она поспѣшила противостать даже объявленію о семъ предпріятіи съ такою запальчивостію, какъ-будто-бы дѣло шло о ея собственной жизни и смерти. Протестъ этотъ благонамѣренная газета публиковала статьею, которая возмущаетъ своимъ неуваженіемъ къ имени величайшаго поэта Россіи и совершеннымъ забвеніемъ всякаго приличія. Послушайте, что сказала она:

За нѣсколько лѣтъ предъ симъ принимаема была подписка во всѣхъ концахъ Россіи, посредствомъ мѣстныхъ начальствъ, на *Послѣднія Сочиненія А. С. Пушкина.* Мы думали, что получили *все*, написанное Пушкинымъ; но когда сочиненія вышли въ свѣтъ, оказалось, что въ нихъ пропущены были многія отличныя стихотворенія, бывшія уже напечатанными въ собраніи, носящемъ заглавіе (:)*Мелкія Стихотворенія.* Мало этого: послѣ выхода въ свѣтъ *восьми частей сочиненій* А. С. Пушкина, въ журналахъ начали появляться сочиненія въ стихахъ и прозѣ, приписываемыя А. С. Пушкину, не напечатанныя въ вышедшихъ въ свѣтъ *восьми томахъ*, а теперь издаются три новые тома (9. 10 и 11), подъ заглавіемъ *Послѣднія Сочиненія А. Пушкина.* Кажется, лучше бы издать *все вмѣстѣ*, при первой подпискѣ, а если не все было тогда собрано, то не лучше ли было бы подождать, но во всякомъ случаѣ не размѣщать вновь найденныхъ сочиненій по журналамъ, когда намѣревались издать ихъ особо. Носятся слухи, что еще находятся въ рукописи сочиненія Пушкина, и между прочимъ матеріялы къ жизни Петра Великаго. Уже-ли и это должно сперва упитать журналы, а потомъ быть пущено въ свѣтъ особо?

Не знаемъ, до какой степени все это справедливо; но все это нисколько не должно и не можетъ относиться къ гг. Глазунову и Заикину, потому что таково было распоряженіе опеки, установленной надъ дѣтьми и имѣніемъ Пушкина... Мы полагаемъ, вина гг. Глазунова и Заикина не та, а гораздо тяжеле.

Видите ли, въ объявленіи объ издаваемыхъ ими трехъ частяхъ сочиненій Пушкина они осмѣлились сказать, что имя Пушкина принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ именъ,

которыя всякій Русскій произноситъ съ гордостію и чувствомъ глубочайшей благодарности». Какая дерзость, въ самомъ дѣлѣ! И вотъ означенная газета пересчитываетъ всѣ великія историческія имена, которыя Россія произноситъ съ гордостью и благодарностью, какъ будто бы это мѣшаетъ ей воздавать равное и великому имени Пушкина. Мало того: газета кричитъ изо всей мочи, что Ломоносовъ создалъ правила языка, что Карамзинъ научилъ всѣхъ писать прозою и цѣлое поколѣніе заставилъ полюбить отечественную исторію; но что Пушкина будто-бы мы (?) любимъ «только за гладкій, бойкій стихъ и за сладость, сообщенную имъ русскому піитическому языку»; что «онъ первый между легкими нашими поэтами, и что, вслѣдствіе всего вышерѣченнаго, «мы не обязаны ему глубочайшею благодарностію!!!... «Можно ли (преостроумно замѣчаетъ газета) оказывать одинаковую благодарность и доктору, спасшему жизнь, и милому человѣку, накормившему сладко?... Но чувствительнѣе всего задѣли газету эти слова объявленія: «Какъ вѣрный, истинный представитель русскаго духа, Пушкинъ у насъ не имѣетъ соперниковъ; какъ поэтъ вдохновенный, онъ превосходитъ всѣхъ другихъ русскихъ стихотворцевъ оригинальностью мысли, силою выраженія и особенною прелестію стиха, до него неизвѣстною» и: «проза его есть верхъ совершенства». Вотъ какъ газета опровергаетъ эти неопровержимыя по своей очевидности, цѣлымъ народомъ утвержденныя и признанные истины:

„Державинъ, Карамзинъ и Крыловъ, какъ представители русскаго духа—выше Пушкина, а прелесть стиха была извѣстна и до Пушкина, въ стихахъ В. А. Жуковскаго, *хотя въ этомъ отношеніи Пушкинъ точно выше всѣхъ.* А куда помѣстить прозу Карамзина, Жуковскаго? Ужели *ниже?* Нѣтъ, и сто разъ нѣтъ! Проза Карамзина и Жуковскаго гораздо выше прозы Пушкина.—Болѣе не станемъ говорить объ объявленіи!“

Очень доказательно! коротко и ясно — по-шемякински!... Однако мы все-таки постараемся еще болѣе уяснить этотъ

вопросъ, не для сочинителя статьи—о, нѣтъ! игра не стоила бы свѣчь,—и даже не для образованной части публики: она давно ужь не вѣритъ газетамъ, подобнымъ вышеозначенной,—а для тѣхъ читателей, которыхъ газета, какъ кажется, имѣла въ виду. — Честь и слава Ломоносову и Державину, Карамзину и Крылову — честь и слава: ихъ заслуги велики, ихъ имена безсмертны; но они именно тѣмъ и разнятся отъ Пушкина, что каждый изъ нихъ выразилъ извѣстную сторону духа русскаго, а въ духѣ Пушкина слились всѣ стихіи, отразились всѣ стороны русскаго духа; Пушкина нѣтъ въ Ломоносовѣ, Державинѣ, Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Грибоѣдовѣ, но они всѣ въ Пушкинѣ. Что же до прозы Пушкина,—правда, Карамзинъ пріучилъ русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ, и его проза до изданія «Исторіи Государства Россійскаго» уступаетъ сладостной, гармонической прозѣ Жуковскаго и Батюшкова, за то въ русской литературѣ нѣтъ ничего выше его исторической прозы, кромѣ «Исторіи Пугачевскаго Бунта», перомъ Тацита писанной на мѣди и мраморѣ!... Въ «Капитанской Дочкѣ», «Пиковой Дамѣ», «Кирджали» и разныхъ журнальныхъ статьяхъ, Пушкинъ не имѣетъ себѣ соперниковъ въ подобныхъ родахъ сочиненій. Легкость стиховъ Пушкина—легка только для верхоглядовъ, а не для людей, которые умѣютъ вглядываться въ глубину предметовъ. Тяжеловатость отнюдь не есть признакъ и условіе достоинства въ поэзіи: иначе «Петріада» Ломоносова, «Россіада» и «Владиміръ» Хераскова «Александроида» г. Свѣчина, «Дмитрій Самозванецъ» г. Булгарина, «Черная женщина» г. Греча были бы величайшими созданіями искусства. Французскій пѣсенникъ (chansonnier de France), Беранже, еще легче Пушкина; но его легкія пѣсни, какъ электрическія искры, потрясаютъ Францію отъ одного конца до другаго,—и его (по прекрасному выраженію Жюль Жанена) Наполеонъ изъ глубины своего гроба привѣтствовалъ царемъ поэтовъ. У Пушкина всего легче эпиграммы; но многіе

знавали прежде, помнятъ еще и теперь, какъ тяжелы эти эпиграммы; это-то обстоятельство, можетъ-быть, и заслоняетъ отъ нихъ величіе поэтическаго генія Пушкина...

Сочинитель вышеозначенной газетной статьи увѣряетъ, что «долгъ правды и безпристрастной критики» заставилъ его сдѣлать замѣчаніе на объявленіе гг. Глазунова и Заикина, и что «его замѣчанія основаны на мнѣніи многихъ литераторовъ и любителей русской словесности». Прекрасно! Всѣмъ извѣстно, какъ силенъ надъ сочинителемъ статьи «долгъ правды», а безпристрастіе его такъ называемыхъ критикъ, давно уже вошло въ пословицу; но скажите Бога ради—кто эти литераторы невидимки и таинственные любители русской словесности, на мнѣніи которыхъ сочинитель основалъ свои безпристрастныя замѣчанія?... Какъ кто?—Сами издатели газеты, въ которой помѣщена статья... А! вотъ что!...

Если уже одно объявленіе объ изданіи трехъ послѣднихъ томовъ «Сочиненій Пушкина» могло возбудить такую выходку,—какъ же нѣкоторыя газеты и нѣкоторые литераторы и любители русской словесности встрѣтятъ теперь эти самые три тома?... Для того-то и поспѣшили мы разсчесться съ этими господами ранѣе, чтобъ потомъ уже хладнокровно смѣяться надъ ихъ похвальными усиліями поколебать треножникъ, на которомъ горитъ пламя поэзіи великаго національнаго поэта...

Итакъ, теперь Пушкинъ изданъ почти весь; публика его читаетъ и перечитываетъ, ожидая сужденій критиковъ. Богъ вѣсть, дождется ли она ихъ когда-нибудь; но мы увѣрены, что ей долго ждать, потому что знаемъ нашихъ, такъ называемыхъ, критиковъ и критикантовъ:—народъ глубокомысленный, съ свѣтлыми взглядами, съ живымъ словомъ... Иной заговоритъ, что Пушкинъ уже отжилъ свой вѣкъ; иной провозгласитъ, что онъ великъ только на мелочи; одинъ будетъ утверждать, что все достоинство поэзіи Пушкина заключается въ легкой версификаціи; другой объявитъ во всеуслышаніе,

что у Пушкина нѣтъ ни одной европейской мысли, какъ у его пріятеля г. А., г. Б., г. В., т. д.; третій откроетъ за тайну, что Пушкинъ безнравственъ; четвертый, что Пушкинъ не народенъ, увлекался обольщеніями лукаваго Запада, а не черпалъ своихъ вдохновеній изъ суздальскихъ лубочныхъ литографій и, подобно какому-нибудь риѳмотворцу, въ надутыхъ и холодныхъ стишонкахъ не кричалъ о смерти и гніеніи Европы. Однимъ словомъ, будутъ прекурьёзныя критики... Но мы — что же будемъ дѣлать мы?... Ужь конечно не слушать этихъ господъ, сложа руки... Пусть стрѣляютъ въ насъ и косвенными намеками, и статьями въ родѣ юридическихъ бумагъ извѣстнаго рода... Пусть толкуютъ о какихъ-то критикахъ, которые, не зная по-нѣмецки изъ третьихъ рукъ перевираютъ Гегеля. Пусть!... Мы будемъ идти своей дорогою, не замѣчая криковъ и брани. Публика уже разсудила и ихъ и насъ. Публика знаетъ, что въ журналистикѣ нѣтъ публичныхъ экзаменовъ, не нужны ученые дипломы, а нуженъ умъ, талантъ и знаніе, независящіе отъ экзаменовъ и дипломовъ, и что только зависть, невѣжество, незнаніе приличій могутъ отважить кого-нибудь на произвольное и ничѣмъ не доказанное обвиненіе въ незнаніи языка или какой-нибудь науки... Да еслибъ и такъ когда-нибудь и гдѣ-нибудь было, что жь тутъ худаго? — Конечно, знаніе языковъ и ученость—великое дѣло въ критикѣ; но публика предпочитаетъ умную статью хотя бы и не Богъ знаетъ какого ученаго критика—нелѣпой статьѣ ученаго невѣжды; голосъ истины и свободнаго убѣжденія, живо и съ энергіей высказываемаго предпочитаетъ апатическимъ бреднямъ отсталаго труженика науки, надутаго педанта, бездарнаго витязя фоліантовъ и буквъ. Что дѣлать! публика женщина, а прихоть составляетъ характеръ женщины, это ея вдохновеніе... Итакъ, не смотря ни на кого, о полномъ собраніи сочиненій Пушкина «Отечественныя Записки» скоро представятъ статью, а можетъ быть и цѣлый рядъ статей...

ФРИТІОФЪ, СКАНДИНАВСКІЙ БОГАТЫРЬ. *Поэма Тегнера въ русскомъ (?) переводѣ Я. Грота. Гельсингфорсъ. 1841.*

Мы виноваты передъ скандинавскимъ рыцаремъ, которому съ чего-то вздумалось назваться «богатыремъ»: еще въ прошлой книжкѣ слѣдовало бы намъ отдать о немъ отчетъ публикѣ; но срочность журнальной работы часто отвлекаетъ отъ хорошей книги, именно потому что она хороша и требуетъ отзыва болѣе обдуманнаго, и обращаетъ перо рецензента къ кучѣ вздоровъ, отъ которыхъ можно скоро отдѣлаться, только слегка заглянувъ въ нихъ. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ обращаемся теперь къ «Фритіофу».

«Фритіофъ»—поэма шведскаго поэта Тегнѐра, созданная имъ изъ народныхъ сказокъ и преданій, слѣдовательно, по преимуществу, произведеніе народное, которое должно быть мало доступно и мало интересно для всякой другой публики, кромѣ шведской. Но «Фритіофъ», не смотря на свою народность, обще-доступенъ, понятенъ и въ высшей степени интересенъ для всякой публики и на всякомъ языкѣ, если переданъ хоть такъ хорошо, какъ передалъ его на русскій языкъ г. Гротъ. Причина этому—обще-человѣческое содержаніе и самый характеръ скандинавской народности. Чтобъ эта мысль была для всѣхъ ясна, мы должны въ краткомъ очеркѣ изложить содержаніе «Фритіофа».

Фритіофъ, сынъ Торстена Викингсона, бонда (владѣльца земли, вассала) и брата по оружію конунга (вождя, государя) Бела, воспитывается у Гильдинга, стараго бонда, вмѣстѣ съ Ингеборгою, дочерью конунга Бела. Оба они любятъ другъ друга съ самой нѣжной юности.

Стоитъ ли день на небосводѣ—
Сей златовласый царь земли—
И жизнь кипитъ въ обычномъ ходѣ,
Другъ другомъ заняты они.
Стоитъ ли ночь на небосводѣ—

Мать темновласая земли—
И все молчитъ при звѣздномъ ходѣ.
Другъ другомъ заняты они.
„Земля! цвѣтами молодыми
Свое чело ты убрала;
Отдай мнѣ лучшіе, чтобъ ими
Я увѣнчать его могла."
—„Ты, Море, перлами обило
Свой влажный, сумрачный чертогъ:
Отдай мнѣ лучшіе, чтобъ милой
Я ожерелье сдѣлать могъ "
„Златое Солнце, міра око,
Звѣзда съ Одинова чела!
Будь ты моимъ,—твой кругъ широкой
Ему бъ на щитъ я отдала!"
—„О Мѣсяцъ, Мѣсяцъ серебристый,
Свѣча Одиновыхъ палатъ!
Будь ты моимъ,—твой обликъ чистый
Я бъ милой отдалъ на нарядъ".

Гильдингъ говоритъ сыну, что Ингеборга ему неровня, и что потому онъ долженъ забыть свою любовь; Фритіофъ отвѣчаетъ.

Нѣтъ, вольный мужъ не уступаетъ;
Ему весь міръ въ наслѣдье данъ:
Судьба неровное равняетъ;
Вѣнцомъ надежды я вѣнчанъ.
Знатна могущества порода:
Живъ Торъ среди своихъ палатъ;
Онъ хочетъ доблести—не рода;
Товарищъ мечъ—вѣрнѣйшій сватъ.
Я бъ за невѣсту, не блѣднѣя,
И противъ бога грома сталъ.
Цвѣти, цвѣти, моя лилея,
А кто разрознитъ насъ—пропалъ!

Конунгъ Белъ созываетъ дѣтей.

„Къ закату—началъ конунгъ—мой день пришелъ;
Мнѣ медъ уже не вкусенъ, мнѣ шлемъ тяжелъ.
Во взорахъ мракъ скрываетъ юдоль земную,
Валгалла ярче блещетъ; то смерть я чую.

Белъ, по обычаю скандинавскому, запрещающему героямъ умирать естественною смертію на постели, вмѣстѣ съ другомъ и сподвижникомъ своимъ, Торстеномъ Викингсономъ, рѣшается умереть отъ меча. Его завѣщаніе дѣтямъ дышетъ исполинскимъ величіемъ скандинавской поэзіи и миѳологіи. По смерти конунга Бела, владѣніе его наслѣдуютъ сыновья его, Гелгъ и Гальфданъ; Фритіофъ одинъ наслѣдуетъ владѣнія своего отца—

На три мили въ три стороны земли его простирались,
Долы, холмы и горы; четвертой касалося море.
Холмы увѣнчаны были березовымъ лѣсомъ; на скатахъ
Стлались ячмень золотой и рожь въ вышину человѣка.
Тамъ зеркалами лежали озера межь горъ и межь рощей,
Гдѣ круторогіе лоси гуляли царственнымъ шагомъ
И изъ несчетныхъ токовъ студеную черпали воду.
Въ долахъ обширныхъ паслись на злакѣ стада, и лоснилась
Шерсть у нихъ и ждали сосцы вожделенныхъ сосудовъ.

Фритіофъ сватается за Ингеборгу. Его объясненіе съ Ингеборгою—верхъ поэзіи. Гелгъ, братъ Ингеборги, съ презрѣніемъ отказываетъ Фритіофу въ рукѣ сестры своей. Рингъ, престарѣлый владѣтель Нордландіи (Норвегіи), хочетъ жениться на Ингеборгѣ:

Она молода еще: знаю, что ей
Угоднѣе были бы розы;
А я ужь отцвѣлъ: надъ главою моей
Межъ рѣдкихъ кудрей
Ужь снѣгъ разсыпаютъ морозы.
Но ежели можетъ она полюбить
Меня, старика съ сѣдиною,
И матерью сирымъ готова служить:
То тронъ раздѣлить
Угрюмая Осень желаетъ съ Весною.

Гелгъ отказываетъ Рингу—и Рингъ идетъ на него войною. Братья просятъ помощи Фритіофа—онъ отказываетъ. Ингеборга заключена въ храмѣ Бальдера; Фритіофъ тайно видится съ нею тамъ. Невозможно дать понятія о полнотѣ лиризма, о возвышенной прелести поэзіи, съ которыми изобра-

жены эти свиданія. Пѣснь VIII поэмы, содержащая въ себѣ прощаніе Фритіофа съ Ингеборгою—торжество поэзіи. Гелгъ, узнавъ о тайныхъ свиданіяхъ, народнымъ судомъ изгоняетъ Фритіофа изъ отечества. Фритіофъ, объявляя это Ингеборгѣ, преклоняетъ ее бѣжать съ нимъ. Она отвергаетъ его предложеніе, и говоритъ ему:

Мой другъ, будь мудръ! уступимъ грознымъ Норнамъ:
Все отдадимъ, но честь свою спасемъ;
Мы счастія уже спасти не можемъ,
Должны разстаться.

Фритіофъ:

Почему жь должны?
Не потому ль, что ты безсонной ночью
Разстроена?

Ингеборга.

Нѣтъ, потому что должно
Намъ сохранить достоинство свое.

Фритіофъ.

Вамъ, женщинамъ, достоинство дается
Лишь нашею любовью.

Ингеборга.

Не прочна
И самая любовь безъ уваженья.

Фритіофъ.

Упрямствомъ трудно заслужить его.

Ингеборга.

Любить свой долгъ—похвальное упрямство.

Фритіофъ.

Вчера былъ долгъ въ ладу съ любовью нашей.

Ингеборга.

И ныньче, но бѣжать онъ запрещаетъ.

Фритіофъ.

Необходимость намъ велитъ бѣжать.

Ингеборга.

Лишь благородное необходимо.

Фритіофъ.

Уже солнце высоко, проходитъ время.

Ингеборга.

Увы! оно прошло ужь невозвратно.

Фритіофъ.

И такъ, рѣшенья ты не перемѣнишь?
Подумай...

Ингеборга.

Все обдумано давно.

Фритіофъ.

Прости же, Гелгова сестра, прости!

Наконецъ, эта твердость героическаго рѣшенія Ингеборги уступаетъ мѣсто нѣжному изліянію любящаго женственнаго сердца,—накипѣвшее чувство изливается тихимъ, но быстрымъ потокомъ страдающей любви. Фритіофъ говоритъ ей: «ты побѣдила!», оставляетъ ей на память золотое запястье, и уходитъ. За тѣмъ слѣдуетъ отдѣлъ IX—«Плачъ Ингеборги», полный невыразимой поэзіи.

Фритіофъ не совсѣмъ изгнанъ изъ отчизны, но на него только возложенъ подвигъ—взять дань съ ярла Ангантира, владѣтеля Оркадскихъ острововъ, который всегда платилъ дань Белу, но по смерти его пересталъ. Коварный Гелгъ вызываетъ изъ моря злыхъ духовъ — море волнуется, но Фритіофъ восклицаетъ:

Весело мнѣ, братья,
Съ бурею бороться;
Бурѣ и Норману
На морѣ житье.
Ингеборгѣ стыдно бъ
Стало, еслибъ въ пристань
Полетѣлъ отъ вѣтра
Вѣрный ей орелъ.

Онъ побѣждаетъ чудищъ и бурю, пристаетъ къ берегу и переноситъ на него своихъ товарищей, выбившихся изъ силъ. У Ангантира пиръ. Одинъ изъ его воиновъ, берсеркъ, бьется, съ Фритіофомъ; выбивъ у берсерка мечъ, Фритіофъ бросаетъ свой, желая сражаться равнымъ оружіемъ. Они сплетаются руками — и Фритіофъ наступилъ колѣномъ на грудь врага, говоря, что еслибъ съ нимъ былъ мечъ, онъ закололъ бы его. «Возьми свой мечъ», отвѣчаетъ ему берсеркъ: «а я буду ле-

жать и ждать». Пораженный такою доблестью врага, Фритіофъ мирится съ нимъ. Слѣдуетъ описаніе пира у Ангантира. Ангантиръ, изъ уваженія къ Фритіофу, обѣщаетъ платить дань, велитъ своей прекрасной дочери подчивать гостя виномъ, и приглашаетъ его прогостить у нихъ до лѣта. Наконецъ, Фритіофъ возвращается на родину и узнаетъ, что Ингеборга — жена Ринга, который добылъ ее огнемъ и мечемъ... Между прочимъ, старый Гильдингъ разсказываетъ Фритіофу, что Гелгъ, увидѣвъ на рукѣ сестры своей его запястье, снялъ и надѣлъ на кумиръ бога Бальдера. Фритіофъ преисполняется дикимъ негодованіемъ и сжигаетъ храмъ бога Бальдера. Фритіофъ снова изгнанникъ и мчится на югъ по волнамъ моря... Пѣснь XV заключаетъ въ себѣ морской уставъ *викинга* (такъ назывались младшіе сыновья конунговъ, долженствовавшіе орудіемъ снискивать себѣ счастіе); въ этомъ уставѣ — символъ вѣры и политическій кодексъ Нормана:

Ни шатромъ на судахъ, ни ночлега въ домахъ: супостатъ за дверьми стережетъ;
Спитъ на ратномъ щитѣ, мечъ булатный въ рукѣ, а шатромъ—голубой небосводъ.
Какъ у Фрея, лишь въ локоть будь мечъ у тебя; малъ у Тора громящаго млатъ,
Есть отвага въ груди,—ко врагу подойти—и не будетъ коротокъ булатъ.
Какъ взыграетъ гроза, подыми паруса: подъ грозою душѣ веселѣй.
Пусть гремитъ, пусть реветъ: трусъ—кто парусъ совьетъ: чѣмъ быть трусомъ, погибни скорѣй.
Чти на сушѣ миръ дѣвъ, на судахъ нѣтъ имъ мѣстъ: будь то Фрея, бѣги отъ красы.
Ямки розовыхъ щекъ всѣхъ обманчивѣй рвовъ, и какъ сѣти—шелковы власы.
Самъ Одинъ пьетъ вино, и похмѣлье не зло: лишь храни надъ собою ты власть.
Надъ землею упавъ, ты подымешься здравъ; здѣсь же къ ранѣ страшися упасть.
Ты купца, на пути повстрѣчавъ, защити, но возьми съ него должную дань.

Ты владыка морей; онъ же прибыли рабъ; благороднѣйшій промыселъ—
бранъ.
Ты по жребью добро на помостѣ дѣли, и на жребій не жалуйся свой;
Самъ же конунгъ морской не вступаетъ въ дѣлежъ: онъ доволенъ и
честью одной.
Но вотъ викингъ плыветъ: нападай и рубись; подъ щитами потѣха
бойцамъ.
Кто отстанетъ на шагъ, тотъ не нашъ: вотъ законъ, поступай, какъ
ты вѣдаешь самъ.
Побѣдивъ, укротись: кто о мирѣ просилъ, тотъ не врагъ уже болѣ тебѣ.
Дочь Валлгалы мольба; ты дрожащей внимай; тотъ презрѣнъ, кто
откажетъ мольбѣ.
Рана—прибыль твоя: на груди, на челѣ то прямая украса мужамъ:
Ты чрезъ сутки, не прежде, ее повяжи, если хочешь собратомъ быть
намъ.

Наконецъ, Фритіофъ рѣшается ѣхать къ Рингу—но не врагомъ, а мирнымъ гостемъ, чтобъ проститься съ Ингеборгою. У Ринга былъ пиръ, когда вошелъ въ чертогъ человѣкъ, покрытый съ темени до ногъ медвѣжьею шкурою, и который, какъ ни изгибался надъ нищенской клюкою, но все былъ выше всѣхъ другихъ. Онъ сѣлъ у дверей; одинъ изъ придворныхъ вздумалъ надъ нимъ посмѣяться, и пришлецъ, могучею рукою поставилъ его вверхъ ногами. Конунгъ, довольный его смѣлымъ отвѣтомъ, проситъ сбросить личину—врага веселія: тогда явился глазамъ всѣхъ богато одѣтый юноша. Рингъ восклицаетъ: «хоть и страшенъ Фритіофъ, но одержу надъ нимъ верхъ, при помощи Фреи, Тора и Одина. Отвѣтъ Фритіофа—громъ и молнія. Онъ называетъ себя другомъ дѣтства Фритіофа и клянется быть его защитникомъ.

Тогда съ улыбкой конунгъ сказалъ. „Твой смѣлъ языкъ;
Но рѣчь вольна въ чертогахъ у сѣверныхъ владыкъ;
Жена, поподчуй гостя вкуснѣйшимъ ты виномъ;
Надѣюсь, съ незнакомцемъ мы зиму проведемъ“.

Весна. Рингъ собрался на охоту.

Вотъ сама царица лова! Бѣдный Фритіофъ не гляди!
Какъ звѣзда, она сіяетъ на богатой лошади—
Это Фрея, это Рота но еще прекраснѣй ихъ;

На главѣ уборъ пурпурный съ связкой перьевъ голубыхъ.
Не гляди на свѣтлы очи, не смотри на блескъ кудрей!
Дальше! станъ ея такъ строенъ, перси такъ полны у ней!
Не любуйся на лилеи и на розы этихъ щекъ,
Не лови ты звуковъ, сладкихъ будто вешній вѣтерокъ!

Фритіофа мучитъ грустное раздумье; онъ уже раскаявается, что увидѣлъ Ингеборгу. Между тѣмъ, вмѣстѣ съ Рингомъ, онъ отстаетъ отъ охотниковъ, и усталый Рингъ хочетъ отдохнуть; Фритіофъ стелетъ на травѣ плащъ, и Рингъ преклоняется головою къ его колѣнамъ. Демонъ искушенія, въ видѣ черной птицы, преклоняетъ Фритіофа убить спящаго Ринга; пѣсня бѣлой птицы прогоняетъ искушеніе—Фритіофъ далеко отъ себя бросаетъ мечъ свой. Тогда Рингъ признается ему, что его сонъ былъ притворный; онъ зналъ, что его гость не кто иной, какъ «ужасъ народовъ и боговъ»—Фритіофъ.

Сѣдъ я, видишь; скоро подъ курганомъ буду я;
Ты тогда возьми и край мой и жену: она твоя.
Будь дотолѣ нашимъ гостемъ: я—второй тебѣ отецъ;
Безъ меча, ты—мой защитникъ; нашей давней прѣ конецъ.

Фритіофъ отъ всего отказывается и хочетъ ѣхать въ море, на борьбу съ бурями, на битвы, которыя однѣ могутъ заглушить мученія его совѣсти за сожженіе храма Бальдера и утишить волненіе его страсти. Это сама поэзія,—мрачная, гордая, могучая поэзія сѣвера?

Рингъ умираетъ, и народъ, избирая Фритіофа опекуномъ его сына и правителемъ страны, требуетъ чтобъ онъ женился на Ингеборгѣ; но Фритіофъ возвращается на родину, воздвигаетъ новый, великолѣпный храмъ Бальдеру, узнаетъ о смерти Гелга и, подходя къ Гальфдану для примиренія—

„Въ сей распрѣ—съ кротостью сказалъ онъ—будетъ тотъ
Великодушнѣй, кто сперва предложитъ миръ“.
Тутъ Гальфданъ, покраснѣвъ, совлекъ съ руки своей
Желѣзную перчатку, и опять сплелись
Давно разрозненныя длани: какъ скала,
Надежно, крѣпко было рукожатье то!
Старикъ тогда сложилъ проклятіе съ главы

Изгнанника,—того, кто „Волкомъ Храма“ слылъ.
И въ тотъ же мигъ явилась Ингеборга къ намъ,
Въ нарядѣ брачномъ, въ горностаевомъ плащѣ,
И дѣвы шли за ней, какъ звѣзды за луной.
Въ слезахъ она въ объятья Гальфдана спѣшитъ
А онъ, растроганный, прекрасную сестру
Склоняетъ къ Фритіофу на грудь. И вотъ она
Предъ жертвенникомъ руку предаетъ тому,
Кого отъ сердца любитъ, кто ей съ дѣтства милъ.

Вотъ содержаніе поэмы лауреата Швеціи. Какіе элементы жизни, и какъ было такому даровитому поэту не создать изъ нихъ такой превосходной поэмы! Великодушное геройство, неукротимая, рьяная любовь, стремленіе къ славѣ и великимъ дѣламъ, ненасытимая жажда мести за оскорбленную честь и достоинство—и готовность прощать; бурное, гордое вольнолюбіе—и благоговѣйное уваженіе къ законамъ нравственности и истины; любовь къ женщинѣ могучая, безпредѣльная, страстная и, вмѣстѣ, кроткая, нѣжная, покорная, дѣвственная, чистая:—вотъ они, эти романтическіе элементы, это зерно будущаго рыцарства! А между тѣмъ, нравы дики, воинственность отзывается звѣрствомъ, право сильнаго торжествуетъ, кровь льется безпрестанно! Да, народная поэзія такого племени доступна всѣмъ народамъ и всѣмъ вѣкамъ: изъ нея смѣло могутъ черпать поэмы новѣйшаго времени и изъ ея элементовъ созидать произведенія міровыя и вѣчныя! Все дѣло въ идеѣ: чѣмъ общѣе идея, тѣмъ родственнѣе духу человѣческому форма выразившая ее. А какая же идея общѣе, человѣчнѣе, родственнѣе всѣмъ вѣкамъ и народамъ, какъ не идея мужества, доблести, правды, любви, и всего, чѣмъ гордится человѣчество, въ чемъ люди сознаютъ свое братство, свое единокровное родство въ Богѣ?...

Не зная подлинника, не можемъ утвердительно судить о достоинствѣ поэмы Тегнèра; можемъ сказать только, что чѣмъ болѣе нравился намъ переводъ г. Грота, тѣмъ несравненно выше представлялся нашей фантазіи подлинникъ...

Какіе грандіозные образы, какая сила, энергія въ чувствѣ, какая свѣжесть красокъ, какой дивно поэтическій колоритъ! Это совершенно новый, оригинальный міръ, полный безконечности, величавый и сумрачный, какъ даль океана, какъ вѣчно суровое небо сѣвера, опирающееся на исполинскія сосны... Отъ всей души благодаримъ г. Грота за его прекрасный подарокъ русской публикѣ...

Что касается до достоинства перевода,—нельзя не отдать полной справедливости таланту г. Грота, какъ переводчика. Онъ умѣлъ сохранить колоритъ скандинавской поэзіи подлинника, и потому въ его переводѣ есть жизнь,—а это уже великая заслуга въ дѣлѣ такого рода! Жаль только, что между прекрасными стихами, у него нерѣдко попадаются стихи прозаическіе, неточность въ выраженіи, а оттого и темнота. Можетъ-быть, это происходило и отъ желанія быть какъ можно вѣрнѣе смыслу подлинника: въ такомъ случаѣ, мы самые недостатки готовы принять за достоинство, тѣмъ болѣе, что современемъ г. Гроту легко будетъ исправить ихъ. Впрочемъ, нѣкоторыя пѣсни переведены прекрасно, особенно XIX-я. Намъ очень нравится, что г. Гротъ каждую пѣсню переводилъ размѣромъ подлинника. Такъ какъ форма всегда соотвѣтствуетъ идеѣ, то размѣръ отнюдь не есть случайное дѣло,—и измѣнить его въ переводѣ, значитъ поступить произвольно. Можетъ-быть, такой переводъ будетъ и выше самаго подлинника, но тогда онъ — уже передѣлка, а не переводъ...

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. *Соч. М. Лермонтова. Изданіе второе. Спб. 1841. Двѣ части.*

Давно ли привѣтствовали мы первое изданіе «Героя Нашего Времени» большою критическою статьею, и, полные гордыхъ, величавыхъ и сладостныхъ надеждъ, со всѣмъ жаромъ убѣжденія, основаннаго на сознаніи, указывали русской публикѣ на Лермонтова, какъ на великаго поэта въ буду-

щемъ, смотрѣли на него, какъ на преемника Пушкина въ настоящемъ!.. И вотъ проходитъ не болѣе года,—мы встрѣчаемъ новое изданіе «Героя Нашего Времени» горькими слезами о невозвратимой утратѣ, которую понесла осиротѣлая русская литература въ лицѣ Лермонтова!.. Несмотря на общее, единодушное вниманіе, съ какимъ приняты были его первые опыты, не смотря на какое-то безусловное ожиданіе отъ него чего-то великаго,—наши восторженныя похвалы и радостные привѣты новому свѣтилу поэзіи для многихъ благоразумныхъ людей казались преувеличенными. Слава ихъ благоразумію, такъ много теперь выигравшему, и горе намъ, такъ много утратившимъ!.. Въ сознаніи великой, невознаградимой утраты, въ полнотѣ ѣдкаго, грустнаго чувства, отравляющаго сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожнаго въ своихъ приговорахъ сомнѣнія, и охотно сознаться, что, говоря такъ много о Лермонтовѣ, мы видѣли болѣе будущаго, нежели настоящаго Лермонтова,—видѣли Алкида, въ колыбели удушающаго змѣй зависти, но еще не Алкида, сражающаго ужасною палицею лернейскую гидру... Да, все написанное Лермонтовымъ еще недостаточно для упроченія колоссальной славы, и болѣе значительно какъ предвѣстіе будущаго, а не какъ что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и само по себѣ все это составляетъ важный и примѣчательный фактъ, рѣшительно-выходящій изъ круга обыкновеннаго. Первыя лирическія піэсы «Русланъ и Людмила» и «Кавказскій Плѣнникъ», еще не могли составить славы Пушкина, какъ великаго міроваго поэта; но въ нихъ уже видѣлся будущій создатель «Цыганъ», «Онѣгина», «Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери», «Скупаго Рыцаря», «Русалки», «Каменнаго Гостя» и другихъ великихъ поэмъ... Толпа судитъ и дѣлаетъ свои приговоры заднимъ числомъ; она говоритъ, когда уже не боится проговориться. Толпа идетъ ощупью и о твердости встрѣченнаго ею предмета судитъ по силѣ толчка, съ которымъ наткнулась на

него. Оставляя за толпою право видѣть вещи не иначе, какъ оборачиваясь назадъ, не будемъ отнимать права у людей заглядывать впередъ и—по настоящему, предсказывать о будущемъ... Всякому свое: толпѣ кричать, людямъ мыслить... Пусть же кричитъ она, а мы снова повторимъ: новая, великая утрата осиротила бѣдную русскую литературу!..

Самыя первыя произведенія Лермонтова были ознаменованы печатію какой-то особенности; они не походили ни на что являвшееся до Пушкина и послѣ Пушкина. Трудно было выразить словомъ, что̀ въ нихъ было особеннаго, отличавшаго ихъ даже отъ явленій, которыя носили на себѣ отблескъ истиннаго и замѣчательнаго таланта. Тутъ было все— и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обоятельно прекрасную форму, какъ теплая кровь одушевляетъ молодой организмъ и яркимъ, свѣжимъ румянцемъ проступаетъ на ланитахъ юной красоты; тутъ была и какая-то мощь, горделиво владѣвшая собою и свободно подчинявшая идеѣ своенравные порывы свои; тутъ была и эта оригинальность, которая, въ простотѣ и естественности, открываетъ собою новые, дотолѣ невиданные міры, и которая есть достояніе однихъ геніевъ; тутъ было много чего-то столь индивидуальнаго, столь тѣсно соединеннаго съ личностію творца,—много такого, что̀ мы не можемъ иначе охарактеризовать, какъ назвавши «Лермонтовскимъ элементомъ»... Какой избытокъ силы, какое разнообразіе идей и образовъ, чувствъ и картинъ! Какое сильное сліяніе энергіи и граціи, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Читая всякую строку, вышедшую изъ подъ пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды, и въ то же время слѣдишь взоромъ за потрясенными струнами, съ которыхъ сорваны они рукою невидимою... Тутъ, кажется, соприсутствуешь духомъ таинству мысли, рождающейся изъ ощущенія, какъ рождается бабочка изъ некрасивой личинки... Тутъ нѣтъ лишняго слова, не только лишней страницы; все на мѣстѣ, все необходимо,

потому что все перечувствовано прежде, чѣмъ сказано, все видѣно прежде, чѣмъ положено на картину... Нѣтъ ложныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутаго восторга: все свободно, безъ усилія, то бурнымъ потокомъ, то свѣтлымъ ручьемъ, излилось на бумагу... Быстрота и разнообразіе ощущеній покорены единству мысли; волненіе и борьба противоположныхъ элементовъ послушно сливаются въ одну гармонію, какъ разнообразіе музыкальныхъ инструментовъ, въ оркестрѣ, послушныхъ волшебному жезлу капельмейстера... Но, главное—все это блещетъ своими, незаимствованными красками, все дышетъ самобытною и творческою мыслію, все образуетъ новый, дотолѣ невиданный міръ... Только дикіе невѣжды, черствые педанты, которые за буквою не видятъ мысли, и случайную внѣшность всегда принимаютъ за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фоліантовъ, могли бы находить въ самобытныхъ вдохновеніяхъ Лермонтова подражанія не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бенедиктову и Якубовичу.

Повторяемъ: небольшая книжка стихотвореній Лермонтова, конечно, не есть колоссальный монументъ поэтической славы: но она есть живое, говорящее порицаніе великой поэтической славы. Это еще не симфонія, а только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукой юнаго Бетховена... Просвѣщенный иностранецъ, знакомый съ русскимъ языкомъ, прочитавъ стихотворенія Лермонтова, не увидѣлъ бы въ ихъ малочисленности богатства русской литературы, но изумился бы силѣ русской фантазіи, даровитости русской натуры... Нѣкоторыя изъ нихъ законно могли бы явиться въ свѣтъ съ подписью имени Пушкина и другихъ величайшихъ мастеровъ поэзіи... «Герой нашего Времени» обнаружилъ въ Лермонтовѣ такого же великаго поэта въ прозѣ, какъ и въ стихахъ. Этотъ романъ былъ книгою, вполнѣ оправдывавшею свое названіе. Въ ней авторъ является рѣшителемъ важныхъ современныхъ вопросовъ. Его Печоринъ—какъ современное лицо—Онѣгинъ

нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются — можетъ-быть и не безъ основанія—на скудость поэтическихъ элементовъ въ жизни русскаго общества; но Лермонтовъ, въ своемъ «Героѣ» умѣлъ и изъ этой безплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя цѣлаго, въ строгомъ художественномъ смыслѣ, почти всѣ эпизоды его романа образуютъ собою очаровательные поэтическіе міры. «Бэла» и «Тамань» въ особенности могутъ считаться одними изъ драгоцѣннѣйшихъ жемчужинъ русской поэзіи; а въ нихъ еще остается столько дивныхъ подробностей и картинъ, въ которыхъ съ такою отчетливостію обрисовано типическое лице Максима Максимовича! «Княжна Мери» менѣе удовлетворяетъ въ смыслѣ объективной художественности. Рѣшая слишкомъ близкіе сердцу своему вопросы, авторъ не совсѣмъ успѣлъ освободиться отъ нихъ и, такъ-сказать, нерѣдко въ нихъ путался; но это даетъ повѣсти новый интересъ и новую прелесть, какъ самый животрепещущій вопросъ современности, для удовлетворительнаго рѣшенія котораго нуженъ былъ великій переломъ въ жизни автора,.. Но увы! этой жизни суждено было проблеснуть блестящимъ метеоромъ, оставить послѣ себя длинную струю свѣта и благоуханія и — изчезнуть во всей красѣ своей...

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ...
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!
Губителемъ неслышнымъ и незримымъ,
Во всѣхъ путяхъ бѣда насъ сторожитъ,
Пріюта нѣтъ главамъ, равно грозимымъ;
Гдѣ не была, тамъ будетъ и сразитъ.
Вотще дерзать въ борьбу съ необходимымъ:
Житейскаго никто не побѣдитъ.
Гнетомы всѣ единой грозной силой,
Намъ всѣмъ сказать о здѣшнемъ счастьѣ: „было!“

Какъ всѣ великіе талатны, Лермонтовъ въ высшей степени обладалъ тѣмъ, что называется «слогомъ». Слогъ отнюдь не есть простое умѣнье писать грамматически правильно,

гладко и складно,—умѣнье, которое часто дается и бездарности. Подъ «слогомъ» мы разумѣемъ непосредственное, данное природою умѣнье писателя употреблять слова въ ихъ настоящемъ значеніи, выражаясь сжато высказывать много, быть краткимъ въ многословіи и плодовитымъ въ краткости, тѣсно сливать идею съ формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловіе Лермонтова ко второму изданію «Героя Нашего Времени» можетъ служить лучшимъ примѣромъ того, что̀ значитъ «имѣть слогъ». Какая точность и опредѣленность въ каждомъ словѣ, какъ на мѣстѣ и какъ незамѣнимо другимъ каждое слово! Какая сжатость, краткость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное авторомъ, понимаешь еще и то, чего онъ не хотѣлъ говорить, опасаясь быть многорѣчивымъ. Какъ о̀бразны и оригинальны его фразы: каждая изъ нихъ годится быть эпиграфомъ къ большому сочиненію. Конечно это «слогъ», или мы не знаемъ что̀ такое «слогъ»...

Немного стихотвореній осталось послѣ Лермонтова. Найдется пьесъ десятокъ первыхъ его опытовъ, кромѣ большой его поэмы—«Демонъ»; пьесъ пять новыхъ, которыя подарилъ онъ редактору «Отечественныхъ Записокъ» передъ отъѣздомъ своимъ на Кавказъ... Наслѣдіе не огромное, но драгоцѣнное! «Отечественныя Записки» почтутъ священнымъ долгомъ скоро подѣлиться ими съ своими читателями. Лермонтовъ немного написалъ—безконечно меньше того, сколько позволялъ ему его громадный талантъ. Безпечный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣній бытія, самый родъ жизни, — отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала устаиваться, въ душѣ пробуждалась жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ спокойнѣе сталъ вглядываться въ глубь жизни. Уже затѣвалъ онъ въ умѣ, утомленномъ суетою жизни, созданія зрѣлыя; онъ самъ говорилъ намъ, что

замыслилъ написать романтическую трилогію, три романа изъ трехъ эпохъ жизни русскаго общества (вѣка Екатерины II, Александра I, и настоящаго времени), имѣющіе между собою связь и нѣкоторое единство, по примѣру Куперовской театралогіи, начинающейся «Послѣднимъ изъ Могиканъ», продолжающейся «Путеводителемъ въ пустынѣ» и «Піонерами» и оканчивающейся «Степями»... какъ вдругъ—

Младой пѣвецъ
Нашелъ безвременный конецъ!
Дохнула буря, цвѣтъ прекрасный
Увялъ на утренней зарѣ!
Потухъ огонь на алтарѣ!

Нельзя безъ печальнаго содраганія сердца читать этихъ строкъ, которыми оканчивается, въ 63 № «Одесскаго Вѣстника», статья г. Андреевскаго «Пятигорскъ»: «15 іюля, около 5-ти часовъ вечера, разразилась ужасная буря съ молніею и громомъ: въ это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался — лечившійся въ Пятигорскѣ, М. Ю. Лермонтовъ. Съ сокрушеніемъ смотрѣлъ я на привезенное сюда бездыханное тѣло поэта»...

Друзья мои, вамъ жаль поэта:
Во цвѣтѣ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть изъ младенческихъ одеждъ
Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья,
И жажда знаній и труда,
И вы, завѣтныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзіи святой?
Быть можетъ, онъ для блага міра,
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ

Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть-можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гласъ временъ—
Благословенія племенъ!

СТИХОТВОРЕНІЯ ГРАФИНИ Е. РАСТОПЧИНОЙ.

Часть I. Спб. 1844.

Съ 1835 года, если не ошибемся, почти во всѣхъ періодическихъ изданіяхъ начали появляться стихотворенія, отмѣчаемыя таинственною подписью *Гр-ня Е. Р-на.* Само собою разумѣется, что причина подобнаго способа давать о себѣ знать заключалась въ нежеланіи автора быть извѣстнымъ подъ собственнымъ своимъ именемъ—по скромности ли то было, или по не слишкомъ высокому понятію о литературной аренѣ, или по какимъ-нибудь другимъ уваженіямъ. Но поэтическое «инкогнито» не долго оставалось тайною, и всѣ читатели выговаривали таинственныя буквы опредѣленными и ясными словами: *графиня Е. Растопчина.* Истинный талантъ какъ - то не уживается съ «инкогнито»; къ тому же, люди странныя созданія (подлинно—*порожденія крокодиловы!*): иногда они потому именно не знаютъ вашего имени, что вы поторопились сказать его, и добиваются знать и узнаютъ потому только, что вы его скрываете, или дѣлаете видъ, что скрываете... Повторяемъ, главная причина того, что литературное инкогнито графини Растопчиной скоро было разгадано,—заключалось въ поэтической прелести и высокомъ талантѣ, которыми запечатлѣны ея прекрасныя стихотворенія. Намъ тѣмъ легче отдать въ нихъ отчетъ публикѣ, что всѣ они извѣстны каждому образованному и неутомимому читателю русскихъ періодическихъ

изданій. Поэтому мы почитаемъ себя въ правѣ не прибѣгать къ выпискамъ, и, чаще, ограничиваться только указаніемъ на ту или другую піесу, для подтвержденія нашего мнѣнія. Постараемся высказать это мнѣніе прямо и откровенно, чуждаясь и безусловнаго удивленія и преступнаго равнодушія.

Отличительныя черты музы графини Растопчиной—наклонность къ разсужденіямъ и свѣтскость: это муза разсуждающая и свѣтская. Перечтите піесы: «Страдальцу». «Полузнакомой», «Равнодушной», «Зачѣмъ? отвѣтъ на Что», «Отринутому поэту», «На Дону», «На памятникъ Сусанину» и нѣкоторыя другія,—во всѣхъ ихъ встрѣтите вы множество вопросовъ, въ родѣ слѣдующихъ: «зачѣмъ? ужь ль? ты ль это? тебя ль?» и т. п. «Зачѣмъ» особенно часто повторяется въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной. Даже тѣ піесы, въ которыхъ нѣтъ прямаго вопрошенія, большею частію не иное что, какъ разсужденія въ прекрасныхъ, а иногда и поэтическихъ стихахъ. Не смотря на все уваженіе къ таланту графини Растопчиной, нельзя не замѣтить, что разсужденіе охлаждаетъ даже мужескую и мужественную поэзію и придаетъ ей какой-то однообразный, прозаическій колоритъ. Правда, этого нельзя безусловно отнести къ прекраснымъ медитаціямъ разсматриваемаго нами автора; но все-таки нельзя не сказать, что стихотворенія выиграли бы гораздо больше въ поэзіи, еслибъ захотѣли оставаться поэтическими откровеніями міра женственной души, мелодіями мистики женственнаго сердца: тогда они были бы и любопытнѣе для остальной половины человѣческаго рода, Богъ знаетъ почему присвоившей себѣ право суда и награды. Сохрани насъ Богъ отъ вандальской мысли ограничить поэтическую дѣятельность женщины только тою сферою, которая оставлена ей варварствомъ мущины, однакожь мы думаемъ, что, вступая въ сферы, насильственно присвоенныя себѣ мущиною, женщинѣ должно имѣть и мужескія силы при женской граціи, подобно геніальной д'Юдеванъ...

Исключительное служеніе «богу салоновъ» также не совсѣмъ выгодно. Наши салоны—слишкомъ сухая и безплодная почва для поэзіи. Правда, они даже и зимою дышатъ ароматомъ, или, какъ говоритъ муза графини Растопчиной, «сыплятъ ароматъ», но этотъ ароматъ искусственный, возросшій на почвѣ оранжерейной, а не на раздольи плодотворной земли, улыбающейся ясному небу. Балъ, составляющій источникъ вдохновеній нашего автора, конечно образуетъ собою обоятельный міръ даже и у насъ,—не только тамъ, гдѣ царитъ образецъ, съ котораго онъ довольно точно скопированъ; но балъ у насъ—заморское растеніе, много пострадавшее при перевозкѣ, помятое, вялое, блѣдное. Поэзія—женщина: она не любитъ показываться каждый день въ одномъ уборѣ; напротивъ, ей нравится каждый часъ появляться новою; всегда быть разнообразною — это жизнь ея: а всѣ балы наши такъ похожи одинъ на другой, что поэзія не пошлетъ туда даже и своей ассистентки, не только сама не пойдетъ. Между тѣмъ, поэзія графини Растопчиной, такъ сказать, прикована къ балу: даже встрѣча и знакомство съ Пушкинымъ, какъ совершившіяся на балѣ, суть собственно описаніе бала, которое болѣе бы шло къ письму или статьѣ въ прозѣ, чѣмъ съ рифмами,

Муза графини Растопчиной не чужда поэтическихъ вдохновеній, дышащихъ не однимъ умомъ, но и глубокимъ чувствомъ. Правда, это чувство ни въ одномъ стихотвореніи не высказалось полно, но сверкаетъ болѣе въ отрывкахъ и частностяхъ, за то эти отрывки и частности ознаменованы печатью истинной поэзіи. Сколько, напримѣръ, души въ стихахъ:

Но вы, разрозненные рокомъ,
Любимцы блеклые мои,
На лоно матери-земли
Вы принесенные оброкомъ
Съ родимыхъ вѣтвей и вершинъ,
Какъ много думъ и откровеній,

Какъ много горестныхъ видѣній
И занимательныхъ *судьбинъ* (?)
Я вижу въ низкой вашей долѣ!...
Немного будущности въ васъ,
Но все на жизненной юдоли
Переживете вы не разъ
И рано скошенную младость,
И сонъ любви, и красоту,
И сердца пламеннаго радость,
И вдохновенную мечту.

Еще болѣе глубокимъ чувствомъ запечатлѣно стихотвореніе «Послѣдній Цвѣтокъ»; это по нашему мнѣнію, лучшее стихотвореніе въ книжкѣ.

Даже и въ разсуждающихъ стихотвореніяхъ графини Растопчиной встрѣчаются мѣста, ознаменованныя думою и чувствомъ,—и мы поступили бы неучтиво противъ ея музы, если бы не выписали этихъ стиховъ, изъ піесы «Равнодушной»:

Мой другъ... мнѣ жаль тебя!... ты молода, прекрасна,
Съ душой чувствительной ты дышишь для любви,
Тебѣ ль, во цвѣтѣ лѣтъ, ошибкою ужасной
Безжалостно, на вѣкъ, убить права свои,
Проститься съ счастіемъ... погибнуть для земли?...
Нѣтъ... вѣрь, Богъ милости, Богъ пламенныхъ моленій
Не принялъ робкаго отвѣта твоего!
Вѣрь, жертва слезъ твоихъ, постовъ и треволненій
Противна благости вселюбящей Его!...
Не Онъ ли создалъ насъ, чтобъ съ кротостью, съ терпѣньемъ
Посланье Ангеловъ въ быту земномъ свершить?...
Не Онъ ли намъ велѣлъ быть міру утѣшеньемъ,
Мущинѣ гордому путь трудный облегчить.
И отъ житейскихъ смутъ въ немъ сердце охранить?
Не Онъ ли одарилъ насъ пламенной душою,
Намъ сердце, чувство далъ, явилъ въ насъ благодать.
И въ умъ нашъ даръ вложилъ, какъ вѣрой и мольбою
Отступниковъ ума съ святыней примирять?...
Такъ!... мы посредницы межъ Божествомъ и свѣтомъ,
Намъ цѣль—творить добро, намъ весело *любить*,
И женщина, любовь отвергнувши обѣтомъ,

Не въ правѣ болѣе сестрою нашей быть!
Ей темный монастырь! Ее жребій заклейменный!...
Ей гробъ.. но съ думами, съ тревогою, съ тоской!...
И горе, горе ей, коль образъ чародѣйный,
Подъ чернымъ клобукомъ сдруженъ съ ея мечтой,
Подъ черной мантіей волнуетъ умъ младой!...

Да, такіе думы и чувства доказываютъ, что талантъ графини Растопчиной могъ бы найдти болѣе обширную и болѣе достойную себя сферу, чѣмъ салонъ, и что стихи, подобные слѣдующимъ, выражаютъ только мнѣніе, кажется, несправедливое въ отношеніи къ высокому назначенію женщины вообще:

А я, женщина во всемъ значеньи слова,
Всѣмъ женскимъ склонностямъ покорна я вполнѣ;
Я только женщина... гордиться тѣмъ готова...
Я балъ люблю!... отдайте балы мнѣ!...

ОЧЕРКИ ЖИЗНИ И ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА СУМАРОКОВА. *(,) И (и)зданныя Сергѣемъ Глинкою. Часть I. Спб. 1841.*

Вотъ одно изъ тѣхъ произведеній, которыя называются капитальными произведеніями литературы, которыя пишутся не для однихъ современниковъ, но и для потомства, переживаютъ вѣка и народы! — Много нужно таланта, чтобъ описать вѣрно только внѣшнюю сторону книги почтеннаго ветерана нашей литературы: найдти же единство воззрѣнія и мысли въ торжественно-праздничномъ вдохновеніи, которымъ проникнута, равно какъ въ лирическомъ безпорядкѣ и отрывочности, которыми запечатлѣна ея внутренность,—это просто дѣло генія. Будучи слишкомъ далеки отъ самолюбивой мысли предполагать въ себѣ геній и почитать себя способными разоблачить предъ читателями все богатство, всю оригинальность содержанія книги почтеннѣйшаго С. Н. Глинки,—даже только

познакомить ихъ съ ея оригинальною внѣшностію и восторженно лирическимъ способомъ ея изложенія, напоминающаго торжественныя оды прошлаго вѣка, — мы тѣмъ не менѣе, хотя со страхомъ и трепетомъ, хотя и съ полнымъ сознаніемъ своего безсилія и недостоинства, все-таки попытаемся на этотъ великій подвигъ.

Во первыхъ, книга почтеннѣйшаго С. Н. Глинки приводитъ читателя въ изумленіе самымъ заглавіемъ своимъ: всякій (особенно, кто, подобно намъ, не одаренъ проницательностію и догадливостію), всякій легко можетъ подумать, что «очерки жизни» въ этой книгѣ такъ же принадлежатъ Александру Петровичу Сумарокову, какъ и «избранныя сочиненія Александра Петровича Сумарокова». Естественно тутъ рождается вопросъ: да чьей же жизни очерки писалъ Александръ Петровичъ Сумароковъ? Вотъ тутъ-то и первый камень преткновенія, тутъ и первая важная ошибка со стороны ограниченныхъ людей, неспособныхъ понимать геніевъ: «Очерки Жизни» написаны почтеннѣйшимъ С. Н. Глинкою, а «избранныя сочиненія Александра Петровича Сумарокова» написаны Александромъ Петровичемъ Сумароковымъ. Во вторыхъ, книга С. Н. Глинки весьма предусмотрительно снабжена тремя заглавными листками, которые разнятся другъ отъ друга особыми примѣтами: первый въ узорной рамкѣ и съ означеніемъ «часть первая», но безъ означенія типографіи, второй безъ узорной рамки, но съ означеніемъ типографіи, въ которой книга напечатана; третій безъ узорной рамки, съ означеніемъ части, и безъ означенія города, типографіи и года, но за то съ двумя эпиграфами, изъ Сумарокова и Шатобріана. За этими тремя листками слѣдуетъ четвертый, на которомъ крупными литерами значится: «Приношеніе памяти Екатеринѣ (ы) Второй, любительницѣ (ы) русскаго слова и августѣйшей русской писательницѣ (ы)». Затѣмъ уже слѣдуетъ посвященіе, котораго, по недостатку времени и мѣста, не разбираемъ: для одного такого разбора

потребовалась бы цѣлая и притомъ большая статья. За посвященіемъ слѣдуетъ «Первый взглядъ на Сумарокова писателя», въ которомъ, т. е. первомъ взглядѣ на Сумарокова (какъ)? писателя,—С. Н. Глинка говоритъ, что, приступая къ возобновленію «Русскаго Вѣстника», онъ рѣшился перечитать прежнихъ нашихъ писателей и началъ съ А. П. Сумарокова, въ сочиненія котораго онъ не заглядывалъ лѣтъ двадцать. Начавъ читать А. П. Сумарокова, С. Н. Глинка удивился его (А. П. Сумарокова) прозаическимъ статьямъ и тому, что онъ (А. П. Сумароковъ) «предъявлялъ» о собраніи, соображеніи и приведеніи законовъ въ единство, и объ обществѣ для сохраненія чистоты русскаго слова, и объ учрежденіи хлѣбныхъ магазиновъ. За «Первымъ взглядомъ на Сумарокова писателя» слѣдуетъ «Второй взглядъ на Сумарокова писателя», въ которомъ говорится, что Ломоносовъ напрасно упрекалъ Сумарокова въ подражаніи Расину, что Тредьяковскій, «въ грозной критикѣ», напрасно подозрѣвалъ Сумарокова, что тотъ осмѣялъ его въ Трисотиніусѣ; что «Иліада» есть подражаніе египетскимъ надписямъ на развалинахъ стовратыхъ Ѳивъ; что весь міръ подражалъ; что Сумароковъ «зналъ и оцѣнялъ красоту Шекспира» и зналъ голландскаго трагика Ѳонделя. Въ «Третьемъ взглядѣ на Сумарокова писателя» говорится, что сочиненія Сумарокова, еще при жизни его, были искажены издателями и имъ самимъ: ибо онъ, «въ разсѣянномъ состояніи мысли и самъ портилъ свои трагедіи, добиваясь богатыхъ, звучныхъ рифмъ, ко вреду силы выраженія»; что когда публика освистывала нѣкоторыя изъ трагедій Сумарокова, онъ очень краснорѣчиво восклицалъ:

„Возьмите свѣтъ изъ глазъ и выньте духъ мой вонъ!“

Словомъ, «въ Третьемъ взглядѣ на Сумарокова писателя» содержится много интереснаго, изъ чего видно ясно, какъ день Божій, что онъ, Сумароковъ, былъ великій писатель. Только напрасно «Третій взглядъ» приписываетъ Сумарокову (стр. VIII) фразу: «но неужели Москва болѣе повѣритъ подъя-

чему, нежели Вольтеру и лунѣ»; Сумароковъ сказалъ то же да не такъ, а вотъ какъ: «но неужели Москва повѣритъ болѣе подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ» (см. «Полное Собраніе всѣхъ сочиненій, въ стихахъ и прозѣ, покойнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ордена св. Анны кавалера и лейпцигскаго ученаго собранія члена, Александра Петровича Сумарокова» т. IV стр. 62); о лунѣ же Сумароковъ и не думалъ упоминать, говоря о г. Вольтерѣ, послѣ котораго онъ, по сознанію своего достоинства, естественно могъ говорить только о собственной своей особѣ. За «Третьимъ взглядомъ» слѣдуетъ «Содержаніе и обозрѣніе десяти частей сочиненій А. П. Сумарокова, изданныхъ Н. И. Новиковымъ». Въ этомъ отдѣленіи особенно драгоцѣнны коментаріи С. Н. Глинки, равно какъ и многіе факты русской литературы. Напримѣръ (стр. XX—XXI), онъ доказываетъ, что Озеровъ выучился такъ хорошо писать трагедіи (въ старину за поэзію брались на выучку—не то, что нынѣ, по призванію) у Сумарокова, и приводитъ свой разговоръ объ этомъ съ Озеровымъ. Вотъ слова Озерова:

„Давно обдумывая трагедію Эдипа, и я сталъ переучиваться стопосложенію по поэзіи Сумарокова. У него стихъ мягче (чѣмъ у Княжнина), а мнѣ нужна эта мягкость для роли Антигоны. Признаюсь, что я теперь дивлюсь Сумарокову; гдѣ и у кого отыскалъ онъ выраженіе трагическое? Говорятъ, что онъ подражалъ французскимъ трагикамъ; это ничего не значитъ. Корнелій, Расинъ и Вольтеръ заимствовали у Грековъ нѣкоторыя содержанія своихъ трагедій. Но языкъ у нихъ свой. Я пристрастенъ къ Расину, но Корнелій выше его тѣмъ, что онъ изобрѣлъ слогъ трагическій: то же должно сказать и о Сумароковѣ“.

Здѣсь не знаешь, чему больше дивиться: тому ли, что Озеровъ нашелъ себѣ такого достойнаго образца и такъ вѣрно судилъ о немъ; или тому, что С. Н. Глинка такъ хорошо упомнилъ разговоръ происходившій *сорокъ-пять* лѣтъ тому назадъ.

На XXIV стр., С. Н. Глинка приводитъ слѣдующія «неумирающія», какъ онъ говоритъ, выраженія Сумарокова:

„Скромность—ожерелье красоты—Упасть каждый можетъ; и лошадь падаетъ, хотя у нея четыре ноги.—Ты русскій, а не говоришь по-русски.—Пьяному да кручкотворцу и море по колѣно. И подушки у ябедниковъ не слишкомъ вертятся. У тѣхъ вертятся больше, которыя дорожа своею честностью по міру ходятъ. — Умъ превосходный лучше превосходительства чиновнаго.—Что присвоено беззаконно, то отдать свыше силъ человѣческихъ. — Хвали сонъ, когда сбудется. — И змѣя птенцовъ своихъ не пожираетъ.—Тѣлу нужна голова, но—и мизинецъ членъ“.

Выписавъ эти «неумирающія» выраженія Сумарокова, С. Н. Глинка восклицаетъ: «тутъ по-неволѣ остановиш(ь)ся и скажешь: это рѣзко(і)й и живой оборотъ слова Ла-Брюйера и Паскаля!»—Именно такъ!...

Затѣмъ слѣдуетъ «Содержаніе первой части очерковъ жизни и сочиненій А. П. Сумарокова», состоящей изъ двадцати статей, и еще двухъ дополнительныхъ статей. Потомъ идетъ еще заглавный листъ книги, а за нимъ — статья первая и слѣдующія. Въ нихъ С. Н. Глинка разсказываетъ по-своему, т. е. оригинально и упоительно, частную и литературную жизнь Сумарокова, дѣлая свои замѣчанія и съ непостижимою быстротою переходя отъ одного предмета къ другому, хотя бы между этими предметами не было ничего общаго. Слѣдить за изложеніемъ книги С. Н. Глинки нѣтъ никакой возможности: его мысли летятъ на курьерскихъ, кружатъ, колесятъ, обгоняютъ одна другую, отстаютъ, забѣгаютъ, сшибаютъ другъ друга—у читателя вертится голова: не успѣетъ онъ пройдти съ авторомъ двухъ шаговъ, какъ, глядь—автора уже нѣтъ съ нимъ: онъ или за тысячу верстъ назади, или за тысячу верстъ впереди... Гдѣ же поспѣть за такимъ Протеемъ!... Вотъ почему мы рѣшительно отказываемся разбирать книгу С. Н. Глинки подробно, шагъ за шагомъ слѣдя за ея изложеніемъ; поговоримъ только о нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мѣстахъ ея.

Отъ стр. 77 до 90-й, С. Н. Глинка силится доказать, что между Ломоносовымъ и Сумароковымъ не было никакой вражды.—Полно такъ ли? При всемъ нашемъ безусловномъ ува-

женіи къ великому авторитету С. Н. Глинки, позволяемъ себѣ вѣрить въ этомъ случаѣ болѣе Ломоносову, чѣмъ г-ну Глинкѣ; а вотъ что писалъ Ломоносовъ въ письмѣ своемъ къ Шувалову, безуспѣшно пытавшемуся помирить его съ Сумароковымъ: «Никто въ жизни меня больше не изобидѣлъ какъ ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня къ себѣ. Я думалъ, можетъ быть какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ. Вы меня отозвали и тѣмъ поманили. Вдругъ слышу: помирись съ Сумароковымъ! то есть сдѣлай смѣхъ и позоръ. Свяжись съ такимъ человѣкомъ, отъ коего всѣ бѣгаютъ и вы сами нерады. Свяжись съ тѣмъ человѣкомъ, который ничего другаго не говоритъ, какъ только всѣхъ бранитъ, себя хвалитъ и бѣдное свое рифмичество выше всего человѣческаго знанія ставитъ. Тауберта и Миллера для того только бранитъ, что не печатаютъ его сочиненій; а не ради общей пользы. Я забываю всѣ его озлобленія, и мстить не хочу ни коимъ образомъ, и Богъ мнѣ не далъ злобнаго сердца. Только дружиться и обходиться съ нимъ никоимъ образомъ не могу, испытавъ чрезъ многіе случаи, и зная, каково въ крапиву. . . . .» и проч.

На 143 страницѣ находятся слѣдующія строки, поражающія читателей смѣлостію, новостію и оригинальностію: «Я чрезвычайно люблю и уважаю геній А. С. Пушкина, но Онѣгинъ не представитель народнаго русскаго духа. При жизни еще нашего поэта, я напечаталъ и самъ читалъ ему:

Страннаго свѣта ты живописецъ;
Кистью рисуешь призракъ людей!...
Что твой *Онѣгинъ?* Онъ лѣтописецъ
Модныхъ, безцвѣтныхъ, безжизненныхъ дней.“

Прочтя эти строки, и въ прозѣ и въ стихахъ, и притомъ въ такихъ прекрасныхъ стихахъ, внезапно озаренные свѣтомъ истины, мы въ пламенномъ восторгѣ воскликнули, ставъ на колѣни и поднявъ руки вверхъ: «Правда, о, тысячу разъ правда, что «Онѣгинъ»—пустое, вздорное произведеніе!» Про-

говорившн сіи роковыя слова, мы схватили всѣ одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина, развернули тутъ, заглянули тамъ, и рѣшили, что и все-то въ нихъ вздоръ и побрякушки, да не говоря много, бросили ихъ въ каминъ (это было въ холодный іюльскій день), тѣмъ болѣе, что первые восемь томовъ во всѣхъ отношеніяхъ плохо изданы. На очистившееся въ шкапѣ мѣсто, мы съ подобающимъ благоговѣніемъ поставили десять томовъ сочиненій «покойнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Александра Петровича Сумарокова» Теперь мы только и дѣлаемъ, что читаемъ ихъ, безпрестанно восклицая въ благочестивомъ восторгѣ классическаго правовѣрія: «О, Сумароче! Сумароче! меда и сота сладчайши суть козлопѣнія твоя,—и се не зримъ ихъ на ѳеятрахъ нашихъ искусными лицедѣями представляемыхъ!» Надобно замѣтить, что эта фраза принадлежитъ не намъ, но мы запомнили ее. Впрочемъ, мы много хорошаго восклицали и отъ себя, но не почитаемъ за нужное доводить все это до свѣдѣнія нашихъ читателей: имъ достаточно знать, что мы теперь Пушкина въ грошъ не ставимъ, а Сумарокову поклоняемся до земли, и что этимъ новымъ и прекраснымъ убѣжденіемъ обязаны мы краснорѣчивымъ и глубокомысленнымъ доводамъ почтеннѣйшаго С. Н. Глинки.

Въ заключеніе, остается поблагодарить С. Н. Глинку за опроверженія, которыми удостоилъ онъ «Отечественныя Записки», и увѣрить его, что трудъ его не пропалъ вотще, что мы исправились отъ своихъ заблужденій, прозрѣли свѣтомъ истины до того, что эклоги Сумарокова считаемъ нѣжными, элегіи трогательными, притчи остроумными, комедіи язвительными, оды возвышенными, трагедіи величественными, прозаическія статьи глубокомысленными — словомъ, видимъ въ Сумароковѣ русскаго Теокрита, Тибулла, Лафонтена, Мольера, Пиндара, Горація, Корнеля, Расина, Вольтера, Кребильйона, Дюсиса и пр., великаго поэта, геніальнаго творца и пр., и пр., и что всѣмъ этимъ мы обязаны все ему же,

почтеннѣйшему С. Н. Глинкѣ!... Ждемъ съ нетерпѣніемъ второй части его «Очерковъ Жизни и Избранныхъ Сочиненій А. П. Сумарокова».

ДВѢНАДЦАТЬ СОБСТВЕННОРУЧНЫХЪ ПИСЕМЪ АДМИРАЛА ШИШКОВА, *скончавшагося 9-го, а погребеннаго 15-го прошедшаго апрѣля въ кладбищенской церкви Воскресенія св. Лазаря, при Александро-Невской Лаврѣ. Спб. 1841.*

Умилителенъ этотъ голосъ изъ-за могилы, хотя въ немъ и не слышно никакихъ звуковъ, образующихъ собою какую-либо замѣчательную рѣчь. Это просто свѣтскія письма отъ знакомаго къ знакомому, письма, которыхъ содержаніе мало интересно для публики, и которыя авторъ, вѣроятно, едва ли бы желалъ видѣть въ печати. Между-тѣмъ, въ нихъ, мимоходомъ, есть кое-что болѣе или менѣе примѣчательное. Такъ, напр., въ третьемъ письмѣ (стр. 5—14) авторъ очень остроумно доказываетъ, что слово «имство» есть синонимъ словамъ «качество» и «свойство» и, означая характеръ или характеръ, какъ коренное русское слово, должно замѣнить собою иностранное «характеръ» и изгнать его изъ русскаго языка. Мы такъ убѣждены силою и основательностію остроумныхъ доводовъ покойнаго Шишкова касательно слова «имство», что сейчасъ же готовы сказать, что «имство» посмертныхъ его писемъ, равно какъ и всѣхъ сочиненій, весьма примѣчательно по своей оригинальности. Въ четвертомъ письмѣ,—тоже весьма замѣчательномъ своимъ «имствомъ», — употреблено г-мъ Шишковымъ слово *предбудущее* (стр. 17), вмѣсто будущаго: удивительно, какъ такой глубокомысленный знатокъ отечественнаго слова могъ употребить такое неточное выраженіе: вѣдь предбудущее есть то же, что предшествующее будущему, слѣдовательно, то же, что настоящее... Очень замѣчательно своимъ «имствомъ»

восьмое письмо. Въ немъ, между прочимъ, содержатся слѣдующія строки:

„Въ вашей московской словесности, также какъ и въ здѣшней, часто встрѣчаю глупое самолюбіе и невѣжество ребятъ, которыхъ бы не худо было, для ихъ же добра, высѣчь розгами. На этихъ дняхъ попался мнѣ журналъ, въ которомъ какой-то студентъ судитъ и бранитъ безъ милости Хераскова. Вотъ нравы, которымъ поучаютъ юношей! Вмѣсто, чтобъ скромными сочиненіями стараться напередъ снискать себѣ имя, онъ съ такою же дерзостію, съ какимъ и невѣжествомъ, ругаетъ мертваго старика, со всѣхъ сторонъ почтеннаго! хочетъ показать свой умъ и свои знанія, но вмѣсто сего показываетъ свою глупость, невѣжество и худой нравъ. Признаюсь, что я не могу ничего подобнаго прочитать безъ крайняго сожалѣнія о худомъ воспитаніи молодыхъ нынѣшнихъ людей. Кажется, какъ будто всѣ училища превратились въ школы развратовъ, и кто оттуда не выйдетъ, тотчасъ покажетъ, что онъ совращенъ съ истиннаго пути и голова у него набита пустотою, а сердце самолюбіемъ, первымъ врагомъ благоразумію“.

Вотъ до какого страшнаго и несправедливаго заключенія о новомъ времени и новыхъ школахъ довело добраго старика излишнее пристрастіе къ Хераскову! Говорить правду о Херасковѣ значитъ «показать свою глупость, невѣжество, худой нравъ, пустую голову и самолюбивое сердце», слѣдственно дурныя «имства»,—и училище въ которомъ учился злодѣй съ сими скверными «имствами» есть истинная «школа развратовъ!». Довольно сильно сказано! Но всего интереснѣе тутъ то обстоятельство, что новое время и нынѣшніе молодые люди въ письмѣ г. Шишкова относятся теперь уже къ старому времени и довольно пожилымъ людямъ: журналъ, въ которомъ покойный Шишковъ нашелъ возмутившую его душу статью о Херасковѣ, есть не иное что, какъ „Современный Наблюдатель Россійской Словесности“ (съ марта по іюль 1815 года); сама же статья принадлежала издателю журнала, нынѣшнему почтенному археологу и археографу, Павлу Михайловичу Строеву, который, будучи оскорбленъ грубымъ незнаніемъ Хераскова, смѣшавшаго въ своей «Россіадѣ» Іоанна III съ Іоанномъ IV или Грознымъ, напалъ на

него въ умной, энергической статьѣ, оскорбившей тогдашнихъ литературныхъ староверовъ; а между тѣмъ Мерзляковъ, въ своемъ «Амфіонѣ», издававшемся въ томъ же 1815 году, напалъ на «Россіаду» съ эстетической стороны, и также навлекъ на себя бездну неудовольствій отъ литературныхъ изувѣровъ того времени. — Г. Шишковъ такъ долго жилъ, что нынѣшнихъ старцевъ помнилъ мальчишками, и лѣтъ пятьдесятъ наблюдалъ грустнымъ взоромъ паденіе нравственности и водворявшійся развратъ молодыхъ поколѣній, которыя смѣялись надъ Тредьяковскимъ, Сумароковымъ и Херасковымъ!

Въ книжкѣ, носящей на себѣ названіе «Двѣнадцати собственноручныхъ писемъ адмирала Александра Семеновича Шишкова», и состоящей изъ 86 страницъ,—письма г. Шишкова занимаютъ только 39 страницъ; прочія же 47 страницъ заняты другими вещами, именно: отъ страницы 40—до 45-й включительно, находится нѣчто въ родѣ письма издателя писемъ г. Шишкова къ какому-то вельможѣ, а въ письмѣ этомъ говорится о переведенной издателемъ съ французскаго торжественной одѣ «Воззваніе къ Богу, въ 28 день іюня». Страницы 46—49 заключаютъ въ себѣ самую оду, о красотахъ которой нельзя дать понятія иначе, какъ выписавъ изъ нея хоть послѣднюю, заключительную строфу:

Блажу тебя, любовь предвѣчна!
За милосердіе твое,
Блажу тя, благость безконечна!
За избавленіе мое
Сей день не будетъ мной забвенъ:
Въ сей день хранитель мой рожденъ:
Ты сей уставилъ день отъ вѣка,
На то, чтобъ сонмамъ сирыхъ, вдовъ,
Болящихъ, бѣдныхъ дать покровъ,
Создавъ *по сердцу человѣка.*

Страницы 50—58 заняты любопытными комментаріями на сію оду. Страницы 59 — 79 заключаютъ въ себѣ статью:

«Выписка изъ рукописи, одобренной С.-Петербургскимъ Комитетомъ Духовной Цензуры (2-го іюня 1841), подъ заглавіемъ: «Опроверженіе злоумышленныхъ толковъ, распространенныхъ лжефилософами XVII вѣка противъ христіанскаго благочестія». Страницы 80—86 заняты «Прибавленіемъ къ двѣнадцати собственноручнымъ письмамъ покойнаго А. С. Шишкова». На послѣдней же страницѣ находятся слѣдующія объявленія:

№ 1. Благородная дама по происхожденію своему, Англичанка, желаетъ принять, подъ непосредственный надзоръ свой, не болѣе трехъ малолѣтнихъ дѣтей, отъ одного мѣсяца послѣ рожденія до пяти или шести лѣтъ, преимущественно такихъ, которыя лишились нѣжной материнской попечительности и заботливости. Объ условіяхъ можно узнавать ежедневно, съ 11 часовъ утра до 2 пополудни, 1-й Адмиралтейской части въ Галерной улицѣ, подъ № 195, въ квартирѣ № 15.

№ 2. Въ этой же квартирѣ, мужемъ грековосточнымъ единовѣрцемъ помянутой дамы, принимается подписка на *Первую часть Опроверженія злоумышленныхъ толковъ*. (Послѣ объясненій условій подписки, внизу подписано: *Состоящій въ числѣ чиновниковъ при почтовомъ департаментѣ, статскій совѣтникъ* Я. Бардовскій).

РУССКАЯ ИСТОРІЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ЧТЕНІЯ. *Соч. Николая Полеваго. Часть четвертая. Спб. 1841.*

Эта книжка — продолженіе прекраснаго труда, которому давно была бы пора кончиться... Можетъ быть, нѣкоторымъ изъ читателей, особенно «не нашего прихода», покажется страннымъ, что «Отечественные Записки» хвалятъ книгу, написанную г. Полевымъ. «При сей вѣрной оказіи» просимъ этихъ господъ замѣтить однажды на всегда, что «Отечественныя Записки» чужды низкой вражды къ лицу, мимо его произведеній, что онѣ всегда преслѣдовали и всегда будутъ преслѣдовать произведенія тѣхъ людей, отъ которыхъ, по ихъ природной бездарности, соединенной съ ограниченнос-

тію понятій, нельзя ожидать ничего хорошаго, по той самой простой причинѣ, — что въ наше время чудесъ не бываетъ, и ворона никогда не запоетъ соловьемъ. Правда, и подобнымъ головамъ случается иногда обмолвиться умнымъ словцомъ: правда, и Тредьяковскому какъ-то разъ удалось написать эти прекрасные стихи:

Воньми, о небо! и рѣку,
Земля да слышитъ устъ глаголы,
Какъ дождь я словомъ потеку,
И снидутъ, какъ роса къ цвѣтку,
Мои вѣщанія на долы.

Но въ продолженіе и въ окончаніе этихъ стиховъ, достойныхъ Державина, опять таки сказался почтенный профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ, Василій Кириллович Тредіаковскій, изобрѣтатель гекзаметра, который можетъ соперничать только развѣ съ октавами одного позднѣйшаго изобрѣтателя въ томъ же родѣ. Умныя обмолвки «профессоровъ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ», напоминаютъ прекрасную эпиграмму Баратынскаго:

Глупцы не чужды вдохновенья;
Имъ также пылкія мгновенья
Оно какъ геніямъ даритъ:
Слетая съ неба, всѣ растенья
Равно весна животворитъ.
Что̀ жь это сходство знаменуетъ?
Что̀ имъ глупецъ пріобрѣтетъ?
Его капустою раздуетъ,
А лавромъ онъ не разцвѣтетъ.

И потому есть имена, которыя никогда не встрѣтятъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» похвалы своимъ произведеніямъ.

Но не къ такимъ именамъ принадлежитъ имя г. Полеваго. Мы поставляемъ себѣ за особенное удовольствіе и за честь признавать въ г. Полевомъ человѣка необыкновенно умнаго и даровитаго, литератора дѣятельнаго, оказавшаго, въ качес-

твѣ журналиста, важныя услуги русской литературѣ и русскому образованію. Мы только не видимъ въ немъ генія, какимъ ему иногда угодно было признавать себя въ порывахъ, свойственнаго человѣческой слабости самолюбія. Уважая многія изъ его произведеній, какъ имѣющія неоспоримое достоинство для своего времени, мы не видимъ въ нихъ твореній не только вѣчныхъ, но даже и долговѣчныхъ. И что жь тутъ унизительнаго, или обиднаго для г. Полеваго? Всякому свое: одинъ творитъ для вѣковъ и человѣчества, но, доступный только немногимъ избраннымъ, не служитъ сильнымъ рычагомъ для движенія общества; другой пишетъ для эпохи, и сливаетъ свое имя съ исторіей этой эпохи. Послѣдній еще скорѣе получаетъ свою награду, чѣмъ первый: часто, теряя въ потомствѣ первобытное свое значеніе, онъ тѣмъ выше въ глазахъ современниковъ. Развѣ это не лестно и не славно? Развѣ для этого не должно, какъ говоритъ Гамлетъ, «быть избраннымъ изъ десяти тысячъ»?... Но, повторяемъ: отдавать должное, не значитъ приписывать излишнее, и заслуга не защищаетъ отъ порицаній въ ошибкахъ. Г. Полевой оказалъ великую заслугу литературѣ своимъ «Телеграфомъ», и мы умѣемъ быть благодарны за нее, но не до такой же степени, чтобъ не видѣть, что съ «Телеграфомъ» кончилось время его журнальной дѣятельности, и что если его имя воскресило на минуту «Сынъ Отечества», то его же редакція и снова уморила этотъ несчастный журналъ. Всему свое время: жизнь угасаетъ и въ народахъ, не только въ отдѣльныхъ людяхъ; съ лѣтами угасаетъ и геній, не только дарованіе, какъ бы оно ни было сильно: Шеллингъ живой примѣръ. Въ свое время, литературные и эстетическіе взгляды и мнѣнія г. Полеваго были и новы и вѣрны, давали литературѣ и жизнь и направленіе; а теперь нисколько не удивительно, что онъ заднимъ числомъ судитъ о Пушкинѣ, Гоголѣ и Лермонтовѣ. И должно ли быть намъ равнодушными къ подобнымъ сужденіямъ, особенно, когда ихъ источникъ, кромѣ

отсталости и устарѣлости, заключался еще и въ недовольствѣ собою, въ журнальныхъ разсчетахъ, въ раздражительности самолюбія? Г. Полевой оказалъ важную услугу, поставивъ «Гамлета» на русскую сцену; но это всетаки не мѣшаетъ намъ видѣть въ его переводѣ довольно жалкую пародію на великое созданіе Шекспира, хотя, можетъ быть, этому-то обстоятельству, и обязана пьеса своимъ успѣхомъ въ толпѣ. Поэтому, мы убѣждены, что никто изъ людей умныхъ и благонамѣренныхъ не увидитъ пристрастія въ нашихъ постоянно одинаковыхъ отзывахъ о жалкомъ драматическомъ поприщѣ г. Полеваго. Конечно, многія изъ его драматическихъ пьесъ несравненно выше всѣхъ произведеній нашихъ доморощенныхъ водевилистовъ, отъ г. Ленскаго до г. Коровкина включительно; но что же изъ этого? Развѣ это слава— написать романъ, который будетъ выше всѣхъ романовъ гг. Зотова и Воскресенскаго? Нѣтъ, если это и слава, то не для г. Полеваго: мы цѣнимъ его выше и отъ души совѣтуемъ ему перестать состязаться съ театральными писаками и побѣждать ихъ... Иное, удивляя безсмысленную чернь, недостойной вниманія порядочнаго человѣка; есть вѣнцы, унижающіе голову, на которую надѣты: вѣдь и вѣнокъ изъ калуфера и мяты, тоже вѣнокъ, но какіе люди могутъ дорожить имъ и добиваться его?... Г. Полевой можетъ еще и теперь сдѣлать много полезнаго, и истинно прекраснаго; лучшее доказательство четвертый томъ его «Русской Исторіи для первоначальнаго чтенія». Когда выйдетъ послѣдній томъ этой Исторіи, мы поговоримъ о ней по-подробнѣе; а теперь скажемъ только, что еще въ первый разъ читали по-русски такъ дѣльно, умно и съ такимъ талантомъ написанную русскую исторію для дѣтей— отъ смерти царя Алексѣя Михайловича до восшествія на престолъ Екатерины Великой. Особенно хорошо изображено въ этой книжкѣ время отъ смерти Петра Великаго. Это не сборъ фактовъ, давно всѣмъ извѣстныхъ; это не фразы, изъ которыхъ читатель узнаетъ, что всегда и все было чудо какъ хо

рошо и не понимаетъ, чѣмъ же Петръ Великій выше Анны Іоанновны, Екатерина Великая—Елисаветы Петровны, Потемкинъ выше Бирона, а Державинъ выше Сумарокова. У г. Полеваго есть взглядъ, есть мысль, есть убѣжденія; оттого, разсказъ его живъ, одушевленъ, увлекателенъ, а событія запечатлѣваются въ памяти читателя. Правда, съ иными взглядами г. Полеваго можно и не согласиться, но самый ошибочный взглядъ лучше отсутствія всякаго взгляда. Намъ кажется, что онъ не совсѣмъ понялъ Миниха и былъ пристрастенъ не въ его пользу; кромѣ этого мы не замѣтили ничего такого, чѣмъ бы можно было упрекнуть книжку г. Полеваго.

УПЫРЬ. *Соч. Красногорскаго Спб. 1841.*

Эта небольшая, со вкусомъ, даже изящно изданная книжка носитъ на себѣ всѣ признаки еще слишкомъ молодаго, но тѣмъ неменѣе замѣчательнаго дарованія, которое нѣчто обѣщаетъ въ будущемъ. Содержаніе ея многосложно и исполнено эффектовъ; но причина этого заключается не въ недостаткѣ фантазіи, а скорѣе въ ея пылкости, которая еще не успѣла умѣриться опытомъ жизни и уравновѣситься съ другими способностями души. Въ извѣстную эпоху жизни насъ плѣняетъ одно рѣзкое, преувеличенное: тогда мы ни въ чемъ не знаемъ середины, и если смотримъ на жизнь съ веселой точки. такъ видимъ въ ней рай, а если съ печальной, то и самый адъ кажется намъ въ сравненіи съ нею мѣстомъ прохлады и нѣги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тутъ нѣтъ конца дѣятельности; но за то всѣ произведенія этой плодовитой эпохи въ болѣе зрѣлый періодъ жизни предаются огню, какъ очистительная жертва грѣховъ юности. И хорошо тому, кто въ эту пору жизни бралъ себѣ за законъ стихи Пушкина:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,

И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за подвигъ воздаянья!

Исключеніе остается только за геніями, которые начинаютъ свое поприще съ «Геца», съ «Вертера», съ «Разбойниковъ», съ «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Плѣнника»: этимъ людямъ не для чего жечь произведеній своей первой молодости: въ нихъ, хоть иногда и дѣтски, но всегда выражается господствующая дума времени. Но и раннія произведенія геніевъ рѣзкою чертою отдѣляются отъ созданій болѣе зрѣлаго ихъ возраста; въ первыхъ, если ужь злодѣй,—такъ такой, что и самый отчаянный разбойникъ не годится ему въ ученики: вспомните Франца Моора... Вообще, густота и яркость красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченіе—признаки произведеній юности. Однакожь всѣ эти недостатки могутъ искупаться идеею, если только идея, а не безотчетная страсть къ авторству была вдохновительницею юнаго произведенія.

«Упырь»—произведеніе фантастическое, но фантастическое внѣшнимъ образомъ: незамѣтно, чтобъ оно скрывало въ себѣ какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастическія созданія Гофмана; однакожь оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе, которое, любуясь фейерверкомъ, не спрашиваетъ: что въ этомъ и къ чему это? Не будемъ излагать содержанія «Упыря» это было бы очень длинно, и притомъ читатели немного увидѣли бы изъ сухаго изложенія. Скажемъ только, что, не смотря на внѣшность изобрѣтенія, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживаютъ въ авторѣ силу фантазіи; а мастерское изложеніе, умѣнье сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то въ родѣ характеровъ, способность схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогъ», словомъ—во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной—все это заставляетъ надѣяться въ

будущемъ много отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря»—повторяемъ—есть рѣшительное дарованіе.

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. 1. СЕРЖАНТЪ ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ, ИЛИ ВСѢ ЗА ОДНО. *Историческій разсказъ Н. В. Кукольника. Спб. 1841.*

Странное зрѣлище представляетъ собою теперь русская, или—что все равно—петербургская литература! Въ ней все, что вамъ угодно: и драмы, и комедіи, и водевили, и романы, и повѣсти, и стихи, и привиллегированныя типографіи, и журналы, и газеты, и книги, и альманахи, и, особенно, объявленія на разныя изданія, срочныя и безсрочныя, съ политипажами и безъ политипажей, и такія, которыя уже издаются, или непремѣнно будутъ издаваться, и такія, которыя никогда не будутъ издаваться, и такія, на которыя только собирается подписка, и типы, и исторіи Петра Великаго, и переводы всѣхъ произведеній такого автора, какъ напримѣръ Гёте; словомъ, все, что вамъ угодно, все, что можетъ быть только въ европейскихъ литературахъ. Въ ней есть ссоры и примиренія: такъ, напримѣръ, на дняхъ извѣщено было о сочетаніи «Репертуара» съ «Пантеономъ», изъ которыхъ каждый теперь можетъ сказать другому:

Не боюся я насмѣшекъ —
Мы сдвоились межь собой:
Мы точь-въ точь двойной орѣшекъ
Подъ одною скорлупой.

Если вѣрить на-слово этому извѣщенію, публика будетъ въ большомъ выигрышѣ: оба вмѣстѣ, эти изданія будутъ вдвое дешевле, нежели были прежде, когда надо было выписывать ихъ каждое порознь. Хвала движенію цивилизаціи и литературы, хвала этой неистощимой дѣятельности на томъ и другомъ поприщѣ! Значитъ: у насъ литература вошла въ

жизнь, стала потребностію общества, явилась въ живомъ соотношеніи съ практическою дѣятельностію. Дешевизна книжныхъ произведеній есть свидѣтельство общественнаго и литературнаго движенія... Хвала!.. Но, позвольте, тутъ есть маленькое обстоятельство... Вотъ хоть бы на счетъ желаннаго соединенія «Репертуара» съ «Пантеономъ»: едва ли оно выгодно для публики. Прежде, каждое изъ этихъ изданій имѣло свой характеръ и свою цѣль; въ одномъ помѣщались только игранныя на нашей сценѣ піесы, безъ всякаго отношенія къ ихъ внутреннему и внѣшнему достоинству; въ другомъ могла быть помѣщена даже «Сакунтала», не только драма Шекспира, Шиллера, или какого-нибудь современнаго поэта. Теперь это изданіе пріиметъ одинъ общій характеръ,—или выражаясь точнѣе—будетъ тотъ же «Репертуаръ», что и прежде былъ, только листомъ или двумя потолще. Касательно дешевизны не говоримъ ни слова. Но при всемъ томъ не можемъ не сдѣлать вопроса: могутъ ли соединенные «Репертуаръ» и «Пантеонъ» на 1842 годъ, можетъ ли эта двойчатка вознаградить своимъ достоинствомъ подписчиковъ «Пантеона» на 1841 годъ за неизданныя восемь книжекъ, и особенно вознаградить тѣхъ подписчиковъ, которые захотѣли бы напримѣръ, почему бы то ни было, подписаться въ будущемъ 1842 году на примиренныхъ враговъ?...

Мы не даромъ привели въ примѣръ дружелюбно обнявшихся витязей «Репертуаръ» и «Пантеонъ»: если взглянуть пристальнѣе на предметъ, то почти вся великая дѣятельность современной литературы представится ничѣмъ инымъ, какъ совокупными «Репертуаромъ» и «Пантеономъ»,—и все великое богатство ея явится въ однихъ программахъ, объявленіяхъ и... благихъ и полезныхъ предначинаніяхъ, которымъ злая судьба никогда не позволитъ осуществиться. Вотъ хоть бы «Сказка за Сказкою»: программа извѣщаетъ публику, что въ неопредѣленные сроки будутъ выходить оригинальныя повѣсти нѣкоторыхъ русскихъ писателей и что когда вышедшія изъ

печати повѣсти составятъ отъ 15 до 20 листовъ, тогда тетради будутъ обращаемы въ одинъ томъ. Изъ этого можно заключить, что у насъ такъ много хорошихъ нувеллистовъ, а слѣдственно и хорошихъ повѣстей, что не только повѣсти эти могутъ выходить отдѣльными книжками по нѣсколько сотенъ въ годъ, но еще есть возможность затѣвать особенные сборники, состоящіе изъ однѣхъ оригинальныхъ повѣстей. Какое, подумаешь, богатство! Да наша литература не только не уступитъ французской, а еще и превзойдетъ ее: въ самой Франціи вся повѣствовательная дѣятельность поглощена теперь журналами и газетами, а у насъ являются отдѣльные сборники оригинальныхъ повѣстей... И что жь? Гдѣ тѣ журналы, въ которыхъ помѣщаются сколько-нибудь примѣчательныя оригинальныя повѣсти?—Кромѣ «Отечественныхъ Записокъ», да изрѣдка «Библіотеки для Чтенія», нѣкогда щеголявшей прекрасными произведеніями г-жи Ганъ, а теперь цѣлый годъ щеголяющей романомъ г. Кукольника, публика наша не можетъ назвать ни одного журнала. Нѣкоторые журналы даже почти совсѣмъ лишены оригинальныхъ повѣстей. Гдѣ наши нувеллисты и романисты?... Тѣ изъ нихъ, отъ которыхъ публика могла ожидать многаго, или умерли, или не хотятъ писать и печатать; а изъ дѣйствующихъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ, все такіе, которые не могутъ разманить любопытства публики: зная, что они писали, она уже знаетъ, что и какъ напишутъ, если что-нибудь вздумаютъ написать... Программы и объявленія, объявленія и программы—вотъ современная русская литература...

Изданіе «Сказки за Сказкою» дебютируетъ повѣстью, или, лучше, разсказомъ г-на Кукольника «Иванъ Ивановичъ Ивановъ, или Всѣ за одно». Нѣкоторымъ людямъ, почему-то называющимъ себя «литераторами» (должно быть потому, что извѣстная часть публики называетъ ихъ «сочинителями»), вздумалось, разумѣется, не безъ цѣли, утверждать, что

«Отечественныя Записки» хвалятъ только своихъ сотрудниковъ (почитая въ ихъ числѣ Карамзина, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина и Гоголя), и никогда не похвалятъ, напримѣръ, Кукольника, что бы онъ ни написалъ, и какъ бы хорошо ни написалъ. Совсѣмъ не для разувѣренія этихъ «господъ-сочинителей»—мы не хотимъ имѣть съ ними никакихъ дѣлъ, ни увѣрительныхъ, ни разувѣрительныхъ, — а въ уваженіе священныхъ правъ истины и безпристрастія, мы должны сказать, что разсказъ г-на Кукольника «Иванъ Ивановичъ Ивановъ», болѣе, чѣмъ хорошъ — прекрасенъ. Правда, это не что иное, какъ извѣстный анекдотъ изъ временъ Петра Великаго; но авторъ такъ хорошо, ловко и умно умѣлъ разсказать этотъ анекдотъ, что сдѣлалъ его лучше многихъ, даже своихъ собственныхъ повѣстей и драмъ, онъ ввелъ васъ въ бытъ того времени; его разсказъ согрѣтъ одушевленіемъ, полонъ идеи, отличается мастерствомъ изложенія. Чтобъ не лишить читателей удовольствія прочесть хорошую вещь вполнѣ, мы не коснемся содержанія разсказа г-на Кукольника, но выпишемъ только одно мѣсто, которое можетъ намекнуть на его идею, хотя не относится ни къ завязкѣ, ни къ развязкѣ, ни къ изложенію. Авторъ описываетъ помѣщичій домъ того времени:

Заднiй дворъ былъ истинный содомъ въ древнемъ до-петровскомъ быту дворянъ нашихъ. Здѣсь развращалось молодое дворянство, съ издѣтства, безъ особеннаго усилія, такъ непримѣтно, исподоволь; здѣсь почерпались тѣ предразсудки, которыхъ донынѣ еще вполнѣ не могли искоренить воля Петра Великаго и просвѣщеніе; развратная отъ совмѣстнаго сожительства, дворовая челядь наперерывъ старалась угождать всѣмъ наклонностямъ своихъ молодыхъ господъ, будущихъ властителей; творила въ нихъ новыя и грязныя вожделѣнія; заражала суевѣрія и холопскіе предразсудки; воспитывала, пестовала порокъ по глупому невѣжеству не изъ расчета, потому что изъ тѣхъ же наклонностей образовалась домашняя тиранія, какую едва ли представляетъ Исторія. Изъ этихъ, такъ сказать, частныхъ недостатковъ общественной жизни на старой Руси раждались тѣ огромные политическіе пороки, съ которыми трудно было ладить самимъ, великимъ духомъ и

силою, Государямъ нашимъ. Только внимательно разсматривая общественный быть среднихъ временъ нашего отечества мы можемъ объяснить себѣ характеръ и существо боярскихъ смутъ въ Исторіи нашей; тогда только мы можемъ уразумѣть важность, сложность и дѣйствительность боярскихъ происковъ и нѣкоторымъ образомъ измѣрить величіе и мудрость Государей, разрушившихъ эту новую гидру. Во время, нами описываемое, домашній бытъ дворянъ нашихъ былъ разбитъ, разрушенъ, но только въ столицѣ, да въ указахъ. Москва, эта огромная *губернія,* какъ тогда ее и называли, боролась съ *новымъ порядкомъ*; провинціи, т. е. главные города и уѣзды, съ смущеннымъ сердцемъ слышали объ *немъ*, какъ о зловѣщей кометѣ, обѣщающей горе и несчастіе; сравнивали нововведенія съ нашествіемъ Татаръ; повиновались указамъ, какъ татарскимъ сборщикамъ податей; время свое называли *чернымъ годомъ*, и вѣровали, что этотъ черный годъ минетъ скоро и *прежній порядокъ* возстановится“ (стр. 14—15).

НЕПОСТИЖИМАЯ. *Владиміра Филимонова. Спб. 1841. Пять частей.*

Авторъ «Обѣда» и «Дурацкаго Колпака»—шуточныхъ произведеній, написанныхъ рѣзво, бойко, и непретендующихъ на высокое мѣсто въ литературѣ,—выступаетъ теперь на поприще романиста. «Непостижимая», если не ошибаемся, первая попытка его въ этомъ родѣ. Не будемъ разсказывать содержаніе этого романа, ни судить объ идеѣ его—по причинамъ, о которыхъ нѣтъ надобности говорить, и о которыхъ почтенный авторъ вѣроятно самъ догадается. Но вотъ что считаемъ нужнымъ замѣтить ему.

Въ произведеніяхъ литературы, идея является двояко. Въ однихъ она уходитъ внутрь формы и оттуда проступаетъ во всѣхъ оконечностяхъ формы, согрѣваетъ и просвѣтляетъ собою форму: эта идея жизненная, творческая, возникшая не черезъ разсудокъ, но непосредственно,—не сама собою, но вмѣстѣ съ формою; это созданія изящныя, художественныя. Другая идея родится въ головѣ автора независимо отъ формы—форма сочиняется имъ особо и потомъ прилаживается къ идеѣ.

Изъ этого выходитъ, что сочиненіе умное по идеѣ (т. е. по намѣренію автора), не заслуживаетъ никакого вниманія по формѣ. Причина очевидна: свѣтлый взглядъ на жизнь, глубокое чувство—могутъ быть достояніемъ многихъ, но способность выражать въ поэтическихъ формахъ свои взгляды на жизнь, свое глубокое чувство,—достояніе немногихъ избранныхъ. Можно быть поэтомъ въ душѣ, въ чувствѣ, въ жизни, даже въ политической и гражданской дѣятельности—и не быть поэтомъ въ искусствѣ и литературѣ. Кто понимаетъ поэзію, тотъ уже одаренъ поэтическою душою; но этого еще мало, чтобъ самому быть поэтомъ: для этого нужно быть одареннымъ отъ природы творческою фантазіею, которая одна составляетъ исключительное достояніе поэта, отличающее его отъ непоэтовъ. Послѣ этого объясненія, нашимъ читателямъ отнюдь не должно показаться страннымъ, когда мы скажемъ, что еслибъ идея романа г. Филимонова и понравилась кому-нибудь, то едва ли кому можетъ понравиться его исполненіе.

Начнемъ съ того, что въ «Непостижимой» нѣтъ ни одного характера: все это образы, которые отличаются другъ отъ друга только именами и тѣми отношеніями, въ какихъ авторъ поставилъ ихъ другъ къ другу (т. е. назвавъ одного мужемъ, другаго любовникомъ, третью любовницею). Лицъ въ романѣ довольно много; но ихъ кругъ связанъ механически и кромѣ трехъ главныхъ лицъ (мужа, жены и друга), всѣ другія кажутся совершенно лишними: исключите ихъ—и романъ не проиграетъ. Но всѣхъ неудачнѣе введено въ концѣ романа лице Клементины: она безъ всякой нужды наполняетъ пятую часть, которая оттого и не кажется слишкомъ тощею въ сравненіи съ четырьмя первыми. Весь романъ очень растянутъ, онъ весьма удобно умѣстился бы и въ одной части; даже въ двухъ ему было бы просторно. Отъ этого, дѣйствіе въ немъ тянется утомительно: вездѣ слова и фразы, рѣдко мысли и картины. Является ли на сцену новое лице — авторъ начинаетъ его описывать, мѣсто того, чтобъ заста-

вить это лице говорить и дѣйствовать за себя. Эти описанія такъ часты и такъ длинны, что романъ по справедливости можетъ быть названъ описательнымъ, слѣдовательно антипоэтическимъ, потому что описаніе относится къ поэзіи точно такъ же, какъ морозъ къ жару, или вода къ вину: поэзія не описываетъ предмета, а показываетъ его. Притомъ же описанія автора такъ общи, такъ блѣдны, такъ лишены всякой образности, такъ богаты словами и такъ небогаты содержаніемъ, что по нимъ трудно составить себѣ какое-нибудь представленіе объ описываемомъ лицѣ или событіи. Вся первая часть романа заключается въ описаніи поэтическаго развитія чувства въ сердцѣ героя, но вы не видите этой постепенности, и должны вѣрить на-слово автору. Возьмите письма Вертера, читайте ихъ отъ перваго до послѣдняго,—и вы почувствуете, какъ съ каждымъ изъ нихъ ускоряется біеніе пульса у жертвы несчастной любви, какъ глубже и глубже входитъ страсть въ тайники его духовной жизни и овладѣваетъ ими. Вертеръ пишетъ къ своему другу не объ одной своей страсти, но и о своихъ занятіяхъ, о Гомерѣ, о своихъ воззрѣніяхъ на жизнь: ибо смѣшно было бы видѣть человѣка, который, отдавшись весь и исключительно своей страсти, только и думаетъ, только и пишетъ, что о ней; гораздо естественнѣе можно предполагать, что часто ему самому хочется забыть о ней, и что часто, какъ больному, ему самому не хочется слышать своихъ стоновъ и терзать ими другихъ. Но о чемъ бы ни говорилъ Вертеръ, хоть бы о ландшафтѣ, котораго видъ, во время прогулки, на минуту позабавилъ его,—вездѣ и во всемъ видите вы болѣзненное состояніе его духа, вслѣдствіе несчастной страсти. Въ томъ-то и высочайшее искусство поэта, чтобъ, не говоря о предметѣ, говорить о немъ. Всего болѣе заслуживаютъ сожалѣнія люди, которые дѣлаютъ какое-то занятіе, какую-то работу изъ своего чувства, называютъ его по имени, носятъ на рукахъ и всѣмъ показываютъ, какъ мать показы-

ваетъ своего ребенка. «Я влюбленъ, я люблю, — ахъ»! и пр., восклицаетъ герой плохаго романа, и варіируетъ общими мѣстами на эту бѣдную тему, а читатель пусть себѣ зѣваетъ сколько хочетъ,—автору и дѣла нѣтъ. Нѣтъ, читатель не хочетъ, чтобъ съ нимъ обращались какъ съ дитятею и все ему разбалтывали и объясняли: напротивъ, ему хочется самому все понять, все разгадать, все оцѣнить, а отъ автора требуетъ онъ только поэтическихъ фактовъ.

Двѣ послѣднія части наполнены почти одною перепискою героевъ романа Ипполита и Альмы. Что же въ этихъ письмахъ?—Исповѣдь двухъ душъ, страдающихъ и блаженствующихъ въ роковой, но высокой страсти?—Откровенія любви, мистика сердца, глухіе диссонансы страданія, разрѣшающіеся въ гармонію блаженства?... Ничуть не бывало: это просто общія мѣста (длинныя, растянутыя, безпрестанно повторяемыя) на жалкую тему: «я люблю тебя, ты любишь меня, мнѣ скучно безъ тебя», и т. п. Въ этихъ фразахъ, въ этихъ восклицаніяхъ, не ищите ничего недосказаннаго, но вѣющаго музыкою чувства, горящаго свѣтомъ мысли: тутъ все высказано обстоятельно, точно, подробно, и потому ничего не высказано, а только много насказано... Къ довершенію же всего, Ипполитъ растягиваетъ свои письма выписками изъ разныхъ дорожниковъ и Guides des Voyageurs, описываетъ Дрезденъ, Римъ, Неаполь, ничего не говоря о нихъ новаго...

Вообще, въ этомъ романѣ поражаетъ васъ какая-то слишкомъ юная, дѣтски-молодая откровенность—въ чувствѣ, въ манерѣ высказывать, и вмѣстѣ съ этимъ какая-то устарѣлость въ мнѣніяхъ. Обѣ эти силы борятся между собою, и борьба разрѣшается во что-то странное. Германъ, давно невидѣвшійся съ другомъ своей юности, съ Ипполитомъ, зоветъ его пріѣхать въ Петербургъ, гдѣ нашелъ ему хорошее мѣсто. За этимъ слѣдуетъ цѣлый трактатъ о дружбѣ, которая, по словамъ автора, принадлежитъ уже къ преданіямъ старины,

ибо-де теперь уже нѣтъ дружбы. И что же? По пріѣздѣ въ Петербургъ, Ипполитъ, этотъ новый Орестъ, говоритъ своему Пиладу: «Нѣтъ, графъ, я не въ силахъ объяснить вамъ благодарности моей! Вы такъ радушно, такъ неожиданно, доставили мнѣ средство быть полезнымъ въ службѣ и быть неразлучнымъ съ вами!» Тогда Германъ, называя его «добрымъ товарищемъ», проситъ его оставить «вы» и говорить «ты» (ч. I. стр. 45). Странная была встарину дружба, если она допускала такія китайскія церемоніи!... Нѣсколько мѣсяцевъ сряду, Ипполитъ, подъ разными предлогами, уклоняется отъ знакомства съ женою своего друга. А почему?— Видите ли, въ Дрезденской Галлереѣ такъ поразило Ипполита Доминикиново изображеніе Іоанна, что онъ пріобрѣлъ себѣ Миллерову гравюру съ этой картины, и никогда съ нею не разлучался. Будучи въ Москвѣ, получилъ онъ отъ своего друга письмо, приглашавшее его переѣхать въ Петербургъ; тутъ взглядъ на гравюру поразилъ его какимъ-то тяжелымъ и грустнымъ чувствомъ, отъ котораго онъ едва разсѣялся въ Англійскомъ клубѣ. Когда, по приглашенію Германа, Ипполитъ хотѣлъ ѣхать знакомиться съ женою своего друга, взглядъ на эстампъ произвелъ то же непонятное впечатлѣніе и заставилъ его нѣсколько мѣсяцевъ уклоняться отъ знакомства съ Альмою. Это должно быть фантастическое. Но у Германа балъ—отказаться нельзя. Увидѣвъ Альму, Ипполитъ тотчасъ же запылалъ къ ней «роковой любовью»,—и ему сталъ понятенъ невольный и таинственный страхъ, такъ долго заставлявшій его невольно трепетать при мысли о знакомствѣ съ женою своего друга. Но, читатели, все это по-прежнему непонятно! Альма спрашиваетъ Ипполита, почему онъ не хотѣлъ познакомиться съ нею; онъ отвѣчаетъ ей: «не знаю»... Далѣе, во время разговора, «она очаровательными глазами своими взглянула на него съ такимъ чувствомъ, съ такою выразительностію» и заключила разговоръ такъ: «Узнаете, все объяснится . . . все должно объясниться.» Въ третьей, кажется,

части, все объясняется слѣдующимъ образомъ: Альма долго не хотѣла показать Ипполиту своего таинственнаго кабинета, которымъ давно уже раздражала его любопытство; наконецъ святилище отворено для него,—и онъ увидѣлъ тамъ изображеніе Іоанна и свой собственный портретъ... Мы не отвергаемъ, что бываютъ предчувствія, что человѣкъ иногда инстинктивно, непосредственно предвидитъ горе или радость, и потому предчувствіе можетъ играть свою роль въ романѣ—но слегка, вскользь. Выстроить же на этомъ зыбкомъ основаніи такое большое зданіе, посвятить предчувствіямъ и эстампамъ такъ много страницъ,—это значитъ искать эффектовъ слишкомъ юношескихъ...

Что же до устарѣлости, то вотъ самый рѣзкій ея образчикъ: Желая возвысить свою героиню до идеальнаго совершенства, авторъ заставляетъ ее любить русскую литературу, которую всѣ истинно-поэтическія женщины полюбили, какъ и слѣдовало, только съ Пушкина. Мало этого: онъ заставляетъ ее читать даже «Вѣстникъ Европы». Теперь удивительно ли, что она фразами изъ него вотъ какъ судитъ о русскихъ писателяхъ:

— Не правда ли, въ Вяземскомъ большое дарованіе? Я люблю его—сколько въ немъ ума и чувства! Какъ онъ хорошо сердится! Вы вѣрно знаете Баратынскаго?—это настоящій поэтъ гостиной. Духовная поэзія Глинки умилительна. Партизанскія элегіи нашего гусара-поэта доказываютъ, что война не пугаетъ вдохновенія. И въ Мерзляковѣ есть душа: его пѣсни хороши; одна бѣда—онъ иногда слишкомъ запѣвается. Слѣпцу-Козлову вдохновеніе открыло Божій свѣтъ. А Василій Львовичъ? Это нашъ женскій стихотворецъ, нашъ трубадуръ (*конечно!...*). *А славный* племянникъ *добраго* дяди, молодой Пушкинъ! Это русскій поэтъ! Это блестящая заря: она обѣщаетъ яркій свѣтъ Россіи...

Пушкинъ сказалъ:

Я знаю: дамъ хотятъ заставить
Читать по-русски. Право, страхъ!
Могу ли ихъ себѣ представить
Съ „Благонамѣреннымъ“ въ рукахъ!

Думалъ ли онъ, что авторъ «Непостижимой» заставитъ одну изъ нихъ даже судить о русскихъ книгахъ фразами изъ «Благонамѣреннаго»?... Но это очень оригинально, и мы не можемъ удержаться, чтобъ не представить читателямъ еще нѣсколько выписокъ. Ипполитъ такъ восхитился тонкими сужденіями Альмы (подлинно, влюбленные слѣпы, и имъ все кажется прекраснымъ въ ихъ красавицахъ!), что вскричалъ:

— *Ради Бога*, скажите всю правду, что вы думаете о Державинѣ, Карамзинѣ, Дмитріевѣ и другихъ нашихъ современникахъ?

— Охотно. Только не смѣйтесь надо мною: я сужу по-женски. По моему мнѣнію, Державинъ неоспоримо великій поэтъ—и все великій, несмотря на то, что языкъ его теперь нѣсколько тяжелъ и старъ — по крайней мѣрѣ для меня. Карамзинъ любезенъ, пріятенъ, милъ: въ его сочиненіяхъ видна вся добрая душа его. Стихи Дмитріева — золотые! Крыловъ—это русскій смышленный умъ; его наблюдательная поэзія отличается мѣстнымъ преимуществомъ (?): она кстати (?), она впору (?): и потому она *почти* (?!) народна. Поэзія Долгорукаго — домашняя, семейная: онъ умѣлъ поэтизировать самые простые предметы, но онъ не всегда удачно ихъ высказывалъ. Признаюсь вамъ, я всего болѣе читаю Жуковскаго и Батюшкова, они ближе къ намъ. Но вы посмѣетесь, можетъ-быть, тому, что я сдѣлала съ сочиненіями Жуковскаго: посмотрите...

Тогда она подала Ипполиту книгу съ наклейками на листахъ, а на нихъ съ прекрасными рисунками. Дѣло въ томъ, что, желая видѣть въ Жуковскомъ не переводчика, а русскаго поэта, Альма отдѣлила изъ его стихотвореній все, собственно ему принадлежащее, а на переводныхъ мѣстахъ наклеила бѣлую бумагу, на которой нарисовала разныя виньеты. Жаль, что авторъ не упомянулъ, какъ велика вышла книжка—это было бы очень интересно... Любя Василья Львовича Пушкина, Долгорукаго и другихъ, Альма страстно любила Байрона, Шиллера и Гёте... Все это такъ восхитило Ипполита, что сперва онъ воскликнулъ изъ глубины души: «Какъ вы изобрѣтательны, графиня, въ оцѣнкѣ истиннаго дарованія!» а потомъ съ умиленіемъ. «Вы необыкновенная женщина!»—

Такой чудакъ!

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1.

СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА и Г. НАВРОЦКІЙ.

— Въ журналистикѣ — тихо, и, кажется, все обстоитъ благополучно. Только одна «Сѣверная Пчела», по обыкновенію своему, не переставала почти ежедневно дѣлать вылазки противъ «Отечественныхъ Записокъ», увѣряя своихъ читателей, что они подъ смертною казнію не должны подписываться на этотъ журналъ, такъ откровенно выражающій мнѣнія свои о ученыхъ и литературныхъ достоинствахъ гг. Греча и Булгарина. Но, вѣроятно, замѣтивъ, что это давно уже всѣмъ надоѣло, что никто ея не слушаетъ, и что мелкій горохъ, который пускала она въ «Отечественныя Записки», недѣйствителенъ, она рѣшилась пустить въ нихъ картофелемъ, да сверхъ того, выслала противъ нихъ новаго, могучаго атлета, г. Навроцкаго... Вышла преудивительная исторія... Но сначала мы разскажемъ вамъ о г-нѣ Навроцкомъ; а о картофелѣ потрудитесь прочесть письмо почтеннаго «Тверскаго Помѣщика», напечатанное ниже сего.

Знаете ли вы, кто такой г. Навроцкій? О! вотъ, мм. гг., писатель то, голова!... Остроуміемъ и талантомъ онъ превосходитъ всю эту литературную школу, къ которой самъ принадлежитъ, и которая, какъ извѣстно всему міру, состоитъ изъ гг. Орлова (Александра Анфимовича, да покоится въ мірѣ прахъ его!), Ѳедота Кузмичева, Сигова, Глухарева, Славина и другихъ знаменитыхъ нашихъ писателей. Сознаніе въ своемъ нравственномъ превосходствѣ такъ сильно у г. Навроцкаго, что онъ провозгласилъ себя, въ 245 нумерѣ

«С. Пчелы» прошлаго года, «кандидатомъ въ геніи», чего не дѣлалъ ни одинъ изъ упомянутыхъ великихъ писателей. Бюффонъ говаривалъ: «Геніевъ трое: Ньютонъ, Лейбницъ и *я*». А почему Бюффонъ такъ говорилъ о самомъ себѣ? Потому что онъ дѣйствительно былъ геній. Почему г. Навроцкій называетъ самъ себя кандидатомъ въ геніи? Потому что онъ въ самомъ дѣлѣ кандидатъ въ геніи, и только выбудетъ изъ списка геніевъ г. Кузмичевъ, или г. Славинъ, какъ онъ тотчасъ же и займетъ вакантное мѣсто'. Г. Навроцкій не взлюбилъ «Отечественныхъ Записокъ»,—ну чтожь! у всякаго свой вкусъ; у г. Навроцкаго тоже свой вкусъ! Г. Навроцкій написалъ комедію «Новый Недоросль», которая была бы не то, чтобъ ошикана на сценѣ, а сопровождалась весьма недвусмысленнымъ шипѣніемъ и смѣхомъ; «Отечественныя Записки» назвали эту комедію верхомъ нелѣпости, геркулесовскими столбами, далѣе которыхъ бездарность не дерзаетъ (Отечественныя Записки 1840, книжка 10-я). Тогда г. Навроцкій сказалъ издателю «Отечественныхъ Записокъ», что онъ, г. Навроцкій кандидатъ въ геніи, а онъ, издатель «Отечественныхъ Записокъ», просто индивидуй!?!... позвольте; вы, можетъ-быть, хотите знать что такое «индивидуй»: это искаженіе слова «индивидуумъ» значеніе котораго извѣстно всякому знающему французскій языкъ, потому что слово индивидуумъ есть тоже самое, что слово individu. А искажено оно въ индивидуя, потому что такова участь всѣхъ словъ, употребляемыхъ «Отечественными Записками»; многіе, повторяя ихъ, искажаютъ какъ русскіе солдаты генерала Блюхера въ Брюхова, о чемъ уже и было замѣчено въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но почему же, спросите вы, г. Навроцкій употребилъ слово «индивидуй», какъ брань? На это мы вамъ не умѣемъ отвѣчать; спросите у самого г. Навроцкаго. Вѣдь геніи и кандидаты въ геніи не слѣдуютъ общимъ уставамъ человѣчества: для нихъ законъ не писанъ, у нихъ все свое...

Въ 31 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, г. Навроцкій помѣстилъ цѣлую комедію на критическую статью 1-го № «Отечественныхъ Записокъ» за нынѣшній годъ. Гдѣ-то, въ провинціи, кухарка, или кучеръ, извѣщаетъ своихъ господъ, что ихъ барченокъ съ ума сошелъ и поретъ дичь. Дражайшіе родители, а вмѣстѣ съ ними и кандидатъ въ геніи, г Навроцкій, приходятъ въ комнату сумасшедшаго, который говоритъ вслухъ отрывочныя фразы, тамъ и сямъ вырванныя изъ статьи «Отечественныхъ Записокъ», но говоритъ ихъ съ разстановкою, такъ что родители и г. Навроцкій успѣваютъ въ промежуткахъ надѣлать множество остроумныхъ замѣчаній насчетъ кажущейся имъ нелѣпости статьи. Честное компанство думаетъ, что молодой человѣкъ бредитъ во снѣ; но онъ вдругъ отдергиваетъ занавѣсъ кровати и говоритъ имъ, что онъ не спалъ, а читалъ вслухъ «Отечественныя Записки»... Для г. Навроцкаго, это довольно затѣйливо и даже забавно. Не дурно, г. кандидатъ въ геніи, право, не дурно!

Но плоская насмѣшка еще не доказательство. Можно все ругать, надъ всѣмъ смѣяться: вѣдь пошлины не возьмутъ съ того, кто назвалъ бы, напримѣръ, бредомъ, нелѣпицею, вздоромъ—драмы Шекспира, или творенія Гегеля. Извѣстно что геніямъ законъ не писанъ, и потому, тщетно бы хотѣли мы переувѣрять. г. Навроцкаго: его не переувѣришь, потому что онъ не простой человѣкъ, а кандидатъ въ геніи. Въ отношеніи къ себѣ самому, т. е. къ разумѣнію своей геніяльности, онъ совершенно правъ и совершенно добросовѣстенъ, называя бредомъ и нелѣпостью все, что пишется въ «Отечественныхъ Запискахъ». Если бъ какой-нибудь французскій ученый, хоть самъ знаменитый Кювье́, пріѣхавъ въ наемномъ фіакрѣ въ засѣданіе академіи, вздумалъ взять съ собою какого-нибудь молодца не изъ ученыхъ, а такъ, хоть своего автомедона, и заставилъ бы его выслушать свой споръ съ Жоффруа-де-Сентъ-Илеромъ объ аналогіи животныхъ: разумѣется, добрый и честный возница принялъ бы обоихъ естествоиспытателей за

глупцовъ, которые несутъ дичь, и подивился бы отъ души, что бары занимаются такими вздорами, какъ рога коровъ и крылья бабочекъ... Но академіи защищены отъ вторженія автомедоновъ, а журналы могутъ читаться всѣми знающими грамату, и думающими, что если кто выучился грамато, тотъ все знаетъ и понимаетъ,—а что́ для него непонятно, то бредни, вздоръ и нелѣпость... Мы увольняемъ себя отъ труда говорить съ г. Навроцкимъ; а тѣмъ, которые находятъ его статью заслуживающею вниманія, совѣтуемъ сличить ее съ статьею «Отечественныхъ Записокъ», на которую нападаетъ нашъ знаменитый кандидатъ въ геніи. Фразы, вырванныя и сведенныя между собою изъ разныхъ мѣстъ статьи, которой всѣ части связаны внутреннимъ единствомъ, и въ которой разсуждается о предметахъ, невыговариваемыхъ въ одномъ отдѣльномъ періодѣ, или даже и отрывочномъ выраженіи,—такія фразы, естественно могутъ казаться странными. Вотъ, напримѣръ, двѣ строки, выписанныя г. Навроцкимъ изъ статьи «Отечественныхъ Записокъ»: «Есть ли у насъ публика?... рѣшимъ этотъ вопросъ... не будемъ говорить, есть ли у насъ публика». Въ самомъ дѣлѣ, странно; но взгляните на выноски въ статьѣ г. Навроцкаго,—и вы увидите, что эти фразы выписаны изъ двухъ страницъ статьи «Отечественныхъ Записокъ»—16 и 17-й. Какъ тутъ спорить? И о чемъ? и для чего? и для кого?... Если для людей, которые повѣрятъ статьѣ г. Навроцкаго потому только, что она короче статьи «Отечественныхъ Записокъ», то игра не стоитъ свѣчь:—такіе люди могутъ думать объ «Отечественныхъ Запискахъ» что имъ угодно, и «Отечественныя Записки» ничѣмъ не оскорбятся отъ нихъ. Что же касается до людей мыслящихъ, а слѣдственно, и смыслящихъ,—то они и безъ насъ поймутъ цѣну и назначеніе статьи г. Навроцкаго, и отличатъ голосъ оскорбленнаго авторскаго самолюбія, брань раздраженной литературной бездарности—отъ голоса истины. Г. Навроцкій въ началѣ своей статьи смѣется надъ «Ревизоромъ» Гоголя, думая въ прос-

тотѣ ума и сердца, что его «Новый Недоросль» гораздо лучше «Ревизора». Неужели и противъ этого писать возраженіе? Г. Навроцкому кажется нелѣпою мысль статьи «Отечественныхъ Записокъ», что «Онѣгинъ есть человѣкъ, чувствующій свое превосходство надъ толпою, рожденный съ большими силами души», и онъ возражаетъ на это такъ: «Онѣгинъ, герой Пушкинскаго романа, русскій дворянинъ, который съ нетерпѣніемъ дожидался смерти своего дяди, ни за что убилъ своего друга, Ленскаго, отвергнулъ и «чуть не разругалъ» невинную дѣвушку Татьяну, признавшуюся въ любви къ нему, а потомъ сталъ волочиться за тою же Татьяною, когда она стала замужнею женщиною». Неужели и противъ этого писать возраженіе?—Пожалуй, такъ, слегка: Онѣгинъ жаловался на скучную роль, которую ему предстояло играть у постели совершенно чуждаго ему человѣка, который оставлялъ ему послѣ себя наслѣдство по праву родства, а не по праву любви, слѣдственно, нѣтъ ничего худаго, что Онѣгинъ скучалъ отъ скучной роли и былъ холоденъ къ тому, съ кѣмъ не былъ связанъ любовью. Ленскаго онъ убилъ совсѣмъ не ни за что, какъ сочиняетъ нашъ кандидатъ въ геніи, а за то, что тотъ самъ хотѣлъ убить его совершенно ни за что, и первый вызвалъ его на дуэль. Татьяну Онѣгинъ и не думалъ ругать: его отвѣтъ на ея объясненіе—верхъ деликатности, утонченной свѣтскости, благороднаго тона. Если г. Навроцкій принялъ отвѣтъ Онѣгина за ругательство, то намъ дѣлать съ этимъ нечего: таковъ ужь видно взглядъ на вещи у кандидатовъ въ геніи. Что Онѣгинъ на признаніе дѣвушки, къ которой ничего не чувствовалъ, отвѣчалъ искренно и прямо: это дѣлаетъ честь благородству его характера, и больше всего доказываетъ, что онъ былъ выше толпы и родился съ большими силами души. Только человѣкъ безъ чести сталъ бы увѣрять Татьяну, что и онъ ее любитъ... Что Онѣгинъ влюбился въ Татьяну, когда она сдѣлалась замужнею женщиною, это было для него

несчастіемъ, но не его виною: только одни кандидаты въ геніи сами могутъ располагать движеніями своего сердца, и влюбляться и разлюбляться по волѣ своей; а простые люди, въ этомъ случаѣ, невольники какой-то враждебной и неотразимой силы, внѣ ихъ находящейся...

Но мы заговорились и совсѣмъ забыли, что говоримъ съ г. кандидатомъ въ геніи,—извините.

О фразѣ же г. Навроцкаго касательно Res publica, мы не скажемъ ни слова...

Да; вотъ еще что: въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ» есть слѣдующая фраза: «Нѣкоторые изъ господъ, ратующихъ противъ «Отечественныхъ Записокъ», невольно подчиняются ихъ духу, и смѣшно видѣть, какъ они мало по-малу начинаютъ употреблять тѣ самыя непонятныя слова, которыя имъ столь ненавистны въ «Отечественныхъ Запискахъ». А правда это? спрашиваетъ одна изъ дѣйствующихъ лицъ кукольной комедіи г. Навроцкаго. «Ничего не бывало, просто клеплетъ на всѣхъ» Какъ, г. Навроцкій? А индивидуй, котораго вы скроили изъ индивидуума? А ваша фраза о статьѣ «Отечественныхъ Записокъ»: «Да это верхъ нелѣпости, геркулесовы столпы, далѣе которыхъ нелѣпость не дерзаетъ»? Вѣдь она взята вами изъ отзыва «Отечественныхъ Записокъ» о вашей несравненной комедіи! Видите ли: если ужь вы, кандидатъ въ геніи, берете у «Отечественныхъ Записокъ» не только слова, но и цѣлыя фразы, что жь другіе-то, которые не имѣютъ никакихъ претензій на геніяльность?...

2.

ШЕСТАЯ КНИГА «МОСКВИТЯНИНА» и Ѳ. Н. ГЛИНКА.

Въ полученной здѣсь 6-й книжкѣ московскаго журнала, «Москвитянинъ», мы встрѣтили прелюбопытную, хоть и не-

большую, только въ полторы страницы (509—510), статейку, которая называется «Къ Отечественнымъ Запискамъ», и которую мы непремѣнно должны сообщить нашимъ читателямъ, какъ новость чрезвычайно интересную и заслуживающую полнаго ихъ вниманія по разнымъ отношеніямъ, открывающимъ многое и многое. Она подписана господиномъ N. N. и начинается такъ:

„Въ 4-мъ нумерѣ Отечественныхъ Записокъ, въ библіографической хроникѣ, мы прочли двѣ страницы (39-ю и 48-ю) съ чувствомъ того глубокаго негодованія, какого, признаемся, давно *не ощущали въ современномъ чтеніи.* Кто-то не подписавшій своего имени, по случаю какой-то книжки, приводя изъ нея чувства любви сыновней весьма похвальныя, разговорился вдругъ тономъ *самымъ неприличнымъ* о Поэзіи и нравственности и *осмѣлился* самымъ *пошлымъ* намѣ(е)комъ бросить клевету на извѣстнаго писателя (Ѳ. Н. Глинку), обвинить его въ томъ, что онъ печатаетъ похвалу журналу, въ которомъ принимаетъ участіе корыстное...“

«Что? какъ? гдѣ это было напечатано?...» Позвольте, мм. гг.; читайте дальше:

„Не мѣсто говорить здѣсь о связи, которая должна необходимо существовать между Поэзіею и нравственностію, и рѣшать одинъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ эстетики, по тому случаю только, что какой то *журнальный борзописецъ, непонимающій ни философіи, ни эстетики,* извергъ *безсмысленную хулу* на двухъ родныхъ сестеръ, связанныхъ узами неразрывной любви въ сердцѣ человѣческомъ. — Высочайшая Поэзія сама въ себѣ нравственна — и все безнравственное по цѣли тѣмъ уже само себя исключаетъ изъ міра поэтическаго. Этими немногими словами обозначаются отношенія Поэзіи и нравственности...“

И вотъ какъ заключаетъ г. N. N. свою «нравственную» и благоприличную выходку:

„Мы уважали Отечественныя Записки за ихъ *благонамѣренность*, хотя не одобряли ихъ мнѣній, философскихъ и критическихъ, и часто негодовали на образъ сужденій о нашей старой литературѣ; мы уважали дѣятельность издателя, уважали многихъ сотрудниковъ, которые своими статьями *украшали это полезное изданіе*; — потому-то намъ

было *крайне жаль видѣть* (?), что какой-нибудь *журнальный писака, на весель отъ Нѣмецкой эстетики*, которой самъ за *незнаніемъ* Нѣмецкаго языка не читалъ, а объ которой *слышалъ*, и то въ искаженномъ *видѣ изъ третьихъ устъ* (??), — что такой непризванно(ы)й судья, *развалившись отчаянно* въ креслахъ критика, и размахавшись борзымъ перомъ своимъ, всенародно *осмѣливается* въ этомъ журналѣ *праздновать* шабашъ *Поэзіи и нравственности*, и, забывъ всѣ *приличія, извергаетъ насмѣшки и* клевету на писателя, огражденнаго отъ подобныхъ *оскорбленій* мнѣніемъ литературнымъ и общественнымъ.

Вотъ и вся статейка. Оставляя въ сторонѣ граматность ея сочинителя, мы имѣли бы полное право спросить съ своей стороны: какъ осмѣлился какой-то журнальный писака, спрятавшій свою физіономію подъ кривыми и угловатыми литерами N. N., какъ осмѣлился, говоримъ, этотъ журнальный борзописецъ, забывъ всѣ приличія, извергнуть безсмысленую хулу, клевету и оскорбленія (извините: это слогъ г. N. N.) на журналъ, который самъ не могъ не назвать благонамѣренным и полезнымъ? Мы имѣли бы право спросить: какъ могъ человѣкъ до такой степени забыться, до такой степени раздружиться со всевозможными общественными и литературными приличіями, чтобъ, размахавшись борзымъ перомъ своимъ, написать и—что всего непостижимѣе—напечатать самую нелѣпую клевету, приписавъ «Отечественнымъ Запискамъ» обвиненіе г-на Глинки въ томъ, въ чемъ онѣ никогда не думали обвинять его, и сказавъ, съ неслыханною дерзостію, безъ всякихъ доказательствъ,

По замысламъ какимъ-то непонятнымъ,

что будто-бы въ «Отечественныхъ Запискахъ» празднуется «шабашъ поэзіи и нравственности»? Мы спросили бы г-на N. N.: какъ называются подобныя «литературныя» обвиненія, и чему прдвергается тотъ, кто не только не можетъ доказать своего обвиненія, но самъ виноватъ въ томъ же, въ чемъ хочетъ обвинить другаго?... Однако мы ничего не спросимъ у г-на N. N. Съ такими благонамѣренными, борзыми бой-

цами, пишущими такія благонамѣренныя, такія «литературныя» клеветы, мы не выйдемъ на битву, не низойдемъ до этого... Если угодно г-ну N. N., мы поищемъ, можетъ-быть найдемъ и выставимъ противъ него достойныхъ его витязей: пусть онъ препирается съ ними на приличномъ ему поприщѣ и объясняется съ ними своимъ языкомъ—письменно или изустно, какъ ему будетъ угодно: только напередъ увѣдомляемъ его, что «Отечественныя Записки» будутъ чужды этой достославной битвы, не пріймутъ въ ней никакого участія...

Между-тѣмъ, «Москвитянинъ» можетъ попасться въ руки кому-нибудь изъ читателей «Отечественныхъ Записокъ», и какъ въ немъ самый предметъ выходки не объясненъ достаточно, то, чтобъ не оставлять нашихъ читателей въ недоумѣніи, рѣшаемся сказать нѣсколько словъ о статьяхъ, подавшихъ поводъ въ вышеозначенной статейкѣ. Дѣло вотъ въ чемъ:

Въ 16-мъ нумерѣ «Московскихъ Вѣдомостей» нынѣшняго года, Ѳ. Н. Глинка напечаталъ статью (стр. 121—134) подъ названіемъ «Москвитянинъ»; въ этой статьѣ онъ очень наивно восхищается мыслію, что будто-бы Западъ (Европа) похожъ на человѣка, который «носитъ въ себѣ заразительный недугъ, окруженъ атмосферою опаснаго дыханія», и что «мы цѣлуемся съ нимъ, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства, и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ, въ потѣхѣ пира, будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ»; далѣе онъ же, г. Глинка, подтверждаетъ, что во Франціи» все, что выдумаетъ развращенное воображеніе какого нибудь писателя, переливается изъ міра фантазіи въ соки жизни», и наконецъ заключаетъ статью свою двумя весьма замѣчательными фразами, изъ которыхъ первая гласитъ такъ: «Можетъ ли, на твердомъ основаніи, существовать поэзія, когда у нея отнимаютъ лучшее изъ правъ ея— поучать?»—и вторая: «Едва ли не дожили мы уже до того, что мнѣніе, которое передавалось шопотомъ, произносится

вслухъ. Смѣлѣе приподымая маску, уже начинаютъ проповѣдывать, что поэзія должна быть безъ нравоученія, философія—безъ вѣры! Посмотримъ, куда прійдемъ мы съ поэзіею безнравственною, съ философіею безвѣрною!»

Скажите, сдѣлайте милость, можно ли было безъ улыбки прочесть эти громкія фразы и вообще всю статью г-на Глинки, составленную въ духѣ этихъ фразъ? Какъ, въ самомъ дѣлѣ, можно писать и печатать подобныя вещи въ 1841-мъ году отъ Р. Х.? Европа—изволите видѣть—окружена атмосферою опаснаго дыханія, полна скрытаго яда; она будущій трупъ, которымъ уже и пахнетъ; въ ней развращено воображеніе, развращена мысль, испорчены соки?!... Помилуйте! Да вѣдь это хула на науку, на искусство, на все живое, человѣческое, на самый прогрессъ человѣчества!... И какъ судить по нѣсколькимъ Французамъ о всей Франціи, по нѣсколькимъ Нѣмцамъ о всей Германіи, а по нимъ и о цѣлой Европѣ? Неужели Европа была просвѣщеннѣе, нравственнѣе, религіознѣе во времена Атиллъ, гвельфовъ и джибеллиновъ, Борджіевъ, Равальяковъ, Кромвелей, г-жъ Ментенонъ, дю-Барри, и т. п.? Пора бы, право, перестать «извергать такія клеветы» (говоря слогомъ г. N. N.) на Европу и на нашъ великій XIX вѣкъ... Господи Боже мой! Да неужели мы ѣздимъ въ Европу для того только, чтобъ заражаться ядовитымъ дыханіемъ этого «будущаго трупа»? Неужели юноши наши, безпрерывно отправляемые, на счетъ нашего мудраго и просвѣщеннаго правительства, за границу, возвращаются оттуда никуда-негодными, и изъ нихъ не выходятъ Брюловы, Бруни, Басины,—или не превращаются они въ отличныхъ университетскихъ преподавателей, которые живымъ знаніемъ своимъ въ этой же Европѣ пріобрѣтеннымъ, затмѣваютъ другихъ, незнающихъ Европы, или если и глядѣвшихъ на нее, то видѣвшихъ все кверху ногами?... Но что и говорить объ этомъ! Сужденіе г. Глинки есть только повтореніе того, что еще въ шестидесятыхъ годахъ говорилось, и что во всѣ вѣка проповѣды-

вали люди стараго поколѣнія повому: такова ужь, видно, судьба всего стараго и всего поваго!

Этимъ же можно объяснить и другое требованіе г. Глинки, именно, чтобъ въ поэзіи было непремѣнно правоученіе, чтобъ поэзія поучала. «Отечественныя Записки»—читатели знаютъ это—при всякомъ удобномъ случаѣ, слѣдственно, очень часто, говорили и говорятъ, что поэзія въ истинномъ, высшемъ значеніи своемъ не можетъ быть безнравственна, что она необходимо сама въ себѣ нравственна. Разверните любой томъ «Отечественныхъ Записокъ»—въ Критикѣ или Библіографической Хроникѣ ихъ, вы непремѣнно встрѣтите эту мысль. Но мы всегда возставали противъ мнѣнія, что мораль есть поэзія, что нравственное тождественно съ поэтическимъ,—мы говорили, что поэтическое необходимо нравственно, но отвергали мысль, что все нравственное необходимо должно быть поэтическимъ, и всегда вооружались противъ этихъ пошлыхъ «правоученій», противъ этой резонерской, холодной морали, которую нѣкоторые хотятъ навязать на поэзію, ища во всякомъ созданіи поэта чего-нибудь правоучительнаго, какъ «moralite» въ басни, или требуя отъ него поученій въ родѣ «помогай бѣдному, ибо добро во вѣкъ не пропадетъ», «будь со всѣми вѣжливъ и учтивъ, ибо это пригодится, и пр. и пр. Мы всегда говорили, и теперь скажемъ, что истинный поэтъ всегда нравственъ въ высшемъ значеніи этого слова, а что пошлые правоучители совсѣмъ не поэты... Объ этомъ предметѣ также нечего распространяться: о немъ много было сказано въ шестнадцати томахъ «Отечественныхъ Записокъ»; скажется, можетъ-быть, еще больше. Замѣчательнѣе же всего, что г. N. N., говоря: «высочайшая поэзія сама въ себѣ нравственна—и все безнравственное по цѣли тѣмъ уже само себя исключаетъ изъ міра поэтическаго», ясно, взялъ эту мысль изъ «Отечественныхъ Записокъ»—а теперь намъ же предлагаетъ ее въ поученіе, какъ новость, имъ самимъ выдуманную, да еще разсказываетъ,

что въ «Отечественныхъ Запискахъ» празднуется шабашъ поэзіи и нравственности... Помилуйте, господа! Гдѣ же литературная совѣсть? гдѣ уваженіе къ истинѣ?...

Но возвращаемся къ г. Глинкѣ. Итакъ, когда мы прочли приведенную выше статью его въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» мы улыбнулись этому ропоту почтеннаго поэта, и вотъ какъ печатнымъ образомъ выразилась наша улыбка.

Въ Москвѣ вышла книжечка «Малолѣтокъ», сочиненіе извѣстнаго А. А. Орлова. Упоминая объ этомъ сочиненіи въ 4-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», мы сказали въ шутку:

„Оригинально чудное мнѣніе о томъ, что въ русскомъ языкѣ существуютъ два слова: *нравственность* и *поэзія*, выражающія совершенно одно и тоже понятіе (чего нѣтъ ни въ одномъ изъ существующихъ языковъ и не было ни въ одномъ изъ существовавшихъ), приноситъ неизчислимыя выгоды. Укажемъ на одну изъ нихъ. Для истинной оцѣнки литературныхъ произведеній не нужно читать ихъ,—что прежде считалось необходимостію,—а надобно только отобрать вѣрныя справки о жизни сочинителя, и оцѣнка готова. Если реченный сочинитель не пилъ вина даже за обѣдомъ, не бралъ въ руки картъ, платилъ исправно въ овощныя лавки за взятый въ долгъ товаръ, кухарку свою держалъ въ почтительномъ отъ себя отдаленіи, тогда вы заключаете—*означенный сочинитель есть поэтъ*; если же нѣтъ—то *нѣтъ*. И вѣрно, и легко!... Да, нравственность есть поэзія, поэзія есть нравственность!“

Когда мы написали эти строки, намъ пришла на память статья г. Глинки, заставившая насъ улыбнуться,— и мы прибавили.

„*Нравственный* поэтъ нашъ, Ѳ. Н. Глинка, того же мнѣнія. Въ одномъ изъ нумеровъ весьма нравственной газеты „Московскія Вѣдомости“ онъ помѣстилъ очень нравственную статью о тождествѣ нравственности и поэзіи, привязавъ это нравственное сужденіе къ самой нравственной цѣли: похвалѣ журнала, въ которомъ онъ участвуетъ.“ (Отеч. Зап. т. XV; кн. 4 Библ. Хрон. стр. 40).

Только. Больше ничего не сказано о г. Глинкѣ. Разсудите же на милость, гдѣ тутъ оскорбленія, клеветы, хулы, и Богъ знаетъ что, придуманное «нравственнымъ господиномъ»

N. N.? Чѣмъ мы тутъ оскорбили г. Глинку? Мы назвали его поэтомъ нравственнымъ? но развѣ онъ поэтъ безнравственный? никогда мы не осмѣлились бы произнести такую ложь.— Далѣе, мы сказали, что онъ написалъ нравственное разсужденіе: развѣ это не правда? развѣ оно безнравственно? — Сказали, что онъ помѣстилъ свое разсужденіе въ нравственной газетѣ «Московскія Вѣдомости», — и это правда: «Московскія Вѣдомости» дѣйствительно весьма нравственная газета. Что въ ней безнравственнаго? Ничего!... Странное дѣло! Г. N. N. горою возсталъ за нравственность, якобы охуленную и оскорбленную, и обижается, когда сотрудника того журнала, въ которомъ онъ самъ пишетъ, называютъ нравственнымъ?... Но вотъ что всего важнѣе, какъ обнаруженіе того чувства и намѣренія, съ которыми писана статья г. N. N. Въ 4-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ видно изъ приведенной выписки, сказано, что г. Глинка написалъ похвалу журналу, въ которомъ участвуетъ,—а г. N. N. говоритъ, что «Отечественныя Записки» обвиняютъ г. Глинку за похвалу журналу, въ которомъ онъ принимаетъ участіе корыстное... Ну ужъ это, — просимъ извиненія — похоже на чистую «литературную» клевету: пусть же она и обратится на того, кто написалъ ее! «Отечественныя Записки» никогда не сказали бы подобной фразы, къ кому бы ни относилась она,—и обвинять ихъ въ этомъ голословно можетъ только какая-нибудь благонамѣренная страсть къ сплетнямъ, забывающая даже, что обвиненіе легко опровергается очевидностью.

Теперь, кажется, все дѣло ясно. Заключимъ же статью нашу словами статьи «Москвитянина,» обращенными къ «Отечественнымъ Запискамъ» сдѣлавъ, впрочемъ, нѣкоторыя необходимыя измѣненія:

Мы надѣялись, что будемъ уважать «Москвитянина» за его благонамѣренность, хотя и не одобряли его мнѣній, философскихъ и критическихъ; мы уважали дѣятельность его

издателей; уважали нѣкоторыхъ изъ его сотрудниковъ; — потому-то намъ было крайне жаль видѣть, что какой-нибудь журнальный писака, на веселѣ (въ восторгѣ)—только ужь не отъ нѣмецкой эстетики, о которой онъ, видно, и не слыхивалъ (въ противномъ случаѣ былъ бы поблагопристойнѣе),—что такой непризванный судья, развалившись отчаянно въ креслахъ критика и размахавшись борзымъ перомъ своимъ, всенародно осмѣливается въ этомъ журналѣ праздновать шабашъ истины и нравственности, и, забывъ всѣ приличія, извергаетъ клевету на журналъ, огражденный отъ подобныхъ оскорбленій мнѣніемъ литературнымъ и общественнымъ...

IV

ТЕАТРЪ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

1.

— Театральная лѣтопись наша,—такъ уже пришлось, не наша вина—начинается на новый годъ шумно, размашисто,—начинается удивительною вещію, которая значится на афишѣ такъ.

1) **АЛЕКСАНДРЪ МАКЕДОНСКІЙ.** *Историческое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ хорами и военными маршами, соч. М. М. Дѣйствіе 1-е.* Два царя: *Дѣйствіе 2-е:* Побѣдитель. *Дѣйствіе 3-е:* Амазонская царица. *Дѣйствіе 4-е:* Мать и сынъ. *Дѣйствіе 5-е* Паденіе Персиды. *Дѣйствіе происходитъ въ Персіи, за 330 л. до Р. Х. Акты первый и вторый—при Киликійскихъ ущельяхъ; актъ третій въ Вавилонѣ; актъ четвертый: 1-я сцена—въ Вавилонѣ, 2-я—въ пещерѣ близъ Экбатаны; актъ пятый: 1 и 2-я сцены въ Персеполѣ, 3-я на границѣ Бактріаны.*

Дѣйствующихъ лицъ въ этомъ историческомъ представленіи—*тридцать четыре*, не считая хора жрецовъ вѣчнаго огня, амазонокъ, оруженосцевъ, свиты Александра, двора Дарія, жителей Вавилона, войскъ обоихъ царей,—что́ въ совокупности можетъ составить милліона два, по крайней мѣрѣ, ибо извѣстно по исторіи, Вавилонъ былъ городъ многолюдный, войска Дарія-Кодомана безчисленны, такъ что тридцати-тысячное войско Александра казалось передъ ними не болѣе, какъ вахтъ-парадомъ.

Подлинно, великолѣпное «историческое представленіе»: и хоры, и марши, и пожаръ на сценѣ, и амазонки, и войска, и жрецы, и цѣлое народонаселеніе Вавилона... Не достаетъ только цыганъ; а будь они,—и мы поздравили бы публику Александринскаго театра съ великимъ пріобрѣтеніемъ, какого она не имѣла еще...

Съ именемъ Александра Македонскаго возникаетъ въ душѣ созерцаніе чего-то безконечно колоссальнаго—одна изъ тѣхъ исполинскихъ фигуръ, которыя, подобно древнему Атланту, въ состояніи поддерживать на знаменахъ своихъ зданіе вселенной. Александръ былъ послѣднимъ цвѣтомъ греческой жизни,— и какимъ роскошнымъ, пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ! Огонь вспыхиваетъ ярче, готовясь угаснуть въ лампѣ: Александръ Македонскій былъ послѣднею и самою яркою вспышкою лучезарнаго огня греческой жизни, уже потухавшаго въ самой Элладѣ—своемъ прекрасномъ отечествѣ, и тѣмъ сильнѣе отразившемся на полудикомъ сѣверѣ, у полудикихъ Македонянъ. Есть у всякаго народа свои представители, въ характеристическихъ чертахъ которыхъ отпечатлѣвается весь народъ, вся особность его духа, вся особность его формы. Много было такихъ представителей у Грековъ: но я не знаю образовъ болѣе типическихъ, фигуръ болѣе колоссальныхъ, какъ эти, словно изваянныя изъ мрамора, лица: Гомеръ, Платонъ и Алкивіадъ,— первый, какъ представитель греческой поэзіи; второй, какъ представитель греческой философіи; третій, какъ представитель Грековъ въ политической и частной ихъ жизни. Надобно было, чтобъ подлѣ этихъ трехъ сталъ четвертый образъ, четвертое лице, которое, усвоивъ себѣ всю жизнь трехъ предшествовавшихъ, заслонило ихъ собою въ глазахъ человѣчества, облекшись въ миѳическое величіе и, подъ именемъ Искандера, наполнило собою даже невѣжественный мухаммеданскій востокъ нашего времени. Сынъ знаменитаго царя, воспитанникъ великаго Аристотеля—ученика «божественнаго Платона» (ученика Сократова), отрокъ Александръ знаетъ

наизусть «Иліаду» и жалуется, что побѣды отца его Филиппа похищаютъ у него средства къ будущей громадной славѣ. Двадцати двухъ-лѣтній государь, онъ снова усмиряетъ возставшіе, при извѣстіи о смерти отца его, народы; въ это время его первыхъ побѣдъ распространяется слухъ о его будто бы внезапной смерти, и возставшая Греція силится осуществить мечту о былой свободѣ; Александръ снова завоевываетъ Грецію и завоевываетъ ее столько же силою меча, сколько и силою своего благороднаго духа, своего великаго генія. Онъ является въ Греціи не варваромъ побѣдителемъ, но истиннымъ Аѳиняниномъ. Разрушивъ до основанія Ѳивы, онъ щадитъ домъ поэта Пиндара; въ мщеніи Аѳинянамъ довольствуется только изгнаніемъ нѣсколькихъ лицъ, особенно возставшихъ на него; идетъ къ цинику Діогену, позволяетъ ему просить какихъ угодно милостей; переправившись съ войскомъ въ Малую Азію, приноситъ жертву на гробѣ Ахилла, громко ревнуя этому герою баснословной древности, что онъ имѣлъ другомъ Патрокла и пѣвцомъ Гомера. Разбивъ Персіянъ при Граникѣ и разрубивъ въ Гордіи знаменитый гордіевъ узелъ, Александръ жестоко занемогаетъ; его предостерегаютъ безыменнымъ письмомъ противъ врача его, будто бы подкупленнымъ Даріемъ отравить его: Александръ подаетъ врачу письмо и въ ту же минуту выпиваетъ лекарство. Не видно ли здѣсь того, что составляетъ сущность европейскаго духа и отличіе Европы отъ Азіи,—того, что нѣкогда явилось въ Европѣ среднихъ вѣковъ рыцарствомъ?... Извѣстно, какъ благородно, какъ человѣчески, какъ европейски поступилъ онъ съ плѣненнымъ семействомъ Дарія, послѣ битвы при Иссѣ! Разбивъ Дарія во второй разъ, онъ оставляетъ Персію, будто не заботясь о покореніи ея, какъ о дѣлѣ уже рѣшеномъ, завоевываетъ восточный берегъ Средиземнаго моря (Сирію, Палестину), освобождаетъ отъ персидскаго ига Египетъ, основываетъ городъ Александрію—столицу всемірной торговли и всемірнаго просвѣщенія, завѣщаннаго ей умирающею Греціею; оттуда переходитъ ливійскія

степи, чтобъ чрезъ прорицалище Юпитера Аммона удостовѣрить міръ въ своемъ божескомъ происхожденіи. Какая ненасытимая жажда дѣятельности! Для этой необъятной души тѣсенъ былъ міръ! Герой и представитель древняго міра, Александръ не могъ насытиться созерцаніемъ своего величія и, можетъ-быть, покоряясь невольно духу греческаго язычества, не могъ искренно не усомниться въ своемъ человѣческомъ происхожденіи и не увидѣть въ себѣ новаго Иракла-полубога, Сына Олимпіи, жены Филиппа, и Зевса-громовержца, отца боговъ и человѣковъ!... И было отчего загордиться этому человѣку: въ немъ жили міры, народы и вѣка; его думы не принадлежали какой-нибудь странѣ, но всей извѣстной тогда части земнаго шара,—не принадлежали какому-нибудь народу, но всему человѣчеству; его власть признана была вселенною не посредствомъ грубой матеріяльной силы, но авторитетомъ генія, который, порабощая, освобождалъ, который, собирая дани и клятвы въ вѣрности, давалъ греческое просвѣщеніе и законы... Александръ сдѣлался царемъ народовъ и царей, властелиномъ міра—онъ, начальникъ тридцати-пяти тысячнаго войска! Но это войско было—македонская фаланга. Видите ли: могущество Александра зависѣло отъ того, что въ его личности отразился геній Европы... Одержавъ послѣднюю рѣшительную побѣду надъ Даріемъ при Арбеллахъ и покоривъ Вавилонъ и Сузу, Александръ съ торжествомъ входитъ въ Персеполь. Упоенный своею славою, онъ предается наслажденію со всею силою великой души, которая ни въ чемъ не знаетъ мѣры. Въ угоду своей любовницы, онъ сожигаетъ Персеполь; но, устыдясь этого поступка, снова предается войнѣ и преслѣдуетъ Дарія. Увидѣвъ Дарія умирающаго отъ ранъ, нанесенныхъ ему измѣнникомъ сатрапомъ, Александръ заливается слезами, и велитъ предать тѣло царственнаго врага своего со всѣми почестями, приличными его сану и сообразными съ обычаями страны. И вотъ онъ объявляетъ себя царемъ Азіи, покоряетъ Гирканію, Бактріану, проходитъ

Кавказскія горы, и первый изъ Грековъ узнаетъ о существованіи Каспійскаго моря. Возвратясь въ Бактріану, онъ убиваетъ на пиру друга и спасителя жизни своей. Жалкое заблужденіе; горестный проступокъ! Но и тутъ Александръ былъ Александромъ: въ то время, какъ персидскіе деспоты хладнокровно отдавали палачамъ ближнихъ своихъ, друзей и родственниковъ, и заставляли трепетать рабскимъ страхомъ даже отцовъ и матерей, женъ и дѣтей своихъ,—Александръ убиваетъ друга на пиршествѣ собственною рукою въ припадкѣ гнѣва, усиленнаго неумѣреннымъ употребленіемъ вина: проступокъ человѣка, но не возмутительное дѣйствіе азіятскаго деспота! И какъ горько оплакалъ Александръ свой проступокъ! Онъ лежалъ нѣсколько дней на полу, не принимая пищи, испуская вопли, и терзая волосы на головѣ своей! Онъ говорилъ: «какъ увижу я, какъ буду смотрѣть я въ глаза престарѣлой матери Клита, когда она спроситъ меня о своемъ сынѣ!» Видите ли: царь почти всего свѣта боялся бѣдной старухи, участь которой зависѣла отъ одного движенія его пальца! Это Европа—страна мысли, разума, свободы, человѣчности! По возвращеніи изъ Индіи, онъ лишается любимца своего Эфестіона, и эта потеря повергаетъ его въ безпредѣльную горесть: какая высокая душа, какое любящее сердце!... Смерть пресѣкаетъ гигантскіе планы, начертанные имъ для судебъ покорнаго ему міра: онъ умираетъ въ Вавилонѣ тридцати двухъ лѣтъ отъ роду.

Какое великое поприще! сколько великихъ дѣлъ—въ тридцать два года! Понятно, что этотъ геній сдѣлался легендою міра, миѳомъ исторіи. Египтяне и другіе народы воздавали божескія почести его бреннымъ останкамъ; фантазія народовъ придала ему баснословныя дѣйствія, заставивъ его летать на грифахъ для обозрѣнія земнаго шара, спускаться на дно морское подъ стеклянымъ колоколомъ, странствовать по мрачной области для отысканія живой воды, встрѣчаться съ ужасными людьми-звѣрями и разными чудовищами, вы-

слушивать пророчество о своей смерти отъ двухъ деревъ въ Индіи, высокихъ почти до неба и изъ которыхъ одно называлось деревомъ солнца, а другое деревомъ луны, и пр. и пр.

И вотъ какое дивное историческое лице избралъ героемъ своей драмы какой-то неизвѣстный сочинитель, г. М. М., вѣроятно, надѣявшійся замѣнить талантъ безпримѣрною отвагою! Можетъ ли цѣлая жизнь Александра Македонскаго быть содержаніемъ одной драмы? Гдѣ та живая мысль, которая стянула бы въ двухчасовой промежутокъ времени этотъ роскошный, многосложный эпосъ, который въ своей магической дѣйствительности не блѣднѣетъ, а горитъ лучезарнымъ солнцемъ и при самой «Иліадѣ?» Но—виноваты, мы забыли, что при нѣкоторыхъ оригинальныхъ россійскихъ драмахъ неумѣстны всѣ вопросы, задаваемые философіею, исторіею и искусствомъ; мы забыли даже, что намъ не слѣдовало бы упоминать объ историческомъ Александрѣ, говоря объ «Александрѣ Македонскомъ». Ну, да ужь такъ и быть: что написано, то написано,—пусть такъ и остается!

«Александръ Македонскій» г. М. М. есть одно изъ тѣхъ бѣдныхъ произведеній, которыя даже не возбуждаютъ смѣха, какъ ни смѣшны они противорѣчіемъ между ихъ претензіями и выполненіемъ. Разсказывать содержаніе этой драмы нѣтъ никакой возможности, потому что въ ней нѣтъ никакого содержанія, а есть, вмѣсто его, какая-то путаница, составленная изъ пажей Александра Македонскаго и т у р е ц к и х ъ б а р а б а н о в ъ въ оркестрѣ его македонской фаланги, изъ хоровъ, танцевъ, маршей, громкихъ фразъ, множества лицъ, которыя Богъ знаетъ для чего толкутся на сценѣ, ищутъ другъ друга какъ въ жмуркахъ, говорятъ другъ другу какіе-то монологи и думаютъ, что они дѣло дѣлаютъ. Между дѣйствующими лицами всѣхъ забавнѣе самъ Александръ Македонскій: онъ показывается передъ публикою и спящимъ, и декламирующимъ стихи изъ «Иліады», и пьянствующимъ, и со свѣчкою въ рукахъ зажигающимъ Персеполь; но публика

никакъ не понимаетъ, зачѣмъ онъ передъ ней является, и чего отъ нея хочетъ. Изъ Тамы, любовницы Александра, г. М. М. сдѣлалъ жену какого-то Грека, влюбленную въ Дарія-Кодомана и мстящую его семейству. Александра онъ заставилъ влюбиться въ жену Дарія-Кодомана, а въ Александра заставилъ влюбиться какую то Ѳалестрису — изволите видѣть—царицу амазонокъ, которая, вмѣстѣ съ Тамою, отравляетъ Статиру, жену Дарія. Лучшее въ піесѣ—пажи, турецкій барабанъ и амазонки: въ нихъ (особенно въ турецкомъ барабанѣ) видно самобытное творчество г. сочинителя, творенію котораго, кажется, пропѣта уже вѣчная память...

2.

БРАТЬЯ-ВРАГИ ИЛИ МЕССИНСКАЯ НЕВѢСТА.

Трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. Шиллера.

Не «Братья-Враги», а просто «Мессинская Невѣста» Шиллера, и притомъ въ переводѣ г. Ротчева, нарочно для представленія сокращенномъ. Эта лирическая трагедія есть попытка Шиллера воскресить древнюю, греческую, трагедію: вотъ для чего онъ основалъ свою «Мессинскую Невѣсту» на идеѣ предопредѣленія и неизбѣжнаго рока, и ввелъ въ нее хоръ. Хотя идея предопредѣленія и производитъ на душу непріятное, анти-поэтическое впечатлѣніе, какъ ржавая и скрипучая пружина, — однако трагедія Шиллера есть высокое произведеніе въ своемъ родѣ: пламенное, бурное, порывистое одушевленіе. Шиллеровскій паѳосъ, раздирающія душу трагическія положенія, превосходные стихи, волны лиризма, разливающагося широкимъ потокомъ,—вотъ отличительныя качества «Мессинской Невѣсты». Мы никакъ не думали, чтобъ лирическая трагедія могла быть поставлена на сцену и производить съ нея какой-либо эффектъ; но теперь вполнѣ убѣдились, что еслибъ, даже только при умной, отчетливой,

но не одушевленной, не проникнутой страстью игрѣ главныхъ лицъ, вся піэса въ цѣломъ хорошо выполнялась,—то производила бы на зрителей еще болѣе сильное и потрясающее дѣйствіе, чѣмъ другія трагедіи Шиллера.

3.

КНЯЗЬ ДАНІИЛЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ХОЛМСКІЙ.

Драма въ пяти актахъ, въ стихахъ и въ прозѣ, сочиненіе Н. В. Кукольника.

Репертуаръ русской сцены необыкновенно бѣденъ. Причина очевидна: у насъ нѣтъ драматической литературы. Правда, русская литература можетъ хвалиться нѣсколькими драматическими произведеніями, которыя сдѣлали-бы честь всякой европейской литературѣ; но для русскаго театра это скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Геніальныя созданія русской литературы въ трагическомъ родѣ написаны не для сцены: «Борисъ Годуновъ» едва ли бы произвелъ на сценѣ то, что называется эффектомъ и безъ чего піеса падаетъ, а между тѣмъ, онъ потребовалъ бы такого выполненія, какого отъ нашего театра и ждать невозможно. «Борисъ Годуновъ» писанъ для чтенія. Мелкія драматическія поэмы Пушкина, каковы: «Сальери и Моцартъ», «Пиръ во время Чумы», «Русалка», «Скупой Рыцарь». «Рыцарскія Сцены», «Каменный Гость»,—неудобны для сцены по двумъ причинамъ: онѣ слишкомъ еще мудрены и высоки для нашей театральной публики, и требовали бы геніальнаго выполненія, о которомъ намъ и мечтать не слѣдуетъ. Что же касается до комедіи, у насъ всего двѣ комедіи—«Горе отъ Ума» и «Ревизоръ»; онѣ могли бы, особливо послѣдняя, неговоримъ—украсить, но обогатить любую европейскую литературу. Обѣ онѣ выполняются на русской сценѣ лучше, нежели что-нибудь другое; обѣ онѣ имѣли неслыханный успѣхъ, выдержали множество представленій, и никогда не переста-

нутъ доставлять публикѣ величайшее наслажденіе. Но это-то обстоятельство, будучи съ одной стороны чрезвычайно благодѣтельно для русскаго театра, въ то же время и вредно для него. Съ одной стороны, несправедливо было бы требовать отъ публики, чтобъ она круглый годъ смотрѣла только «Горе отъ Ума» да «Ревизора», и не желала видѣть что-нибудь новое; нѣтъ—новость и разнообразіе необходимы для существованія театра; всѣ новыя произведенія національной литературы должны составлять капитальныя суммы его богатства, которыми однѣми можетъ держаться его кредитъ; такія піесы должны даваться не вседневно, идти не заурядъ,—напротивъ, ихъ представленія должны быть праздникомъ, торжествомъ искусства; вседневною же пищею сцены должны быть произведенія низшія, бельлетрическія, полныя живыхъ интересовъ современности, раздражающія любопытство публики: безъ богатства и обилія въ такихъ произведеніяхъ, театръ походитъ на призракъ, а не на что-нибудь дѣйствительно существующее. Съ другой стороны, что же прикажете намъ смотрѣть на русской сценѣ послѣ «Горе отъ Ума» и «Ревизора»? Вотъ это-то и почитаемъ мы вредомъ, который эти піесы нанесли нашему театру, объяснивъ намъ живымъ образомъ—фактомъ, а не теоріею,—тайну комедіи, представивъ намъ собою ея высочайшій идеалъ. Есть ли у насъ что-нибудь такое, чтобы сколько-нибудь, хоть относительно,—не говоримъ, подходило подъ эти піесы, но—не оскорбляло послѣ нихъ эстетическаго чувства и здраваго смысла? Правда, иная пьеса еще и можетъ понравиться, но не больше, какъ на одинъ разъ,—и надо слишкомъ много самоотверженія и храбрости, чтобъ рѣшиться видѣть ее во второй разъ. Да и все достоинство такихъ піесъ состоитъ въ томъ только, что онѣ не лишаютъ актеровъ возможности высказать свои таланты, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ онѣ давали актерамъ средства развернуть свои дарованія. Вообще, по-крайней мѣрѣ, половина нашихъ актеровъ, чувствуютъ себя выше піесъ, въ которыхъ играютъ,—и они въ этомъ совершен-

но справедливы. Отсюда происходитъ гибель нашего сценическаго искусства, гибель нашихъ сценическихъ дарованій (на скудость которыхъ мы не можемъ пожаловаться): нашему артисту нѣтъ ролей, которыя требовали бы съ его стороны строгаго и глубокаго изученія, съ которыми надобно бы ему было побороться, помѣриться, словомъ—до которыхъ бы ему должно было постараться возвысить свой талантъ; нѣтъ, онъ имѣетъ дѣло съ ролями ничтожными, пустыми, безъ мысли, безъ характера, съ ролями, которыя ему нужно натягивать и растягивать до себя. Привыкши къ такимъ ролямъ, артистъ привыкаетъ торжествовать на сценѣ своимъ личнымъ комизмомъ, безъ всякаго отношенія къ роли, привыкаетъ къ фарсамъ, привыкаетъ смотрѣть на свое искусство какъ на ремесло, и много-много, если заботится о томъ, чтобъ протвердить роль: объ изученіи же ея не можетъ быть и слова. Въ самомъ дѣлѣ, что такое наши драматическія піесы?—Разсмотримъ ихъ.

Мы пока исключимъ изъ нашего разсмотрѣнія трагедію—о ней рѣчь впереди,—а поговоримъ только о тѣхъ піесахъ, которыя не принадлежатъ ни къ трагедіи, ни къ комедіи собственно, хотя и обнаруживаютъ претензіи быть и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ,—піесы смѣшанныя, мелкія, трагедіи съ тупоумными куплетами, комедіи съ усыпительными патетическими сценами, словомъ — этотъ венегретъ бенефисовъ, предметъ нашей Театральной Лѣтописи:

Онѣ раздѣляются на три рода: 1) піесы, переведенныя съ французскаго, 2) піесы, передѣланныя съ французскаго, 3) піесы оригинальныя. О первыхъ прежде всего должно сказать, что онѣ большою частію, неудачно переводятся, особенно водевили. Водевиль есть любимое дитя французской національности, французской жизни, фантазіи, французскаго юмора и остроумія. Онъ непереводимъ, какъ русская народная пѣсня, какъ басня Крылова. Наши переводчики французскихъ водевилей переводятъ слова, оставляя въ подлинникѣ жизнь, остроуміе и грацію. Остроты ихъ тяжелы, каламбуры вытя-

нуты за уши, шутки и намёки отзываются духомъ чиновниковъ пятнадцатаго класса. Сверхъ того, для сцены эти переводы еще и потому не находка, что наши актеры, играя Французовъ, на зло себѣ остаются Русскими,—точно такъ же, какъ французскіе актеры, играя «Ревизора», на зло себѣ остались бы Французами. Вообще, водевиль—прекрасная вещь только на французкомъ языкѣ, на французской сценѣ, при игрѣ французскихъ актеровъ. Подражать ему такъ же нельзя, какъ и переводить его. Водевиль русскій, нѣмецкій, англійскій—всегда останется пародіею на французскій водевиль. Недавно въ какой-то русской газетѣ было возвѣщено, что пока-де нашъ водевиль подражалъ французскому, онъ никуда негодился; а какъ-де скоро сталъ на собственныя ноги, то вышелъ изъ него молодецъ хоть куда—почище и французскаго. Можетъ-быть, это и такъ, только, признаемся, если намъ случалось видѣть русскій водевиль, который ходилъ на собственныхъ ногахъ, то онъ всегда ходилъ на кривыхъ ногахъ, и, глядя на него, мы невольно вспоминали эти стихи изъ русской народной пѣсни:

Ахъ, ножища-то—что вилища!
Ручища-то—что граблища!
Головища—что пивной котелъ!
Глазища-то—что ямища!
Губища-то—что палчища!

Русскія передѣлки съ французскаго нынче въ большомъ ходу: большая часть современнаго репертуара состоитъ изъ нихъ. Причина ихъ размноженія очевидна: публика равнодушна къ переводнымъ піесамъ; она требуетъ оригинальныхъ, требуетъ на сценѣ русской жизни, быта русскаго общества. Наши доморощенные драматурги на выдумки бѣдненьки, на сюжетцы неизобрѣтательны: что жь тутъ остается дѣлать? Разумѣется, взять французскую піесу, перевести ее слово въ слово, дѣйствіе (которое по своей сущности, могло случиться только во Франціи) перенести въ Саратовскую губернію или въ Петер-

бургъ, французскія имена дѣйствующихъ лицъ перемѣнить на русскія, изъ префекта сдѣлать начальника отдѣленія, изъ аббата — семинариста, изъ блестящей свѣтской дамы — барыню, изъ гризетки—горничную, и т. д. Объ оригинальныхъ піесахъ нечего и говорить. Въ передѣлкахъ, по крайней мѣрѣ, бываетъ содержаніе—завязка, узелъ и развязка; оригинальныя піесы хорошо обходятся и безъ этой излишней принадлежности драматическаго сочиненія. Какъ тѣ, такъ и другія и знать не хотятъ, что драма—какая бы она ни была, а тѣмъ болѣе драма изъ жизни современнаго общества,—прежде всего и больше всего должна быть вѣрнымъ зеркаломъ современной жизни, современнаго общества. Когда нашъ драматургъ хочетъ выстрѣлить въ васъ—становитесь именно на то мѣсто, куда онъ цѣлитъ: непремѣнно дастъ промахъ, а въ противномъ случаѣ—чего добраго, пожалуй и зацѣпитъ. Общество, изображаемое нашими драмами, такъ же похоже на русское общество, какъ и на арабское. Какого бы рода и содержанія ни была піеса, какое бы общество ни рисовала она—высшаго круга, помѣщичье, чиновничье, купеческое, мужицкое, что бы ни было мѣстомъ ея дѣйствія—салонъ, харчевня, площадь, шкуна,—содержаніе ея всегда одно и тоже: у дураковъ-родителей есть милая, образованная дочка, она влюблена въ прелестнаго молодаго человѣка, но бѣднаго—обыкновенно въ офицера, изрѣдка (для разнообразія) въ чиновника; а ее хотятъ выдать за какого нибудь дурака, чудака, подлеца, или за все это вмѣстѣ. Или, наоборотъ, у честолюбивыхъ родителей есть сынъ — идеалъ молодаго человѣка (т. е. лице безцвѣтное, безхарактерное), онъ влюбленъ въ дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, идеалъ всѣхъ добродѣтелей, какія только могутъ умѣститься въ водевилѣ, образецъ всякаго совершенства, которое бываетъ вездѣ, кромѣ дѣйствительности; а его хотятъ выдать замужъ—то-есть женить, на той, которой онъ не любитъ. Но къ концу добродѣтель награждается, порокъ наказывается: влюбленные женятся, дражайшіе родители ихъ бла-

гословляютъ, разлучникъ съ носомъ — и раекъ надъ нимъ смѣется. Дѣйствіе развивается всегда такъ: дѣвица одна — съ книжкой въ рукѣ, жалуется на родителей и читаетъ сентенціи о томъ, что «сердце любитъ не спросясь людей чужихъ». Вдругъ: Ахъ! это вы, Димитрій Ивановичъ, или Николай Ивановичъ!»—Ахъ! это я, Любовь Петровна или Ивановна, или иначе какъ-нибудь... Какъ я радъ, что засталъ васъ однѣхъ!— Проговоривши таковы слова, нѣжный любовникъ цѣлуетъ ручку своей возлюбленной. Замѣтьте, непремѣнно цѣлуетъ— иначе онъ и не любовникъ и не женихъ, иначе по чемъ бы и узнать публикѣ, что сей храбрый офицеръ, или добродѣтельный чиновникъ—любовникъ, или женихъ? Мы всегда удивлялись этому неподражаемому искусству нашихъ драматурговъ такъ тонко и ловко намекать на отношеніе персонажей въ своихъ драматическихъ издѣліяхъ... Далѣе: она проситъ его уйдти, чтобъ не увидѣли папенька или маменька; онъ продолжаетъ цѣловать ея ручку и говоритъ, что какъ онъ несчастливъ, что онъ умретъ съ отчаянія, но что, впрочемъ, онъ употребитъ всѣ средства; наконецъ онъ въ послѣдній разъ цѣлуетъ ея ручку и уходитъ. Входитъ «разлучникъ» и тотчасъ цѣлуетъ ручку разъ, и два, и три, и болѣе, смотря по надобности; барышня надуваетъ губки и сыплетъ сентенціями: маменька, или папенька бранитъ ее и грозитъ ей, наконецъ—къ любовнику является на помощь богатый дядя, или разлучникъ оказывается негодяемъ: дражайшіе соединяютъ руки влюбленной четы — любовникъ нѣжно ухмыляется и, чтобъ не стоять на сценѣ по пустякамъ, принимается цѣловать ручку; барышня жеманно и умильно улыбается и будто нехотя позволяетъ цѣловать свою ручку... Глядя на все это, по неволѣ воскликнешь:

Съ кого они портреты пишутъ
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случалось имъ —
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Если вѣрить нашимъ драмамъ, то можно подумать, что у насъ на святой Руси все только и дѣлаютъ, что влюбляются, и замужъ выходятъ за тѣхъ, кого любятъ; а пока не женятся, все ручки цѣлуютъ у своихъ возлюбленныхъ... И это зеркало жизни, дѣйствительности, общества!... Милостивые государи, поймите наконецъ, что вы стрѣляете холостыми зарядами на воздухъ, сражаетесь съ мельницами и баранами; а не съ богатырями! Поймите наконецъ, что вы изображаете тряпичныхъ куколъ, а не живыхъ людей, рисуете міръ правоучительныхъ сказочекъ, способный забавлять семилѣтнихъ дѣтей, а не современное общество, котораго вы не знаете и которое васъ не желаетъ знать! Поймите наконецъ, что влюбленные (если они хоть сколько-нибудь люди съ душою), встрѣчаясь другъ съ другомъ, всего рѣже говорятъ о своей любви, и всего чаще о совершенно постороннихъ и притомъ незначительныхъ предметахъ. Они понимаютъ другъ друга молча—а въ томъ-то и состоитъ искусство автора, чтобъ заставить ихъ высказать передъ публикою свою любовь, ни слова не говоря о ней. Конечно, они могутъ и говорить о любви, но не пошлыя, истертыя фразы, а слова, полныя души и значенія, слова, которыя вырываются невольно и рѣдко...

Обыкновенно, «любовники» и «любовницы»—самыя безцвѣтныя, а потому и самыя скучныя лица въ нашихъ драмахъ. Это просто—куклы, приводимые въ движеніе посредствомъ бѣлыхъ нитокъ руками автора. И очень понятно: онѣ тутъ не сами для себя, онѣ служатъ только внѣшнею завязкою для піесы. И потому мнѣ всегда жалко видѣть артистовъ, осужденныхъ злою судьбою на роли любовниковъ и любовницъ. Для нихъ уже большая честь, если они съумѣютъ не украсить, а только сдѣлать свою роль сколько возможно меньше пошлою... Для чего же выводятся нашими драматургами эти злополучные любовники и любовницы? Для того что безъ нихъ они не въ состояніи изобрѣсти никакого содержанія; изобрѣсти же не могутъ, потому что не знаютъ ни жизни,

ни людей, ни общества, не знаютъ, *что* и *какъ* дѣлается въ дѣйствительности. Сверхъ того, имъ хочется посмѣшить публику какими-нибудь чудаками и оригиналами. Для этого они создаютъ характеры, какихъ нигдѣ нельзя отыскать, нападаютъ на пороки, въ которыхъ нѣтъ ничего порочнаго, осмѣиваютъ нравы, которыхъ не знаютъ, зацѣпляютъ общество, въ которое не имѣютъ доступа. Это обыкновенно насмѣшки надъ купцомъ, который сбрилъ бороду; надъ молодымъ человѣкомъ, который изъ-за границы воротился съ бородою; надъ молодою особою, которая ѣздитъ верхомъ на лошадяхъ, любитъ кавалькады; словомъ—надъ покроемъ платья, надъ прической, надъ французскимъ языкомъ, надъ лорнеткою, надъ желтыми перчатками и надъ всѣмъ, что любятъ осмѣивать люди въ своихъ господахъ, ожидая ихъ у подъѣзда съ шубами на рукахъ... А какіе идеалы добродѣтелей рисуютъ они—Боже упаси! Съ этой стороны, наша комедія нисколько не измѣнилась со временъ Фонъ-Визина: глупые въ ней иногда бываютъ забавны, хоть въ смыслѣ каррикатуры, а умные всегда и скучны и глупы...

Что касается до нашей трагедіи—она представляетъ такое же плачевное зрѣлище. Трагики нашего времени представляютъ изъ себя такое же зрѣлище, какъ и комики: они изображаютъ русскую жизнь съ такою же вѣрностію и еще съ меньшимъ успѣхомъ, потому что изображаютъ историческую русскую жизнь въ ея высшемъ значеніи. Оставляя въ сторонѣ ихъ дарованія, скажемъ только, что главная причина ихъ неуспѣха—въ ошибочномъ взглядѣ на русскую исторію. Гоняясь за народностію, они все еще смотрятъ на русскую исторію съ западной точки зрѣнія. Иначе они и не стали бы въ Россіи до временъ Петра Великаго искать драмы. Историческая драма возможна только при условіи борьбы разнородныхъ элементовъ государственной жизни. Не даромъ только у однихъ Англичанъ драма достигла своего высшаго развитія; не случайно Шекспиръ явился въ Англіи, а не въ другомъ въ какомъ госу-

дарствѣ: нигдѣ элементы государственной жизни не были въ такомъ противорѣчіи, въ такой борьбѣ между собою, какъ въ Англіи. Первая и главная причина этого—тройное завоеваніе: сперва туземцевъ Римлянами, потомъ Англо-Саксами, наконецъ Норманами; далѣе: борьба съ Датчанами, вѣковыя войны съ Франціею, религіозная реформа, или борьба протестантизма съ католицизмомъ. Въ русской исторіи не было внутренней борьбы элементовъ, и потому ея характеръ скорѣе эпическій, чѣмъ драматическій. Разнообразіе страстей, столкновеніе внутреннихъ интересовъ и пестрота общества—необходимыя условія драмы: а ничего этого не было въ Россіи. Пушкина «Борисъ Годуновъ» потому и не имѣлъ успѣха, что былъ глубоко національнымъ произведеніемъ. По той же причинѣ, «Борисъ Годуновъ» нисколько не драма, а развѣ поэма въ драматической формѣ. И съ этой точки зрѣнія, «Борисъ Годуновъ» Пушкина—великое произведеніе, глубоко исчерпавшее сокровищницу національнаго духа. Прочіе же драматическіе наши поэты думали увидѣть національный духъ въ охобняхъ и горлатныхъ шапкахъ, да и въ рѣчи на простонародный ладъ, и вслѣдствіе этой чисто внѣшней народности, стали рядить Нѣмцевъ въ русскій костюмъ и влагать имъ въ уста русскія поговорки. Поэтому, наша трагедія явилась въ обратномъ отношеніи къ французской псевдо-классической трагедіи: французскіе поэты въ своихъ трагедіяхъ рядили Французовъ въ римскія тоги и заставляли ихъ выражаться пародіями на древнюю рѣчь; а наши какихъ-то Нѣмцевъ и Французовъ рядятъ въ русскій костюмъ и навязываютъ имъ подобіе и призракъ русской рѣчи. Одежда и слова русскія, а чувства, побужденія и образъ мыслей нѣмецкій или французскій... Мы не станемъ говорить о вульгарно-народныхъ, безвкусныхъ, бездарныхъ и не эстетическихъ издѣліяхъ: подобныя чудища вездѣ нерѣдки и вездѣ составляютъ необходимый соръ и дрязгъ на заднемъ дворѣ литературы. Но что такое «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ» г. Хомякова, какъ не псевдо-класси-

ческія трагедіи въ духѣ и родѣ трагедій Корнеля, Расина, Вольтера, Кребильйона и Дюсиса? А ихъ дѣйствующія лица что такое, какъ не Нѣмцы и Французы въ маскарадѣ, съ накладными бородами и въ длиннополыхъ кафтанахъ? Ермакъ — нѣмецкій буршъ; казаки, его товарищи—нѣмецкіе школьники; а возлюбленная Ермака—пародія на Амалію въ «Разбойникахъ» Шиллера. Дмитрій Самозванецъ и Басмановъ—люди, которыхъ какъ ни назовите Генрихами, Адольфами, Альфонсами—все будетъ равно, и сущность дѣла отъ этого нисколько не измѣнится. Впрочемъ, основателемъ этого рода псевдо классической и мнимо-русской трагедіи должно почитать Нарѣжнаго, написавшаго (впрочемъ, безъ всякаго злаго умысла) пародію на «Разбойниковъ» Шиллера, подъ названіемъ «Дмитрій Самозванецъ» (трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. Москва. 1800. Въ типографіи Бекетова). Послѣ г. Хомякова, надъ русскою трагедіею много трудился баронъ Розенъ, — и его трудолюбіе заслуживаетъ полной похвалы. Съ большимъ противъ обоихъ ихъ успѣхомъ подвизался и подвизается на этомъ поприщѣ г. Кукольникъ. Мы готовы всегда отдать должную справедливость способностямъ г. Кукольника въ поэзіи,—и хотя не читали его «Пактуля» вполнѣ, но судя по напечатанному изъ этой драмы прологу, думаемъ, что и вся драма можетъ быть не безъ значительныхъ достоинствъ. Что же касается до другихъ его драмъ, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни,—о нихъ мы уже все сказали, говоря о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина и трагедіяхъ г. Хомякова. Въ нихъ русскія имена, русскіе костюмы, русская рѣчь; но русскаго духа слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Въ нихъ русская жизнь взята на-прокатъ для нѣсколькихъ представленій драмы: публика имъ отхлопала и забыла о нихъ, а заключающіеся въ нихъ элементы русской жизни снова возвратились въ прежнее свое хранилище—въ «Исторію Государства Россійскаго. Никакой драмы не было во взятыхъ г. Кукольникомъ изъ исторіи Карамзина событіяхъ: никакой драмы не вышло и изъ драмъ

г. Кукольника. Какъ умный и образованный человѣкъ, г. Кукольникъ самъ чувствовалъ это, хоть можетъ безсознательно,—и рѣшился на новую попытку: свести русскую жизнь лицомъ къ лицу съ жизнію ливонскихъ рыцарей и выжать изъ этого столкновенія драму. Вотъ что породило «Князя Даніила Дмитріевича Холмскаго», новую его драму. Мы не будемъ излагать подробно содержаніе трагедіи г. Кукольника: этотъ трудъ былъ бы выше нашихъ силъ и терпѣнія читателей, ибо содержаніе «Холмскаго» запутано, перепутано, загромождено множествомъ лицъ, неимѣющихъ никакого характера, множествомъ событій чисто внѣшнихъ, мелодраматическихъ, придуманныхъ для эффекта, и чуждыхъ сущности піесы. Это, какъ справедливо замѣчено въ одной критикѣ, «не драма и не комедія, и не опера, и не водевиль, и не балетъ; но здѣсь есть всего по немножку, кромѣ драмы, словомъ это «дивертиссментъ».

Вотъ вкратцѣ содержаніе «Князя Холмскаго»: баронесса Адельгейда Фонъ Шлуммермаусъ любитъ псковскаго купца Александра Михайловича Княжича, и чтобъ соединиться съ нимъ, позволяетъ отряду московскаго войска, присланнаго великимъ княземъ Іоанномъ подъ предводительствомъ Холмскаго раздѣлаться съ ливонскимъ орденомъ, взять себя въ плѣнъ. Надо сказать, что она—амазонка: ломаетъ копья и завоевываетъ острова. Холмскій влюбляется въ нее на-смерть; сперва кокетство, а потомъ козни брата ея, барона фонъ-Шлуммермауса, заставляютъ ее подать Холмскому надежду на взаимность съ ея стороны. Послѣ долгой борьбы съ самимъ собою, Холмскій, поджигаемый коварнымъ барономъ и соумышленникомъ его, тайнымъ Жидомъ Озноблинымъ, ни съ того ни съ сего доходитъ до нелѣпаго убѣжденія, что звѣзды велятъ ему отложиться отъ отечества, образовать новое государство изъ Ганзы, Ливоніи и Пскова. Когда онъ объявилъ «волю звѣздъ» на псковскомъ вѣчѣ, его берутъ подъ стражу; великій князь прощаетъ его какъ-бы изъ снисхожденія къ

его безумію, и показываетъ одного барона фонъ-Шлуммермауса. Къ довершенію комическаго положенія забавнаго героя—Холмскаго, онъ узнаетъ, что амазонка-баронесса интриговала съ нимъ и выходитъ замужъ за своего бородатаго любовника, торговца Княжича. Онъ хочетъ зарѣзать ихъ, но его не допускаетъ шутъ Середа—его пѣстунъ, лице нелѣпое, безъ смысла, смѣшная пародія на русскихъ юродивыхъ, сто первый незаконнорожденный потомокъ Юродиваго въ «Юріи Милославскомъ». Драма тянулась, тянулась; въ ней и ходили, и выходили, и говорили, и пѣли, и плясали; декорація безпрестанно мѣнялась, а публика, зѣвала, зѣвала, зѣвала.... Драма *заснула*, говоря рыболовнымъ терминомъ, а публика проснулась и начала разъѣзжаться. Только одно лице барона фонъ-Кульмгаусборденау оживляло немного апатическій спектакль, и то благодаря умной и ловкой игрѣ г. Каратыгина 2-го.

Очевидно, что Холмскій г. Кукольника есть русскій Валленштейнъ: тотъ и другой вѣрятъ въ звѣзды и хотятъ основать для себя независимое отъ своего отечества государство. Разница только въ томъ, что Валленштейнъ вѣритъ въ звѣзды вслѣдствіе фантастической настроенности своего великаго духа, гармонировавшаго съ духомъ вѣка, а стремится къ похищенію власти вслѣдствіе ненасытнаго честолюбія, жажды мщенія за оскорбленіе и безпокойной дѣятельности своего великаго генія; Холмскій же вѣритъ въ звѣзды по слабоумію, а стремится къ похищенію власти по любви къ женщинѣ, которая обманываетъ его, и по ничтожности своей маленькой душонки.—Хорошъ герой для трагедіи!... Валленштейна останавливаетъ на пути предательство и смерть; Холмскаго останавливаетъ на пути самая нелѣпость его предпріятія, какъ, розга останавливаетъ забаловавшагося школьника». «Князь Даніилъ Дмитріевичъ Холмскій» можетъ почесться довольно забавною, хотя и весьма длинною и еще больше скучною пародіею на великое созданіе Шиллера — «Валленштейнъ». Оставляя въ сторонѣ частные недостатки, спросимъ

читателей: есть ли въ изобрѣтеніи (концепціи) драмы г. Кукольника что-нибудь русское, принадлежащее русской субстанціи, русскому духу, русской національности? Есть ли въ нашей исторіи примѣры—хоть одинъ примѣръ того, чтобъ русскій бояринъ съ ввѣреннымъ ему отъ царя войскомъ вздумалъ отложиться отъ отечества и основать себѣ новое государство?... Правда, Ермакъ съ горстью казаковъ завоевалъ жезлъ властительства надъ Сибирью, но съ тѣмъ, чтобъ повергнуть его къ ногамъ своего царя. Не правы ли мы, говоря, что наши драматурги, цѣлясь въ русскую жизнь, бьютъ по воздуху, и попадаютъ развѣ въ воронъ, созданныхъ ихъ чудотворною фантазіею?... Замыселъ Холмскаго, его любовь, его вѣра въ астрологію, все это—вороны...

КОСТРОМСКІЕ ЛѢСА, *русская быль въ двухъ дѣйствіяхъ, съ пѣніемъ, соч. Н. А. Полеваго.*

Г. Полевой явился у насъ то же создателемъ особаго рода драмы—драмы анекдотической, которая есть не что иное, какъ анекдотъ, переложенный на разговоры между любовникомъ, любовницею и разлучникомъ и оканчивающійся свадьбою. Да, г. Полевой законный владѣлецъ этого рода драмы, помѣщикъ этой полосы рукодѣльной литературы, точно такъ же, какъ г. Булгаринъ—помѣщикъ въ несуществующей области нравственно-сатирическихъ и нраво-описательныхъ статеекъ и романовъ. Обоимъ этимъ почтеннымъ писателямъ суждено обезсмертить свои имена въ русской литературѣ изобрѣтеніемъ совершенно новыхъ способовъ занимать и забавлять публику. Но и здѣсь та же исторія, какъ и во всей почти нашей драматической литературѣ, т. е. стрѣльба холостыми зарядами на воздухъ. Вотъ хоть бы «Костромскіе Лѣса»: подумалъ ли нашъ сочинитель о томъ, что онъ хотѣлъ дѣлать? Высокое самоотверженіе Сусанина есть великій

подвигъ, дѣлающій славу русскому имени; поэзія должна и можетъ брать его своимъ содержаніемъ; но какъ—вотъ вопросъ. Сусанина можно сдѣлать героемъ пѣсни, эпическаго рапсода, баллады, поэмы, оперы,—но никогда драмы. Конечно, драма объемлетъ собою одинъ моментъ въ жизни избраннаго ею героя, но сосредоточиваетъ въ этомъ моментѣ всю жизнь его. А что́ мы знаемъ о жизни Сусанина, исключая его великаго и священнаго подвига? Страдалецъ святаго чувства преданности къ царю—онъ умеръ молча, пожертвовалъ собою не для эффекта, не требуя ни хвалы, ни удивленія. Хвала и удивленіе нашли его: но нашли въ подвигѣ, а не въ жизни, въ дѣлѣ, а не въ личности. Какъ данное лице, какъ характеръ, Сусанинъ нейдетъ для драмы. Самый подвигъ его — плодъ мгновеннаго, лирическаго восторга, а не плодъ цѣлой его жизни, или драматическаго столкновенія двухъ противоположныхъ влеченій... Что же сдѣлалъ г. Полевой изъ Сусанина? какой создалъ изъ него характеръ? Увы! что-то такое странное, такъ мало достойное памяти великаго человѣка, что грустно и говорить объ этомъ! Вся драма состоитъ изъ сцены между Сусанинымъ и пьянымъ, хвастливымъ и глупымъ Полякомъ, съ которымъ онъ и поетъ и пляшетъ вывѣдывая тайну экспедиціи его отряда и придумывая средства для совершенія своего подвига. Заведши Поляковъ въ глушь, онъ слышитъ голосъ отыскивающаго его зятя съ крестьянами; потомъ ведетъ далѣе, а на его мѣсто приходятъ отыскивающіе; эти уходятъ—опять является Сусанинъ, говоритъ цѣлые монологи тамъ, гдѣ истинный Сусанинъ только молился, заставляя говорить за себя Полякамъ самое дѣло; раненный пулею, онъ опять говоритъ—длинно, напыщенно, риторически... Тѣмъ все и кончается.

ОТЕЦЪ И ОТКУПЩИКЪ, ДОЧЬ И ОТКУПЪ.
Нѣсколько сценъ въ родѣ драмы. Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Н. А. Полеваго.

Интрига этой піесы довольно внѣшняя: откупщикъ Хамовъ пріѣхалъ въ Петербургъ на торги и взялъ съ собой изъ пансіона дочь свою—пустую дѣвчонку, умѣющую только болтать по-французски. Вымпелову, шурину Хамова, хочется выдать племянницу за артиллерійскаго офицера Милова; Хамовъ не хочетъ объ этомъ и слышать. Повѣренный откупщика, Ѳедька Кулакъ, помогаетъ Вымпелову: по наученію Ѳедьки, Вымпеловъ объявляетъ Хамову, что самъ хочетъ идти на торги, чтобъ перебить у него откупъ, не беретъ отъ Хамова 50,000 отступнаго, и соглашается отступиться только на условіи брака племянницы съ Миловымъ. Хамовъ—дѣлать нечего, соглашается. Вымпеловъ приводитъ Милова—Миловъ цѣлуетъ ручки у невѣсты... Ѳедька Кулакъ—цѣловальникъ; онъ знаетъ что Хамовъ началъ свое поприще съ этого же званія, знаетъ положеніе его дѣлъ, всѣ тайны его торговли; онъ уже самъ много наворовалъ, но унижается, льститъ, цѣлуетъ руки Хамова за то, что тотъ учитъ его добру, т. е. бьетъ по щекамъ. Онъ проситъ у Хамова мѣста главнаго повѣреннаго: Хамовъ отказываетъ, и Ѳедька грозитъ предложить свои услуги богатой купчихѣ Кривобоковой, соперницѣ Хамова по откупамъ. Хамовъ велитъ своему прикащику Такалкину задержать Ѳедьку у себя въ домѣ и послать за квартальнымъ. Но Ѳедька суетъ Такалкину денегъ и ускользаетъ. Настаетъ рѣшительная минута—Хамову надо ѣхать на торги; Ѳедька даетъ Такалкину полтораста рублей, чтобъ тотъ задержалъ Хамова дома на одинъ часъ. Хамовъ торопится, но, то не готова карета, то входитъ живописецъ, то вбѣгаетъ архитекторъ, то дантистъ. Является Сидоренко—тоже откупщикъ, и упрекаетъ его въ скрытности, что онъ самъ не поѣхалъ на торги, а послалъ вмѣсто себя повѣреннаго — и городъ остался за нимъ. Въ

томъ же увѣряютъ Хамова товарищи его по ремеслу—Крючковъ, Непалепой и Кривобокова; Хамовъ въ изумленіи. Является Ѳедька и объявляетъ, что онъ давно уже купецъ первой гильдіи, взялъ городъ на откупъ себѣ, и что залогами его ссудила Кривобокова. Хамовъ въ отчаяніи, онъ ничего не хочетъ дать за дочерью; Миловъ, искавшій приданаго, а не жены, отказывается отъ Лизы.

Вообще, эта піеса г. Полеваго — не холостой зарядъ на воздухъ. Въ ней есть истина, есть дѣйствительность. Видно, что авторъ хорошо знаетъ сферу жизни, которую взялся изобразить. Въ ней есть, если не характеры лицъ, то вѣрные очерки нѣкоторыхъ сословій. Хамовъ и Ѳедька—лучшія лица; всѣ прочія, по крайней мѣрѣ, правдоподобны, исключая Вымпелова и Милова—лицъ совершенно вставочныхъ, внѣшнихъ піесѣ, безхарактерныхъ и ничтожныхъ. Къ числу недостатковъ піесы должно еще отнести и нѣкоторую растянутость. Впрочемъ, піеса хорошо идетъ на сценѣ, и видѣть ее въ тысячу разъ пріятнѣе, чѣмъ иную трагедію съ танцами, или историческую быль съ пѣснями и трагическою пляскою.

СОВРЕМЕННОЕ БОРОДОЛЮБІЕ. *Оригинальная комедія въ трехъ отдѣленіяхъ, сочиненіе Д. Г. Зубарева.*

Помѣщикъ Курдюковъ отказываетъ въ рукѣ своей дочери ротмистру Славскому, котораго она любитъ и который цѣлуетъ у ней руки, безпрестанно восклицая: «Ахъ, это я, Софья Петровна!» Курдюковъ—видите ли, смотритъ на свою дочь съ моральной стороны, т. е. какъ на вещь: онъ далъ слово отдать ее за Разъѣздова, сына своего друга—и сдержитъ свое честное слово, хоть бы его дочь умерла отъ этого. Хорошій родитель—нечего сказать! самый дражайшій! Во второмъ отдѣленіи, Разъѣздовъ на станціи; онъ прямо изъ Парижа скачетъ жениться на Софьѣ Курдюковой, и такъ то-

ропится, что не успѣлъ сбрить бороды, которую отпустилъ въ Парижѣ. Станціонный смотритель не хочетъ вѣрить, чтобъ человѣкъ съ бородою могъ быть отставнымъ корнетомъ, не даетъ лошадей и посылаетъ за становымъ; становой рѣшительно убѣжденъ, что Разъѣздовъ—бѣглый купецъ, убившій корнета Разъѣздова и воспользовавшійся паспортомъ своей жертвы. Къ счастію эта станція недалеко отъ деревни Курдюкова: становой рѣшается не сажать Разъѣздова въ желѣза и не представлять его въ городъ, а съѣздить съ нимъ къ Курдюкову. Курдюковъ читаетъ Разъѣздову наставленія о томъ, что бороду носить позорно, и отказываетъ ему въ рукѣ дочери, а Славскій снова начинаетъ цѣловать у ней руки, восклицая: Ахъ, это я, Софья Петровна!» Затѣмъ, галиматьѣ конецъ.—Тутъ нѣтъ ни лицъ, ни образовъ, ни характеровъ, ни комическихъ положеній, ни остроумія, ни веселости, ни правдоподобія, ни смысла. Писать такія комедіи значитъ уже и не стрѣлять въ воронъ по воздуху, а развѣ считать галокъ на крышахъ домовъ... И что за мораль! Конечно, смѣшно ходить съ бородою тамъ, гдѣ это не принято ни обычаемъ, ни всевластною модою, такъ же какъ смѣшно ходить безъ бороды тамъ, гдѣ всѣ ходятъ съ бородами: но гдѣ же видалъ г. сочинитель у насъ на Руси свѣтскихъ, образованныхъ людей съ бородами? А вѣдь комедія должна осмѣивать общія странности. И кого же онъ противопоставилъ безнравственному Разъѣздову?—Отца, который, чтобъ сдержать честное слово (котораго не имѣлъ права давать), хочетъ погубить свою дочь; глупца станціоннаго смотрителя и наконецъ такого становаго, какого—можемъ поручиться—къ чести Россіи, нельзя отыскать ни въ какомъ захолустьи. И это картины русскаго общества! Бѣдное русское общество! Чѣмъ ты виновато, что бездарные маляры мажутъ съ тебя своими мазилками безсмысленныя каррикатуры и выдаютъ за твои портреты?

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ПЯТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1841 г. *Отечественныя Записки. Кн. 1.* Утренняя заря, альманахъ на 1841 г. Вл. Владиславлева — *Кн 2.* Труды Императорской Россійской Академіи — Піитическіе опыты Елисаветы Кульманъ — Памятникъ искусствъ. — *Кн. 3.* Стихотворенія Ивана Языкова. — Любовь и честь, драма Ивельева. — Леонора или мщеніе Итальянки, соч. Ильина. — *Кн. 5.* Сенсаціи Курдюковой. — Мозаисты, соч. Жоржъ Зандъ. — Портретная галлерея. Тетр. 2 и 3. — Памятникъ искусствъ. Тетр. 6 и 7. — Опытъ руководства къ преподаванію Русской грамматики. — *Кн. 10.* Русскія повѣсти М. Жуковой. — Народныя пѣсни Вологодской и Олонецкой губерніи, собран. Студицкимъ — Мель-Дона, повѣсть Алексѣева. — Рѣчь о современномъ направленіи отечественной литературы, А. Никитенко. — *Кн. 11.* Русская Бесѣда. Т. 1. — Стихотворенія Бочарова. — Сказка за сказкой. Шахъ и матъ, повѣсть Грамотова. — *Кн. 12.* Сказка за сказкой. — Басни и сказки Хемницера. — Очерки жизни и избранныя сочиненія А. П. Сумарокова, части 2 и 3. — Пиратъ, соч. Марріета. — Русская азбука, составленная по грамматикамъ Греча и Востокова.

КОНЕЦЪ ПЯТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЯТОЙ ЧАСТИ.

1841.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

1.

КРИТИКА.

Стр.

Древнія Россійскія стихотворенія, собр. Киршею Даниловымъ. Древнія Русскія стихотворенія, собр. Сухановымъ —Сказанія Русскаго Народа, собр. И. Сахаровымъ. Т. 1 Русскія народныя сказки Ч. 1. 7

2.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Путеводитель въ пустынѣ, романъ Купера. 251
Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ театровъ № IX. . 254
Цынъ-Кіу-Тонгъ, романъ Р. Зотова. 259
Портретная и библіографическая галлерея словесности, художествъ и искусствъ въ Россіи 265
Собраніе стихотвореній И. Козлова. 269
Аббаддона, соч. Н. Полеваго. 280
На сонъ грядущій, соч. гр. Соллогуба 285
Душенька, соч. Богдановича 292
Бернардъ Мопра, соч. Жоржъ Зандъ 297
Ластовка.—Сватанье, соч. Основьяненко. 299
Сказанія Русскаго народа, собр. Сахаровымъ Т. 1. 303
Русскія народныя сказки, изд. Сахарова 309

Стр.
Сочиненія Александра Пушкина Т. IX, X, XI. 311
Фритіофъ, поэма Тегнера 323
Герой нашего времени, соч. Лермонтова. 332
Стихотворенія Графини Ростопчиной 339
Очерки жизни и избранныя сочиненія Сумарокова, соч. С. Глинки Ч. 1 343
Двѣнадцать собственноручныхъ писемъ адмирал. Шишкова . . 350
Русская исторія первоначальнаго чтенія, Н. Полеваго. Ч. 4. . 353
Упырь, соч. Красногорскаго 357
Сказка за сказкой. Сержантъ Иванъ Ивановичъ, соч. Н. Кукольника. 359
Непостижимая, соч. Вл. Филимонова 363

3.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

1. Сѣверная пчела и г. Навроцкій 373
2. Шестая книжка Москвитянина и Ѳ. Н. Глинка 378

4.

ТЕАТРЪ.

1. Александръ Македонскій. 389
2. Братья враги или Мессинская невѣста 395
3. Князь Даніилъ Дмитріевичъ Холмскій и проч. 396

—

Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли въ эту часть 413

